



Времена жизни

Марк Харитонов



Марк
Харитонов
Времена
ЖИЗНИ



Новое
Литературное
Обозрение



Времена жизни



Геше — не помню
о временах нашей жизни

Марк .



Марк Харитонов

Времена жизни

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА · 2007

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
X 20

В оформлении книги использованы работы Г. Эдельман

Харитонов М.
X 20 **Времена жизни** — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 568 с.

Времена жизни — как времена года, как времена дня. Утро, вечер, весна, осень, молодость, старость. В книге Марка Харитонова, автора романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (первая Буковская премия в России, 1992 год), собраны произведения разного жанра. Жизнь открывается его героям с необычной, неожиданной стороны. Чтобы осмыслить ее, автор нередко прибегает к фантастике и гротеску.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-86793-527-2

© М. Харитонов. 2007
© Г. Эдельман. Иллюстрации. 2007
© Художественное оформление.
«Новое литературное обозрение», 2007

Времена жизни



НОЧЬ

1

На улице светло — не от луны, от снега. Луны еще не видно. Снег светится на дороге, на крышах домов, его сиянием полон воздух. Наливается сиянием облачная пелена.

2

Тени ночных ветвей ложатся на светящееся стекло и, не покидая его, сквозь себя пробираются в комнату, подрагивают, пристраиваясь, на стенах. Собака у порога вздрогнула, повела ухом, не раскрывая глаз, засопела снова. Вздох воздуха, электрическая дрожь в напрягшихся проводах. Томление соков, на зиму замерших в ветвях — и уже ощутивших готовность ожить, тронуться, наполнить собой темные недра.

3

И каждую ночь эта репетиция рождения и смерти.

УТРО

Встаешь от женщины,ходишь к окну. Уже светло, и все вокруг: деревья, дома, дорога, небо — окрашено, омыто, наполнено или опустошено совершившимся, отзвучавшим только что, и озабоченные прохожие — посторонние на твоём празднике, не подозревающие о нём, но самим своим существованием в этот миг все-таки причастные ему. Наверно, и им это бывает дано, но сейчас ты — царь, прекрасный мир перед тобой, прекрасная женщина за твоей спиной.

МЕСТОИМЕНΙΑ

Кто это «ты»? Иногда уверенно можно сказать: «я». Но, может, правильной говорить: «он». Или «она». Мы. Это ко всем нам относится.

СКАЗКА

1

Конечно, что принцессу кто-то превратил в лягушку — это сказка, но на самом деле принцессы бывают, и короли, и королевы. Не у нас, у нас их уже не осталось, но есть ведь такие страны, в которых они еще существуют. Даже по телевизору однажды показывали: на вид совсем обычная девочка, безо всякой короны, и даже не в платье, а в джинсах. На улице никто бы не узнал, что это принцесса. Вполне могла бы убежать из своего дворца, чтобы никто не узнал. Интересно ведь: идешь по улице, и никто не догадывается, кто ты на самом деле.

2

Они встретились возле речки на лугу. У нее был веснушчатый нос, волосы только начали отрастать после стрижки, ноги в цыпках, на обеих коленках ссадины. Сарафан в мелкий цветочек. Она рассматривала что-то в траве и трогала босой ногой.

Оба они были босые.

— Наступи на это, — сказала девочка.

Он пригляделся и увидел в траве черный слизистый комочек.

— Зачем? — сказал он.

— Она к твоей ноге присосется, — сказала она.

— Сама наступи, — сказал он.

Она посмотрела на него, прищурясь, поковыряла в носу и сказала:

— Калабуда малам.

— Чего? — сказал он.

— Ничего. Это на заморском языке. Значит: «Ну и дурак».

— На каком заморском?

— На каком, на каком! Страна есть такая. Где заморцы живут.

— Где? — не столько спросил он, сколько по-дурацки повторил слово.

— Там, — она неопределенно махнула рукой в сторону речки.

3

Главное, он ведь всегда и сам знал, что не все еще страны открыты, должны быть совсем неоткрытые, небольшие, их просто никто пока не заметил. Ведь даже в обычном дворе есть такие места, о которых никто не догадывается, и там можно найти сокровища, например, стеклянный шарик неизвестного происхождения и даже настоящий компас, валявшийся в зарослях пыльной бузины, между забором и сараем. И если, скажем, просто поплыть вниз по реке, она будет становиться все шире и шире и, наконец, вольется в какое-нибудь море. Он уже обдумывал такое путешествие. Можно было бы самому построить лодку, вроде тех, что он научился складывать из бумаги, только, конечно, из настоящего материала, непромокаемого, прочного, покрасить такой же непромокаемой краской, он уже придумал для нее мотор с часовой пружиной.

4

Значит, заморская страна была на самом деле недалеко, и она была восхитительна. В языке этой страны любое слово что-нибудь значило для способных понять, даже то, что другим казалось бессмысленным.

И кала бурум здесь значило: воздух синий.

А малакуя было: небо распускается, как цветок.

И ланка бина было: у коровы на рогах солнце.

5

Они прыгали и кричали с конопатой принцессой заморской страны, они играли и бегали по зеленому лугу, где бродили громадные, до неба, коровы, и у стреноженной кобылы в большом животе лежал вверх ногами еще не родившийся жеребенок. Кошка кралась в зарослях, охотясь за невидимым зверем, в голубых глазах собаки отражались цветы, божья коровка ползла по листу крапивы, не обжигаясь, куст акации был увешан свистульками, воздух трепетал прозрачно, и принцесса все собиралась прочесть самое смешное в мире стихотворение, но никак не могла. Оно состояло всего из одной строки, потому что следующую просто невозможно было выговорить, от первых слов живот начинал наполняться смехом, который невозможно было удержать внутри.

6

Речка стекала по круглой земле за невидимый край. Сказочная страна окружала их, как небо вокруг. Сказочными были деревья, дома и животные. Травы и цветы были такие новенькие, что даже еще не имели названия. Над цветами, как шары, колыхались разноцветные запахи. Из

земляных норок, из-под травяных корней смотрели на них блестящими крохотными глазами любопытные обитатели. У пролетающей птицы были разноцветные крылья, одно красное, другое зеленое, а тело переливалось радугой. Она летела к себе в дом, куда-то все выше и выше — туда, где над синим куполом распускался громадный цветок. В сладкую его сердцевину, жужжа, забиралась головой и всем мохнатым туловищем пчела, полная меду, и с одной стороны цветка было солнце, а с другой луна.

ОТРАЖЕНИЯ

Стекла перебрасываются отражениями
Уже их не возвратят

ИСЧЕЗНУВШАЯ СТРАНА

Никогда не знаешь, как сложится этот путь, успеешь ли ты дойти вовремя. До школы далеко, дорога полна опасностей и соблазнов. Надо миновать три длинных одноэтажных барака, два слева от дороги, средний сдвинут вправо, но торец его слегка вдается в общий двор, так что приходится делать зигзаг: направо, налево, опять направо. Когда-то бараки были крашены желтой краской, со временем цвет стал неопределенным, краска местами неровно выцвела, местами в грязных разводах, из-под осыпавшейся штукатурки проступает дранка. В палисадниках под окнами вскопаны грядки, первыми начинают слабо зеленеть редиска и лук, осенью красиво цветут астры и золотые шары. Какое сейчас время года?.. Воздух прохладный. Между крюками, вбитыми в стены, двумя электрическими столбами и перекладиной детских качелей протянуты в разных направлениях веревки, подпертые там и сям неустойчивыми наклонными рейками, на них всегда сушится

белье. Чтобы пройти совсем коротким путем, можно поднырнуть под рубашки с обвисшими рукавами, под наволочки и детские пеленки — а там напрямик дальше. Но сокращать дорогу почему-то опять не хочется, тянет углубиться заново в неисследованный лабиринт. Внутренность скрытной домашней жизни, убогое ношеное исподнее вывешено здесь напоказ, без смущения. Взметнуло ветром подолаы, визжат девчонки, спешат одернуть, а тут — смотри сколько хочешь. Мужские трусы и белые кальсоны с болтающимися завязками, обширные женские рейтузы, лиловые и розовые, узнаваемая тельняшка безногого инвалида Фимы, который постоянно скрипел на своей тележке под ногами очереди у винного магазина, балагурил и сквернословил для снисходительной общей потехи, зарабатывал на угощение. Девичья шелковистая комбинация, которую на ходу приятно задеть щекой. Под провисающие до земли простыни и пододеяльники вовсе не поднырнешь — лабиринт здесь становится непроглядным, призрачным, неизвестно, сколько придется еще блуждать в поисках выхода. Безгрешная белизна, очищенная от грязи и от стыда житейской укромности, сладкий запах стираной свежести, запах яблока или арбуза, оттаивающий после утренних приморозков. Когда пододеяльники изнутри надувает ветер, морщины разглаживаются, белые тела обретают живой объем. На простыне расprostерта широкая тень, прищепленная за веревку двумя раскоряченными рукавами — женщина, приподнявшись на цыпочки и расставив руки, закрепляет белье на веревке. Надо скорей бежать, покуда она не увидела тебя поверх простынной завесы, не опознала. Но свернуть некуда, трепетный лабиринт не выпускает, хрипящая матерщина несется вслед. Чувство противней, чем страх, гонит напролом, сквозь завесу, как сквозь стену. Шаткая рейка падает вместе с бельем на землю. Преступление совершено, ругань звучит уже в отдалении, можно перевести дыхание за углом барака. Женская матерщина пугает не так, как

мужская. Когда эта подвыпившая грузная сторожиха честит на весь двор бессловесного мужа, соседи появляются у окон, как театральные зрители. За тобой она вряд ли погонится, а погонится — не настигнет. На опухших-то ногах, да такая тяжеловесная. Но если успела узнать, она еще заявится к вам домой, не столько с жалобой, сколько с надеждой получить законный откуп от мамы. Маме не впервой откупаться. К живущим в двухэтажном кирпичном доме ИТР — инженерно-технических работников — отношение здесь особое. Вы вроде бы и свои, но только отчасти. Как для этих знакомых собак у мусорных ящиков. Ты можешь их вовсе не опасаться: подойдут, обнюхают, даже подставят головы, позволяя себя почесать за ухом. Черная гладкая Альма, грязно-белый лохматый Фимка, кривоногий пятнистый Бенц. Даже если не всегда окажется при себе бутерброд, чтобы отщипнуть положенную дань — проводят еще немного, без злобы и недовольства, а там отойдут. Но когда облаивают посторонних прохожих или отгоняют от тех же ящиков чужих, опасных собак — ощутишь, как приятно сознавать свое преимущество, свою законную защищенность. Так дворовые хулиганы могли защитить тебя от приставших на другой улице: ты был их, местной собственностью, обижать тебя вправде были только свои. Между улицами и дворами здесь были особые счеты, доходило до нешуточных побоищ на пустыре за стадионом, а то и до поножовщины. Толик Барыгин, появившись в классе после месячного отсутствия, показывал желающим страшные красные швы на правом боку; потом он и вовсе исчезнет надолго в колонии. Ты мог при этих стычках быть не больше чем зрителем, если угодно, воодушевленным болельщиком; но для самой здешней жизни ты останешься посторонним, как ни подлаживайся к общим вкусам и представлениям. Выпускай из-под кепки чуб, носи пальто нараспашку (если не видит мама), демонстрируй умение свистеть сквозь зубы — ценить тебя будут больше за содержимое твоих карманов. При тебе ли

еще зажигательное стекло? — скорей зажигательное, чем увеличительное. Даже в нежаркий солнечный день оно собирало бледное, поначалу расплывчатое пятно в яркую жгучую точку; мельчайшие заусеницы и посторонние пылинки высвечивались в этой точке на поверхности обструганной деревяшки, сияющая дымная струйка поднималась из нее, и вот она становилась черной. Но особенную цену, конечно, имел твой перочинный нож с двумя лезвиями, большим и маленьким, да вдобавок еще шилом и штопором. В пазах застряли навсегда хлебные крошки, поскрипывают песчинки. Чтобы попользоваться им по очереди, тебя снисходительно принимали играть в тычки или ножички. Попадешь удачно, и нарежь себе одну за другой доли владений внутри очерченного на земле неровного круга, стирай подошвой черту чужих, отмеченных границ. Не так просто удавалась втыкать тот же нож в землю разными искусными способами; самый трудный из них назывался «слону яйца качать»: нож раскачивался за кончик лезвия двумя пальцами так, чтобы потом воткнулся, перевернувшись. Самодельной заточкой, с рукояткой, обмотанной черной изолентой, это получалось почему-то гораздо лучше. Вдоволь попробовав и не выдавая зависти, с усмешкой возвращали тебе твой тяжелый роскошный нож. Открыто отнять его во дворе у тебя не могли, тут многие знали, что начальником у их отцов был твой папа. Ты согласился обменять его добровольно, и долго не признавался потом в утрате — не родителям, нет; не признавался в чем-то себе сам. Не получалось все-таки стать действительно своим для обитателей здешних барачков — а ведь они были тем самым народом, о котором торжественно говорили по радио и писали в газетах, который назывался двигателем истории в школьных учебниках, который делал для вас все, начиная с кирпичей для вашего дома ИТР на одном из местных заводов. Их жизнь была более настоящая, чем твоя. Она время от времени вываливалась во двор вместе с пьяными крикливыми пере-

бранками, шумными свадьбами, проводами в армию, с плясками и пением под баян. За вколоченным в землю столиком вечерами и по выходным усаживались пожилые играть в домино, здесь же и выпивали. На самодельных скамейках сидели молодые мамы с детьми на руках. Патефонная музыка слышалась из открытого летом окна: «Трудно, друг мой, жить без друга в мире одному», «Расцветали яблони и груши»... у вас тоже были такие пластинки. Но пластинки — что! Невозможно было по-родственному ощутить надышанную, теплую, тесную жизнь, что затаенно проходила за низенькими, чуть не у самой земли, оконцами в свете вечерних ламп под оранжевыми матерчатыми абажурами...

Настойчивый, повторный стук в ближнее окно. Круглое лицо прижато к стеклу. Приплюснутый нос побелел, как поросячий пяточок, губы расплющены. Зина Кукина, белобрысая прыщеватая одноклассница, покривлявшись, делает пальцем знак: заходи. Ей почему-то снова не нужно в школу. В окне еще с прошлой, а может, позапрошлой зимы осталась вторая рама, осколки елочных шаров утоплены в грязной вате, на подоконнике миска, в которую стекает по нитке влага всегдашней сырости. Заходи, чего покажу, — повторяет она знаком и мимикой. Нет, с этой девчонкой надо быть настороже, от нее можно ждать всякого. Она уже не раз обещала тебе показать что-то особенное, да с таким насмешливым, откровенным намеком: неужели не хочешь? а может, трусишь? Покажет она тебе на самом деле потом и не здесь, у нее было свое затаенное логово за дальним сараем, в кустах пыльной замусоренной бузины, и это обернется еще одним из разочарований. Но нельзя было все-таки не поддаться, когда она в первый раз поманила тебя вот так же и повела в барак, держа за руку, тайком, чтобы никто не видел; на ходу обращившись со все более многообещающим подмигиванием, прикладывала палец к губам. От этого подмигивания внутри все томительно замирало, жар ее влажной руки пе-

редавался телу. После уличного света едва удавалось различать хлам, загромождавший тесный проход в коридоре, вдоль ряда дверей: табуретки, тумбочки с примусами и керосинками, ведра с помоями, старые доски, и пахло неопишимо: керосином, конечно, — чем же еще могло пахнуть от керосинок на тумбочках? сыростью пахло и, конечно, помоями — чем еще могло пахнуть от ведер?.. Но действительной тошнотой дохнуло из комнаты, когда с той же коварной ухмылкой Зина открыла одну из дверей. Там мать ставила клизму ее больной бабушке, вот что она позвала тебя посмотреть. И при случае сладострастно, как уже посвященному, добавляла потом разных подробностей. К кровати, где лежала ее бабушка, приделаны были бортики из грубо остроганных досок, чтобы она не свалилась, потом сверху, над ногами приколотили еще две поперечных доски, для верности, потому что она иногда впадала в беспокойство, а смотреть за старухой все время некому было. Несколько добавочных досок хватило, чтобы оформить вскоре окончательный гроб, в котором ее и вынесли из барака. Та же Зина, серьезно поджав губы, несла перед гробом застекленную иконку с искусственными цветами и ягодками из конфетной фольги. Но что же значила непонятная власть, которую сохраняла все-таки над тобой эта прыщеватая вредина с кривым верхним зубом, знавшая о жизни с детства больше тебя? Ты тянулся ее слушать, не признаваясь в возобновлявшихся приступах тошноты, не находил в себе решимости ее оборвать. И разве что отворачивался, когда она кричала при тебе непристойности вслед тихой тоненькой Лизе Шлиппе, проходившей мимо с нотной папкой в руке. Лиза была уже почти взрослая, она жила с мамой в одном из барачков, обе считались не просто немками, но вроде бы и дворянками. Невозможно было завести на глазах у всех знакомство с этой семьей. Они были здесь еще более чужие, чем ты, сомнительно чужие, старались, как пугливые мышки, незаметней прошмыгнуть в свою дверь и на дворе не по-

казываться. Из Зининых дразнилок можно было понять, что эти немки и общим сортиром ухитрились не пользоваться...

О, еще и этот сортир по пути! Не совсем, впрочем, по пути, он был вон там, за бараками, возле сарая, но как же было его миновать? Хотя туда тебе ходить не полагалось, и брезгливость приходилось преодолевать, но дворовые сотоварищи зазывали. В перегородке, отделявшей мужскую половину от женской, там проделаны были для подглядывания дырки, затыкаемые обычно комками газет. Затычки выковыривались, конечно, и восстанавливались тут же снова, едва кто-то за перегородку входил; ими пользоваться не получалось. Но можно было втихомолку глянуть, что отражается по соседству в отблескивающем, кишасшем белыми личинками зловонном месиве, когда там присаживались над дырой. У твоих сотоварищей это называлось «смотреть телевизор». Настоящего телевизора у них тогда еще не было...

То есть что значит «тогда»? Какое сейчас время? Часов на руке нет, их подарят только к совершеннолетию... Ты что-то вообще путаешь. В какую тебе, вспомни, смену, первую или вторую? Когда-то у вас была даже третья, классов на всех не хватало. Но сколько с тех пор прошло времени?... сколько времени? Ты слишком давно здесь не был. Разберись, наконец, с этим словом: давно. Опаздываешь скорее всего безнадежно — и попробуй объясни себе теперь сам, зачем так долго сюда шел. Где твой всегдашний портфель с оборванной ручкой (она была приделана проволокой и сверху обмотана изолентой, пачкавшей руку), где еще более давняя отцовская полевая сумка с тремя отделениями, особыми узкими вставочками для карандашей и ручки, плексиглазовым прозрачным окошком?... Э, про что еще вспомнил! Когда это было!.. Занятия кончились, школа уже пуста. В безлюдных, наизусть памятных коридорах гулко отдаются шаги. Так ведь и знал, так и чувствовал. Это случалось уже не раз все в тех же,

повторявшихся снах, где надо было зачем-то снова сдавать экзамен, не совсем даже понятно, какой. Вроде, по математике. Но для чего его было сдавать еще раз, ведь ты школу давно закончил и вполне это сознавал? Взбрело почему-то на ум явиться не по обязанности — по собственной воле... должно было получиться как-то само собой... знал ведь когда-то все эти правила, теоремы, формулы. И вот, оказывается, — безнадежно забыл. Ничего уже не вспомнить, не решить даже самой простой задачи. Но всякий раз удавалось, наконец, с облегчением вспомнить, что экзамена никакого сдавать не нужно...

Какие, в самом деле, экзамены! Они, как уроки, тоже давно кончились. Какую дверь ни откроешь — пусто, пахнет все еще не просохшими после мытья полами. Оpozдал, вот ведь как просто. Считай, пронесло... Но и не они же были тебе нужны, не в них теперь дело... о них ты, можно считать, не думал. Отчего же это непонятное, сосущее чувство? Можешь ли ты припомнить по-настоящему, зачем снова, как наяву, проделал весь этот путь?.. Сейчас, сейчас... надо, наверное, подойти сюда, к этому вот коридорному окну...

Почти вплотную напротив — дом, двухэтажный, кирпичный, маленький. Он кажется странно знакомым — как забытая, не совсем уже понятная фотография... Да что же ты, в самом деле не узнаешь?.. Минуточку... неужели это тот самый — твой дом, из которого ты вышел когда-то... уже не подсчитать, когда? Он словно невообразимо уменьшился, усох от времени. Так усыхают, уменьшаются с возрастом старики. Клумба перед подъездом школы — ее можно перепрыгнуть с разбега... два мусорных бака поодаль. И ничего больше. Ничего, кроме клумбы и мусорных баков здесь просто и не могло поместиться. Бараки давно снесены, в этом можно не сомневаться — но как они могли уместиться на таком замусоренном, занюханном, крошечном пяточке? Тут и для одного дома нет места... действительно нет. А ведь помещались же на пути

между школой и домом, не один — целых три барака, с двумя входами в каждом, с восемью окнами в ряд, с палисадниками под окнами. На подоконниках стояли где цветки в горшке, где полусгнившая луковица в банке. Раздвигались и задвигались занавески, выглядывали неясные лица. И между бараками простирался двор, с качелями и скамейками, сарай был на задах, заросли бузины и тот самый невообразимый сортир. Целая населенная густо страна — даже мысленно не втиснешь теперь заполненную ее жизнь между сдвинутыми почти вплотную кирпичными двухэтажками. Время может сжиматься в памяти, в этом каждый не раз успевал убедиться. Время, говорят, вообще существует лишь в человеческом воображении, большая часть его просто исчезает куда-то из жизни. Но неужели невозможно вернуться хотя бы в пространство — настоящее, только что памятное до мелочей пространство? Соприкосновения с памятью, вот чего оно не смогло выдержать — сморщилось и исчезло.

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

Сидя на стульчаке, вспомнил о Боге и обратился к Нему.

И смугился: не кощунство ли в такой миг обращаться к Богу?

И увидел себя с Его высоты:

Дитя человеческое, извергающее кал,

Не подлежащее упреку в своей младенческой беспомощности.

БОЛЕЗНЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

— Да, здесь свободно, садитесь, — сказал небритый мужчина и приглашающе подвинул к себе поближе круж-

ку с остатком пива. Молодой человек с подносом в руках все еще оглядывался в поисках более подходящего места. Мужчина наблюдал за ним взглядом тревожным и выжидательным. Мало того, что он был небрит: обширный синяк на левой скуле частично заклеен был пластырем, рядом с пивной кружкой стояла уже опустошенная рюмка. — Садитесь, тут будет нормально, — поощрил он еще раз.

Какая-то искательность была в его голосе.

Молодой человек молча поставил на столик свою кружку, разместил рядом тарелки с помидорным салатом, со сисками, хлебом.

— Я понимаю, вас может смущать мой вид, — усмехнулся как бы виновато небритый. — Не обращайтесь внимания. Я почти ничего и не пил — разве это считается? А что выпил, считай, не подействовало. Я в этом заведении вообще первый раз. Просто со вчерашнего дня на больничном. Сегодня ведь вторник, я вроде не путаю?.. Время стало растягиваться как-то совсем безразмерно... Боже, сколько еще терпеть!

Он вкинул брови, страдальчески морща лоб, помотал головой, отхлебнул еще немного из кружки.

Молодой человек коротко посмотрел на него сквозь очки, отправил в рот кусок помидора и начал равномерно жевать. Стекла его очков были затемнены, никакого выражения во взгляде, да и самого взгляда они различить не позволяли — это было удобно.

— Я понимаю вашу реакцию, — добровольно признал небритый. — Еще раз: не обращайтесь внимания. На меня, на этот мой разговор. Если бы можно было кому-нибудь объяснить, как невоготу стало выдерживать одному в четырех стенах, включать то телевизор, то радио, дожидаться, вдруг случайно услышишь слова. Не с зеркалом же разговаривать. Другим рассказать некоторые вещи попросту невозможно. Вы вправе ответить мне: «Ну и не рассказывайте, никто же вас не просит». И будете совершенно правы, я заранее соглашаюсь. И не навязываюсь, не подумай-

те. Но что же делать, когда становится совсем мучительно?.. Если б вы могли себе только представить! — Он поглядел с тоской на молча жующего собеседника. — Ищешь хоть какого-то облегчения, на что-то надеешься... Вы, надеюсь, не врач?

Тревожно выдержал паузу; молчания оказалось ему достаточно.

— Вот кого бы я действительно поостерегся — врача. Тот заведомо понял бы все не так, по-своему. В меру способностей. Я от них, можно сказать, в последний момент ускользнул. Нет, в принципе я ничего против врачей не могу иметь. Но медицинское знание по сути формально, поверхностно. При всех их подробных анализах, просвечивании внутренностей, с этими даже объемными цветными картинками, как теперь. Понять некоторые вещи может лишь человек, испытавший изнутри то же. Хотя встречу с таким человеком можно только вообразить. Вот ведь несбыточная надежда. Можно сказать, мечта. Мы все друг для друга слишком закрыты, поверхностью кожи, дополнительными оболочками. А вы для надежности еще и стеклышки свои затемнили.

Глаза у него были и впрямь измученные. Но смотрел ли на него сквозь свои стеклышки молодой человек с зализанными редкими волосами? Он аккуратно отрезал ножом сосисочный кончик, поднял на вилке, что-то дожевывал, прежде чем отправить новую порцию в рот.

— Я отдаю должное вашему удивительному умению слушать, — сказал небритый. — Редкое достоинство, особенно в таком молодом возрасте. Молчание ведь ощущаешь, как пустоту, тянет ее заполнять, заполнять словами. С вами бывало такое? Особенно в дороге, да? со случайным попутчиком, когда знаешь, что никогда с ним больше уже не встретишься. Я сам предпочитал обычно не говорить, слушать. И уж тем более снисходительно, помнится, смотрел на бедненьких старичков, которым лишь бы рассказать кому-нибудь о своих болезнях. Даже если

не ждут ни сочувствия, ни помощи — лишь бы их выслушали. Уже легче. Но я-то далеко еще не в том возрасте — и вот что со мной творится. Сам от себя не ждал. Болезнь ослабляет психику. Да если еще боль!.. Но про свои боли я бы и говорить не стал, мужчина все-таки. Хотя без болей у меня тоже не обошлось, с них все и началось. Обычные, знаете, головные боли, и сперва вполне, я бы сказал, терпимые. К тому же случались они всего раз в неделю. Почему-то каждый раз по воскресеньям...

Он задержал на собеседнике многозначительный взгляд, дожидаясь реакции. Тот без заметного выражения на лице прожевывал очередную порцию пищи.

— Я тоже не сразу обратил на это внимание. Необъяснимая периодичность. Как по расписанию, утром, часов в восемь, начнет накаляться, а к вечеру отпускает. И на неделю оставляет в покое. Можно было бы и потерпеть, я уже потом подумал: пусть лучше бы так и тянулось. Удовольствия мало, но жить можно. Хуже самой боли было это изматывающее ожидание: пройдет день, другой, третий, а там ведь опять начнется. Перепробованы были, конечно, всякие известные средства, потом начал ходить по врачам. Вот это можно считать, наверно, первоначальной ошибкой. Чем больше меня лечили, тем приступы становились невыносимее. Не знаю, можете ли вы себе представить: этикие жужжащие сверла вгрызаются понемногу в мозг, все глубже, все глубже, и в самую серединку закладывают... как это назвать?.. вещество боли? Да, другого слова подобрать не могу: именно вещество. И оно уже изнутри начинает разъедать череп. Удивления достойно, как он еще выдерживал... Да что я об этом! Никому не пожелаешь, но это как раз многим знакомо. Один врач за другим предлагали свои объяснения, подыскивали свои средства — мучения только нарастали.

Он опять глотнул немного из кружки, облизнул пересохшие губы.

— Пока я не вышел, наконец, на человека, который серьезно принял мои слова. Насчет воскресной периодичности. Не стал отмахиваться, говорить про нервы, про психическое самовнушение и прочую муть. Называть его имя я, пожалуй, лучше не буду. Он в некоторых кругах человек, я знаю, известный, и относится к нему по-разному. У него имелась целая концепция о соответствии миров внешних и внутренних. Ну, упрощенно говоря: вроде того, что каждый мир существует внутри другого мира, но сам для кого-то является соответственно внешним. Внутри одного живем мы, сам этот мир — внутри еще какого-то. А внутри нас живут органы, внутри них — миры более мелкого масштаба. Именно миры, каждый по-своему самостоятельный, иногда самовольный. И в то же время взаимодействия, соответствия, взаимосвязи, силовые линии, черт знает что — проходят через все уровни, соединяют их... Я понимаю вашу гримасу, — уловил он, наконец, слабое шевеление на лице слушателя. Впрочем, тому, возможно, попало что-то неприятное в помидорном салате; он, морщась, рассматривал мелочишку в пальцах, потом брезгливо отбросил в сторону. — Можно относиться к нему как угодно. Но он мне помог! Помог! Не берусь сказать, чем именно. И даже не уверен, что он сам мог бы наверняка сказать, вот ведь в чем фокус. Свой метод он называл комплексным: и порошки давал собственного изготовления, и сеансы проводил какого-то особого массажа. А может, главную роль сыграли эти вот разговоры, которыми он свои сеансы сопровождал. Как будто они отвлекали от боли — она стала отпускать во время первого же воскресного сеанса, через неделю прошла совсем, и уже не вернулась. Да...

Покачал опущенной головой, то ли усмехаясь собственному воспоминанию, то ли набираясь духу для дальнейшего сообщения.

— Зато еще спустя ровно неделю — я сумел отдохнуть единственное воскресенье, лишнего не получил —

на меня обрушился приступ жесточайшей астмы. -Для успокоения он отхлебнул еще немного из кружки. — Надеюсь, этого вы себе представить не можете — и не дай вам Бог испытать. Вот когда я пожалел об утраченной головной боли. Та была, конечно, мучительна, и все же ее можно было терпеть. Она должна была кончиться, она не заставляла тебя раз за разом почти умирать от удушья. Еще немного, казалось, и я бы просто не выдержал. Спасло меня на первый раз лишь то, что воскресенье успело кончиться. Даже вызвать по телефону доктора я не мог, он спокойно уехал на дачу. На другой день он меня принял без очереди, рассказ об этой новой напасти выслушал с веселым каким-то удовлетворением. «Очень, — хохотнул, — интересно. Думаешь, что уловил, на какие точки воздействовать, а откликаются соответствия совсем другие»... Я знаю, что вы сейчас думаете. Я в тот момент подумал, помнится, то же самое. Но не удирать же было. С ожиданием такой астмы! А он: «Не волнуйтесь, — говорит, — с астмой мы тоже справимся.» У меня, поверьте на слово, шевельнулось уже тогда что-то вроде предчувствия, но еще неотчетливого. «Может быть, — говорю, — вернуть как-нибудь головную боль?» Вроде бы шутя, с кривоватой, наверно, усмешечкой. Но на самом деле я, право, чувствовал уже больше, чем он. Врач — он есть врач, даже если такой. Засмеялся, похлопал успокоительно по плечу. Оценил шутку.

Небритый попробовал потянуть губами еще из кружки, но там оставалась уже только пена.

— Нет, надо этому человеку безусловно отдать должное, от астмы он меня в самом деле избавил. Я отблагодарил его, как мог. Набор коллекционного коньяка преподнес, он это любил, то, се. И с благодарностью распрощался. Он даже, кажется, не вполне поверил, что все так эффективно закончилось. Раз-другой потом сам мне звонил, намекал, что если у меня проблемы со средствами, он готов помогать мне бесплатно. Случай мой его, конечно, заинтересо-

вал, любопытно было проследить, поупражняться дальше. Как будто таким исходом он был даже разочарован. Как будто заподозрил все-таки, что я утаил от него дальнейшее. Симулировал, так сказать, исцеление. Но разве я теперь стал бы ему рассказывать, что со мной происходит по воскресеньям? Такого и рассказать невозможно. Не испытавшему этого не понять...

Он еще раз выжидательно посмотрел на молодого человека. Тот покончил с едой, неторопливо потягивал пиво.

— Думаете, ваши очки добавляют вам непроницаемости? — с неуверенной усмешкой сказал небритый. — Зачем они при таком тусклом свете? Если признаться начистоту, мне еще на расстоянии почудилось в вас, представляете, что-то близкое. Когда вы у стойки заказывали что-то, спиной ко мне, движения у вас мне показались не совсем обычными. Я подумал: вдруг родственная душа? Не единственный же я, в самом деле. Я вас, не обессудьте, приманивал взглядом... можете усмехаться. Но действительные встречи в реальности вряд ли возможны. Мы все друг для друга непроницаемы, как ни пытаемся объяснить, рассказать что-то. Обыкновенных слов оказывается недостаточно, вот в чем проблема. А может, слов для этого просто еще нет. Внешне и у меня проявлялось только в движениях. Поначалу это казалось похоже на нервный тик... Да что я! Какой тик! Скорей, судорога, внезапная. Точно дергает тебя вдруг электрическим током. Вы только попробуйте представить себе: идешь по улице, останавливаешься, чтобы пропустить машину. И вдруг тебя именно передергивает. Нога в тот, в первый раз мгновенно сунулась прямо под колесо — и тут же отдернулась. Никто не успел ничего понять, ни я сам, ни водитель. Он проехал дальше, словно не сумел поверить в это дерганье, решил, что почудилось. Но как же много в тот миг мне одновременно успело открыться! Остановившийся зрачок я увидел отчетливо, как под увеличением. Губы, сложенные трубочкой для свиста... он подсвистывал арии из прием-

ника. Увидел движение ресницы, отдельные пылинки и царапину на автомобильном капоте. И одновременно воспринял всю улицу с домами вокруг... прохожих, слава Богу, поблизости не оказалось. Две вороны пролетали с криком над головой... Нет, об этом мгновении можно рассказывать без конца, всего не переберешь, не исчерпаешь, поверьте. Голос из приемника пел арию по-итальянски, я этого языка не знаю и сейчас ни слова воспроизвести бы не мог — но в тот миг я все слова понимал, именно понимал отчетливо. И нездоровый сбой различил в работе мотора, как бы покашливанье — правильных слов для этого я просто не знал никогда, я вообще в моторах не смыслю, но неисправность почувствовал, понимаете? И движение крови в своих сосудах ощутил, и напряжение пульса. Боли я, можно сказать, не воспринял. То есть, она, допустим, была. Электрический разряд... как же не было... вспышка молнии. И, конечно, испуг... Но слова опять не совсем подходят. Невероятное потрясение, вот что это было такое. Особенно в тот первый раз... так внезапно. Это и потом повторялось внезапно, но все-таки внутренне я уже был как бы готов. Ситуации возникали чудовищные, небезобидные. Вот так же, представьте, идет по улице молодая женщина, ест мороженое — а у тебя вдруг рука дергается, и прямо к ней, к животу... Вы, кажется, смотрите понимающе на этот мой фингал. Нет, это в другой раз, это именно позавчера. Там было другое. Но эта женщина... она шла одна... Я вдруг ощутил и понял женское существо, целиком, понимаете? Вместе с завязью новой жизни, в сочной темноте внутри тела... О, Господи, слова мне, увы, не даются! Рассказывать можно о всем понятных вещах. О своей личной, обыденной жизни. Кто я, с кем живу, как другие терпят мою болезнь. Но кому это может быть интересно? Для меня самого эта жизнь потеряла значение. Невыносимо терпеть неделю до воскресенья, вот в чем подлинный ужас. Слава Богу, совпало так, что меня в эти дни терпеть на самом деле никому не приходится.

Одиночество тоже вещь не слишком веселая: когда задыхался, как прежде, и некому было рядом помочь, позвонить врачу. Но кто бы меня, такого, теперь выдержал! В одиночестве легче по воскресеньям обезопасить себя, избежать недоразумений. Я приспособился в эти дни выбираться за город. О, посмотрели бы вы на меня в лесу! Я становился, наверно, временами похож на глупую молодую собаку. Вдруг ноздри вздрагивают, я кидаюсь к кусту, ничком падаю. Бусинки маленьких глаз смотрят на меня из прикорневой ямки. Даже у зверька не хватает реакции вовремя юркнуть в укрытие. Но я на какой-то миг знаю, как называется этот зверек, чувствую его запах, слышу биение сердца. Слух — о! — и слух открывается. Я слышу движение соков в стволе дерева... дыхание пор, шевеление корней под землей... Вы вправе не верить мне. Слова сплошь и рядом какие-то не те. Но они тоже на миг словно мне открывались. А потом — потом все пропадает. Пробуешь что-то вспомнить — где там! Ничего по-настоящему не вернуть... Я знаю, вы мне сейчас скажете: такое у всех бывает спросонья. Привиделось что-то необыкновенное, просыпаешься — не поймать даже хвостика. А некоторые, если совсем болезненно затоскуют, известным уколom могут себе помочь, да? Но это именно не химеры. Это принципиально другое, противоположное. Тут самая что ни на есть реальность. Предельная реальность. Даже когда летаешь взаправду... буквально, позавчера такое со мной случилось. Я сорвался с большой высоты. Потом сам поверить не мог, что остался живой. Нет, синяки не от этого. Я не то чтобы управлял полетом — тело управляло само собой. Время словно потеряло вдруг свое измерение. Я увидел перед собой птицу, она раскрыла беззвучно клюв, лапки прижаты, в перьях греются мелкие насекомые. Я увидел струи, потоки воздуха, они были разноцветные: слегка желтоватый, слегка голубой. И вдруг — чей-то голос! Отчетливый, понимаете? «Профиль ветра, полет в никуда, синяя тень накаляется до черноты»... Меня боль-

ше всего пронзило сознание, что эти слова не могли быть моими, потому они, наверно, так и остались в памяти. Другие же не оставались. Я еще не понимал, что случилось. Наугад, не зная зачем, вскарабкался на обрыв, прошел еще немного — и увидел у костра небольшую компанию. Они как раз собрались разводить костер, машина была неподалеку, играл приемник с какой-то невнятной музыкой. Если б не прозвучали те слова так отчетливо, я бы поостерегся подходить к людям. Надо было, видите ли, выяснить, не слышал ли их здесь кто-то, не произносил ли... Представляю, какое впечатление я на них произвел... еще не вполне опомнился. «Вы, может, про те стихи?» — переспросила меня девушка... девушка была с ними. Мне почему-то самому не пришло в голову, что это прозвучали стихи, по радио, их сразу же выключили или переключили, им не нужны они были. И никому объяснить было невозможно, при чем тут стихи, зачем они мне нужны. Не хватало только к ним приставать. Одна лишь собака смотрела на меня понимающим взглядом. Таким понимающим!.. Я единственный раз ощутил — как же это назвать? — что-то вроде встречного сознания... только бессловесное... как бы тление без огонька. Слов у нее не было даже таких зачаточных, как у меня. Такого со мной еще не случалось: второй приступ почти без перерыва. Собака — что! Собака все-таки не человек. Вот... — Он завернул рукав клетчатой рубашки на правой руке, показал следы красных отметин в желтых иодных пятнах. — Но ведь существовали, значит, слова! Как же их было найти, где? Я стихами никогда не интересовался, у меня дома и книг настоящих нет. Наугад разве найдешь? Можете смеяться: я эти два дня включал телевизор, радио — оттуда лезло что-то совсем непереносимое. И до воскресенья еще надо дожиться. Но вдруг, я подумал, встретишь на самом деле... как-то стесняюсь это слово произносить... поэта?.. Пусть не того, другого. Да хотя бы случайное понимание? Возможно такое ведь, правда?.. вы кому это?..

Молодой человек не смотрел на него, он оживленно жестикулировал, оборотясь к кому-то, появившемуся во входных дверях, помогал себе преувеличенными движениями рта. Одутловатый толстяк в джинсовой куртке, с неряшливыми рыжими бакенбардами на щеках отвечал ему энергичными знаками понимающих пальцев.

— А... вот, значит, в каком смысле, — уяснил положение небритый. Приподнял перед собой пустую рюмку, искал в ней взглядом остатки, хотя бы на донышке. Не нашел, но все-таки подержал перевернутую над открытым ртом, дал стечь последней капле. — Поэт, не поэт... да с ними тоже бывает, наверно, не каждый день, — сказал он сам себе, без особой надежды прислушиваясь к воздействию капли. — А если у них только по пятницам?

И приподнял вопросительно брови.

МЫСЛЬ О НЬЮТОНЕ

Яблоко упало на темя
Сморщенное усохшее на ветке
Как неразвившаяся идея

СОЛОВЬИ

Оказывается, соловьи тоже учатся у мастеров
А также у природы
Знаменитые курские певуны
Славились «лягушковыми» коленцами
Россыпи гремушки кваканье
В соловьиной аранжировке
Вызывали восхищение знатоков
Совершенствовались
Передавались из поколения в поколение
Война повыбила лучших

Потом повырубали леса
Осушили болота
Не у кого стало учиться
Каждый сам по себе
В меру способностей
Пробует возобновить умение
Надеясь на появление гения

ПУТЬ К ЖИЗНИ

Я опаздываю на первую же встречу со своей съемочной группой. Вина не моя, но что им теперь объяснять! Перед самым выходом из отеля позвонили, что машину за мной прислать не могут, сломалась, такси вызывать нет смысла, есть удобный трамвай прямо до студии. И, как бывает в таких случаях, куда-то запропастились в последний момент бумаги, никак их не удавалось найти, трамвай заставил себя ждать, потом, не доехав до места, свернул в депо, пришлось выбираться по незнакомым, безлюдным, как в воскресенье, улицам, спрашивать дорогу у редких встречных, которые не могли почему-то понять, какую мне нужно студию, показывали неопределенно в разные стороны, пока небритый мужчина в полосатой пижаме, выглянув из окна первого этажа, не ткнул пальцем в забор напротив, и я обнаружил, что уже несколько раз проходил мимо малоприметной таблички.

Никто меня даже не встретил. В павильонах полутемно, пустынно — изволь их теперь искать в незнакомых дебрях. Чего-то подобного следовало ожидать. Я для этой группы не просто чужой — пришлый, навязанный, нежеланный. Меня пригласили срочно спасти уже запущенный в производство фильм взамен неожиданно выбывшего режиссера. О причинах его отставки говорилось невнятно: за официальной версией о внезапной болезни, которая сделала продолжение работы для него невозмож-

ным, угадывалась история скандальная, злоупотребление наркотиками, психический сдвиг. В последнем своем интервью он многословно и путано рассуждал о чувстве, когда все происходящее с тобой, неожиданные события, переживания, умственные догадки оказываются в конце концов не совсем твоими, словно, блуждая по жизни, ты после разных проб и ошибок лишь добираешься до решений, уже заранее заданных — весь фильм становится попыткой вырваться за пределы этого чужого, ненастоящего мира...

Просмотр уже отснятого материала производил впечатление болезненное: хаотический набор испорченных, плохо сфокусированных кадров, какие отрезаются от ленты для отправки в брак. Лицо, размазанное по оконному стеклу — когда окно распаивается, лицо остается таким же нечетким. Смутные фрагменты нагих тел в полутьме, страстные всхлипы и шепоты — на переднем плане, освещенная ночником, все это время присутствует спокойная крупная муха, она тщательно, одну за другой, чистит лапки. Закадровый бурный спор, переходящий в драку, тени мечутся по стене — главное место в кадре все это время занимает скомканный лист бумаги; он почему-то внезапно вздрагивает, порывисто, сам собой, расправляется, и это продолжается чудовищно долго, внутри комка обнаруживается вновь и вновь напор неподвижных сил, ждешь, как идиот, очередного вздрагивания.

Бессмысленно было разгадывать, какое отношение все это могло иметь к сценарию, называвшемуся «Путь к жизни». Ни сюжета, ни даже лиц. Болезненный срыв, конечно, бывает разрешением творческого тупика — и ведь он создает вокруг несостоятельного творца ореол незаурядности, непонятости, чуть ли не мученичества. На съемках этот мэтр, говорят, мог вести себя хамски, матерился на женщин. Но такова человеческая психология, а женская, может, в особенности: в воспоминании разнузданность начинает выглядеть проявлением особого артистизма —

разве заменит обожаемого деспота нежеланный, вежливый, никому еще не известный, удручающе нормальный чужак?..

Меня о возможности такой встречи предупреждали, я это отношение смог ощутить даже по телефону. И вот теперь еще, как назло, опаздываю. Забастовку, что ли, они решили продемонстрировать? Свет выключен, непонятого назначения составные конструкции теряются в полутьме под высокими перекрытиями. Предметы аппаратуры торчат из разных углов, сверху, с боков. Ты словно забываешь вдруг, как называются эти черные штуковины, усевшиеся наверху рядами, точно громоздкие черные птицы на жердочках, спрятав головы под металлические кожухи. Самих слов как будто еще не существует. Мир еще не сотворен, здесь все лишено смысла, пока ты его не проявил, не вспомнил, не воссоздал, не соединил разрозненные частности мыслью и действием — такой растерянный, такой слабый, такой беспомощный.

Хорошо, что вы не видите меня сейчас, — бормочу я, сам себе усмехаясь, — не слышите, как бьется у меня сердце. Перед каждой съемкой, что поделаешь, бывает страх, как в юности перед экзаменом. Но не надейтесь, что ваш демонстративный прием меня в самом деле смутит, что я откажусь от работы. На съемках вам придется иметь дело совсем с другим человеком... о, вы еще убедитесь! Я сумею, если понадобится, прикрикнуть не хуже вашего ушедшего божества, поставить кого надо на место, а кому надо — польстить вовремя. Не привыкли обходиться без матерщины — полезут из меня такие слова, что сам с удивлением буду вслушиваться. Откуда что возьмется? Я обнаружу в себе такое, чего не подозревал прежде. Я могу показать вам, как вы должны танцевать, хотя сам этого никогда не умел. Я могу остановить движение на улице, которую только что боялся перейти. Я заставляю десятки, сотни людей двигаться, как мне надо, делать то, что сейчас, вдруг пришло мне на ум. Понадобится переспать с актрисой — не

сомневайтесь, не уклонюсь и от этой барской повинности, не ради сомнительного удовольствия — только бы любым способом утвердить свою власть. Я, допустим, не так знаменит, как ваш выбывший из игры мэтр, зато помоложе его, как раз на подъеме, сил хватит. Не просто ради честолюбия или денег мне надо взяться за эту работу, тут для меня вопрос жизни...

Вот, наконец, освещенное место. Дверь в артистическую уборную приоткрыта. Женщина сидит спиной ко мне перед зеркалом, парикмахерша рядом с ней осторожно пытается расчесать плохо поддающуюся гриву волос. Лицо женщины в зеркале густо набелено, брови, поднятые к переносице, выражают страдание, ей больно. Парикмахерша замечает меня, улыбается, как знакомому.

— Может, лучше снять это вообще? — говорит она. — Чтобы не мучилась? Как по-вашему?

Ага, все-таки обращается ко мне, — отмечаю я. — То есть, наверно, узнала или догадалась, что я режиссер, естественно спросить у меня совета. Но из нашей ли она группы? Я ни в чем пока не могу быть уверен, никого не успел даже увидеть. Что вообще значит ее вопрос?..

Прежде, чем я успеваю сообразить, парикмахерша двумя руками сдавливает голову женщины у висков, поворачивает ее слегка, потом сильнее, вместе с шеей. Что она делает? — вздрагиваю я. Так не снимают парик!..

Лишь в следующий момент до меня доходит, что перед зеркалом не женщина, а манекен. Эта кокетка вздумала со мной пошутить. Лицо не в меру замазано гримом, в редкозубой улыбке что-то есть неприятное. Она вовсе на самом деле не парикмахерша. И уборная не настоящая, выгородка какой-то чужой декорации. Своих декораций я, впрочем, еще не знаю, но в сценарии ничего похожего не было.

— Вам надо на съемки? — приходит женщина мне на помощь. — Вон через ту дверь прямо и выйдете, все уже там. Подождите, я вас сама провожу. Там помещение совсем темное. Дайте мне руку...

Затхлостью, настоенной на человеческих выделениях, дохнуло из темноты. Густой храп, тяжелое, со стоном,дыхание, едва различимые тела ворочаются на двухэтажных нарах. Куда она меня завела?

— Подождите, постоит здесь минутку со мной... я вам должна сказать, — возбужденным шепотом задышала мне в ухо женщина. — На открытом месте к вам подойти не рискнут, но пока в темноте... Многие там на вас надеются, ждут. Но вы все-таки человек новый, а люди тут так растерянны, перепуганы, не уверены, что теперь будет. Не обращайтесь внимания, если что. Нас так муштровали, оглядываемся до сих пор. У меня даже остался рубец от хлыста... вот тут, можете потрогать рукой... ну, подождите же. Спешить все равно незачем, поздно спешить... Вот.. нет, вот здесь... почувствуете?..

— Кто посторонний тут шляется? — раздается сиплый спросонья голос. Полоска света из дверной щели отблескивает в стекле бутылки, слегка привыкшие к полутьме глаза различают на столе рядом с ней кокарду форменной фуражки. Кто-то, дремавший за столом сидя, приподнимает голову, нашаривает выключатель. Под моими пальцами нежная женская грудь... Вот она что затеяла! В темноте, значит, нас не услышат!..

Я вырываюсь из ее руки. Движение получается слишком резкое, не удастся удержать в темноте равновесие — споткнувшись, стукаюсь головой обо что-то, царапаю щеку. Фанерная перегородка пошатнулась от моей тяжести, я чувствую, как халтурная легкая декорация начинает неумолимо крениться, рушиться и, ничего не видя, пригнув голову, прикрыв ее для защиты руками, а может, слегка вдобавок зажмурившись, напролом, вслепую пробиваюсь куда-то, словно сквозь распадающиеся стены, сквозь затажной обвал...

Ярко вспыхнувший свет на мгновение меня ослепляет. Не сразу удастся понять, где я. На городской улице посреди мостовой установлена съемочная аппаратура, кресло с

оператором высоко поднято на тележке с краном, один за другим включаются все новые юпитеры. Несколько человек с разных сторон оглянулись на произведенный мной шум и тут же отвели взгляд — из деликатности или ничего особенного не обнаружив. Я озираюсь: за моей спиной грома строительного мусора, прикрывавший его забор повален. Но это же не я... я этого не мог натворить... я выскакивал откуда-то не оттуда. Без освещения все имело другой, непонятный вид, уже невозможно сориентироваться. И где осталась та женщина?..

А тут, значит, уже все готово к началу съемок. Можно подумать, мне без лишних слов демонстрируют: вот мы, только вашего появления ждали, не думайте о нас плохо. Мы против вас на самом деле ничего не имеем, это вы уж вообразили. Опоздали, конечно, да с кем не бывает; не придавайте значения. Теперь можете приступать, без лишних разговоров входить в работу... Такого я в самом деле не ожидал. Надо будет им объяснить... попросить извинения, что ли? Только ведь не так сразу, я ни с кем еще не знаком, даже не представляю, что они собрались делать. Для начала надо все-таки оглядеться. А то со мной и впрямь чего только не бывало. Как-то я опоздал в крематорий, увидел, что несколько немолодых людей уже извлекают гроб из похоронной машины, им не хватало помощи, и с чувством неловкости за опоздание я поскорей подставил свое плечо, внес вместе с ними покойника в зал — но, лишь опустив гроб, увидел перед собой совершенно чужое, костяное лицо...

Почему-то не удавалось отделаться от чувства, что сама улица уже мне знакома. Как будто я только что именно здесь блуждал в поисках студии, забор этот еще стоял, и была проходная с табличкой. Разные улицы бывают, конечно, похожими. Но вот и небритый мужчина в том же окне, и полосатая пижама на нем. Он словно дожидался моего взгляда, подмигивает мне, как уже знакомому (я на всякий случай оглядываюсь: мне или кому-то сзади

меня?) В руке у него водочная стопка, за распахнутой створкой рядом виден аквариум, густо заполненный водяной зеленью, в глубине комнаты старомодный буфет. Он опрокидывает стопку единым глотком, крикает, потом, потянув щепотью из аквариума длинные водоросли, заталкивает их в рот, под щетину, с аппетитом жует. И опять подмигивает. Все-таки мне. Он меня знает. Знает, кто я. Может быть, предлагает свой эпизод на заметку, в будущий фильм. А что, надо будет его запомнить, — думаю я. — Смачно ведь у него получилось. Статист он, исполнитель роли или просто один из уличных зевак?

Вот они, группами и поодиночке уже собрались на пустынном время назад перекрестке. У некоторых зачем-то рюкзаки и наплечные сумки, у других чемоданы и даже, как в старину, котомки. Можно бы принять их за новобранцев, направляющихся к сборному пункту, но тут есть и пожилые, и женщины, одна даже беременная. Несколько бородатых мужичков в потрепанных ватниках вызывают мысль о крестьянах, уходящих на заработки, а может, о лагерниках. Не могу вспомнить, какое же место в сценарии приготовились тут снимать. Надо взглянуть...

И вдруг я осознаю, что в руке у меня больше нет папки. Я обронил ее где-то там, в темноте; среди прочих бумаг был и сценарий. Вот ведь еще некстати!... Впрочем, ладно, без сценария можно в конце концов обойтись. Я ведь и так собирался в нем многое изменить, что-то выбросить. Мой предшественник вообще явно относился к нему, как к условной заявке, сценарий ему надо было пробить, чтобы получить деньги для съемок, потом он просто на него внимания не обращал. Дело известное. Что-то чаще всего складывается само собой, не то что помимо твоей воли, а вопреки ей. Мы лишь задним числом выдаем это за результаты своего замысла, своих действий. Знать бы только наверняка, моя ли это все-таки группа, к себе ли я, наконец, попал. Не обязательно спешить. Пока пройдешь, не торопясь, к операторскому месту среди этих людей, имеет

смысл по пути прислушаться, о чем они говорят. Впору, конечно, досадовать, что ты настолько для них неизвестен; но по-своему это и хорошо, больше услышишь.

— А теперь куда? — слышу я рядом с собой — и слегка задерживаю шаг, но головы к говорящему не поворачиваю.

— Кому куда, — откликается усмешливый мужской голос.

— Это конечно, — соглашается еще один.

— Но должны же быть указания?

— Указатели дальше есть, так говорят. Помечено там-сям разными красками. Кто про них знает, тот ориентируется.

— Не верю я этим байкам.

— Но ведь одни попадают, куда надо, другие нет.

— Как повезет.

— Это не угадаешь.

— Прислушайся, как говорил один, к внутреннему голосу.

— Нет, знать тут все равно ничего нельзя. Вот, вроде бы суедемся тут каждый на свой лад, тычемся. Но лишь когда главный снимет общий план, сверху, откроется что-то вроде узора. То есть, если угодно, смысл. Внизу этого даже не представляешь...

— Может, они вообще снимают, когда мы даже не думаем? Аппаратура вокруг — так, для отвода глаз. А потом однажды вдруг скажут: смотрите, вот вы какие на самом деле...

Что они обсуждают? Какой вздор!.. Нет, пора, наконец, заявить о себе, взяться за дело, а то неизвестно, до чего без меня тут дойдет. Если они настолько меня не знают, я для них, конечно, пока никто. Им только еще предстоит почувствовать, как много я буду для них значить — когда начну объяснять идею, выстраивать их характеры, судьбы, роли, события. И они для меня тогда станут кем-то... Но вот, кто-то меня то ли уже узнает, то ли начинает догадываться. Женщина со скуластым азиатским лицом

робко поглядывает в мою сторону, она явно хочет меня о чем-то спросить, только не решается. Наконец, прихрамывая, делает ко мне шаг-другой. Придерживаясь за фонарный столб, снимает туфлю, осматривает. Каблук у нее скособочился, вот-вот отвалится. Поднимает на меня растерянный, измученный взгляд.

— Не знаете, есть здесь где-нибудь ремонт обуви? Я не могу так дальше идти.

— Ремонт? — переспрашиваю я. Всего только... Я ожидал другого вопроса.

— Нашла кого спрашивать, — оттаскивает ее за рукав назад, от меня подальше, немолодая женщина с сигаретой в губах. На голове старомодная, валиком, шляпка; большие темные очки прикрывают сеть морщин вокруг глаз. — Потерпишь, сколько понадобится.

Стоящие вокруг смехом подтверждают правоту ее слов. Почему они смеются над ней, как над неразумным ребенком? Неужели в самом деле боятся меня?

— Но я так не могу... Я никуда больше не пойду. — Взгляд женщины не отрывается от меня: вмещаюсь ли я, помогу ли?

Да, вот как раз самый случай вступить, заявить о себе, сказать действительно нужное слово.

— А почему кто-то считает, что каблук — мелочь? — говорю я. — Из таких мелочей, из таких эпизодов складывается повседневная жизнь, то, что называется ее сюжетом. Нам именно ее надо осмыслить, почувствовать. Разве можно на таком каблуке отправляться в дорогу, тем более если еще неизвестно, что там, впереди? Нет, без ремонта не обойтись. Значит, нам понадобится непременно сапожник. Вот прямо тут на углу хорошо будет поставить сапожную будку. Вроде той, дяди Мишиной, был когда-то у нас добрый такой инвалид, хотя и пьянчужка. Не знаю, может ли кто сказать, почему с этой профессией традиционно связано представление о выпивке? Слышали такое присловье: «Пьет, как сапожник»? Тут уже своя мифоло-

гия, не наше дело ее объяснять, нам важен образ. А он умел выпить, я вам скажу, заразительно, выпьет и приговаривает: «Ух! До пальцев ног дошло!...»

Сочувственный, понимающий смех ободряет меня. Они уже прислушиваются ко мне, готовы меня принять.

— Вот вы бы могли изобразить, между прочим, у вас получалось похоже, — я нахожу взглядом небритого, он так все и смотрит на нас из своего окна. — Да, да, это я вам. Выходите сюда, ко мне, я покажу. У него была особенная походка: левое плечо как будто спешило опередить остальное тело. Примерно вот так... Ну, вот и замечательно, что вы снова смеетесь. От таких мелочей может зависеть, состоялась или не состоялась роль, вот что я считаю нужным вам объяснить...

— Что там за посторонние разговоры? — в мою сторону, заставляя расступиться собравшихся, продвигается молодой загорелый бородач почему-то в камуфляжном наряде. — Зачем вы отвлекаете людей от работы?

— Отвлекаю посторонними разговорами? — я смотрю на него насмешливо, скрестив на груди руки. — Я здесь, видите ли, как раз работаю.

— Что значит работаю? Вы у меня не отмечались. Где ваше место?

Снова слышится разрозненный, неуверенный смех. Ах, эти люди в толпе, они всегда готовы склониться на сторону, которая им кажется более сильной.

— Отмечаться у вас мне вовсе не нужно, — говорю я спокойно, неторопливо, оттягивая эффектное торжество. — Я, к вашему сведению, не из массовки.

— Кто он такой? — раздается голос откуда-то из усилителя сверху. Я замечаю, что люди вокруг, как и я сам, вздрагивают от неожиданности.

— Да, кто вы, позвольте спросить, такой? — повторяет вопрос бородач. В тоне его уже нет прежней самоуверенной наглости; он выжидательно похлопывает изогнутым хлыстом по голенищу высокого военного сапога. Все та

же непроясненность еще мешает мне ответить ему, как он заслуживает. Могли бы меня знать хоть по фотографиям, не настолько же я неизвестен. И вот же скуластая что-то шепчет на ухо пожилой в очках.

— Плохо, что вы меня не знаете, — говорю я спокойно и холодно. — Однако придется узнать. Я теперь здесь у вас режиссер.

— Режиссер? — переспрашивает он без удивления и даже без интереса. Вот ведь опять — не такой реакции я от него ожидал. Достает из нагрудного кармана бумажку с каким-то списком. — А фамилия?

Я называюсь в некоторой растерянности — теперь мне уже почти хочется, чтобы выяснилось недоразумение, я все-таки не к себе попал. Пусть даже неловкость, но все хотя бы станет на свои места...

— Есть такой, — находит он меня в списке. (Вот оно как! Значит, надежда не оправдалась.) — Пожалуйста, занимайте свое место, все давно ждут. А узнать вас в таком виде — попробуй. Вы себя зачем-то разукрасили не знаю как... и еще к нам претензии. Марья Васильевна, приведите, пожалуйста, лицо режиссера в порядок, пора уже начинать, в самом деле...

Я невольно трогаю рукой щеку. На ладони отпечатывается полузасохшая кровь. Ободрал, видимо, в темноте, так сильно, и не заметил. А он что, высказался в том смысле, что это у меня грим? Или хотел таким образом скрыть собственное смущение? Вон, удаляется, как ни в чем не бывало, на ходу раздавая попутные распоряжения, хлопывая по голенищу хлыстом... Наглец, однако... надо будет с ним в первую очередь разобраться.

— Отойдемте немного в сторонку, — трогает меня за рукав кто-то. Я оборачиваюсь к женщине, словно все еще не понимая происходящего. Голос знакомый, но лицо под густым гримом выглядит в ярком свете совсем не таким, как только что. Раскрывает, приподняв колено, чемоданчик с гримерными принадлежностями.

— Кто это такой? — показываю я взглядом на удаляющегося бородача. — Почему он так распоряжается?

— Ассистент режиссера, кто же еще? — Она смотрит на меня удивленно, словно не уловив шутку. — Подержите-ка, пожалуйста, одной рукой баночку. Поставить здесь некуда.

— Ассистент режиссера? — переспрашиваю я. — Значит, мой помощник?

— А чей же еще? Ну, вы юморист! — отдает она, наконец, мне должное. Редкозубая улыбка делет лицо снова знакомым. При таком свете даже под густым гримом видно, что лицо уже не первой молодости. — А в эту руку возьмите, будьте добры, коробочку. Вот так...

Ватным тампоном подсушивает мне щеку, мягкой кисточкой проводит по лбу. Присесть здесь негде, в зеркале себя я не вижу. Но прикосновение приятно, никого ближе нее здесь сейчас для меня нет, хочется найти с ней общий язык.

— Думаете, мне ваша помощь нужна? — говорю, усмехаясь, я. — Странная идея. Больше смысла имела бы медицинская помощь. Не грим, а хотя бы йод.

— Ну, вы меня еще мало знаете. Я вас лучше медика приведу в порядок. Будете совсем как новенький, никто и не догадается. На съемках ведь такое бывает, сами знаете. Начнут разыгрывать какую-нибудь драку — сейчас ни в одном фильме без этого не обходится — и так войдут иной раз в роль, чуть не до смертоубийства доходит. И остановить нельзя, это же лучшие кадры. Тут самая начинается для меня работа. Лицо по-настоящему только в работе и возникает. Никто про себя не знает, как он выглядит, пока не увидит лицо на экране. Для вас, режиссеров это называется «создавать образ», правильно я говорю?.. Что вы так морщитесь, вам же не больно? Я знаю, вы тоже, как он, выбросили сценарий, вы чувствуете свою силу. Тем более в таком возрасте, у вас все впереди. Я, может, вам кажусь в этом смысле не подходящей, но вы просто не знаете, какой я могу быть.

— Хватит с меня этого. Хватит, — отвожу я от себя ее руку. Она занимается уже не только лицом. Зачем-то расслабила галстук, расстегнула рубашку, водит по груди неприятно холодными пальцами. О, с ней надо быть начеку. Вздумаешь переспать в самом деле с такой вот, а окажется, переспала-то с тобой она, и власть над тобой перехватит — не успеешь моргнуть. Известное дело. — У меня свои представления, свои планы. Я и пришел сюда сделать то, чего не смогли другие. О каких вы говорите лицах? Лиц-то я как раз до сих пор не видел, он, достославный мэтр ваш, ими не интересовался, то-то и оно.

— Тише, не так громко, я же предупреждала, — делает она знак рисованными бровями. — Думаете, вы все уже видели, все материалы знаете? Всего вам, поверьте, и не показали. Вы можете думать, что его больше тут, с нами, нет. Но рубец-то, рубец остается на всю жизнь, этого не забудешь...

— Внимание! — гремит откуда-то из пространства, сверху усиленный голос. — Режиссер, наконец, на месте, мы можем начать. Некоторые уже решили: слинял. Нет, он теперь с вами, за работу готов взяться. Отдадим должное его мужеству. Вы знаете, сколько всем до сих пор было обещано, видите, что тут творится на самом деле. Декорации на глазах рушатся, свет недостаточный, пленка некачественная, деньги уже на исходе. Будем надеяться, теперь пришел человек, который возьмет на себя ответственность, объяснит нам, что собирается делать дальше. Прежде, чем предоставить ему слово — для информации: плакаты, лозунги и все прочее заготовлено, вам раздадут. Не удивляйтесь, если кто получит пустое полотнище, без надписей. Не все надписи еще сделаны, не все даже утверждены. В процессе, будем надеяться, станет ясно, какие на самом деле понадобятся. Режиссер, просим вас...

Бурные усиленные аплодисменты звучат из невидимых динамиков. Я озираюсь в недоумении. Несколько человек поближе ко мне аплодируют неуверенно, не-

слышно, другие, как я, оглядываются, ищут кого-то взглядом. Как мне теперь говорить? Каких слов он от меня требует?

— Я не знаю, чего вы от меня ждете, — говорю я достаточно громко — но тут же осознаю, что голоса моего уже в нескольких шагах не слышать. Мне даже не позаботились дать микрофон — и где его взять? Люди там, сям все еще оглядываются по сторонам, ищут меня. Скуластая женщина, скособочившись на сломанном каблуке, взглядом, исподтишка, незаметно для других показывает мне на небольшой помост из металлических конструкций. Я понимаю этот ее взгляд, благодарно киваю и вскакиваю на помост, радуясь молодой легкости своего прыжка — пусть видят.

— Я никому ничего не обещал! — кричу я, вновь чувствуя бессильно, что голоса моего все равно не слышат. Что делать? Продолжать все равно нужно. — Я только приступаю к работе, оправдываться мне не в чем. Нам предстоит пережить с вами события многих лет. Сюжет до конца все еще не вполне ясен. Никто наверняка не может знать, что ему предстоит. Не стану вас уверять, будто уже знаю сам, как будут выстроены события. Я властен над ними не больше прочих. Но только не слушайте досужих фантазий о каких-то узорах, каком-то смысле, который будто бы может открыться неизвестному взгляду сверху. Наше дело, позволю себе так выразиться — повседневным, трудным усилием выстраивать жизнь, преодолевать ее невнятицу, хаос. Для этого я сюда и пришел. И не напрашивался, поверьте. Я взялся за эту работу, чтобы ее спасти. Хватит ли у меня на все сил, нет ли — заранее сказать не могу. Каждая работа для меня — кровь из носа, на пределе отчаяния. Но я не отказываюсь...

— Bravo! Аплодисменты! — одобряет свысока громогласный голос.

И аплодисменты звучат снова, усиленные мощной техникой — записанные на пленку аплодисменты.

— Задача вам ясна, — продолжает из громкоговорителя голос. — Свобода, как вам сказали, — не хаос, это воля и замысел. Надо держать жизнь в руках; кому положено, должен об этом заботиться. Пункты движения обозначены. Порядок будет поддерживаться необходимыми средствами...

Кто это меня комментирует, — озираюсь я, — почему он переиначивает мои слова? По какому праву? Почему микрофон даже здесь оказывается предоставлен не мне, а неизвестно кому, вспомогательному, в конце концов, персоналу? И почему же остальные так радостно оживлены? Гремит оркестр, кричат птицы, но ни оркестра, ни птиц не видно. Эта музыка, весь этот шум вместе с оживленным смехом воспроизведены усилителями. Охранники в камуфляжной форме, словно мои размножившиеся помощники, собирают людей в колонну.

— Почему вы им подчиняетесь? — кричу я им со своего помоста. — Куда вы собрались?

Громадная тень размахивает руками на противоположной белой стене, повторяя мои движения. Это моя тень — и все смеются, показывая на нее пальцами. Стена возвышается над прочими постройками, голая, без окон. Я до сих пор ее словно не видел.

— Вы не туда смотрите! — кричу я. — Обернитесь ко мне, ведь там всего только тень! Я хочу вас предупредить: не поддавайтесь обману! Не поддавайтесь чьим-то словам о порядке! Вы даже не подозреваете, куда вас сейчас поведут...

Тонкая изогнутая тень пересекает экран над тенью, воздевшей руки. Усиленный громкий хлопок, новый взрыв хохота. Жгучая боль отдается в моей спине.

Да что же это такое? — озираюсь я, ничего не понимая, не веря себе сам. Это настоящая боль! Надо как угодно очнуться, опомниться, придти в себя. Такого не может, не должно быть! На экране всего лишь тень скорчилась от боли, недоумения, страха.

— Почему вы смеетесь неизвестно над чем? — кричу я. — Знаете ли вы вообще, что происходит сейчас с нами? Небо у нас над головами или кровля съёмочного павильона? Вы ослеплены искусственным светом. Если кричат птицы, то где они? И ваш ли это смех?..

Длинная жгучая тень снова пересекает экран.

— Да больно же! Откуда дотягивается этот бич? Кто это делает? Мне в самом деле больно! — кричу я в хохочущие спины. — Если вам надо было убедиться, живой ли я — не сомневайтесь. Мне больно по-настоящему. Мы все живые, непоправимо живые, поймите же наконец... Да сколько же можно? Хватит!..

В воздухе вдруг задержались, как насекомые, черные крапинки; полосы и зигзаги продернули тела и предметы, как бывает, когда пошел поцарапанный конец пленки — потом все оборвалось. Сквозь сплошное белое сияние можно различить лишь волнистую неровность плохого экрана.

— Сейчас перемотаем обратно, — обещает сверху усиленный голос.

ПОНИМАНИЕ

Наконец-то, наконец ты встретил человека, способного тебя понять. И даже больше чем понять — его суждения, вкусы, оценки почти совпадают с твоими, и даже порой не «почти». Совпадение без остатка — право же, удивительно! Даже слова он употребляет те самые, единственные, точные. С ним нет надобности договаривать до конца фразу: он с полуслова догадывается, что ты хочешь сказать, и заканчивает вместо тебя, и вы оба смеетесь радостно. Он, может, единственный знает тебе цену. Он на твоей стороне, когда другие с тобой не согласны. «Ты прав, — говорит он. — Как они этого не понимают? Я думал буквально то же». Просто чудо, честное слово! Даже устройство его тела

не раздражает тебя, как это бывает с другими — ты в этом смысле чувствителен. Он не слишком волосат, его пальцы не слишком длинные, не слишком короткие, с правильными приятными ногтями, такими же, как у тебя, и такими же лунками на них. У других многое бывает так неприятно! Можно только радоваться, что ты, наконец, встретил такого.

Одна беда: иногда возникает чувство, что ему с тобой все более скучно. Начнет что-нибудь говорить, развивая твою же мысль — и вдруг смолкает, смотрит мимо тебя.

— Что зря обсуждать? Все и так ясно, — сказал он однажды — и усмехнулся. — Не совсем лишь понятно, зачем ты нужен. Достаточно одного меня.

ДУХ ПУШКИНА

Уже ощущая в семье напряженность, Инна Петровна вовсе не спешила становиться на сторону дочери. Зять Игорь казался ей в каком-то смысле существом более уязвимым и беззащитным, несмотря на мужественную внешность. Этаким рослый, спортивно сложенный брюнет. Хотя и в очках. Но не в очках дело. Когда тридцать лет проработаешь гинекологом, баб поневоле воспринимаешь трезвей, если не сказать: циничней. Впрочем, циничной не ей было себя считать. Раньше пятнадцатилетняя девочка ложилась на аборт, так на нее приходили посмотреть и персонал, и из других палат. А теперь — ну, что рассказывать! Женщины, при всех своих сентиментальных сюсюканьях, всегда больше мужчин знали о делах телесных. А нынешние — так вообще, наверное, с детского сада.

Как-то в газете Инна Петровна прочла интервью знаменитой кинозвезды. Красотка объясняла, что ей нужен ежедневный оргазм, это полезно для кожи. То есть мужчины — это приспособления для удовольствия и для кос-

метических целей. (И, соответственно, наоборот). С возрастом не совсем отчетливо помнишь себя прежнюю, но даже при своем медицинском профиле думать так Инна Петровна все-таки не умела.

Среди множества ее давнишних ухажоров был один коллега-патологоанатом, считавший нужным разоблачать перед дамой подоплеку всяческих сантиментов. ««Ее глаза, как два тумана», ах! Знаешь эти стихи? А я могу тебе для наглядности показать эти туманы: два слизистых белесых шара со сплетением кровяных жил на одной стороне и темным кружком на другом. «О веки, преддверие влажного счастья!» Это о простых кожистых пленках, которые натягиваются на глазные шары, чтобы прикрывать их и смачивать». Он мог так со смаком перебирать все органы, жившие своей скрытой, но вполне описуемой жизнью. Мешки, трубки, пленки из соединительной, мышечной, слизистой ткани, они выделяют соки, реагируют на поступление веществ и внешние раздражители. «Вот, посмотри, — все больше входил он во вкус философствования, — кто это сейчас прогуливается мимо нас по улице? Если не просто взглянуть, а, как я говорю, в суть вникнуть? Яйцеклетки, ты же не станешь отрицать. Ну, конечно, соблазнительно упакованные, оформленные, благоухающие. В них, в этих самых клеточках, и заключена основа, программа биологического продолжения жизни, а сколько вокруг наворочено! И вперемешку с ними — вон, естественно, семенники. Тоже оснащенные ногами и прочими причиндалами. Оформленные, можно сказать, в виде произведений. Хотя, допустим, и не такие эффективные. Скорей, я бы сказал, невзрачные. Волосатые, мятые, прыщеватые. А ноздри-то, ноздри у тех и других — я имею в виду, у носителей — подрагивают. Они ведь ищут друг друга, сближаются, подбираются. И попутно происходит, смешно сказать, все, что называется человеческой жизнью. Со всеми этими страстями, историей, поэзией. Можешь себе представить?»...

Не то чтобы Инна Петровна внутренне такому взгляду сопротивлялась, нет. Она сама умела мыслить естественно и могла бы кое-то выразить в том же духе. Но в чужом исполнении это как-то не вызывало у нее восторга. Хотя она готова была отдать должное неординарному резкому уму. И специалист он, говорят, был первоклассный. А, может, просто не очень вдохновляли ее поцелуи с бородатым медиком. Пока пробьешься к губам сквозь раздражающую жесткую волосню, к тому же густо пропахшую резким табаком, а потом еще какой-то волосок почувствуешь прилипшим на языке, приходится его снимать пальцами... Нет, да и не в этом было дело. Просто ничего у нее с ним не получилось. Как не получилось по разным причинам со всеми другими, в том числе безбородыми, так что жить она осталась одна со своей Любой, но речь в конце концов не об этом.

Речь о том, что зять Игорь казался ей иногда каким-то не вполне, что ли, реалистом — по нынешним временам. Хотя и был он уже доктор наук, вообще взлететь сумел, как положено. Даже трогательно, как удалось ему сохранить юношеское качество чувств в своей сибирской провинции, где-то под Омском. Просто, наверно, пересидел незатронутым самые ломкие годы в лесном интернате для особо одаренных физико-математиков. Однако при этом вымахал в полный рост, имел разряд по волейболу, главное же, проявил, должно быть, действительно незаурядный талант в своей области — раз его в виде исключения пригласили на должность в престижный московский институт. И жильем при этом обеспечили, для начала, правда, в холостяцком общежитии, но квартиру обещали в перспективе вполне реальной, хотя и не самой близкой. Тогда наука была еще в почете и возможностями обладала. Не получил он квартиру только потому, что уже поселился у Любы. То есть у Инны Петровны. Жилплощади у них, слава Богу, хватало с запасом. Старинная профессорская квартира, просторной планировки, молодоженам не обя-

зательно было искать обособления в другом месте. Хотя Инна Петровна тогда еще подумала, что в каком-то смысле зять, пожалуй, поторопился. Не в смысле женитьбы, разумеется, а в смысле официальной прописки. Мог бы получить для себя и дополнительную жилплощадь, оставалось совсем немного подсуетиться. Современная женщина бы не отступилась, а ему, видимо, просто в голову не пришло.

Инна Петровна не стала бы утверждать, что семейная напряженность оказалась прямо связана с новой работой Любы. Девочка по знакомству сумела устроиться редактором на телевидении, в передаче, которая называлась «Пятое измерение». Туда приходили демонстрировать свои манипуляции и теории всякие колдуны, астрологи, предсказатели и вообще экстрасенсы. Всерьез слушать глубокомысленные их философствования, смотреть на красивые пассы руками, на демонстрацию планетных схем и древних магических знаков, на массивные амулеты и даже полновесные цепи, украшавшие шею вместо бус, Игорь во всяком случае не мог, и обе женщины, вполне соглашаясь с ним, готовы были переключить телевизор уже после нескольких минут подобного зрелища. Но если он просто уходил к себе в комнату, поскольку сидеть у телевизора вообще не любил, они иногда смотрели «Пятое измерение», отчасти посмеиваясь. Хотя и не без интереса.

Сама-то Люба ведь к передаче имела отношение лишь служебное. При своем филологическом образовании она выполняла в редакции разную организационную работу, утрясала расписания, встречи, созванивалась, договаривалась. Ужасней всего ее допекали звонки заинтересованных или недовольных зрителей. Один неумный псих, скажем, требовал непременно управы на экстрасенса, который с телеэкрана заряжал энергией своих рук воду, и этому зрителю так ее зарядил, что от воды у него разорвался мочевой пузырь. Можешь себе такое представить? — со смехом апеллировала Люба к медицинскому авторитету

своей мамы, одновременно демонстрируя и мужу юмористическую отстраненность от собственных занятий.

Хотя, если говорить честно, медицинское образование не совсем исключало известной двусмысленности в отношении к подобным вещам. У Инны Петровны как-то случилась в жизни тягостная полоса. На работе пошла неприятность за неприятностью: конфликт с заведующим, жалоба от склочной пациентки, вдобавок лопнула отопительная труба. И ко всему еще Инна Петровна поскользнулась на гололеде, болезненно повредила руку. Хотя обошлось, слава Богу, без перелома. На работу все равно требовалось ходить. Ей было невдомек, что Люба рассказала о маминых злоключениях какому-то целителю восточной школы, как раз просившемуся к ним в передачу. И тот заочно, по одним лишь календарным данным, определил, что Инна Петровна выпала, как он выразился, из космического цикла. Существовали, оказывается, простые способы вправить отдельную жизнь в подходящую колею. Люба сочла нужным передать маме его рекомендации. Как всегда, разумеется, не без юмора, но они ведь были не обременительны, в любом случае безвредны — отчего было не попробовать? Следовало, например, повторять по утрам несколько дыхательных и в то же время мыслительных упражнений, на месяц исключить из диеты молоко и — совсем уж смешно — отказаться в одежде от зеленого цвета. Чего это Инне Петровне стоило? Тем более, что молока она и так не пила, а отказаться от зеленой кофточки было не такой уж большой жертвой.

Сколько угодно можно было потом самой себе повторять: смешно тут что-то связывать с дальнейшим. Рука зажила бы и так, трубы рано или поздно бы все равно починили. Но, между прочим, не только склочница утихомирилась вдруг будто бы сама собой, без видимых причин — заведующим перевели почему-то на другую работу и на ее место рекомендовали Инну Петровну. Правильней было говорить, конечно, о реальных причинах, находить любые

объяснения, наконец, совпадения. Это ведь как с приметами: не может же с тобой ничего на самом деле случиться лишь оттого, что дорогу тебе перебежала черная кошка. Но в глубине души едва ли не у любого из нас оседает все-таки: мало ли что? Мы ведь действительно не знаем всего в мироздании, мы не можем осознанно воспринимать своими ограниченными чувствительностями каких-то потайных взаимосвязей, влияний, по-современному говоря, энергий. И даже если дело не в космических силах или, там, колеях — разве не знают те же медики лучше других, как могут влиять на болезнь и здоровье воздействия не одного только материального свойства?

Ну, если уж совсем начистоту — не многие ли из нас самому Богу молятся вроде бы на всякий случай, вроде бы не веря всерьез? Но вдруг поможет, вдруг пронесет беду? Мало ли что? Когда тяжело болела, скажем, Любочка — сама Инна Петровна должна была за собой такое признать. И ведь пронесло, и не один раз помогало, вот против чего не попрешь.

— Иные вещи, допустим, лучше воспринимать, как игру, — любил демонстрировать свою объективность Станислав Всеволодович, он же Стас Колобов, Любочкин начальник, то есть ведущий ее программы. — Совсем без примет было бы тоже скучновато, согласитесь. Если у вас украли кошелек в трамвае, у которого сумма цифр на номере составляла тринадцать — в следующий раз это число нельзя же для себя не отметить. То есть нельзя не доверять совсем своему опыту. А в какой степени вы этому верите или не верите — вопрос другой. Главное, жизнь расцветивается оттенками, так жить интересней.

Появление в доме этого Стаса, если оглянуться на развитие событий, наверное, и впрямь имело отношение к еще явно не обозначившейся в семье напряженности. Для Любочки сам такой визит был лестен, и не просто потому что в гости пришел непосредственный ее шеф. Он был, что ни говори, телевизионная знаменитость, человек во-

обще артистической элиты, его уже на улице узнавали. Слабость к таким знакомствам тоже можно было понять.

Одно время Любочка привадила к дому актера по фамилии Мячин. Не то чтобы он был особой знаменитостью, и внешностью, допустим, не так уж пленял. Росточка совсем небольшого; штаны в обтяжку, да еще при кургузом пиджачке, делали немного забавной — особенно когда смотришь сзади — его вихляющую походку. Такая походка бывает у цирковых собак, когда на них надевают штаны. Но штаны были все же по самой артистической моде, клетчатые, и пиджачок яркий, канареечный. А ко всему, повадка у него была привлекательная, живая, разговоры занятные: всегда интересные истории и сплетни из театрального закулисья, небрежные, как бы вскользь, упоминания знаменитых имен — с намеком на собственную причастность. Он мимоходом поглощал к чаю шоколадные конфеты, которые сам приносил Любе в подарок, потом, взглянув на часы, извинялся: у нас опять допоздна репетиция. Все знали, что он репетирует роль не кого-нибудь, а самого Мармеладова в спектакле «Преступление и наказание». И режиссер был какой-то непростой. Недели три это длилось. Контрамарки на премьеру Мячин персонально обеспечил. Было в самом деле приятно сидеть на лучших местах, как не простым людям, да еще бесплатно. Занавес открылся, Инна Петровна, Игорь и Люба с особым нетерпением стали ожидать появления Мячина. А действие все шло и шло без Мармеладова, только имя его возникало время от времени, но как многозначительно! Вдруг за сценой раздался истошный крик: «Мармеладова раздавили!» — и Мячина выволокли, наконец, на сцену. То есть в буквальном смысле выволокли, по полу. Не нашлось, видно, лишнего человека, чтоб хоть придержать за ноги. Инна Петровна даже ладонями щеки сжала от болезненного сочувствия. Так он и пролежал некоторое время на сцене: лицо в кровавой краске, простонал раз-другой невнятно. Потом его уволокли назад. На этом роль его

кончилась. Люба едва одолевала спазм хохота, прижав кулачки к животу. Игорь прикосновением ее сдерживал. Он был зритель вообще более благодарный, спектакль ему, как ни странно, понравился, а Мячина он склонен был даже одобрить за самоотверженность.

Нет, Стас Колобов был Мячину, что говорить, не чета. Даже внешне. Хотя, если уж на то пошло, в нижней части тела Инна Петровна у них готова была найти что-то общее. То есть в сложении у Колобова была некоторая непропорциональность, верхняя часть тела казалась тяжелей и крупней. Но, во-первых, эту непропорциональность почти скрывали умело подобранные, расширяющиеся у бедер брюки и фирменная, уже всенародно известная безрукавка вместо пиджака. А главное, на телеэкране-то и показывали одну лишь эту верхнюю часть, в сидячем положении, и выглядел он, что надо. Этакое молоджавое, загорелое (разве что под легким гримом) лицо, при седой, короткой, ровно подчеркивающей лоб челочке — казалось, он даже с экрана источает аромат тонких мужских духов.

Когда они стояли рядом с Игорем, прямого сравнения, ясное дело, он не выдерживал. Хотя одной из слабостей Игоря была вообще его нелюбовь к парфюмерии. У Любы он вынужден был терпеть духи и косметику, без этого на работе она бы чувствовала себя просто не одетой. Но как-то грубовато пошутил, что предпочитает природный запах женщины. Таким нецивилизованным ноздрям, надо понять, дополнительных приманок не требовалось, и Люба ни в каком смысле не могла на него пожаловаться. При мелких расхождениях во вкусе, он ее такой устраивал.

Колобов же этот сам всячески демонстрировал, что не просился в гости отнюдь не из интереса к своей подчиненной, он давно хотел познакомиться с доктором наук, о котором оказался наслышан. И словно в подтверждение привел с собой сразу двух сотрудниц. Одну звали Белла, это была на вид простоватая толстушка, при своей комп-

лекции затянувшая на себе платье таким неосмотрительным количеством тесемочек, что у нее в разных местах выпирали груди. Другая, Соня, явно выглядела поумней, хотя весь вечер молчала, покуривая. У нее было треугольное личико эльфа с красноватым кончиком носа; набухшие, как будто сонливые веки слегка прикрывали выпуклые глаза. Колобов сразу по-свойски предложил называть себя просто Стасом, получив взамен право и доктора наук называть просто Игорем. Ему интересно было получить для своей программы какие-то комментарии по электронной части.

— Я ведь сам ни в чем не специалист, — говорил он, откинувшись на спинку стула с рюмкой принесенного им же виски в руке. В интонации его был тот оттенок мягкой иронии к самому себе, который не мог не нравиться в его передачах: он держался раскованно и без нажима, помогая высказаться другим и как бы демонстрируя собственную непредвзятость, неосведомленность. Просто интересовался от имени многих, а диапазон этих интересов был широк. — Но мне ведь показывали эффекты, регистрируемые действительно объективными приборами. Сидит этот самый маг или экстрасенс, ничего не делает, только напрягает что-то внутри, может быть, в мозгу, бес его знает, не берусь комментировать — и стрелочки начинают вдруг дергаться, а на экране ровные волны дают вдруг необъяснимый всплеск. Это без всяких дураков, без жульничества, без передергиваний, я собственными глазами видел. И ваши же электронщики говорят, что достоверных утверждений или опровержений у них нет, тут нужно приспособить более тонкую аппаратуру, продумать другую методику. Упоминали, между прочим, и ваше имя: ваши работы, мол, в наиболее близкой области. А вы могли бы что-нибудь объяснить?

Игорь, однако, не демонстрировал никакой охоты к увлекательному разговору. Он лишь усмехался слабо, покачивая наклоненной головой и как бы потирая при этом лоб о пальцы.

— На дисплеях всегда какие-нибудь кривые дергаются... Особенно если кому-то хочется показать фокусы, — не удержался он все же от комментария.

— Кого вы имеете в виду? — оживился Колобов. — Этих самых экстрасенсов или, может, своих коллег?

— Я их не особенно знаю, — ответил Игорь уклончиво. Соня смотрела на него с молчаливым интересом, выпуская из губ дым. Но толстушка Белла все-таки вставила:

— Кибернетику тоже объявили когда-то лженаукой. И генетиков преследовали.

Игорь не то чтобы сильнее качнул головой, но точно попытался замаскировать скрытно занывшую зубную боль. Стас уловил эту реакцию и дипломатично постарался уйти от темы.

— Во всяком случае, мы не будем вводить цензуру, не правда ли?

— Боюсь, цензура начнется скорей для других, — хмыкнул Игорь не без угрюмства.

Люба переводила встревоженный взгляд с одного на другого, словно опасалась напряженности и даже ссоры. Она ожидала другого разговора и не понимала угрюмой мрачности мужа.

Между тем для такой мрачности у Игоря и без экстрасенсов было достаточно причин. Инна Петровна вполне могла представить себе положение в его институте — да разве только в одном институте? Известно было, как унижительно нищала наука. Сотрудникам переставали платить даже мизерную зарплату, сам Игорь занимался уже не столько научной работой, сколько выбиванием денег, попытками сохранить отдел, лабораторию. О закупке аппаратуры нечего было и говорить, но один за другим кто-то от него уже уходил — на другие хлеба, а то и вовсе куда-нибудь на Запад. Ребята ведь были все головастые, хотя в общении, может, и выглядели скучновато. Они приходили когда-то в гости, за столом, как положено, выпивали, анекдоты рассказывали, с женщинами любезничали, и Люба

отдавала им, разумеется, должное — при их-то званиях! Но по-человечески была в них для нее не то чтобы какая-то суховатость, но недостаточность, что ли. Не умели они произвести такого впечатления, как тот же хотя бы Мячин.

К Игорю это, естественно, не относилось. Хотя он сам был в компании человек не многоречивый, но Люба в этом смысле вполне его компенсировала. Она шутя говорила, что с этим человеком совершенно невозможно поспорить — такой он был терпимый к любым женским взбрыкам, так умел мягко свести все к ерунде. Об умственных его достоинствах излишне ведь было и поминать. Люба не зря любила его демонстрировать знакомым — такой человек! Не говоря уже о том, что он в нее до сих пор был влюблен совершенно по-юношески. Но вот теперь он пропадал неизвестно где допоздна, приходил совсем посеревший, от расспросов отмахивался — видимо, не очень хотел рассказывать, с каких приработков приносил домой свои деньги.

Мужское его самолюбие наверняка было в немалой степени уязвлено тем, что деньги-то эти были мизерны рядом с Любочкиным заработком. Получалось, что теперь она (не считая матери) кормит семью, и очень даже неплохо. Посвящать его в подробности тоже было не обязательно, но Инна Петровна, в общем-то, могла сама догадаться, что помимо официальных поступлений перепали ей и добавки полуофициальные. Ведь колдуны эти и астрологи в их передачу наверняка рвались, отталкивая друг друга локтями. Лучшей рекламы нельзя было вообразить. А реклама всегда стоила денег, и любые деньги окупались десятицей: после каждого появления на экране клиентура их разрасталась взрывообразно. В подоплеку денежных колобовских дел Люба сама вникать не собиралась, ей достаточно было сознавать, что она получает естественные премиальные наравне с другими.

Насчет полного равенства она сама перед собой, допустим, отчасти лукавила. Не всем ведь в редакции достался

однажды в виде премии не много не мало японский видеомэгаффон фирмы «Сони». Эта игрушка впервые вызвала у Игоря откровенно неприязненную реакцию. И не просто, наверное, потому, что он к этой технике никакого влечения не испытывал. В пору, когда это был еще редкий предмет роскоши, Люба повела его как-то к знакомым посмотреть пикантный, как оказалось, фильм. То есть, насколько могла понять Инна Петровна, что-то из разряда более чем просто эротики. Вернувшись, Люба со смешком рассказывала о полном безразличии мужа к подобным картинкам. «Ну, показали бы они нам что-нибудь, до чего мы сами не додумались, — словно оправдываясь, разводил руками Игорь. — Не нужны же тебе наглядные пособия». И Люба довольно шурилась, как бы молчаливо признавая, что в возбуждающих средствах муж ее во всяком случае не нуждается.

Тут же неприязненная реакция вызвана была, пожалуй, скорей неявным подтекстом.

— Это за что дают такие подарки? — спросил Игорь, не позаботясь о форме вопроса. Может, он сам не мог бы внятно обосновать, почему спросил именно так. И Люба тут же воспользовалась возможностью для отпора.

— Что ты имеешь в виду? — вскинула она уязвленный взгляд. — Я же говорю: премия.

— И всем, что ли, такие дают?

— Какая разница, всем или не всем? Это не мое дело! Тебе что-то не нравится? Скажи прямо. Я вовсе не мечтаю смотреть какие-нибудь фильмы. Могу, если хочешь, сразу вернуть эту игрушку. Скажу, что отказываюсь. Ты хочешь?

А на глазах у нее сами собой уже набухали слезы, и чем мог Игорь ей возразить? В воздействии женских слез на мужчину есть, право же, что-то необъяснимое. Интересно бы Инне Петровне послушать на сей счет своего когдатошнего ухажора-патологоанатома. Биологический смысл выделения этой солоноватой, а то и вполне пресной жидкости она бы сама могла объяснить — но просту-

пал тут, может, еще какой-то дочеловеческий атавизм, сейчас не вполне понятный. Ведь трезвомыслящий умный мужик мог заранее знать этой жидкости цену: не более чем простейший, без специального усилия рефлекс, отчего на него просто не плюнуть? Однако будь ты каким угодно загрубелым, насмешливым, интеллектуальным, несентиментальным — эта секреция небольших желез действует на тебя помимо рассудка, что-то в твоих претензиях размягчает, подтачивает. Признавай себя побежденным и труби отход.

Видеомаг (как выразилась Инна Петровна) в семье, разумеется, остался, хотя кассет к нему так еще и не купили, и недосуг было их смотреть. Да не в нем самом было дело. Но как пристально ни присматривалась Инна Петровна к Колобову, ничего мало-мальски подозрительного ни в его речах, ни в поступках уловить не могла. Он держался, как на экране, умело, нейтрально, доброжелательно, ни на чем не настаивал и ничего не отрицал — что у него у самого было в мыслях, оставалось гадать.

В гости он наведался время спустя как бы опять ради беседы с Игорем; ни малейшего интереса к Любе, право же, нельзя было заметить. И с собой он на сей раз привел одну лишь Соню: она изображала как бы вполне достойную его пару. Теоретизировал же он с видимым удовольствием — откуда у него бралась всякая эрудиция? — и словно при этом поддразнивал доктора наук, словно вызывал его на ответ, заранее не боясь ни сарказма, ни отпора: он сам тут был ни при чем.

— Вы ведь знаете лучше меня, — говорил он, приняв за столом излюбленную позу с рюмкой крепкого напитка в руке и не столько попивая его, сколько смачивая им губы, — вы знаете, что научно-технический переворот семнадцатого века связан был с предшествовавшей ему — как бы сказать? — не вполне наукой. У кого взял термин «монада» известный вам Лейбниц, один из столпов, между прочим, математического знания? У оккультистов, не

станете же вы отрицать. И он, и сам Ньютон связаны были не только с рационализмом, но с иррационализмом тоже. Еще неизвестно, с чем больше.

— Причем тут Лейбниц, причем Ньютон! — устало отмахивался Игорь, еще не желая втягиваться в дискуссию. — Вы же имеете дело с другими клиентами.

— А вы хотите сказать, что среди них есть шарлатаны? — довольный, откидываясь на спинку стула Колобов. — Не знаю, не знаю. Они, может, не утвердили себя еще так капитально, неуязвимо для опровержений, как вы. Но я ни к чему не хочу относиться с предубеждением. В наше время ничего нельзя знать заранее и до конца. Теперешнюю эпоху, говорят, можно в некоторых отношениях назвать постмодернистской. То есть, имеется в виду не одно лишь искусство, смысл понятия вообще можно расширить. Потому что смешались иерархии, вот о чем речь, представления о системе незыблемых ценностей. Все возможно. Помните, один персонаж у классика пытался понять: если, говорит, Бога нет, значит, все дозволено? А сейчас, пожалуйста: и Бог, если хотите, есть, даже на выбор, и все дозволено.

— Вот это неплохо сказано, — с неожиданным интересом посмотрел на него Игорь. — Действительно в духе времени.

— Но ведь раньше и будущее, казалось, можно было спрогнозировать достоверно и однозначно. А сейчас? Вы знаете опять же лучше меня фантазии некоторых ваших коллег. Видения электронной, технологической, информационной цивилизации, право же, напоминающие некоторые литературные антиутопии. Нет ли у вас впечатления, что человечество на самом деле движется неуправляемо, неизвестно куда? Никакого разумного опровержения таким прогнозам я пока не слышал. Зато одной из самых рациональных начинает казаться версия — мы как раз намерены ее скоро обсуждать — о инопланетных пришельцах, которые однажды вмешались в жизнь человечества и, воз-

можно, следят за нами, готовые вмешаться опять. То есть отвести, если понадобится, от нас катастрофу.

— Вот чего я не принимаю и не могу принять, — энергично встрепенулся вдруг Игорь. — Потому что сама эта мысль в корне меняет всю систему ценностей, на которых строится наша жизнь. Если в любой момент кто-то может передвинуть нас, как фигуры на доске — тогда наши действия, решения, ум, смелость, выбор — все теряет значение. Любая религия все-таки оставляет место для свободы, для волевых решений, для ответственности. Для тайны, которой окружены пути нашей жизни и сроки нашей смерти. Но если кто-то следит за нами, как за муравейником — тогда все, что я делаю, теряет смысл, единственный, последний, непоправимый. Это делает меня другим существом, с другими понятиями... Вы заметили, — добавил он каким-то изменившимся тоном, — из обиходного словаря исчезли такие понятия, как «благородство», «честь». Это какой-то позапрошлый век... рококо...

— Я вот слушаю вас и думаю, — Колобов теперь смотрел на него, подперев рукой подбородок: — кто из нас рационалист?

— Да уж какой я рационалист! — усмехнулся без особой веселости Игорь. — Это вы все хотите объяснить энергетическими излучениями, планетными траекториями, внеземными пришельцами.

— А вы хотите верить в чудо и тайну, — утвердительно произнес Колобов и посмотрел почему-то на Любу.

Оба засмеялись, как будто в этом пункте друг друга поняли.

— Выходит, что я сам глубоко старомоден, — покорно согласился Игорь...

Инна Петровна видела, как ее Люба переводит испытующий взгляд с одного на другого, точно пытается определить, на чьей же стороне превосходство в этом неявном споре. Она, конечно бы, предпочла, чтобы муж проявил больше напора и изобретательности в утверждении своих

позиций. Дело для нее было не просто в том, чтобы гордиться его умом: надо было и в себе подтвердить какую-то правоту — если угодно, правоту важнейшего выбора. Молчаливая Сонечка, покуривая, озирала всех выпуклыми, из-под припухших дремотных век, глазами, словно знала обо всех больше, чем они сами.

— Я, между прочим, с вами вовсе не собираюсь спорить, — развеселившись, сказал Стас. — Речь лишь о том, что не стоит игнорировать многообразные проявления жизни. Тем более самые увлекательные. Взять то же чудо и тайну — то, что имеет отношение хотя бы к любви. Вы ведь тут меня поняли, не правда ли? Что здесь рационально, что иррационально? У нас в перспективе, между прочим, еще и обсуждение этой темы. Всякие белые и черные маги будут говорить, конечно, о привораживании, заговорах, любовных напитках и всем таком прочем. Мне самому любопытно. Ведь по многим свидетельствам, эти средства действительно приносят результат. Вроде бы какие-то ритмы и энергии у разных людей приводятся в соответствие, создают резонанс. Но я в эти материи еще не вникал. Мне лично интересней другое. Колдовство ощущается вроде бы и в каких-то обычных коллизиях, простой психологией их не объяснишь. Вот, один так называемый колдун мне рассказывал...

Инна Петровна ощутила непонятное облегчение, когда он действительно свернул все-таки на тему своей экзотической передачи. Что-то не в словах, а в подтексте этих речей, может быть, в подрагивающей колобовской улыбке необъяснимо ее настораживало. Хотя ничего положительного опять же утверждать она не могла. Оставалось надеяться, что Игорь, во всяком случае, более чем убеждал Любочку, когда они оставались наедине. В смысле, то есть, ночью. Дневного времени для общения у них оказывалось все меньше. Что говорить, коротким ночным часам дано перевешивать самые долгие дневные. Инна Петровна никогда прямо не разговаривала с дочерью на такие

темы, да опытной женщине о некоторых вещах и не обязательно расспрашивать — достаточно было видеть по углам умашенный блеск Любочкиных глаз.

И все же — скидывать со счетов дневную жизнь никак ведь было нельзя. Слишком большую ее часть они проводили врозь, и о чем-то мать могла лишь догадываться. Инну Петровну смугил в этом смысле непонятный визит Сони. Она пришла вроде бы по делу к Любе — хотя явно могла предположить, что дома ее не застанет. Как будто она скорей надеялась застать дома одного Игоря и не прочь была бы его дожидаться — вежливое, для формы, приглашение угоститься чашечкой чая она приняла мгновенно. Сидела на кухне, обхватив чашку сразу обеими ладонями, точно в летний день хотела их обогреть. Кончики ее пальцев были красноватые. Разговора с ней у Инны Петровны не получалось, да та и не томилась молчанием, озиралась по сторонам с сонливым интересом. Увидела на столе потрепанную записную книжку, взяла и понюхала раз, другой. Не только кончик носа у нее был красноват, но и тонкие, как будто воспаленные ноздри. Инну Петровну удивило ее принюхивание.

— Это Игорь забыл, — пояснила она на всякий случай.

— Я поняла, — усмехнулась Соня, чем-то вроде удовлетворенная.

— А какими духами душится ваш начальник? — не думая о собственной логике, поинтересовалась Инна Петровна.

— Я ему рекомендовала швейцарские, «Галант», — с той же задержавшейся усмешкой ответила Соня.

— Вы? — переспросила Инна Петровна.

— У меня широкий круг забот. Не я одна, разумеется, им занимаюсь. Костюм, лицо, манера держаться — все обеспечивают специалисты. Не обрызгай его духами, у него бы запаха не было.

— В каком смысле? — насторожилась Инна Петровна. Ей почудилось в этих как бы насмешливых словах намек,

в чем-то вроде бы даже приятный, с успокаивающим оттенком.

— Но вообще у меня другие обязанности, — уклонилась от пояснений редакторша. — Я подбираю для него литературу, цитаты. Мысли. На этом месте меня Люба вряд ли заменит. — Она коротко взглянула из-под выпуклых век на Инну Петровну, словно интересуясь, поняла ли она. Та, однако, не поняла. — Между прочим, на днях мне попалась любопытная история, не знаю, пригодится ли Стасу. Про животных, правда, но все равно. Есть такой знаменитый исследователь, он наблюдал за парой серых гусей. То есть обычная супружеская парочка. А на расстоянии, сбoku-припеку, обосновался еще один самец. Остался, видимо, без пары. Ничего особенного не делал, слишком приближаться не рисковал, потому что ему могло достаться от законного супруга. Но что-то между всеми тремя происходило, не вполне внешне выявленное. Иногда супругу надо было отлучаться вроде по каким-то своим делам, тогда этот третий приближался к самочке, но опять же ни до какой видимой взаимности не доходило. У этих птиц супружеские пары вообще устойчивые. И все же выглядело это какой-то терпеливой, демонстративной, молчаливой — в человеческом смысле — осадой. А время спустя по какой-то необъяснимой причине законный супруг вдруг улетел и уже не вернулся. То есть оставил свою гусыню сопернику. Без столкновений, без драк, без объяснений на доступном нам языке. Что между ними произошло? Между людьми тоже ведь бывает такой вот поединок бессловесных волей — не понять, почему один уступает, другой выигрывает. А к нам как раз ходит сейчас один специалист по магии, у него целая концепция именно до-человеческих сил...

Что-то Инне Петровне не понравилось в этом разговоре, она так и не смогла уверенно предположить, зачем приходила к ним эта Соня. (Хоть бы Софьей себя называла!) С какой стати взялась теоретизировать о любви эта на

вид вялая, не такая уж привлекательная женщина, выпуклые глаза которой свидетельствовали о явных неладах со щитовидкой?

У Любы тоже была к ней определенная антипатия, хотя интеллектуальные достоинства она за своей сослуживицей признавала. Да и по редакционной должности Соня была над ней старшей.

— Я все-таки не могу относиться с доверием к некрасивой женщине, — сказала она как-то маме. — Не потому что дело во внешних чертах. Какой бы ни был рот или нос, но если есть что-то внутри, она не кажется некрасивой.

Наверное, Люба считала справедливым говорить так о других — особенно поглядывая в зеркало. Но Инна Петровна смотрела на женщин все-таки с большим сочувствием — при всей своей скептической трезвости и специфическом опыте. Она ведь волей-неволей ставила диагнозы даже попутчицам в метро и могла бы многое сказать о самой их жизни, нынешней и предстоящей. Не говоря о близких себе по возрасту, но и о молодых, на вид еще вроде ничего себе, а кто-то уже с сумками, с детьми, и вот уже поникшие, входящие в колею — надолго ли осталось им яркости и игры? Биологическая неизбежность, ход времени, увядание — не вдаваясь уже во все эти нынешние разговоры о не вполне равноценном месте в мужской цивилизации. По телевизору, и то смотришь иной раз какое-нибудь серьезное обсуждение, вроде бы выступают красавицы, умницы, и говорят более чем наравне с мужчинами, и вполне как будто уверенные в себе — а все-таки, все-таки...

Инна Петровна, кстати, была довольна, что сама Люба на телеэкране появляться не получала возможности. Ей лучше было обходиться без этого. И ведь так, со стороны, посмотришь: этакое воздушное, на ощупь мягкое существо — но ведь Инна Петровна знала, что на самом деле это пуховый танк. Так она ей сама однажды сказала. «Ты, — сказала, — пуховый танк». Если та чего-то на самом деле

серьезно хотела, ее было не остановить, и власть ее над Игорем была вне сомнений.

Ясно было, например, до чего хотелось ей посмотреть новую дачу своего Стаса Колобова. Тот уже заранее пригласил всех сотрудников на близящееся новоселье. Нетрудно было представить молву об этом сказочном, должно быть, коттедже, который и поднимался именно со сказочной скоростью, как на дрожжах, если можно с дрожжами сравнить деньги, поступавшие все от тех же благодарных магов, черных и белых. Игорь — тот, разумеется, и слушать об этом не захотел, он отказался сразу и наотрез, но у Любы еще было в запасе время, чтобы подточить эту непреклонность. Решающую же дипломатическую роль сумел сыграть сам Колобов, тут опять надо было отдать ему должное. К Игорю он даже не подступал, но самолично явился для того, чтобы пригласить не Любу, а Инну Петровну. Как будто именно она до сих пор отказывалась, и надо было ее просительным образом убеждать.

— Мне особенно важно, чтобы вы окинули все опытным женским взглядом хозяйки, — говорил он. — Сам ведь я холостяк, дом не умею обставить, еще ничем даже не обзавелся...

А Инна Петровна тоже оказалась достойна своей роли, она оглядывалась вопросительно на Игоря, точно рассчитывая на его поддержку. Она — ладно — готова была поехать, если только мужчина им составит компанию. Да и он в конце концов почувствовал, что лучше было все-таки не отпускать Любу вдвоем с матерью — а она-то была и на это готова.

Колобов позаботился даже о машине, которая прихватила их попутно. Всех троих устроили на заднее сиденье, а с водителем рядом расселся словоохотливый толстячок, и он всю дорогу травил разные забавные байки. Например, про то, как он лично чуть было не съел дальнюю американскую родственницу, двоюродную бабушку своей жены. Эта родственница, обнаружившись вдруг, несколько лет бало-

вала их гуманитарными посылками. А время назад, после затянувшегося перерыва, они получили какую-то пластиковую банку без этикетки. В банке оказался порошок непонятного назначения: то ли сода, то ли какой-то еще американский продукт. Сопроводительная инструкция была на английском языке, а поскольку никто в семье не знает языка не был силен, они попытались определить назначение и вкус продукта пробным путем: брали на смоченный слюной палец, лизали, обнюхивали. Вкус, как и запах, оказался неопределенным, в воде порошок не разводился. Нашли, наконец, человека, который сумел перевести им инструкцию. Это оказалось письмо, сопровождавшее прах внезапно скончавшейся бабушки. Она хотела, чтоб порция ее праха была погребена в земле ее исторической родины. Хотя после этих проб для похорон осталось немного, — заверял веселый рассказчик. Люба с готовностью смеялась и поглядывала на все еще угрюмого мужа: неужели он хоть от таких историй не развеселится? Как будто он заранее не хотел настраиваться на веселье.

Дача, что и говорить, оправдывала все ожидания. Хотя никакой мебели здесь еще не было, и даже стульев хватало не на всех, но золотисто-медовое сияние деревянной обшивки в свете неярких ламп само по себе вызывало чувство благородной роскоши. Громадный деревянный стол был уставлен блюдами, бутылками, бутербродиками, рассчитанными на употребление, что называется, а ля фуршет — стулья были и не обязательны.

И публика была соответствующая. Многие лица казались Инне Петровне знакомыми по телеэкрану. И актер Мячин, вихляясь, подскочил поприветствовать новоприбывших. И обе редакционные дамы, конечно, тут были. Какая-то пара в экзотических одеждах разносила для угощения тминные и укропные лепешечки — они имели вроде бы отношение к неизвестному восточному ритуалу, но Инне Петровне понравились независимо от него. Особое ее внимание привлек невысокий человек с морщинистым

и словно задубленным лицом, по которому трудно было что-либо сказать о его возрасте, (как нельзя сказать о возрасте сморщившегося на ветке плода), скорей о внутренней преждевременной болезни. Люба шепотом объяснила маме, что это настоящий шаман.

Она в этой обстановке очевидно блаженствовала. Ходила от одной беседующей группы к другой с широким бокалом в руке, который все время оказывался наполнен шампанским. Инна Петровна поначалу считала нужным держаться поближе к ней, но разговоры то там, то тут о политике, о модах скоро навели на нее скуку. Кто-то рассказывал анекдоты, груди перетянутой шнурками Беллы в разных местах колыхались от смеха. Солидного вида бородач разглагольствовал об эрозе как проявлении некоего космического поля, безотносительно к личным симпатиям и тем более браку...

Довольно скоро Инна Петровна отстала от дочери, она сочла, что правильней будет опекать Игоря. Люба от выпитого, пожалуй, слишком развеселилась и своим возбуждением чуть ли не нарочно его поддразнивала. А он стоял у стенки, точно приклеился к ней, со стаканом неизвестного напитка в руке. Тоскливое лицо его никак не соответствовало обстановке.

Инна Петровна раздобыла для себя стул и уселась неподалеку от зятя. Она как раз захватила момент, когда Стас Колобов подвел к нему телевизионную знаменитость, того самого лысоватого целителя, который заряжал энергией своих рук воду, поставленную перед экраном. Хотя известностью Игорь, конечно, не мог с ним равняться, тот начал разговор с преувеличенных расшаркиваний: как, мол, он рад возможности познакомиться с таким видным ученым. Постепенно до Инны Петровны дошла цель разговора: лысоватый выражал желание проверить некоторые свои эффекты на особой аппаратуре, которая разрабатывалась, по его сведениям, как раз у Игоря. Очевидность эффектов сама по себе ни у кого со-

мнений не вызывала, но именно в научном смысле важно было бы понять их объективную природу. Он вроде бы сам имел научное образование и предлагал личное сотрудничество. Игорь отвечал вежливо, но однозначно. Это была просто не его тематика, и он не мог отвлечь непрофильной работой ни людей, ни аппаратуру, тем более привлекать в штат посторонних. Тут мягко вступил Стас Колобов. Ведь насколько он был осведомлен, аппаратура у Игоря как раз простаивала по независящим от него причинам, исследования давно не получали финансовой поддержки — а тут как раз был случай, когда представлялась возможность получить средства, право же, не лишние в нынешней ситуации. Объявился источник финансирования, и деньги можно было заполнить более чем приличные...

Не Инне Петровне, разумеется, было судить, насколько оправдан был отказ Игоря. Принципиальность иной раз выглядит чистоплюйством. А, может, тут существовали еще какие-то другие, неизвестные ей соображения? Он только мотал опущенной головой: нет. Стас еще попробовал пояснить, что предполагаемых денег хватило бы и для поддержки тех самых профильных работ. Не говоря о поддержке сотрудников. И не было тут никакого покушения на независимость исследователя, от него отнюдь не требовалось (если он такое подозревает) чего-то вроде подтасовок — важен был именно его авторитет, его имя, если угодно, фирма... В конце-концов лысоватый развел руками, это означало: ну, как знаете, — и отошел, впрочем, вполне добродушный. А Колобов даже остался стоять возле Игоря с доброжелательной своей улыбкой.

— Я понимаю вашу серьезность, — говорил он, по обыкновению не столько отпивая из своей рюмки, сколько обмакивая в жидкость губы. — И отдаю должное. Но, по-моему, вы недооцениваете ту же сторону жизни, о которой мы как-то уже беседовали. Помните? О том, как может увлечь в ней именно игровое начало. В самом же

деле: какой-нибудь теннисист или футболист, всего лишь манипулирующие упругим шариком — не более того — получают в сезон сотни тысяч долларов. Которых никогда не будет иметь заслуженный работяга, поэт, философ. Или вот ученый, прикасающийся, может, к объективной сути мироздания. Во всяком случае, к чему-то умопостижимому. Но деньги-то готовы платить сами зрители, миллионы людей. И за билетами охотятся. И говорят об этом, пишут, читают. И умирают возле своих телевизоров от разрыва сердца — всего лишь потому, что мячик попал в какую-нибудь не ту сетку. А есть еще играющие в карты, в шахматы, в бильярд — и вокруг этого тоже строят свою жизнь, об этом думают, на этом зарабатывают. А другие, сугубо серьезные люди брезгливо говорят: за что? На какие средства строятся такие вот дачи, когда другие даже близкого не имеют? Хотя, казалось бы, создают более реальные предметы, произведения или, если угодно, ценности. Вроде теорий, например, о смысле жизни. Но ежели в этих теориях игнорируется тот самый игровой элемент... вы понимаете?.. переплетения совсем уже невидимых, неосязаемых ниточек... вроде, может быть, музыкальных переливов, да?.. все теории оказываются вдруг неполными и бессильными...

Говорил он как бы не обращаясь к Игорю, как бы мимо, глядя больше прямо перед собой — но, обмакнув очередной раз в рюмку губы, очень коротко на него все же поглядывал.

— Или, допустим, взять ту же упомянутую любовь. В ней ведь то же самое. Тончайшие сигналы, намеки, движения, целый прямо-таки театр балета, ритуалов, словес. Ведь это особо разработанное искусство, которое лично ни вы, ни я, думаю, не захотели бы сводить к физиологическим первоосновам. Искусство тут, может, даже важнее конечного результата. Во всяком случае, интереснее. Результат действительно означает конец, то есть скуку, необходимость начинать заново. А что может быть интерес-

ней, скажем, интриги соперничества? Почему кому-то достается победа, а кому-то приходится уйти? Вы знаете ответ? Вот даже, оказывается, у птиц, у простых серых гусей описаны замечательные сюжеты...

Инна Петровна тут невольно вздрогнула — и Колобов словно сам ощутил что-то; про гусей он продолжать не стал.

— Эти вот колдуны и маги делают вид, будто знают ответы, с разной своей техникой и химией впридачу. Ну, это, допустим, их дела... пускай себе, — непонятно чему усмехнулся он — и вдруг одним глотком действительно опустошил, наконец, свою рюмку...

Инна Петровна вполне могла бы понять, почему ее зятю не хотелось оставаться здесь на ночь. Но глупо было в самом деле рваться отсюда на электричку. Тем более, что вечер был субботний, вполне можно было досидеть до утра, а при желании нашлась бы возможность и поспать, пусть даже без комфорта. На машине спяну никто ехать не собирался, а до станции было идти по темному проселку часа полтора. Не говоря о том, что в электричке, по нынешним временам, можно было напороться на что угодно. Люба отказалась категорически, но он все-таки не выдержал. Может, оставить жену одну он бы еще не рискнул, но с тещей — все же оставил.

Слава Богу, доехал в тот раз он благополучно. Однако Люба после его отъезда утратила всякую оживленность. Похоже, она всю ночь почти и не спала, должно быть, перебирала слова для утреннего разговора с мужем. И, судя по покрасневшим глазам, отплакалась про себя — для разговора у нее уже не осталось слез. Это была не просто обида, которую можно было разрядить в истерике, слова за ночь набухли серьезностью.

Инна Петровна слышала на другое утро через стенку, как она говорила с ним. Это не было выяснением отношений. Отдельных слов Инна Петровна не различала, но по самому тону можно было понять: Люба ничего не оспари-

вала, не утверждала, просто излагала созревшую, выстраданную убежденность. Таким тоном женщина говорит, что дальше так жить просто уже невозможно, ей уже физически трудно выносить непонятное отношение, и если он не может ничего изменить — пусть принимает, наконец, решение, как мужчина. Говорила все время только она, он даже не возражал ни слова. Он молчал, то ли просто потому, что ему нечего было сказать, то ли из привычной, природной молчаливости, усугубленной еще обстоятельствами. Но это молчание действовало сильнее, чем любые слова, которые он мог бы найти. Голос Любы все больше терял уверенность. Как будто она сама по ходу своих неопровержимых слов начинала в них сомневаться, они как бы размягчались, растворялись, обесмысленные, в этом молчании. Он просто позволял ей переубедить саму себя. На время, по крайней мере.

В то утро случай, казалось бы, даже чуть ли не помог Инне Петровне слегка разрядить атмосферу. Она по приезде обнаружила в почтовом ящике письмо без обратного адреса. Это было одно из глупых посланий, давно всем знакомых: когда какой-нибудь доброхот, сам попавшийся на приманку, предлагал разослать в двадцать адресов по художественной, скажем, открытке или, еще лучше, по трешке, сопроводив предложение простым арифметическим подсчетом, как всего через несколько кругов отосланный дар вернется в виде тысячи художественных открыток или десятков тысяч рублей. Иногда в конверте даже бывала такая открытка (денег все-таки ни разу не попадалось), сопровождавшаяся предсказанием всяческих бед, если дальнейший обмен будет сорван. Это же письмо, во-первых, размножено было на современном ксероксе, во-вторых, оказалось до смешного бескорыстным — Инна Петровна за чаем решила позабавить домашних чтением вслух. «Сделайте двадцать копий и перешлите тем, кому вы желаете счастья, — призывал неведомый отправитель. — Это не шарлатанство. Это нити между вашим настоящим

и будущим». Дальше были начертаны разные магические знаки с цифрами, которые уже много веков приносили получателям счастье. «Вы даже не поверите: счастье из параллельного мира». Забавнее всего были исторические примеры, приводившиеся в подтверждение. Сам, оказывается, Данте получил однажды это письмо, поручил секретарю отправить положенные двадцать копий и всего через несколько дней выиграл сто тысяч. Еще одно письмо получила сто лет назад бедная крестьянка Урукова, через четыре дня она откопала клад, потом вышла замуж за князя Голицына и наконец стала миллионершей в Америке. А вот Конан Дойл письмо, как предписывалось, не размножил, из-за чего попал в катастрофу, ему ампутировали обе руки. Так же поплатились за свое пренебрежение знаками маршал Тухачевский, которого расстреляли, Никита Хрущев, которого свергли. Зато знаменитой Алле Пугачевой за ее веру привалило аж два миллиона долларов...

Ожидавшегося веселья это чтение вслух, однако, не вызвало. Оба мрачных супруга лишь слегка покривили рты, изображая усмешку. И все же настроение, казалось Инне Петровне, отчасти удалось бы переключить — если б не разразилась совсем уже глупость.

— Ну, что с ним делать? — спросила она, складывая листок.

— Порвать и выбросить, что еще? — пожал плечами зять.

Но Люба тут попросила дать письмо ей, она хотела позабавить им сослуживцев.

— Наверное, его пол Москвы уже получили, — хмыкнул Игорь. — Или все-таки не хочется совсем без надобности искушать неведомые силы?

Ах, зачем он ее так подколот? — подумала Инна Петровна, по себе, между прочим, чувствуя, что в таком подкалывании можно было признать оттенок правоты. Прежде у него, однако, хватало юмора от подобных уколов удерживаться. Люба вспыхнула:

— Ты меня все-таки дурочкой считаешь? На, порви.

— Ну да. А ты в душе потом будешь считать меня виноватым за любую дальнейшую неприятность.

— Какое-то безумие, — замотала головой Люба. — Какое-то безумие.

И демонстративно, прямо перед его лицом, порвала глупую чушь...

Господи, во всем дальнейшем вообще можно было увидеть не более чем случайность, набор совпадений. Но что-то словно накапливалось в окружающем воздухе — или, может, в самом их естестве, где что-то менялось. Проще простого было, скажем, найти реальное объяснение даже для температуры, внезапно подскочившей у Любы после пустычного спиритического сеанса. Но ведь с этого сеанса она пришла действительно полубольная, буквально шатаясь. Мать заставила ее померить температуру, у нее оказалось 38,6. Только рассказывать она не хотела ни за что — потому что дома был Игорь.

— Я сама перед собой буду выглядеть идиоткой, он уже намекал. Не хочу. Как будто я вообще необразованная и готова верить любой бредятине. Но я ведь свое состояние не сочинила, ты же видишь. Я не только при этом была, я в этом участвовала...

Вообще-то Инна Петровна и без рассказов знала, что такое домашние спиритические сеансы. В молодости сама раз-другой в них участвовала и могла бы подтвердить: впечатление иногда производит. Даже само это сидение вокруг стола, захватывающая вибрация, будто исходящая из пространства и передающаяся не только тарелочке, но и самим участникам, само это состояние (хотя чья-то рука под столом, глядишь, тянется погладить тебе колено). А рассказывались и вовсе необычайные случаи... но что объяснять...

Надо отдать Игорю должное, он сам успокаивающими словами и поцелуями убедил Любу все-таки разговориться, чтобы дать выход нервности, избавиться от трясучки и

температуры. Он ведь не хуже других знал, как иные переживания передаются телу — вот же перед ним было свидетельство. И Люба рассказывать начала, как бы предупреджая его насмешки, сама заранее над собой издеваясь, хотя он слушал тихо, с молчаливой грустью в глазах.

Тут ведь в самом деле была обыкновенная история: когда участники заранее ни во что не верят. Тем более, почти все там были с высшим образованием. Некоторые даже с двумя. Усмешечка эта всегдашняя прямо витала в воздухе: знаем мы эти штучки, эти спиритические забавы. Но хотя бы для личного впечатления можно и позабавиться; надо же, в самом деле, хоть один раз попробовать, чтобы потом говорить. Впрочем, два-три человека уже обладали опытом, один из них даже считался особо чувствительным медиумом. Но ведь другие, без опыта, не знали бы, как устроить сеанс по всем правилам. Хотя подробности опять же были общеизвестны: задернутые шторы, впечатляющий полумрак, вполне пригодный круглый стол, тарелка, буквы по кругу. И когда ведущий спросил, кого вызывать, именно Люба из чистого озорства откликнулась: «Пушкина!» А кого же еще? Это у нас с детских лет, как присловье. Пушкин, что ли, за вас сделает?

— Нет, я не собираюсь себя ни приукрашивать, ни дурочкой изображать, — усмехалась Люба, обхватив чайную чашку сразу двумя ладонями, как Соня, — но совсем без попутной мысли, естественно, тоже не обошлось: а что, если в самом деле? Интересно было бы. Я уже задумала вопрос, есть ли у него стихи, которых никто не знает? И представить, что он вдруг выдаст строчку. И окажется что-то действительно гениальное. «Как гений чистой красоты», то есть несомненно в пушкинском роде. Ну, несерьезная мысль, нечего говорить, можете заранее смеяться, пожалуйста. Ха, ха...

Нетрудно вообразить, что и другие там вполне настроены были смеяться. Особенно когда сразу пошла откровенная белиберда, невнятица. Первая буква выпала не со-

всем определенно, между «е» и «ж», но все-таки ближе к «ж», так и решили считать. Однако потом пошли подряд еще три согласных: «б», «г», «в». То есть явно не складывалось ничего удобочитаемого и сложиться никак не могло...

— Ну, думайте что угодно, — сказала опять Люба, — но при всей этой невнятице что-то с нами уже происходило. Необъяснимое. Какая-то, понимаете, внутренняя дрожь. Если б я что-то имела в виду сознательное, можно было бы подумать о подтасовке. Но мы же совместно вертели эту тарелку, не сговариваясь. И никто ничего еще не понимал, то есть не хотел сознательно. Как раз неразбериха, невнятица показывает, что было во всяком случае не жульничество. Все происходило как раз помимо нашей воли...

То есть прояснение скоро последовало само собой. Следующая буква выпала, наконец, гласная, «о», и только тут кто-то заподозрил общую неточность.

— Ты понимаешь? — Люба смотрела не на Игоря, а на маму. словно другую реакцию знала заранее. — Мы просто позабыли между «е» и «ж» вписать, как положено, букву «е». Ее ведь теперь обычно во всех алфавитах опускают, и на клавиатурах ее нет. Только тут до нас и дошло.

— Что? — все-таки не сразу поняла Инна Петровна.

— Ты хочешь, чтоб я повторила тебе по буквам? А до тебя самой не дошло? Он просто нас выматерил. Представь себе! Прямо, ясно, без единой ошибки. Хотя никто из нас этого не ожидал, то есть не думал об этом отчетливо, повторяю еще раз. Можешь мне поверить. Но на меня именно это подействовало! Не знаю, в курсе ли были другие, а нам-то на факультете, на одном спецсеминаре, как раз об этом упоминали. То есть, что он это именно умел, это было вполне в его духе. Что знали и что думали другие — не могу сказать, и дело уже не в объяснениях. Но ты же видишь, на меня подействовало помимо рассудка. Как это можно подделать?...

Игорь все так же молча, тихо и грустно поглаживал ее руку. Он и впрямь хорошо на нее подействовал, Люба дей-

ствительно успокоилась, и можно было сказать, тут все опять обошлось. Тысячу, миллион раз: никаких связей не имело смысла даже выискивать — только все те же случайности, совпадения...

И все же: почему Инну Петровну прямо-таки защемило отчетливое — словно бы давно назревавшее — предчувствие, когда Игорь однажды не вернулся домой после полуночи? До утра они с Любой все-таки ждали, потом кинулись звонить, первым делом, конечно, в справочную института Склифософского — и сразу же услышали подтверждение: попал к ним такой вчера вечером, с черепно-мозговой травмой. Что-то с ним, стало быть, случилось на улице, подробностей в справочной не объясняли, но не оставляло именно это чувство: что-то произошло не само по себе, какие-то связи проявились, сгустились в окружавшем их мироздании — и обрушились неизбежным ударом.

Больше всего смутила Инну Петровну непонятная, непривычная оцепенелость Любы. Как будто она что-то замкнула в себе, чего-то не выговаривала. Только покусывала все время нижнюю губку, а покрасневшие глаза ее были сухи. Что у нее с ним еще случилось, так и оставшееся матери неизвестным? Или не с ним?.. От взгляда она отвернулась, на вопрос отвечала мотанием головы: нет, нет, ничего.

Насчет черепно-мозговой травмы по телефону, слава Богу, преувеличили. (Или, может, преувеличил собственный слух?) Было, попросту, мозговое сотрясение, причем средней тяжести. Навестить пациента в эти часы не полагалось, но Инна Петровна, конечно, сумела проникнуть к зятю, пользуясь прихваченным с собой медицинским одеянием. Любу она оставила внизу, да та по видимости не особенно и рвалась. Что-то непонятное все же в ней было. Или, может, боялась увидеть его в каком-то обезображенном виде?

Обезображен он, слава богу, тоже не был, только в бинтах, конечно. Кожа лица среди них казалась потемнев-

шей, как на иконе, отросшая черная щетина продернута была сединой, точно уголь пеплом. О случившемся он подробностей не рассказывал — да и что он мог рассказать? К нему уже приходили брать показания из милиции. Нападавшие были ему незнакомы, и выглядели они не бандитами, в своем роде скорей профессионалами. Подошли уже в сумерках, неподалеку от института, остановили, потеснили за угол. Чего они от него хотели, трудно было сказать, хотя действия свои сопровождали кой-какими словами. В смысле: убирайся отсюда, жидовская морда, не то мы тебя в другой раз... ну, совсем уж конкретных слов повторять перед женщиной он, естественно, не стал.

— Но разве ты... на самом же деле нет? — сорвалось нечаянно у Инны Петровны. И она сама тотчас смутилась, уловив дрогнувшую среди бинтов усмешку зятя. То есть смутилась не в смысле подозрения на свой счет... что это вообще могло для нее значить?.. он же сам знал. Но так было бы хоть некоторое объяснение. Прицепились по ошибке к брюнету в очках, что еще требовалось? Ни бумажника, ничего у него не взяли, может, и до больничной койки доводить не хотели. Приложился, видимо, затылком о стену. Это в кино после такого встают, как ни в чем не бывало....

— Ничего, ничего, — постаралась успокоить его и саму себя Инна Петровна. — Обошлось, и то хорошо. Скоро уже поправишься. Все образуется.

— На работу я в любом случае уже не вернусь.

— Это еще почему? — не сразу уловила смысл Инна Петровна. — Голова, мне сказали, в достаточном порядке. И руки вон тоже.

— Я не об этом, — слабо усмехнулся Игорь.

Ей все же удалось из него кое-что выжать — но все ли? Оказывается, накануне его вызывал к себе сам директор института, чтобы обрадовать новостью. Возникла возможность получить неплохие деньги под неожиданный, и при этом непьющий заказ. Что-то связанное с ис-

следованием нестандартных биофизических излучений, так это звучало для Инны Петровны. То есть разговор чуть ли не дословно повторял услышанное ею на даче: и про то, что деньги давали возможность возобновить заодно основные, надолго отложенные эксперименты, и что предполагалось зачислить в штат еще одного нового сотрудника. Нетрудно было даже догадаться, кто имелся в виду. Как нетрудно было себе дословно представить — будто и при этом разговоре сама присутствовала — опять же категорический ответ зятя, и вежливые увещевания директора, и заключительный намек, что вопрос, собственно, уже решен, заказное исследование будет производиться независимо от странных капризов подчиненного. Хорошо еще, если тот не произнес в ответ: «Только через мой труп»... о, Господи!... Что могли, в самом деле, значить слова Пушкина?.. И что Игорь еще знал, чего не договаривал, какие совпадения сам про себя связывал?

— Что же ты решил делать? — тихо спросила Инна Петровна.

— Не знаю. Наверно, в самом деле уеду. Меня ведь давно звали, и в разные места.

«А Люба?» — чуть было не спросила Инна Петровна. Однако вопрос застрял у нее в горле. Она все явственней ощущала непонятное биение — словно бы пульса... Игорева или своего? Так иногда чувствуешь без прикосновения звучную работу собственного сердца во всем существе. Но нет, свое сердце и свой пульс она бы узнала. Тут был другой ритм и другая сила. Какое-то величественное биение извне сдавливало и отпускало все тело, точно старалось что-то изменить, сдвинуть внутри — или не только внутри? Чего добивалась эта пульсация неведомых, властных сил, куда она всех подталкивала, чего от них хотела?

ЗАНАВЕС

Солнце продвигаясь к закату
Тянет за собой занавес
С другого края неба
Пелену сгущающейся грозы.

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ

Она сидела на скамейке в сквере напротив школы и дожидалась Славика... да, Славика, тут казалось все ясно, только в каком он теперь был виде, чего она хотела, на что в самом деле надеялась? В уме это выглядело так: мальчишки рано или поздно должны будут выйти покурить, подышать воздухом после торжественной части, пока в актовом зале накрывают столы для банкета. Так ей казалось. Ей уже случалось такое видеть. Тут она как-нибудь к ним приблизится, чтобы он ее мог увидеть, просто пройдет мимо, как будто ненарочно (может же она случайно проходить в это время по скверу), даже окликать не станет, посмотрит сначала, узнает ли он ее. Или, может: захочет ли узнать? Тем более при других. Мальчишки в этом возрасте такие стеснительные. Вопрос, узнает ли она его сама, совсем взрослого, Сима как-то задвигала подальше, в затемненное место мыслей. И не просто потому, что слишком опасалась ответа. Нужно было сперва что-то существенное понять, соединить в этих самых мыслях, где все толкалось вразброд — как возникавшие вдруг в памяти звуки случайных клавиш под мягкими детскими пальчиками: обещание будто бы осмысленной, уже знакомой мелодии... затуманенный взгляд глаз из-под изогнутых длинных ресниц, зеленая сопелька на грязной щеке мальчика, он протянул ей вчера в метро коробку из-под кукурузных хлопьев и так по-детски, просительно наклонил к плечу круглую мордашку. Словно открылась где-то вдруг

пустота, соединенная через прокол с сердцем, готовая со свистом всосать в себя все внутри и снаружи, и воздух пошел опасной зыбью, все смешалось, поплыло, стало недостоверным... Может, для того она теперь здесь и сидела, чтобы в чем-то убедиться, восстановить внутри себя связный, необходимый смысл, соединить обрывки звуков, слов, имена и лица: Юра, Славик, Раиса... да, она тоже должна быть там, в актовом зале... хорошо хоть, ума хватило не заходить внутрь...

В тени становилось свежо, Сима надела кофту. Две скамеечных рейки справа были обломаны — как будто их тоже когда-то уже видела. Как будто здесь и сидела. На коленях книжка, раскрытая, как положено, для заполнения времени, но взгляд лишь соприкасается с поверхностью строк, не проникая. Она и про очки не вспомнила, без них обходилась. Закладка в книге была листком неизвестного календаря, странным образом за вчерашний день: 23 июня, но год остался где-то на другом листке или на утерянной обложке, а, может, вообще не был указан — для удобства, чтобы желающий мог сам вписать его на пустом безразличном пространстве, вместе с памятным событием, общим или личным. Чьим-нибудь, например, юбилеем или датой происшествия. Если только установить, конечно, что считать для себя действительным событием. Человек может, скажем, близко помнить какую-нибудь давнюю муху, жившую с ним в комнате. Именно эту, а не любую другую. С гранеными, черно-радужными глазками, с зубринками на лапках. До сих пор, как живая, перед глазами. Потому что с ней связалось что-то внутри, да, что-то именно осталось, изменилось от ее кратковременного существования. Хотя другим этого не объяснишь. Или встреча с Юрой, Славиковым отцом. Это ведь действительно было. Во всех подробностях. Сидела вот так же на скамейке с обломанным краем, среди еще свежей зелени, на коленях раскрытая книжка (как будто даже перед глазами внешний вид строк: проза, но в то же время

стихи, они долго держались в памяти), но не читала, а смотрела, как у кустов напротив два красавца-селезня с переливчато-зелеными головками и сине-белыми нарядными перьями в подкрыльях суетятся вокруг серой невзрачной утки. Оба по очереди пытались на нее взгромоздиться, но каждый раз другой начинал клевать соперника, мешать, спихивать; в результате ни у кого ничего не получалось. Утке при этом тоже доставалось, она сердито отбежала на три-четыре шага, селезни вперевалку, по деловой необходимости следовали за ней, и все повторялось сначала и не могло завершиться. Он тоже остановился рядом — посмотреть. «Как это у них скучно, а? — сказал, ухмыляясь. — Хоть подрались бы по-настоящему. Вот тетерева, я видал однажды, сходятся. Так это же красота! Это как танец!» Совсем еще молодой, румянец деревенский во всю щеку, воротник распахнут на загорелой шее. Подсел к ней, не спрашиваясь, стал рассказывать про тетеревов. Сима вообще не любила, когда так подсаживались, но что-то помешало ей сразу его отшить. Может быть, откровенность и насмешливая простота совершившегося в природе. Так это совпало: запоздалая весна, свежие, еще клейкие запахи, и эти смешные утки, и сумятица собственных мыслей. Глаза у него были зеленоватые, наглые, но при этом простодушные в своей наглости — и уже сама собой разыгрывалась по своим законам та самая вечная игра, которой нельзя было пугаться. Она больше всего боялась, что именно испугается, может быть потому, что, слишком рано оставшись без родителей, должна была все решать сама. Рано или поздно это должно было произойти — она боялась какой-то собственной неспособности. Не к чувству, нет, она знала, что способна это чувствовать... может быть, совсем еще крохой в цинковой ванне, когда сладко ощущала свое тельце, глядя его скользким, теплым, ласковым мылом... ну, то есть, пусть это было другое, но все-таки... Или когда играли в комнате мячом и мальчишки лазили за ним под кровать и выбира-

лись оттуда задом, взъерошенные, смешные, в пыльном пуху, лишь к одному как будто ничего не приставало; все, что у других раздражало, у него оказывалось красиво, и не просто красиво, на него все время хотелось смотреть, от его голоса вздрагивало внутри, а прикосновение было счастьем, от которого слабели коленки. Его звали Павлик, им было двенадцать лет. Теперь она в смятении прислушивалась к себе, пытаясь узнать, уловить хоть отголосок чего-то похожего — но должно ли было быть похоже? Откуда тебе вообще знать, как бывает на самом деле, пока ты еще этого не испытала? Так вот и не испытаеть. (Посторонний, занудный, насмешливый голос возникал в воздухе или внутри ушей — но тогда она еще не придавала этому значения). Может, из-за этой боязни испугаться все произошло так быстро — слишком быстро. А она все продолжала прислушиваться: вот это и есть то самое, настоящее? это действительно произошло? действительно с тобой? И что же чувствовал этот человек с непонятным, тяжелым, чужим телом, когда стонал и покрывался потом, а глаза его темнели и становились глубокими? Она пыталась ощутить что-то за него, вместе с ним, сама тоже постанывала и, как могла, старалась показать, что ей тоже хорошо, а не просто больно и трудно дышать под его тяжестью. Он становился еще тяжелей, расслабься, но она все равно терпела. Она говорила себе: вот, теперь это у тебя есть, — как будто хотела сама себя убедить в чем-то.

Нет, его бессмысленно было винить, он не был плохим человеком, который просто позарился на ее жилплощадь и прописку в Москве. Прописаться она ему предложила сама. И она готова была утверждать, что он тоже не притворялся, она ему действительно нравилась, по крайней мере вначале. Ему нравилось, что она такая маленькая и легкая, нравилось вскинуть, как ребенка, под самый потолок и закружить на одной руке — аж замирало сердце; нравилось выглядеть рядом с ней большим и взрослым, хотя сам он был на три года младше. «Эх, Сима-Сима-Се-

рафима, — приговаривал он, закруживая ее в высоте, — вырастай еще красивей!» И, задержав неподвижно в воздухе, сам себе возражал: «Не растешь. А для чего? Села баба на чело,» — добавлял он, не опуская, а как бы роняя ее внезапно наземь (и сердце падало внутри). Он любил добавлять не совсем осмысленные слова для рифмовки — точно она создавала или во всяком случае закругляла смысл. «Ну?» — спрашивал он неизвестно кого в пространстве. И сам себе тут же отвечал: «Баранки гну».

Если бы у них еще хоть получилось с детьми! Но тут уж ей винить было тем более некого. Она долго не понимала происходящего, даже когда первый раз случайно встретила его с этой Раисой и он, засуетясь, стал знакомить ее с землячкой. Она не поняла его возбужденного, избыточного многословия, вороватого выражения зеленых его глаз, она ничего не понимала или не хотела понимать, даже когда ее стало подташнивать от чужого неясного запаха на его одежде и как будто на теле, а потом уже и в комнате, на их постельном белье, так что она просто не могла больше спать на этой кровати, сама стыдясь непонятных болезненных капризов своего обоняния — но ей в самом деле полегчало немного, когда он купил новенький раскладной диван, а кровать переставил к противоположной стене. Она не поняла, что это было уже началом раздела — без развода, еще до того, как он надумал ставить в комнате перегородку — а сам все поглядывал, ожидая хоть какого-то, наконец, возмущения, хоть чего-то, напоминающего нормальный скандал. Если бы она могла в самом деле закричать, то есть заорать, как положено! Она наблюдала за происходящим с ней самой в каком-то постороннем оцепенении — как однажды в детстве, когда, маленькая, стояла в реке у берега, держась за край плота, на котором мама стирала с другими женщинами. Плот был привязан к берегу цепями, и она, держась рукой, сама незаметно сдвигала его на глубину и невольно следовала за ним, все дальше, глубже, потому что не догадывалась или боялась

отпустить, остановиться, где стояла; вода уже закрыла ей рот, потом нос, и кричать было теперь поздно, еще немного, и она захлебнулась бы, но тут какая-то женщина заметила ее беду и вздернула наверх, на плот, на воздух...

Между тем она все чаще заставляла эту Раису у себя в доме, приходя вечером из своей библиотеки, и Юра больше не считал нужным даже придумывать очередное недоверное вранье, ему не было надобности уже и выпивать для большей наглости — он просто приводил ее к себе за перегородку, как в отдельное жилье, наконец, оставил здесь ночевать. Сима точно окоченела от невыносимости стыда; ей казалось, что даже вещи вокруг мучаются этим стыдом, как искривляющей судорогой. Кровь стыда прилиwała к ее щекам так сильно, что не выдерживали мелкие сосудики, лопались лиловой сеточкой, а она словно бы глохла для обычных звуков, уши были заложены стеклянной сухой ватой, трескучие волоконца ее расправлялись внутри, шуршали голосами, напоминавшими тихое, но отчетливое радио, и эти голоса впрыскивали из ушей внутрь головы, как тоскливую отраву, все, чего она не хотела и как будто не могла слышать вокруг: шепоты, шорохи за фанерной издевательской перегородкой, и ерзанье, и чмоканье, постыдные звуки, от которых уже невозможно было ничем отгородиться.

Когда время спустя выяснилось, что она просто больна, это оказалось облегчением — для обоих. Это объясняло все: ее поведение, и оцепенелость, и неспособность сопротивляться — и почему, наконец, он тоже не мог оставаться с ней, он вынужден был себя вести так, как вел. Болезнь была причиной и объяснением всего; она же оказалась и выходом. Вначале, правда, ее поместили в неподходящую, пропахшую выделениями человеческого распада палату, где женщины, все похожие на истощенных неприбранных старух, хотя были разного возраста и комплекции, сидели, не произнося ни слова, бродили между кроватей, точно не могли вспомнить, чего ищут, бормотали себе под

нос или вдруг начинали кричать вовсе без смысла. Сима, слава Богу, к этой палате не подошла, у нее оказалось что-то с обычными сосудами. Не с теми, конечно, что полопались на щеках. У нее самой было странное ощущение, будто какой-то крохотный ниточный узелок лопнул в середине мозга, ближе к затылку, дав о себе сперва знать очажком излучающей боли, но потом онемев до бесчувственности, так что именно через него не могли пробиться для соединения в памяти какие-то слова и мысли. Особенно трудно бывало вспомнить слова в разговоре с врачами; тут, может, еще первоначальный испуг добавлялся или стеснение. Своих самостоятельных медицинских догадок Сима выдавать им, конечно, не стала. Соображала она, в общем-то, вполне нормально и наловчилась подбирать обходные слова вместо запертых.

Вот чего действительно не удавалось восстановить, так это почему-то стихов, заученных еще в школе, даже песен, памятных, казалось бы, с детства. Мелодии при этом все остались, вот что странно, их можно было напевать про себя с чувством даже вроде бы брезжущего смысла: слова как будто присутствовали внутри музыки, в ритме, но неявно, смазанно, лишь иногда прорезались поодиночке: та-та-та та-та Дунай... (Женщины, распевая, шли от реки, тазы, прижатые ребрами к бедрам — как будто на бедрах лежащие — колыхались в такт шагам, в такт песне: та-та-та та-та Дунай, белье пахло речной свежестью)... чего же еще не хватало? У нее тогда еще была надежда, что со временем музыка вообще поможет памяти лучше лекарств, ведь дома ее дождалось еще и пианино. Играть на нем, правда, она по-настоящему не научилась, но подбирать без нот кое-что умела. Только вот вернуться к нему — то есть в тот же дом — было совершенно немислимо. Сима даже думать об этом боялась.

Она готова была оставаться сколько угодно в этом терпимом отделении, где летом выпускали даже гулять в маленький пыльный садик, там чирикали и суетились воро-

бы, искали что-то в сорной траве, выясняли неизвестные отношения, на них можно было смотреть долго-долго. Юра время от времени ее навещал, приносил, как положено, апельсины и сок, сыпал щедрей обычного прибаутками, заполнял время словами, чтобы не томиться молчанием — или для чего-то еще? Трудно было отделаться от чувства, что и он, как она, ищет способ вытеснить, заглушить постороннее механическое шебуршанье, бормотанье неживых волоконцев вокруг ушей или внутри головы — а может, не замечая, сам его как бы озвучивает. У нее была мысль попросить, чтобы он принес из дома какую-нибудь книжку стихов для воспоминания, но опять же удержал страх, что будет читать только слова, не узнавая того, чем они были прежде. Она ведь и на Юру смотрела с мучительным напряжением: действительно ли с этим человеком что-то было связано в ее жизни? — и не получала подтверждения.

Однажды он пришел, возбужденный больше обычного, принес целую папку бумаг, напечатанных на машинке, разграфленных и заранее заполненных, там надо было только поставить подпись. Речь шла об уже назначенном сносе дома, о необходимости срочно оформить развод и так же срочно оформить брак с Раей, чтобы тут же ее и прописать, в таком случае двум семьям должны были бы предоставить отдельные квартиры, причем Юре с Раей как минимум даже двухкомнатную, потому что она очень кстати забеременела, и он уже договорился с кем надо обо всем, что надо, а с кем надо, раздавил бутылочку-другую, это даже не так дорого стоило, ты не поверишь, такую возможность нельзя упустить, все в выигрыше, — похохатывал, возбужденный и довольный своими прохиндейскими способностями, но на нее посматривал с заискивающей неуверенностью: от ее подписи теперь все зависело. Слабые фигуры людей в больничных одеяниях медленно проплывали по больничному садику. Вялый умственный голос напоминал Симе об опасности подвоха —

но такой он был ослабленный, такой безразличный, как будто речь шла не о ней: так было все равно. «Если б было все равно, люди б лазили в окно», — с готовностью подхватил он подписанные листки. «А люди не бздели, прорубили двери»...

Нет, он и тут ее не обманул, он действительно сделал, как говорил, даже в какое-то учреждение, то есть суд, не только свозил ее из больницы, переодев в лучшее, из дома принесенное платье, но взял на себя все хлопоты, оформление и перевозку вещей. Без него бы она просто не справилась, могла бы, глядишь, и вовсе остаться ни с чем. Это лишь потом по-настоящему до нее дошло; каких только историй она не наслушалась! При тогдашней ее беспомощности легче легкого было ее обмануть. Из больницы она вернулась уже в новую отдельную квартиру на первом этаже чужого девятиэтажного дома. Все вещи и мебель, включая пианино, были уже на месте и, вероятно, в сохранности, проверять подробно у нее не было сил, она извлекала потом разные предметы из упаковочных коробок долго, без охоты, по надобности, а так обходилась. Какая-то у нее вдобавок появилась неприязнь к всегдашним вещам, даже к собственному белью; она, одеваясь по утрам, старалась как бы себя не видеть в этих зимних чулках с резинкой, лиловых рейтузах, спешила поскорей закрыться сама от себя платьем. Точно так же неприятен ей стал процесс еды — точно постороннее пристальное сознание против воли отмечало то, что должно было совершаться автоматически, без внимания, в потайной темноте кишок, желудка или мочевого пузыря. Наверно, это были тоже ответвления болезни, с ними надо был справляться самой, не рассказывая никаким врачам, как не рассказывала она о тех же голосах, что до конца не утихомирились все-таки и в новой квартире.

Не могла же она в самом деле объяснить, почему, едва переселясь, позвала электрика срезать все провода и розетки радиотрансляции. Со стороны это выглядело, долж-

но быть, скаредностью: платить за радиоточку и надо-то было всего 50 копеек в месяц. Да и от голосов это, увы, мало избавило, она сама про себя понимала, что они вряд ли нуждались в особых приспособлениях — иной раз знакомые, как будто уже где-то слышанные или читанные: вперед и глубже, на штурм задания, значит, кашу не варить, а по городу ходить... Бормотанье на грани полуяви, полусна, без музыки, вперемешку с бессловесными шорохами, точно из-за стенки или с неизвестного этажа: скрип пружин, и тошнотворное чмокание, и ритмичное, однообразное содрогание воздуха, и отчетливые до каждого слова шепоты. «Давай вот так, поудобнее.» — «Вот так хорошо.» — «Хорошо, клопов не стало.» — «Не, один выполз, когда я стелила.» — «Может последний, на издыхании.» — «Может.» — «А если нет, опять вызывать придется.» — «Гарантию обещали на полгода.» — «Пусть тогда бесплатно доделывают.» — «Постой, я лучше вот так.» — «Дверь закрыть не забыла?» — «Не забыла. Вот так хорошо?» — «А вот так?» — «Мм-м.» — «Тише, Ребенок услышит.» — «Он все равно еще не понимает.» — «Я маленькая была, уже понимала... Уи-и.» — «Постой, еще не спеши.» — «М-м.» — «О-о»... И ритмично, однообразно, пробиваясь к наслаждению или облегчению — ведь бывает наслаждением даже облегчение нужды...

Существовали ли эти голоса взаправду, помимо ушей, была ли тут нерассосавшаяся до конца болезнь или необъяснимо обостренная восприимчивость слуха? В таких вещах вообще ведь не всегда разберешься. Когда твою кожу то тут, то там начинают покусывать как бы мелкие насекомые — какая тебе разница, существуют ли эти мураши на самом деле? Ты хлопаешь себя по зудящему месту и чешешь его, не разбираясь, — результат одинаков. Если начнешь так вдумываться: еще вопрос, зачем нынешние молодые люди носили в ушах музыкальные затычки, а другие включали на полную громкость свои домашние устройства, чтоб говорили явственно о погоде, о битве за урожай

или просто играли — заглушая, может, что-то другое? Они, может, сами не отдавали себе отчета.

Надежда Симы на пианино в этом смысле, увы, не оправдалась. Оно, похоже, совсем расстроилось от перевозки, звуки не совпадали с теми, что помнились внутри, и не просто скребли кожу: дрожь струн передавалась через пальцы всему телу, так что подступало к глазам... Настройка ей вряд ли была теперь по карману, а главное, вряд ли ей это бы помогло.

Если что стало облегчением жизни, так это восстановившаяся привычка бессознательного ежедневного существования. Вернуться на работу в прежнюю библиотеку она даже не попробовала, туда и ездить было далеко, и не взяли бы ее, наверное, теперь. Ее вполне устраивала простая работа в газетном киоске. Зарплаты вместе с инвалидной пенсией было даже больше прежнего. Встаешь каждое утро в половине шестого, незаметно для самой себя совершаешь одни и те же повторяющиеся действия, так что через десять минут после завтрака уже и не вспомнишь, что ела, идешь зимой затемно, когда во многих окрестных окнах еще не зажигался свет, включаешь электрическую печурку для обогрева ног, принимаешь и пересчитываешь товар, а у окошка тем временем уже собирается очередь. Шофера, выезжавшие на работу с ближней автобазы, останавливали по пути свои фургоны, покупали для дневного чтения сразу по несколько газет. В половине пятого очередь побольше выстраивалась уже в ожидании «Вечерки». Почему-то многим не терпелось придти заранее, хотя газет хватало на всех: просто нравилось, видимо, постоять, посудачить, обсудить новости. В основном это были пенсионеры, а первым всегда оказывался местный дурачок Гриша, он покупал сразу десяток, чтобы потом перепродать опоздавшим с небольшой для себя прибылью; это был способ его заработка. Разговоры за окошком Сима слушала краем уха, не особенно их понимая, поскольку в больнице совсем уж отстала от имен и новостей,

а телевизора и радио не имела. Даже газеты свои она лишь просматривала на первых страницах; заголовки слишком напоминали знакомые, смущавшие голоса: «Ускорим темпы», «Все глубже в недра»...

День за днем слипались в одно неразличимое вчерашнее время, как слипались друг с другом, происходя непрерывно, отдельные мелкие события. Из-за этой непрерывности их трудно было разделить потом в памяти. На Симу подействовал однажды разговор пожилой женщины в обычной очереди за «Вечеркой». Это была еще крепкая, уверенная в себе пенсионерка, из тех, что всегда бывают правы и все знают лучше других. Она с особой гордостью рассказывала, демонстрируя свои безжизненного цвета руки, что через них, через эти вот руки, прошли на заводе «Каучук» все поручни эскалаторов московского метро, с тридцатых еще годов. Она всю свою рабочую жизнь принимала у конвейера готовую продукцию и посыпала эти поручни тальком. Сима вдруг попробовала себе представить эту бесконечную толстую черную ленту, однообразно протекавшую через живые руки, через всю жизнь, день за днем — и какой же мерой надо было мерить эту жизнь, как было в ней различить сантиметры, метры или километры непрерывной полосы, пересыпанной тальком, чтоб не слипалась? Каким, то есть, тальком было пересыпать эти вот самые дни и часы однообразной жизни — все с той же, проходящей мимо сознания и памяти готовкой, стиркой, магазинами, процедурами в туалете и мытьем собственного тела? В памяти застревали скорей неприятности, нарушавшие этот нормальный поток: водопроводная авария, приступ серьезной болезни, обворованная (впрочем, по соседству) квартира. Хотя тут была тоже, наверное, своя неправда. Неприятности ведь не могли быть существенней обычной жизни, вспомнить можно было не только их...

Еще вдруг Симе пришло на ум, что человеку лишь кажется, будто он живет непрерывно всю свою жизнь. На самом деле это оказывалось невозможно, как невозможно

было, например, всю жизнь бодрствовать. Какая-то ее часть должна была уходить на сон, и это было вовсе не самым потеряннным временем. Сновидения, скажем, бывали ярче остальной жизни — если их, конечно, удавалось вспомнить. Но то, что не затрагивало сознания и памяти, словно в самом деле исчезало из действительности. Можно ли было в собственном теле ощутить течение времени? Только замечаешь вдруг, точно очнувшись, что зубов во рту стало меньше, кожа на лице обвисла, разношенная, ничто, томившее между ног, не доставляет больше ни хлопот, ни волнений — а еще недавно бодрая, казалось бы, пенсионерка успела, глядишь, превратиться в не сразу узнаваемую, слезливую, сгорбленную старушку: вот она, уже не ходит по улице, а переступает, как переступают в очереди, надолго останавливаясь преред каждым следующим шажком. У приступочки же тротуара она вовсе замирала беспомощно, дожидаясь, пока случайный прохожий поможет ей спуститься. Но уж ухватив кого-нибудь цепкой лапкой под локоть, старалась не отпустить подольше, плачущим голосом просила проводить до следующей приступочки, а если кто поддавался — и до магазина, и с первых же шагов начинала слезливо жаловаться на соседа, который всячески травил ее и обижал, подсыпал клопомор в кастрюли, а вчера (каждый раз это было вчера) стукнул ее половником по голове с явным желанием убить — вот, можешь пощупать шишку; жалоба переходила на дочерей, которые ни копейки ей не присылали, на собеса, который обманул ее с пенсией. Были эти жалобы однообразны и докучны, попавшиеся один раз старались больше эту бабку не замечать, проходили мимо, как бы задумавшись или отвернувшись в более важную сторону. Сима покорно давала себя ухватить, и бабка облюбовала ее в свои постоянные жертвы. Она даже нарочно подгадывала для своих выходов час, когда в киоске начинался обеденный перерыв, так что Симе приходилось жертвовать частью этого времени, выслушивая слова, каждый день те же,

как лента эскалаторных поручней, о которых старуха тоже продолжала поминать, как о наивысшей гордости рабочего человека, создавшего вот этими вот руками все, что присваивала потом интеллигенция вроде Симы.

Симины покорность была не просто от жалости, ей как будто самой надо было немного подержаться за продолжавшую жить старуху. Ее смущало незаметное исчезновение других: просто переставали вдруг появляться во дворе и у киоска. Точно растворялись. Лишь иногда соседские старички и старушки собирались озабоченной тихой стайкой возле автобуса, дожидавшегося у подъезда, чтобы увезти такого же, как они, прямо из квартиры на кладбище. Было странное чувство все более спускаемого воздуха: как будто открывалась где-то дыра в неизвестную пустоту, с которой все здесь когда-нибудь должно было сравняться...

Однако настоящего сдвига чувств она бы не испытала, если бы нечаянная встреча не пробудила ее однажды точно от какой-то спячки. Это случилось в пору, когда из магазинов стали исчезать самые простые товары, и Сима как раз обнаружила, что осталась совсем без соли, потому что в отличие от других не позаботилась сделать основательные запасы. Кто-то сказал ей, что видел соль в одном из сравнительно отдаленных магазинов. Пришлось отправляться туда. Пачки соли были действительно сложены в витрине аккуратной пирамидой рядом с такой же пирамидой рыбных консервов, больше под стеклом ничего не было. Сима увидела их сразу от дверей, но прежде, чем у прилавка она подняла взгляд на продавщицу, сердце ее неприятно сжалось — точно знакомый, напоминающий о тошноте запах коснулся ее ноздрей. Нарумяненное, как у кустарных кукол, белое круглое лицо, естественно, расплелось, как бы раздулось, и поредевшие волосы крашены были в белокурый цвет, но не узнать ее было, конечно, невозможно. Рая, судя по вздрогнувшей на губах усмешке, тоже явно ее узнала. Отступить было поздно, Сима быст-

ренько опустила взгляд опять на прилавок, где, однако, ничего не прибавилось для разглядывания — но можно было считать, что она как бы сдержанно кивнула, ничего не уточняя словами. А в следующий миг увидела позади прилавка круглое детское личико. Мальчик двумя руками передвигал машинки по перевернутому картонному ящику из-под масла. Он вскинул на нее длинные загнутые ресницы, и взгляд его зеленоватых, словно затуманенных глаз уколол Симу.

«Мой», — с готовностью подтвердила Рая, не дожидаясь формального вопроса и вообще обойдясь без предварительного приветственного ритуала. Магазин был не менее пуст, чем прилавок, Рая была явно непрочь поговорить перед безмолвной, словно отчего-то онемевшей посетительницей. Сам вид ее делал необязательными особые выяснения, хватило немногих промежуточных междометий. Превосходство материнского положения было очевидным, Раю даже потянуло его немного затушевать. Она зачем-то стала рассказывать, как не удалось пристроить Славика в летний лагерь, а дома ремонт, и отпуска не дают, приходится мальчику вот так проводить лето. Даже погулять поблизости негде, все кругом, видишь, перерыто, и по нынешним временам выпускать одного боязно, тем более он такой рассеянный, ему вроде бы очки надо выписывать... Мальчик прислушивался к разговору, наклонив к плечу круглую мордашку. К грязной щеке его прилипла светлозеленая сухая сопелька. Про Юру в тот раз не было сказано ни слова, и Сима не спрашивала, она вообще не в состоянии была ничего спросить, только дожидалась возможности попрощаться. И лишь вернувшись домой, обнаружила, что соль-то купить забыла.

Так что на другой день у нее оказался повод наведаться в этот магазин снова — хотя она уже знала, что это всего лишь повод. Зато она опять увидела эту трогательную мордашку, эти загнутые ресницы и затуманенные, словно близорукие глаза, и мальчик ее узнал, сказал «Здравствуй-

те», и никакой неловкости не вышло, когда Сима вызвалась с мальчиком прогуляться а ближний парк, и Рая согласилась просто, как будто ей понятно было это естественное желание, с оттенком даже просьбы. Как будто она делала некоторое вроде бы одолжение с высоты своего превосходства. Но Сима не стала думать о самолюбии.

Это было короткое счастливое время, когда она просыпалась по утрам с чувством предстоящей радости — и тотчас вспоминала, отчего это чувство. У нее как раз начинался отпуск, который обычно выбивал из привычной размеренной колеи и только портил настроение, напоминая о незаполненном времени — неизвестно ведь было, что с ним делать. А тут целый день можно было занять детскими удовольствиями. Они гуляли по парку, кормили в пруду лебедей, катались на карусели, которой Сима не успела насытиться в свое время, ели вместе мороженое, которое она любила, но себе одной стеснялась покупать. Она словно наверстывала недополученное когда-то и вспоминала вместе с ним собственные забытые умения, складывая бумажные кораблики и делая свистульки из стручков акации. Подняв из дорожной щебенки камешек гранита, она показывала Славику вкрапления красного шпата, белого кварца и особенно — плоские блестки слюды на разломе, которыми любовалась когда-то, когда ей было столько же лет и она собирала коллекцию доступных камней, потому что мечтала стать геологом, как папа. (В самом деле, надо же — сама забыла). Прошлые и новые мелочи все больше наполняли ежедневную жизнь, она оказывалась как никогда вместительной — и продолжала разрастаться. Каждый день Сима что-нибудь Славику покупала: сладость, значок, игрушку — переживая вместе с ним знакомое, оставшееся неудовлетворенным чувство ожидания и радости от подарка. Ведь тебе в этом возрасте еще так мало дано. Только взрослые могут что-нибудь купить, заработать, сделать (как сама покупала себе когда-то цветы, ни от кого не дождавшись) — тебе все дается

пока лишь в виде подарка — то есть как чудо. Они и дурачились, и болтали, как ровесники. Славик восхитил ее одинажды загадкой: «Что такое: тридцать девять — бум, тридцать девять — бум?» Оказалось: сороконожка, одна нога деревянная. И Сима смогла ответить ему не менее смешной загадкой, которую ей рассказали когда-то, кажется, на работе: «Что такое: животное цвета сирени, видит одинаково спереди и сзади, прыгает выше колокольни»? Разгадка была невозможна: белая слепая лошадь. Потому что сирень тоже бывает белой, колокольня вовсе не прыгает, а слепая... ну, Славику не надо было растолковывать, он уже прыгал от восторга и требовал от нее вспомнить что-нибудь еще, и она, к собственному удивлению, вспоминала...

До окончания рабочего дня надо было отвести мальчика в магазин — о домашнем адресе речи не возникало, и даже телефонного номера Сима не спрашивала — да и зачем было? Славик, прощаясь, прикинул к ней всем своим телом, тяжелым и вялым, головой уже ей по грудь, обвинял теплыми руками, а она пыталась его хоть чуточку приподнять. Рая глядела на них, снисходительно усмехаясь крашеным ртом, зажигала сигарету. Перед уходом Сима покупала у нее что-нибудь необязательное — словно требовалось дополнительно оправдывать чем-то свое появление здесь. Запас соли тоже в конце концов ни у кого не портится. Ей было неприятно обнаружить, что Рая, получая деньги помимо кассы, явно ее обсчитывала. К таким вещам Сима вообще-то привыкла, причем именно со знакомыми продавщицами. Они сами ее откровенно как-то и просветили: а на ком зарабатывать, как не на знакомых? С незнакомыми еще неизвестно, на кого напорешься... Но тут показалось как-то неприятно, хоть все деньги-то были копеечные. При этом Рая не упускала случая пожаловаться всякий раз на жизнь, на Юру, который не просыпал, по ее словам, от запоев, и в дом давно уже не носил, только из дома. Дай ему волю — все бы пропил, до коронок, и сколько это еще терпеть? Ремонт все никак не кон-

чится, они ведь договаривались платить оба, так нет, он тут же, конечно, слинял, ей все приходится тянуть одной, и дом, и сына... Сима плохо тогда поняла, при чем тут ремонт и в каком смысле Юра слинял. Ее только удивило вдруг странное сознание, что всем приходилось почему-то труднее, нежели ей, в самом деле, она даже не могла бы сказать, чего ей не хватало в смысле квартиры, еды, одежды, не говоря о зарплате вдобавок к пенсии. У одинокой ведь сами потребности меньше, тем более, что и ела-то она, как птичка... И тут же открылась другая мысль: что она, избавленная от забот, своими деньгами вносила как бы добровольный налог на содержание Славика — каким еще способом она могла бы дать эти деньги Рае? От такой мысли ей стало просто и весело, она не только не заботилась теперь пересчитывать сдачу, но сама сознательно добавляла.

Как-то с прогулки она завела Славика к себе домой, покормить домашним, заранее приготовленным обедом. Даже мясо для жаркого удалось достать, и слив купила на рынке. Хоть она и немного умела готовить, но в кафе и столовых была вообще не еда. Мальчик, едва оглядевшись, сразу прилип к пианино, стал трогать пальцами клавиши, и разрозненные звуки отозвались в ее теле такой живой — как будто очнувшейся, сладкой дрожью! Сима осторожно попробовала сама — и не ощутила испорченного, скребущего дребезжанья. Она стала показывать Славике мелодию, направляя к нужным клавишам его теплые мягкие пальцы... (Как сладко было эти пальчики нечаянно встретить в тарелке с прохладными гладкими сливами!.. прикосновение нежности и любви). «Я ехала домой, душа была полна», — вместе с мелодией проявились вдруг в памяти слова, пахнувшие когда-то мартом, талой водой, холодным вагоном трамвая. Душа была полна... точно оживало возвращавшееся неизвестно откуда чувство... Неясным для самой... Слова, оказывается, не исчезли в ней насовсем, они где-то хранились, существовали, и вот

сумели пробиться... Душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем...

И вдруг в приливе нежности она поняла, что надо ей сделать. Она подарит это пианино Славику. У него явно были способности, он схватывал так быстро, и мелодия под его пальчиками звучала такой нежностью! Ей пианино ведь в самом деле уже ни к чему. Проблема была лишь в том, как это сделать без неловкости.

Случай опять сам пришел ей на помощь: в тот самый день, когда она отводила мальчика в магазин, перед входом им встретился Юра. Сима его, возможно, не сразу узнала бы, если б не Славик. Он бросился отцу на шею, и Юра вскинул его вверх, повертел на вытянутой руке под небом, и у Симы вместе с мальчиком замерло сердце в испуганном восторге. Юра был в грязной спецовке грузчика, щеки в серой щетине, одного переднего зуба внизу не было. Без объясняющих разговоров, по одному его виду можно было догадаться о его состоянии, и что он здесь торчал в надежде получить у Раи на опохмелку. Но взгляд наглых зеленоватых глаз был тот же, и после нескольких слов он стал казаться тем же, узнаваемым: прежние черты проявлялись сквозь порченую временем поверхность.

— А ты прям совсем не изменилась, — сказал он с некоторым даже удивлением, отпустив сына в магазин. — Ну, кожа, допустим, малость того... А так — прям как из холодильника... Сима-Сима-Серафима, да за что же ты любима? Помнишь, как я?.. Играй, играй, тальяночка... Да? Раз сыграешь — и не переиграешь. Так почему-то всегда выходит. Мужуку, говорят, что надо? Чтоб было за что подержаться, да? Не в смысле, что я нас с тобой имею в виду. Но просто, как говорят, такие выходят дела. Как сажа, бела. Не вышло, значит, мочала, начинай сначала. А? Может, действительно? Как ты считаешь?

Сима слушала его в странном смятении, понимая, что ответных слов тут быть не может. В этом привычном механическом ерничанье не следовало искать смысла, он

просто говорил слова, чтобы отогнать какие-то другие. «Но тогда бы не было Славика», — готова была она сказать — как будто имея в виду утешение. Но это тоже лишено было смысла. И в какой-то момент, когда в Юриных словесах возникла пауза, похожая на утомленный сбой. Сима — будто вдруг вспомнив — сказала про свое решение подарить Славике пианино.

Он, показалось, не сразу понял, а, может, не сразу вспомнил, что у нее есть пианино. Или не сразу поверил. Сима поспешила добавить, что ей пианино действительно совсем не нужно, а мальчика надо учить, у него настоящий слух и, главное, желание. Вот тогда он опять оживился, обрадовался, заявил, что прямо на днях сам приедет с грузчиками и без промедлений перевезет инструмент.

Сима была довольна простотой решения. Войдя в магазин, она тут же сообщила о подарке Рае и Славике. Ах, как обрадовался мальчик, как запрыгал и захлопал в ладоши, как прижался к ней своим вялым, теплым, тяжелым телом, которое ей так хотелось всегда и так не удавалось приподнять! Она целовала эти прохладные щечки (под снисходительным взглядом матери), как будто в них содержалось что-то, происшедшее внутри...

Почему она сразу не сопоставила очевидных, уже известных ей обстоятельств? Ну, хотя бы того, что ремонт был затеян не просто в связи с обменом квартиры и уже близким переездом, что Рая с Юрой давно не жили вместе, а теперь фактически разъезжались? Юра приехал с грузчиками действительно без промедления — следующим же вечером. Выносили они инструмент без сноровки, задевали за стены, за дверной косяк и даже поцарапали в передней обои — а она еще не подозревала, что натворила. Придя на другое утро в магазин, Сима не стала вначале спрашивать, как довели пианино, ждала, что Рая заговорит об этом сама, скажет хотя бы спасибо. Славика при этом не было, он задерживался в туалете, что-то у него случилось с животом, они обсудили возможную причину; надо было просто его

дождаться. Неудобно же было напрашиваться на благодарность. Но, так и не дождавшись хотя бы вежливых слов, с чувством вынужденной нескромности, Сима все-таки спросила: «Ну как Славик, играет?» И по взгляду Раисы поняла, что что-то не так, и упало сердце... Прикрыв глаза и запрокинув лицо вверх, Рая стала беззвучно смеяться, в этом смехе и гримасе лица — как смазанная на губах помада — было какое-то усталое брезгливое презрение. Сима поняла, что не сможет дождаться приближения почудившихся славикиных шагов — и вообще не сможет его больше увидеть...

Так оно и получилось — отчасти само собой, потому что, разменяв вскорости квартиру и переехав в другой, неизвестный, район, Рая поменяла, видимо, и место работы. Узнавать новый их адрес Сима даже не попыталась...

Легонько закрапал дождик. Прохладное прикосновение вернуло ее в сквер. На крыльце школы никто все еще не появлялся, только две девочки с собакой взбежали спрятаться под козырек. Неужели придется уходить?.. Однако тут же, словно удостоверяя недолговременность дождя, между высоких домов пробился луч солнца. На открытом месте, возможно, светилась сейчас радуга. Издалека донесся слабый звук колокола — где-то там была церковь. Сколько их объявилось в городе, будто затаившихся прежде, иной раз со снятыми куполами, не говоря о крестах. Неподалеку от Симиного дома тоже обнаружилась церквушка, называвшаяся прежде складом. Однажды что-то потянуло Симу туда зайти — точно потребность вспомнить дальше забрезжившие было в памяти строки. Я ехала домой... и какой-то благовест?.. звучало уже близко... Была оттепельная слякоть, многие люди шли в ту же сторону, все больше женщины, почему-то с разнокалиберными бидонами в руках. «А где здесь воду продают?» — уже у самой церкви спросила ее попутчица, тоже, видимо, новенькая. «Вон там, у ворот, очередь», — пришла на по-

мощь другая, уже с полным бидоном. «У, долго!» — засомневалась женщина. «Нет, быстро пройдет. Здесь такой порядок». Сима неуверенно пошла вслед за прочими. Ее смущало, что она без бидона, она не знала, как себя вести. У ворот распоряжался пожилой мужчина в черной железнодорожной шинели с оловянными пуговицами, пропускал небольшими партиями. «Не торопитесь, проходите организованно, в порядке очереди», — услышала Сима — и не могла понять, от кого же исходит голос. Железнодорожник вроде бы не раскрыл в это время рта, она как раз на него смотрела. То был укол знакомого, болезненного испуга, от которого, казалось, почти удалось избавиться. Она все еще напряженно сжималась вся, прислушиваясь к чему-то в церкви, где пахло одновременно известкой и ладаном. У стен стояли строительные леса. Пение и неразборчивый речитатив отдавались под голыми сводами, эхо множило разноголосое бормотание, сквозь него проступало все еще непонятно откуда: «Почем поллитра?» — «Два пятьдесят». — «А раньше было». — «Не говори»... Симе стало не по себе, она поспешила выбраться на воздух...

Если бы при всем том можно было самой распоряжаться еще и своими мыслями, не допуская ненужных! Долгое время она в прихожей не могла не глянуть на поцарапанные обои. Надрыв удалось подклеить почти незаметно, и все-таки она искала его взглядом — как будто нужно было и в себе вспоминать надрыв. Конечно, время само понемногу все-таки что-то разглаживало. Зато помимо всяких желаний в мозги лезло что угодно: бессвязные клочки, имена прежних сослуживцев: Баснер, Китаева, Клавдия Николаевна ругалась с Машей из-за перегоревшего кипятильника, в палате, пропахшей мочой, обвиняли кого-то за пропажу из холодильника продуктов, и ты понимала, что это говорят тебе, но как было доказать теперь свою невиновность?..

Однажды Сима поняла, что надо иметь рядом хоть кого-нибудь, способного все-таки притягивать к себе мысль и

чувство. Это оказалось не так просто, как думалось — даже с кошкой. Сима подобрала ее зимой, ничейную, дождавшуюся у входных дверей, чтобы ее пустили в подъезд погреться. Маленькая, с трехцветной шерстью, она оказалась ласковой, привязчивой, чисто плотной и совершенно не хотела больше на двор. Ночью она устраивалась спать прямо на Симе, и Симе было не тяжело. Через одеяло передавалось тепло и урчащая дрожь маленького дышащего тела. Только вот к весне кошка забеспокоилась, она не находила себе места, бродила по квартире, подолгу задерживаясь у дверей, с мучительно громким мяуканьем, обрызгивала понемногу мочой разные неподобающие места, выставляла напряженный маленький задик. А то ложилась прямо под ноги Симе на спину и томно поворачивалась с боку на бок, задрав изящно согнутые лапки. По неопытности Сима не сразу сообразила, в чем дело. Мысль о появлении в доме еще и котят ее заранее пугала, но выносить кошкины мучения тоже было превыше сил, и, не зная других способов справиться, она однажды все-таки согласилась выпустить бедняжку на улицу. Благо, на первом этаже это было просто. В первый раз кошка пропала сутки, Сима уже думала, что не вернется. Однако вернулась — утомленная, успокоенная, с жадностью набросилась на еду. А на другой день стала еще неистовей проситься у двери, и Сима опять не могла ее не выпустить. Продолжалось это недолго. Однажды кошка все-таки не вернулась, Сима попробовала ее искать, а потом встречная соседка спросила: «Это не вашу кошку разодрала овчарка из восьмидесятой квартиры?» — и стала рассказывать, как это произошло, но Сима уже не слышала и от предложения посмотреть растерзанный трупик отказалась. Больше она никаких животных завести не пыталась — от страха кого-нибудь опять потерять.

Зато с кем оказалось в этом смысле просто, так это с мухой, которая завелась в доме сама собой — слава Богу, одна. Сима потом со стыдом вспоминала, как в первый

момент по автоматической привычке чуть было ее не прихлопнула. (От насекомых у нее были марлевые сетки на узких створках всех окон). Муха вырвалась из-под руки, заметалась возмущенными зигзагами, зажужжала обиженно и сердито, но далеко улетать не стала, опустилась на прежнее место, как будто испытывая, станут ли ее обижать еще раз. Даже смотреть не стала на хозяйку, села к ней задом, чистя лапки — но Сима-то знала, что на самом деле муха умеет видеть и позади себя, так устроены ее выпуклые граненые глазки. Потом муха все же повернулась к ней и принялась чистить передние лапки — точно соглашалась не обижаться и предлагала мир. Симу развеселила эта добродушная повадка, она нашла на скатерти хлебную крошку, пододвинула к мухе. Та в первый миг взлетела, но тотчас опустилась, подползла к крошке, стала трогать ее черненьким хоботком.

С тех пор они все больше привыкали друг к дружке. Муха безбоязненно ползала рядом с рукой и по руке, позволяла сколько угодно за собой наблюдать, а тем более с собой разговаривать. Уходя из дома, Сима оставляла ей на специальном блюдечке разной мелкой пищи, как домашнему существу, а однажды купила обеим баночку смородинового варенья — на себя одну бы не стала тратиться. Поскольку муха была в квартире единственная, это позволяло не путать ее с незнакомыми и не опасаться размножения. Даже для проветривания Сима зрякон не открывала — разве что иногда осторожно.

Непонятно, однако, было, каким образом — при марлевых-то сетках — на оконном стекле оказалась однажды залетная гостья: пчела. Она в отчаянье пласталась и билась о невидимую прозрачную преграду, не могла понять, что же ее не пускает к свету, к вольному воздуху. Муха притихла где-то в отдаленном укрытии и появилась снова, лишь когда Симе удалось осторожными подталкиваниями выпустить непонятную, угрожающе шумную, но все-таки глупую незнакомку.

Удивительно, подумала однажды Сима: как будто муха стала существовать только теперь, потому что я в нее всматриваюсь и о ней думаю. И чем больше я в нее всматриваюсь, тем больше она существует: с этими вот глазками черно-радужными, с лапками в зазубринках, которые она так забавно чистит одну о другую, с трудной жизнью среди громадных опасных существ, которые так и норовят тебя прихлопнуть, безо всякой вины, причины и надобности. А до этого было так, неприятное раздражение, досадный шум около уха: ж-ж-ж. Вон как сосед с какого-то верхнего этажа затеял ремонт и сверлит дрелью целыми днями: ж-ж-ж. А ты даже не знаешь, кто это, из какой квартиры, как его зовут, как выглядит. Хотя, наверное, встречалась в подъезде, но даже не отметила взглядом. Интересно, думала Сима, чувствует ли муха, что благодаря мне она все больше существует? Смешная мысль. Может, она заслуживает, чтоб ей дали имя. Может, это про нее уже написаны какие-то стихи. Смотрит на меня... и что, интересно, видит? Может, и я для нее теперь не просто опасная стихия, от которой жди только беды? У меня тоже есть жизнь, есть имя? Способна она обо мне тоже что-то такое думать? И я для нее тоже кем-то становлюсь? Может, каждому надо, чтоб в него именно всмотрелись, не мимоходом, а выделив среди других, тогда ты станешь существовать не просто так, а для кого-то...

Конечно, таких глупых мыслей никому, кроме мухи, лучше было не выдавать. Сима сознавала, как нелепо, наверное, было вообще размышлять собственным недостаточным умом над вещами, которые за тысячи лет скорей всего уже продумали и решили люди, с тобой не сравнимые, просто ты не добралась — и не доберешься уже, наверное, никогда до этих книг. Все равно что биться головой о стекло, как та пчела, не понимая преграды — но существует ли рука, которая приоткроет тебе окно и все разрешит? Сложность-то была в том, что никакое чужое, снаружи, знание не могло заменить внутренних попыток.

Пусть это даже глупые заскоки. Существовать в действительности могло только внутреннее понимание. Память об установленной когда-то врачами болезни в каком-то смысле помогала ей не стыдиться и не осекать собственных мыслей.

К осени муха стала совсем ручной, она не улетала, даже когда ее трогали пальцем, и до Симы не сразу дошло, что это признак не доверия, а слабости, по-видимому предсмертной. Однажды она обнаружила муху на подоконнике в виде безразличного катышка грязи и чуть было не смахнула ее тряпкой для протирания пыли. Но, узнав убогое тельце, положила его на верх шкафа — с мыслью, что у мух смерть может быть не окончательной, их преимущество перед людьми — в способности оживать со временем. Если, скажем, весной тельца на месте не окажется — можно ведь думать, что она где-то продолжает существовать, просто исчезла из лично твоей жизни. Не впервой. Сколько уже так исчезло. Это не всегда окончательно. Про людей мы вообще, может, меньше знаем...

Ей самой знакомо было не просто состояние, похожее на повседневную безжизненную спячку. Иногда в минуту слабости, напоминавшей безразличие, улегшись прямо в одежде на постель, она могла расслабиться так, что исчезало чувство тела, отделенного от окружающего пространства, само пространство теряло очертания, все растекалось, как дыхание, неизвестно куда. Оставалось ощутимым лишь последнее зернышко внутри — тепло дотлевавшей искорки. От твоего желания зависело окончательно от него отказаться — но остаточное сопротивление заставляло тебя все-таки вернуться непонятно откуда. Как будто действительно надо было за чем-то вставать, делать все те же дела, идти все в тот же киоск.

Против киоска рыли какое-то углубление в земле, огородив траншеею бетонными плитами, на одной из них было крупно мелом написано: «Бабка дура!». Каждое утро из двухэтажного здания почты напротив выходила эта са-

мая бабка, тошая, в домашних шлепанцах или галошах на босу ногу, с подметальной щеткой и скребком. С некоторых пор она поселилась здесь на правах то ли сторожихи, то ли дворничихи, а скорей всего просто из милости, и каждый день с утра приводила в порядок асфальтовый пятачок перед почтой, через который тут же начинали ездить самосвалы с грунтом. Грязь отлетала комьями с мощных рифленых колес, сыпалась из кузовов. Старуха тут же принималась убирать снова, не смущаясь бесполезности своего труда. Наверное, она тоже была не совсем нормальной. Несчастьем ее были окрестные мальчишки, она их всех заранее подозревала в стремлении мусорить, хулиганить и пакостить, встречала и сопровождала чудовищной мужицкой матерщиной, замахиваясь подметальной щеткой — зачем? Вначале они пугались ее, поскорей отбежали на безопасное расстояние, потом поняли, что ничего она им взаправду сделать не может, и стали изводить ее всевозможными пакостями — да не дразнильными надписями только. Один раз даже стекло ей камнем побили. Если, конечно, считать, что стекло было ее. Постепенно она утихомирилась, смирилась с неизбежным злом их существования, только при всяком случае жаловалась на извергов проходившим знакомым, таким же убогим старухам. Те охотно слушали, чтобы тотчас в ответ излить собственные жалобы: на недостаточную пенсию, на детей, на соседей, на приезжих, из-за которых не протолкнешься в магазинах, ну, и вдобавок на правительство, которое в конечном счете было во всем виновато. Та, опершись на палку щетки, с терпеливой скукой кивала, дожидаясь очереди возобновить свою партию. Насчет правительства у нее было, впрочем, особое мнение.

— Правительство не виновато. — говорила она. — Это все ебетня.

— Чего? — переспрашивала собеседница.

— Ебетня. Рожают детей без конца, а потом их корми. Разве напасешься, когда их вон сколько? Никакое правительство не напасется.

Собеседница отходила, покачивая головой, то ли для лучшего усвоения новой мысли, то ли отмахиваясь от нее, а бабушка снова принималась восстанавливать бессмысленную чистоту на своем пяточке — до следующего самосвала. Сима тоже покачивала головой, глядя на нее из своего киоска, чутким слухом улавливая с расстояния даже продолжавшееся бормотание под нос — вперемешку все с той же бессмысленной матерщиной. Но что-то было для нее ободряющее в этом безумном упорном нежелании уступить, сдаваться. Она сама бы не могла объяснить своего чувства. Наверно, правильной было в него и не вникать.

Потому что простым умом невозможно было справиться со смущавшими разговорами, новостями, с неясными угрозами, которых в жизни возникало непонятно откуда все больше и больше. У киоска, хоть теперь и не было прежней очереди за «Вечоркой», всякий день обсуждали то газетное убийство, то повышение цен, то захват заложников — где-то все время по-настоящему воевали. Больней же всего задела Симу близкая новость: о несчастье с участковым врачом Лисицким. Его подстерегли возле дома неизвестные хулиганы, перебили ноги железной трубой, а вдобавок еще поколотили до полусмерти. Вроде бы за то, что отказался выписать то ли больничный лист, то ли рецепт наркотического лекарства. Он был еще не старый, лет под пятьдесят, на вид крепкий, а жил, оказывается, одиноко, никого у него не было, и женщины у киоска сговаривались, чтобы носить ему в больницу передачи.

Сима этого Лисицкого сама побаивалась. Мужчина в роли участкового врача и так вызывал стеснение, а этот был еще известный грубиян, всякий свой визит по вызову начинал с раздраженных жалоб на мнимых больных, которые замучили его выдуманными болезнями, хотя у пожилых всего навсего обычный климакс, могли бы и без врача справляться. Сима и так старалась до крайней необходимости обходиться сама. Мысль о врачах ее вообще как-то заранее смущала. С температурой, и то шла иной раз в ки-

оск, а приступы непонятной слабости объясняла для себя собственными догадками, и они проходили сами собой. Одна полужнакомая женщина как-то захлопотала, увидев ее в киоске: «У вас же губы совсем белые». Вытащила из сумочки стеклянный цилиндр с таблетками, заставила ее одну положить под язык, остальные оставила про запас. «Как же вы можете с таким сердцем не обращаться к врачу?» Таблетка в тот раз действительно подействовала ускоренно, Сима прибежала к этому способу еще раз-другой, но к врачу все-таки идти медлила. Тем более, несколько таблеток у нее еще оставалось, она их сэкономила — на крайний случай. И вот как, оказывается, опоздала...

Из-за того же смущения перед врачами она ведь и на ослабленные глаза пожаловалась не сразу, просто ухитрялась обходиться все больше без мелкого чтения — пока и со шрифтом покрупней не стала затрудняться. (А надо же было и в разных ведомостях расписываться). Газет она не стала читать, даже заполучив очки, только пробовала понемногу просматривать. Новости все-таки с трудом укладывались в голову. В каком-то зоопарке шестиклассник залез в клетку пантеры и попытался отнять у нее кусок мяса. Бездомные погорельцы заняли здание тюрьмы, поставленное на ремонт, и потребовали, чтобы их там, в камерах, прописали. А где-то в приморском городе беженцы расселились в санаториях и выходили в море ловить рыбу на водных велосипедах. Только головой можно было покачивать — но ничто от этого не утрясалось

Другое дело были, конечно, книги. Читала она не так много, как раньше, и старалась выбирать истории, где речь шла о других временах и странах, о людях, никак на нее похожих. С детства держалось чувство наивного удивления: как возникают новые, никогда не виданные картины — из соединения чужих слов, но внутри тебя, и потом оказываются все-таки немного твоими. Зато что-то сопротивлялось описаниям жизни, именно узнаваемой, похожей на твою. Не просто потому, что казавшееся тебе

единственным, необыкновенным, таинственным выглядело здесь общеизвестным и до тоски заурядным — для этого существовали, оказывается, слова, напоминавшие готовые бесчувственные термины, вроде медицинских, а иногда такие же неприятные.

Но хуже и непонятней всего было со стихами. Словно продолжало держаться в голове все то же болезненное замыкание. Казалось бы: не можешь сама вспомнить нужных строк — вот тебе книга, открой, перечти, заучивай наизусть снова... Нет, что-то тут не получалось именно по-настоящему. Что-то внутри мешало стихам не просто вернуться в память (насильно заученные слова задерживались почему-то все равно ненадолго), но совпасть с чувством изумленного узнавания, когда-то похожего на открытие. Ведь именно в стихах существовали слова о, казалось бы, не раз виданном, испытанном — но такие, что тебе самой в душу не приходили и вроде бы придти не могли; теперь оставались неживые, склеротические оболочки...

Это было трудно выразить, но однажды что-то близкое вдруг померещилось ей, когда на газетный киоск обрушился июньский ливень... Чувство свежести и прохлады, словно возникшей когда-то из давних, таких любимых строк, когда шумел по окну дождь, и влажные ветки лезли из сада... — как он умеет это передать! — восхищенно думала ты, не в силах оторвать взгляд от страницы, и слух не воспринимал ропота струй, хлещущих по стеклу... Сима очнулась от нечаянной задумчивости. Под неплотно задвинутое окошечко на пластиковый прилавок натекла выпуклая лужица, в ней отражался свет неба. Ветви тополя, нависавшего над киоском, еще откликались на прощальные порывы ветра. Крупные капли звучно плюхались в лужи... Какие же это были стихи о дожде?..

Расслабленный взгляд соскользнул на брошюрку, поступившую утром вместе с газетами. Серенькая, стандартного вида, с силуэтом березы и трудночитаемым заголовком: «Конец дороги». Механически открыла страницу —

и удивилась: это оказались стихи. Утром даже не посмотрела. Надела очки, вгляделась в начальную строку — и точно коснулась провода: «Что же делать, стихи никому не нужны»...

Неожиданной самих стихов было для нее собственное волнение. Женщина-поэтесса ощутила вдруг, что все написанное и прочувствованное ею за долгие годы ушло в пустоту, невесть куда, никого не коснувшись. Имело ли смысл бормотать свои слова дальше — опять неизвестно кому? Зачем была тогда вся жизнь, все труды, от которых уже не останется следов? «И тоска неумная душу грызет. Кто меня помянет?»...

Наверное, стихи были в самом деле хорошие, Сима ощутила эту тоску в самой себе с такой силой, что невольно сжалась. Что же это было такое? Зачем она так? Нет, дело было не в том, права или не права была грустная женщина: вот, коснулись же ее слова хотя бы одного человека, не ушли ни в какую пустоту. И книжка — вот она, существует. Но что же тогда делать другим, которые никаких стихов не смогли написать и вообще ничего после себя не оставили — кроме какой-нибудь бесконечной ленты каучуковых поручней? И то, если еще повезло. Пока этот каучук не сносился, не истерся прикосновениями рук, есть хотя бы, что вспомнить. А если и поручней от твоего существования не возникло, ни предметов, ни записанных слов? Если кто-то не оставил после себя даже детей? Что ж, выходит тогда, жизнь вообще ничем не была оправдана — ушла куда-то именно без следа и смысла, напрасно, как будто и не было? Так не могло быть, она ведь помнила по себе, что-то тут было не так...

По пути на обеденный перерыв домой Симу остановил вдруг полужнакомый мужчина, сосед со второго этажа: «Можно вас на минуточку?» Остановилась с недоумением, немного даже тревожным, ожидая, что он скажет. До сих пор они, кажется, лишь просто так здоровались, она даже не знала его по имени, как не знала большинство

населения в этом геометрическом однообразном доме — считай, небольшой городок. Сосед стоял молча, шевелил губами, цвет лица был болезненно-серый. «У Любочки сегодня день рождения», — проговорил вдруг, непонятно к чему. Нитка слюны стекла с мятой стариковской губы, и это показалось ужасней, чем если бы слеза капнула. Сказал и пошел дальше. А Сима осталась стоять, словно обессиленная. Она только тут вспомнила, что у соседа полтора года назад умерла от белокровия жена, она ее помнила, моложавая на вид женщина, зимой иногда ходила перед ее окном босиком по снегу — для закалки. И вот он, оказывается, как... И не перед кем было высказать...

Она не могла бы внятно выразить нахлынувших чувств. Словно еще один укол чужого тоскующего одиночества нарушил какой-то охранительный механизм, помогавший ей до сих пор терпимо держаться без волнующих соприкосновений с другими — а, может, и с чем-то в себе самой. Она не могла объяснить, какая смутная потребность побудила ее вдруг достать с антресолей один из картонных ящиков, так и оставшихся нераспакованными со времен переезда; там должны были лежать семейные альбомы с фотографиями. Сима не первый раз уже вспоминала про них, собиралась извлечь, но как-то не доходили руки. А, может, не так уж на самом деле и хотелось. Ее точно смущала какая-то навязчивая сила этих изображений, способных подменить что-то в собственном чувстве, если не просто в памяти. Она ощутила это однажды, обнаружив, что не может вспомнить даже родителей иными, чем на нескольких посеревших отпечатках, порознь и прижавшихся щекой к щеке. Эти фотографические лица, словно вырезанные, приставлялись к телам любого воспоминания.

Оба альбома были в одинаковых переплетах красного плюша с кустарно вклеенными фотокартинками: «Память о Кисловодске». Наверное, и куплены были там одновременно для накопившихся отпечатков. Между альбомами

оказалась проложена тонкая бархатная подушечка, на ней по уголкам крестиком был вышит орнамент, а посередине цифры: 1914, каждая своим цветом: розовым, голубым, зеленым и желтым. Сима помнила, как в детстве иногда полеживала на этой подушечке, а то и просто подкладывала под себя на жесткий стул, совершенно не интересуясь цифрами и не понимая, что они обозначают. Это вышивала ее бабушка, а может, прабабушка. Сима сразу попробовала найти ее фотографию среди других, лиловых и коричневатых, наклеенных на твердый тисненый картон; но нигде на обороте не оказалось надписей, а она сама не помнила, да может, никогда не знала, кого изображают эта уже немолодая женщина в длинном черном платье и черной наколке, этот бородач в мундире с петлицами неизвестного гражданского ведомства, стоявший рядом с ней, положила руку на высокую витую колонку. Рассказывала ли о них когда-нибудь мама? Не вспомнить... А вот и она. Молодая женщина в легком цветастом платье. Ее ты действительно знаешь, это была на самом деле твоя мама, и молодой человек в кепке — твой папа. Его ты почти не видела, он утонул в экспедиции, и мама умерла вскоре от сердца... Нет, никакого настоящего чувства, никакой памяти о действительном чувстве эти отпечатки не вызывали.

Второй альбом нечаянно соскользнул с колен. Незакрепленные фотографии вывалились из него на пол. Сима, опустившись, стала их подбирать, задерживаясь то на одной, то на другой непонимающим, неузнавающим взглядом. Вот эта, в школьном фартуке, с челочкой и остреньким подбородком — видимо, ты. Но словно посторонняя, чужая. Не узнала бы себя на улице среди других. В пять ярусов друг над другом — коллектив выпускников такого-то техникума. Не твоего. Три девушки на людной улице, в серых плащах, элегантно подпоясанных. Такой плащ ты как раз недавно вытаскивала из старого чемодана, чтобы отдать неизвестным побирушкам. Позвонили в дверь, на-

звали себя погорельцами, просили хоть чего-нибудь из одежды, и ты, не выбирая, вытащила им целую кучу вещей, вполне пригодных, которыми просто не пользовалась, а потом, выйдя, увидела всю кучу брошенной у мусорных баков. Видно, погорельцы сочли это вышедшим из моды... А кто вот эти прохожие вокруг? Чья это незнакомая компания за столом неизвестного торжества: бутылки, тарелки, блюда, и себя тут можно поискать? Еще компания на берегу реки, девочка в купальнике... нет, явно не ты, но вот как будто твоя голова высунулась из воды. На песке надувной круг. Вроде бы некоторые знакомы. Посередке расплзлось желтое пятно, как на простыне, которую выставляли напоказ по утрам в пионерском лагере, позоря обмочившихся. Запах больницы, тоски, убожества, горестных человеческих выделений. Сколько людей проходит в нашей жизни на правах случайных соседей по групповой фотографии! Может, в чьем-то альбоме и твоя голова высунулась, никому не известная. Ты даже не подозреваешь об этом, но твоя безымянная тень обмерла где-то, непонятная, неприкаянная, приплюснутая плюшевой обложкой — может ли ее кто-нибудь оживить?..

Трудно было объяснить чувство, вдруг погнавшее Симу из замкнутых стен. Как будто стены не просто отгораживали ее сейчас от других, но мешали соединиться с чем-то в самой себе. Хотелось поймать, ощутить чей-нибудь встречный взгляд. Но слишком быстро все проходили мимо, глаза лишь казались видящими. И видела ли ты их прежде сама?.. Поток увлек ее в подземный переход. Это оказался вход в метро, и Сима пошла за всеми без собственной цели. Ее волокло, словно предмет по дну, только медленнее прочих. Под землей она вообще не любила ездить. На нее всегда угнетающе действовал вид множества людей, которых всасывало в эскалатор через устье сужающихся никелированных поручней, словно горловиной песочных часов. Она и не спускалась сюда давно. Отражаясь от сводов, звучала из невидимого источника знакомая

громкая музыка — старинное танго. Пройдя еще немного, Сима увидела игравшего на аккордеоне лысоватого человека со стальными зубами. Против него стоял, прочувствованно мотая опущенной головой, должно быть, заказчик. В кепке на полу лежало несколько денежных бумажек, но прежде, чем Сима сообразила бросить, ее пронесло дальше плотным потоком.

Она постаралась выбраться к краю, чтобы еще больше замедлить самостоятельное движение. У кафельной стены в переходе стояла женщина с тремя симпатичными котятками в лукошке — неужели продавала? Никогда прежде не видела Сима под землей такого разнообразия продавцов — торговый ряд, иначе не скажешь. Большая белая доска увешана была очками в оправках и без, рядом красивое сооружение из искусственных цветов, похожих на настоящие. Еще целый ряд людей продавал взаправдашные документы: трудовые книжки, удостоверения участников войны вместе со свидетельствами о наградах, дипломы всевозможных университетов с готовыми печатями и даже экзаменационными оценками (только для фамилий оставлено было свободное место); еще какие-то корочки с двуглавым орлом, со щитом и мечом... Сима растерянно оглядывалась среди малопонятного кишения обогнавшей ее жизни, даже спрашивать объяснения было неловко. Молодая женщина без слов сунула ей в руку листок с адресом и номером телефона; Сима послушно взяла.

Лишь оказавшись в вагоне, она попыталась всмотреться в лица. Свет был ярок, чрезмерен до беспощадности. Дремотно прикрытые глаза, тени усталости, раздутые сумки на коленях. Напротив женщина вязала спицами, синяя шерсть тянулась из сумки. Многие читали, но не книги, как прежде, а газеты и журналы со знакомыми ей цветными обложками. У дверей две ярко накрашенные девушки смеялись и жевали резинку. На крайнем диване полулежал мужчина — из тех, кого с некоторых пор стали называть бомжами, щека прикрыта воротником грязной спортив-

ной куртки, на глаза надвинута кепка. В миг, когда на него посмотрела Сима, он тоже приоткрыл блестящий глаз — и тотчас притворно закрыл, как человек, не желающий, чтобы его поймали с поличным. Угреватый паренек наклонился к уху девушки. Что он нашептывал ей слюнявыми растянутыми губами, непристойности или нежные слова? Девушка оттопыренными пальчиками указывала его телу дистанцию приличия, в улыбке ее была готовность поддаться и одновременно недоверчивость. Как это было Симе знакомо! Почему девушки выглядят умней, прелестней и старше? — и что из того? Задерживать на них взгляд было нельзя. Сима скосилась на пожилого человека, сидевшего рядом. В руках у него была плоская красная коробочка с маленьким экраном, на котором мельтешили неразборчивые фигурки; он быстро тыкал пальцами по кнопочкам справа и слева, щека его дергалась в гримасе вдохновенного напряжения. Сима не могла понять, чем это он занимается. А в следующий миг она увидела перед собой мальчика лет семи — не заметила, как он приблизился. Он тянул к ней коробку из-под кукурузных хлопьев...

Она чуть не вскрикнула от укола, доставшего до самого сердца — хотя отдельным умом тут же поняла, что быть этого не может. Мальчик смотрел на нее выжидательно, как будто понимая обычное замешательство; просительно и терпеливо наклонил к плечу круглую милую мордашку. На грязной щеке зеленела прилипшая сопелька. Воздух еще колебался вокруг, сердце замирало на самом краю пустоты. Наконец она суетливо сумела раскрыть сумочку, вынула, не глядя, всю бумажную наличность, сунула малышу в коробку. Вагон уже тормозил. Дверь открылась, мальчик вышел — и вслед за ним метнулся притворно дремавший бомж.

До Симы вдруг дошло: он собрался отнять у малыша деньги. Она едва успела протиснуться между уже закрывавшихся створок. Бомж стоял на перроне рядом с мальчиком, коробка из-под хлопьев была в его грязных руках.

Обернул к Симе небритое лицо, посмотрел некоторое время выжидательно, потом подмигнул.

— Чего, бабка, обозналась? Бывает. — Голос у него получился хриплый, она опять готова была сомневаться в действительности происходящего, где путались времена и сквозь прокол в дрожащем воздухе уходил остаток внутренних сил. Ноги едва держали. — Богатый буду..

Послюнявил черные пальцы, отделил от комка денег несколько бумажек, протянул их мальчику, остальные так же, комком, засунул за пазуху.

— Иди пока, погуляй. Купи мороженого, жвачки. Чего хочешь. Встретимся. — И повернувшись к Симе, осклабился в кривоватой усмешке: — Ну?

Еще одного зуба внизу у него не было.

— Мне здесь трудно дышать, — сказала Сима. — Выйдем наверх.

Она как будто надеялась увидеть еще раз мальчика. Что-то пугалось у нее в голове. Слова доходили сквозь шум, она больше всего боялась упасть, но ни одной скамейки поблизости не было. Юра заметил ее слабость, подхватил под локоть.

— Ты действительно не узнал? — спросила Сима.

— Не обижайся, это я так. Как тебя не узнать? Говорю же: ты и не меняешься совсем.

— Как из холодильника.

— Или законсервированная, — ощерил он щербатый рот.

Оба замолчали. Он как будто пытался вспомнить забытые прибаутки. А она не знала, как все-таки спросить о мальчике.

— А где Славик? — вместо этого выговорила она.

— Славик? Чего Славик? Он теперь мужик, выше меня ростом. Последний экзамен вчера сдал. Все. Завтра как раз выпускной вечер. Вон, между прочим, его школа. Там, видишь, за сквером. Голубой дом. Райка им, конечно, весь банкет обеспечивает, икру достала и все такое. Она тоже

выросла. Только вширь, во — поперек себя. У каждого свое направление жизни. — Он захохотал, что-то показалось ему в собственных словах смешным. — Я, между прочим, сам имею не меньше ее. Не в смысле вот этих грошей, не думай. Дело не в них. Я свою квартиру за хорошие деньги продал, а теперь не хуже устроился. Хотя вообще эти сволочи — которые обмен крутят — настоящими бандюгами бывают. Помнишь, как я тебе квартиру когда-то устроил? Честь честью, без обмана, да? А ведь есть такие, что могли бы тебя вообще в больнице на всю жизнь оставить. Пропишут тебе принудительное лечение, оформят опеку, хочешь ты или не хочешь, квартиру присвоят, а тебя в какую-нибудь загородную психушку. До конца жизни, на казенный счет. А будешь брыкаться, еще и прихлопнут. Не говоря об уколах. У! Сейчас не такое делают! Я их во как знаю... Но, ничего. Обошелся. Живу, честное слово, как никогда. У нас знаешь какая компания подобралась? О! Один, например, настоящий философ, истопником работает. Сам решил. Устраиваем у себя такие посиделки! Не думай, что для выпивки. Выпивка само собой. Для разговора. Гениев тоже, говорят, всегда не сразу угадывают, правильно? Был, у нас рассказывали, такой поэт — как его фамилия?.. умер от самого настоящего голода. Считали тоже чокнутым. А теперь книги выпускают, да? И говорят: гений. Музыкант тоже есть один. На траекторию, говорит, скорей без семьи выйдешь. Потому что семья дает вроде бы равновесие. А в равновесии так и разгнездишься, расслабишься, и стоп, все. Правильно? Тем более, когда попрекать начнут. У нас разговоры бывают по всем интересам. Про инопланетян, про бывший коммунизм... что ты! Я, представляешь, даже стихи наловчился писать. И не обыкновенные, а такие, что можно читать и слева направо, и задом наперед. «Голод долог». Улавливаешь наоборот? «Дорого небо, да надобен огород!» А? Вроде фокуса, а смысл ведь есть, и еще какой. Правильно? Я сам не ожидал. Как поймаешь вол-

ну — начинает в уме складываться. «Ем, увы, в уме». А? Даже с философским смыслом. Мне в журнале предлагали напечататься. Не только это. У меня ведь и разные истории есть. О природе, об охоте. Да ты знаешь. Устно — во как получается. Но только записывать что-то пока не тянет. В смысле: для заработка... нет, не по мне. Кому ляды, а кому колбасы — помнишь такие стихи?...

Симу не оставляло знакомое чувство, что он продолжает говорить, не давая пробиться каким-то другим словам, а может, еще какому-то ее вопросу — и что теперь мог значить вопрос? Вся эта его повадка была от гордости, и от гордости он притворился вначале, будто ее не узнал. Она это понимала, ей-то не нужно было объяснять, что такое беззащитность и уязвимость... Надо было только удержать в памяти название этой станции метро, не забыть. Четкой мысли, зачем, у нее еще не было...

До конца ей не удалось придти в себя даже дома. Из зеленоватого надтреснутого зеркала глянуло на нее в сумеречной прихожей лицо, точно задержавшееся там с других времен. Щеки-подушечки, чуть обвисшие над маленьким заостренным подбородком, румянец, состоявший, если взглядеться, из мелких лиловатых ниточек, усики над все еще пухлой губкой. В школе она утешала себя мыслью о сходстве с одной толстовской героиней... забыла имя... у нее были такие же. Только у тебя вон стали совсем белые. То есть седые. Смешно в самом деле не понимать работы накопившегося времени, но как все-таки разобраться с ним внутри, где продолжает жить как будто прежнее, не замечавшее перемен? Подвыпивший прохожий как-то окликнул ее вдогонку: «Девушка!» — и она вздрогнула, догадавшись, что это к ней. С расстояния выглядела такой же. Они как раз возвращались домой со Славиком. Душа была полна неясным для самой... вот ведь, значит действительно осталось в памяти. Неясным для самой каким-то новым счастьем. И еще дальше: Казалось мне, что все с таким участием... это же удивительно, Господи!.. с та-

кою ласкою смотрели на меня. Ничто, оказывается, не исчезает окончательно, все продолжает существовать где-то в потайных закромах, чтобы ожить заново вместе с дрогнувшим чувством...

Озаренная низким солнцем стена кирпичного дома напротив засияла, точно плотное вещество света. Все было ясно, как омытый брызнувшим дождиком воздух, когда голоса очнувшихся птиц чисты и легки, и близким кажется свободное дыхание. В потеках сырости на плите, как в подвижных облаках, можно было увидеть переменчивые очертания и сюжеты. Что-то шевелилось, бродило внутри, в уме, готовое сложиться в понимание, словно ускользавшее всю жизнь. Ведь это там, внутри соединялось все, существовавшее не просто в разных временах и местах, но словно с разными людьми, и даже все несостоявшееся, упущенное тоже принадлежало, оказывается, твоему существованию. Людям просто не всегда удается это почувствовать, соединиться с собственной жизнью. Вместо этого лезут мертвенные и мертвящие голоса: о наслаждениях, деньгах, о достижениях и победах. А люди сами боятся заметить это, понять. Мужчины особенно. Они боятся именно понимания, — вдруг подумала Сима. — Потому что не хотят показаться слабыми. Даже сами себе. Женщины боятся этого меньше, они привыкли к сознанию своей слабости и уязвимости, как привыкают и к более страшному — безнадежности повседневной сплошной жизни. И потому на самом деле оказываются бесстрашней. Мужчины и жестоки бывают — от страха, они боятся в жизни гораздо большего, чем женщины. А лучше всех понимают, наверное, дети. До поры до времени, пока их головы не забиты чужим...

Вот зачем надо увидеть Славика, — слегка очнулась от полудремы Сима. — Не просто увидеть, а сказать, объяснить... Мысль лишь казалась отчетливой, точно оставалась все же внутри полудремы, с которой не хотелось до

конца расставаться. При полной ясности можно было скорей вновь усомниться, узнаешь ли ты его, сумеешь ли подойти, что именно скажешь. Что-то должно было сложиться само собой, даже, возможно, без слов, как бывает именно в снах, пронизанных светом солнца. Она готова была сидеть вот так, замерев, сколько угодно, не ощущая нараставшей прохлады — как не ощущала даже сама себя. Книга лежала, раскрытая, на коленях, можно было думать, будто ты действительно читаешь написанное там — на самом деле читалось что-то совсем другое. Может быть, вот эта цифра вчерашнего дня на календарной закладке... или нет, там было еще... рисунок на обороте цветными карандашами, красным и зеленым. Одна из тех роз, про которые читала стихи на своем выпускном вечере девочка в белом фартуке школьницы, ты помнила эту розу — памятью не только взгляда, но пальцев, которыми ее рисовала, вода острием зеленого карандаша по заострениям листьев и красного — по изгибам лепестков; внутри бутона держалась на них крупная, благоухавшая свежестью капля. Розу подарил мальчик, в которого ты была влюблена, хотя он этого даже не знал, смотрел как будто поверх тебя, как смотрело поверх тебя большинство людей, кроме нескольких, но дело не в том, что на самом деле розу ты подарила себе сама — что значит «на самом деле»? Ведь было же, было благоухание, и свежесть, и слезы, и любовь, и чистая капелька сразу на трех лепестках бутона, и стихи, которые ты читала дрожащим от волнения голосом. Пел голосом, дрожащим, как струна... нет, там было совсем другое... стихи или проза?.. как же вспомнить самое важное? Там были слова, соединявшиеся внутри со всем... именно внутри все оказывалось настоящим. Да... это было написано не на странице с цифрой вчерашнего дня и не на обороте с нарисованной розой, а где-то между ними, надо было отслоить, приподнять краешек, как казалось когда-то возможным отслоить у дальнего горизонта край моря или приподнять тоненькую пленочку неба,

чтобы заглянуть по ту сторону, в промежуток, где ждали слипшиеся мгновения — чтобы отгнать, ожить, расправиться, превышая длительность жизни. Так разрастались тени в темной комнате, когда ты сидела на горшке, шевелились, прорастали из углов, сливались с другими тенями, превращались во что-то непонятное, знакомое, но неузнаваемое, подступали совсем близко, и нельзя было крикнуть, позвать на помощь — не только потому что стыдно: что-то сладкое было в этой беспричинной жуги, в этом чувстве близкой и важной догадки, которую не удавалось выявить до конца, как не удавалось выдавить из себя кашку. Край горшка все больней вдавливался в попку, и хотелось длить это сладкое мучительное состояние — но тут открывалась, слепя глаза, дверь, мама сердито поднимала тебя с горшка и обнаруживала, что он пуст... Прикосновение к детским пальчикам в тарелке с прохладными сливами. Юноша на пустыре возле метро крутит на шнуре модель жужжащего самолета. Оранжево-красные крылья, праздничная синева, девичья легкость ветра, предчувствие ясности, которая должна была вот сейчас открыться... Какие были розы... ты же помнишь... пальцы без усилия извлекали из клавиш музыку, в четыре руки со знакомым виртуозом, не нуждаясь в нотах, по сказочному вдохновению, хотя на руках у тебя почему-то шерстяные митенки без пальцев, удивляешься сама своей способности, но тебя несет — знакомое ощущение легкости, похожей на сердечную слабость, одновременно пугающей, когда словно все больше теряешь ощущение собственного прочного тела и можешь вот-вот раствориться, растечься в окружающих предметах, в зелени сквера, в воздухе, наполнявшемся все новыми голосами. Лица слушателей кажутся знакомыми, молодые люди в торжественных костюмах с галстуками собираются кучками, раздастся смех. Среди них должен быть Славик, оставалось его узнать... Оказывается, они уже вышли, они на самом деле вышли, а ты пропустила момент, ты, оказывается,

вздремнула. Да, ты ведь собиралась просто встать и пройти мимо... Как будто ненарочно. Вот только тело не слушалось, словно все еще не могло освободиться от дремы. То, что во сне казалось легкостью, все больше оборачивалось слабостью. Рука не могла даже потянуться к сумочке, чтобы вытряхнуть себе в помощь таблетку из стеклянного цилиндрика, последняя еще оставалась.

Двое рослых красивых мальчиков приближались к скамейке. Один был прыщеватый, с волосами длинными, как у девушки, другой круглолицый, коротко стриженный, мощные плечи начинались где-то прямо от ушей. Длинноволосый доедал черешни, опуская их сверху в запрокинутый рот, прямо на черешках. Другой что-то ему говорил, кривя сочные губы. Прелестные, хотя и расплывчатые, как будто еще не до конца оформленные лица. На расстоянии глаза ее должны были видеть отчетливей, чем в книге. Что она хотела им сказать?.. спросить? Кому из них? Даже губ своих она не ощущала. Надо было все-таки очнуться, вспомнить прочитанное, открывшееся только что...

— Какие претензии? — говорил, проходя, круглолицый. — Сиськи маленькие, жопа холодная. Я говорю: какие претензии?..

Слова доносились из пустоты, готовой теперь уже совсем разрастись, со свистом втянуть в себя мозги, деревья, мучительное сердце. Знакомый страх обволакивал ее.

— Мальчики, — напряглась она в последнем отчаянном усилии, не зная, как еще обратиться, — подождите. Я должна вам что-то сказать. Я вспомнила. Послушайте, это очень важно...

Двое не услышали слов, но невнятный, похожий на мычание, звук заставил их, пройдя, оглянуться на маленькую, убого одетую старушку с лиловыми щеками и полуоткрытым, как у придурковатой, бесцветным ртом. Длинноволосый, отвернувшись, через плечо, как делал на уроках, стрельнул в нее из пальцев черешневой косточкой. Потом оглянулся посмотреть, попал ли...

Это было, как укол воспоминания, влюбленности и счастья, косточкой пульнул в нее мальчик, с которым она ни разу не поцеловалась, тот самый, которого она ждала, на выпускном вечере, она в белом фартуке читала стихи, которые жили с ней всю жизнь и вот высвободились — именно их она вспоминала, незачем было сопротивляться дальше этому счастью освобождающей слабости. Воздух полон был птичьим пением, благоуханием и болью свежих неуядающих роз, надо было только сказать им вдогонку, чтобы они знали.

— Вы слышите, мальчики? Я вспомнила... ну, послушайте... Как хороши, как свежи были розы. Вы слышите?..

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Наконец-то ты достиг блаженной безмятежности. Прогулка по лесу, книга, музыка, рюмка виски у камина, мягкое кресло. Ну, и, конечно, любимое существо рядом, ты не одинок. Здоровье не беспокоит, деньги надежно каплют со счета. День за днем одинаково прекрасны. Сколько их так прошло? Не вспомнишь, не различишь. Время слиплось — как будто ты уже умер.

Приближение



По дороге Зимину вспомнилась мысль его героя о географии повторяющихся сновидений: когда попадаешь вновь и вновь как будто все в те же места — узнаваемые не столько по прошлой жизни, сколько по прошлым снам. Уже заранее знаешь, что тебе откроется вон за тем поворотом, и ожидание подтверждается, ты сам для себя возобновляешь подробности припоминаешь на самом деле или сочиняешь тут же, как неосознанно сочиняются повороты снов.

Наяву бывает похожее чувство; чем дольше живешь, тем чаще оно возникает, — думал Зимин, глядя в затуманенное окно автобуса. Он ехал в места, где никогда прежде не был, само название населенного пункта зашифровано было для него номером почтового ящика. Ехал на похороны — странно сказать! — читателя, к тому же однофамильца, с которым не был знаком, о его существовании узнал лишь из пришедшего однажды письма. Объяснить что-то в этой истории было не проще, нежели свести когда-то концы с концами в книге, которую он, словно сам себе показывая язык, назвал «Приближение».

Мало сказать, что отклик на эту книгу от неизвестного читателя был для Зимина неожиданным. Он успел привыкнуть к мысли, что «Приближение» вообще осталось неизданным, экземпляр, отданный издателю, считал пропавшим, скорей всего, безвозвратно, (как пропал куда-то сам издатель), и до поры до времени мог не отдавать себе самому отчета, что к естественной горечи утраты примешивалось облегчение — проще было корить себя за допущенную однажды слабость или промашку, чем удостоверить почти очевидное поражение.

Ему уже смутно помнилось, с какой честолюбивой надеждой была много лет назад начата эта работа. От первоначального замысла — «Времена жизни», так он назывался когда-то — не осталось даже заглавия. Возвращаясь

после перерыва к исписанным страницам, Зимин порой не мог понять, что еще недавно ему здесь виделось: не удавалось вполне совместить написанное, сам смысл прежних, так непросто найденных и как будто важных, необходимых слов с новым своим состоянием, поворотом мозгов. А ведь мерещилось, помнится, что-то, вроде даже многообещающее... ну, так ведь можно говорить и о самой жизни. Чем дальше продвигаешься от находки к находке, от понимания к пониманию, обогащая его по пути неизбежным опытом, тем с большим недоумением начинаешь озираться вокруг. Надо было заново приводить в порядок мысли и чувства вместе с бедолагой-героем, пережившим распад семьи, привычных отношений, череду житейских невзгод и разочарований, нешуточную болезнь. Не дав этому человеку своей профессии, Зимин позаботился сделать его даже внешне на себя не похожим: обвисающие круглые щеки, губошлепистый рот, близорукие очки. Разлаживалось что-то в его ощущении жизни, распадалось, смещалось в сознании — вот в чем приходилось разбираться автору.

Как-то он стал перечитывать выпавшую из папки страничку: круглолицый очкастый юноша навещает в больнице отца. Они много лет не виделись, как бы даже без уверенности узнают друг друга. Не оказывается ни слов для прощального, может быть, разговора, ни подходящих чувств. Этот ли иссохший, уменьшенный, подключенный к капельнице человек поднимал тебя когда-то на могучих руках?.. — чью это мысль, чью растерянность я здесь хотел передать? — напрягал брови Зимин. Подобие испуга, постыдность нетерпеливого ожидания: скорей бы... попытка отделаться от тоски, это он по себе помнил. Но герой ли сидит у постели отца, он сам ли под капельницей? И то и другое с ним было, не в том вопрос — но полгода или полжизни назад? А потом кто-то — он или его сын — выходит из больницы к автобусной остановке, в другой воздух, на ослепительный свет. Двое длинноволосых при-

сасываются губами друг к другу, воркуют на непонятном, хотя и не чужом языке. Вот что странным образом не удастся ухватить, — вынужден был признать Зимин: ощущение действительной причастности к жизни. Приходилось то и дело с усилием перестраивать что-то в мозгу, приспособливаться, подсоединяться словно к чему-то не своему. По-настоящему достоверной она становилась лишь иногда, во сне, но Зимин вслед за своим героем ухитрился в конце концов довести себя до бессонницы. Если б не надежда хоть как-то все-таки заглушить, заговорить чувство, которое нельзя было назвать даже тоской, правильной было отказаться от попыток связать это нагромождение эпизодов завершающим, объединяющим смыслом — оборвать можно было на любом.

Ну, скажем, на том, где промокший, дрожащий от холода губошлеп пробует обогреть хоть пальцы, устроив подобие ночного костерка из старых газет. От пальцев идет светящийся трепетный пар, полоска желто-оранжевого огня продвигается внутрь неровной, иссиня-черной каймы, высвечивая буквы тут же истлевающих заголовков, и красноносенький бедолага не успевает ухватить, разобрать, о каком это они обвале или облаве, какие ценности и кем были потеряны или найдены, кого обозначают таким крупным шрифтом набранные имена. «Психодром на мировом уровне», — читает он. «Поиск нового измерения». «Источники внутренние и внешние». Тепла от исчезающих слов не хватает, чтобы хоть унять дрожь. «Клочки жизни», — с усмешкой примерил Зимин обобщающее название. Тоже, считай, результат. Но тут же подумал, что такой результат незачем предъявлять другим в виде исписанных листов — проще и правильней продемонстрировать его действием над теми же листами. Один клочок его герой, обжегшись, успевает в последний момент вырвать из огня, что-то ему вдруг почудилось, захотелось вникнуть. Это оказалось объявление: дипломированный специалист, толкователь и целитель душевных несоответ-

ствий, зазывал страждущих на «сеансы органической коррективки». Не более не менее.

Возможность какого разрешения померещилась Зимину или его губошлепу при мысли об этом заведомом шарлатане? Живописная, с сединой, борода и растрепанная шевелюра придавали ему вид скорей артистический; глубоко посаженные, в темных обводах, глаза (при небольшой бородавке слева, на нижнем веке) позволяли предположить способность к известному роду внушения. Забавно было описывать и живую сколопендру, подвешенную на нитке вместо нашейного украшения, и прочий эффектный антураж. Зимин ловил себя на готовности чуть ли не ерничать, когда словоохотливый герой пробовал объяснить, что его в самом деле томило. Невзгоды остались, можно было считать, позади, здоровье уравновесилось, жить худо-бедно было на что. Грусть и тяготы одиночества? Обычное дело, тем более в таком возрасте. Непотребства в стране, в мире? Да не так уж они тебя впрямую касались, и когда с этим было в порядке? «Соответствия не получается, — подсказывает туманное объяснение специалист-толкователь. — А вы к народной химии не прибегали? Насчет этого?» — щелкает он себя по горлу (свернувшаяся было для отдыха под бородой, в яремной ямке сколопендра забеспокоилась). — «Как же! — радуется подсказке бедняга. — Но не знаю даже, как объяснить. Может, подействовала контузия? Меня как-то на улице по голове стукнули. Пьешь, пьешь — вначале без результата. А потом отключаешься враз, начисто. Придешь в себя — головная боль, ничего больше. Какой, спрашивается, смысл?». — «Со смыслом у вас, значит, озабоченность?» — приподнимает мохнатую бровь толкователь... и вот тут, пожалуй, у Зимина шевелинулась догадка, что этот шарлатан что-то готов нащупать. «А чувство долга или, там, обязанностей перед другими — как с этим? Должны вы кому-нибудь что-нибудь?» — вынужден он пояснить вопрос; до пациента доходит замедленно. — «А!..

Если по правде, один должок за мною остался. Мне как-то пришлось занять полтораста рублей, зубы надо было протезировать, дорогая вещь. По старым еще ценам. А человек, представляете, умер, я не сразу узнал. И деньги с тех пор стали другие... так как-то получилось». — «Но зубы не беспокоят?» — «Нет, вот с этим порядок сверх ожиданий. Протез, оказалось, такая практичная штука, надо было раньше сделать. Всякую прежнюю боль можно забыть». — «Преимущества единственного числа, — туманно бормочет целитель. — А насчет давления избыточных соков — тоже удалось успокоиться? Облегчаться больше не надо? Я имею в виду потребность в противоположном поле?» — «Вы так говорите, будто это в туалет сходить, — смущается тот. — Если бы так просто! Пока — уввы. Я, может, отношусь старомодно. В мире, говорят, привыкли в этом смысле обеспечивать, не как у нас. Один знакомый рассказывал, он был за границей: идешь по обычной улице, а в витринах, прямо вот за стеклом, стоят такие, говорит, штучки, со всем, что полагается, между ног, чтобы, когда нужно, получить это самое облегчение, даже удовольствие. И без вреда для здоровья, наоборот. Я, как дурак, спрашиваю: что ли, искусственные? Есть, говорит, и искусственные». — «Природное равновесие зависит от энергетического состояния элементов, свободных или в комплексе, — изрекает глубокомысленно толкователь. — А чтоб вообще отключиться — такой мысли не возникало? С собой, то есть, покончить?» — «Мысль — это да, это случалось, — признает тот. — Но какая-то ерунда всякий раз встревала. Один раз, знаете, совсем было решил, все заготовил. Захотел только напоследок исполнить, как полагается, желание. Для завершенной полноты, как вам объяснить? Просто вдруг увидел шоколадные трюфеля. Я эти конфеты в детстве когда-то обожал, их давно не было. А подсунули мне совершенно испорченные, залежалые. До сих пор не могу отплеваться от этого гадостного вкуса. Все оказалось как-то опошлено, понимаете?» — «Еще вам

и понимание нужно, — усмехается шарлатан. — Пошлость вас, значит, смутила, не страх»...

Что могла означать эта усмешка? Ожидать вразумительных объяснений от подобного типа было, пожалуй, рано. Ему надо было для начала произвести впечатление ритуалом поэффектнее — действия одних слов в таких случаях недостаточно, Зимин это чувствовал. На большом столе расстелена была клеенка, сплошь покрытая красочным сложным узором из разной величины фигур, знаков, надписей. По четырем углам, в подсвечниках, изображавших морских тварей с птичьими клювами, зажжены пахучие свечи; посредине выставлен блестящий сосуд, который вполне заслуживал название кастрюли. Из нее выбирают, переваливаясь через край, серые, необычайно крупные раки, шлепаются на стол, расползаются, сцепляются, встречаясь. Можно было ожидать, что бородач станет должным образом толковать их, конечно же, многозначительные передвижения, но он этим скорей пренебрег, даже не наклонился над столом с необходимым усердием.

«Смотрите, смотрите, — поощрял свысока взволнованного губошлепа — словно тот при своей близорукости мог что-то сам разобрать. — Здесь, если войти в картинку, обнаружишь уйму возможностей или, как некоторые выражаются, смыслов, прошлых и нынешних. Старинная вещь, мне по наследству досталась. В разные времена узор дополнялся по изобразительной и словесной части. Места почти не осталось, видите, каким мелким бисером кое-где вписано. Чего только тут некоторые не находили! Я сам рот раскрывал. Древние заповеди, выводы новейших теорий, лозунги, запреты. Не ешьте совы и тушканчика... где-то, вроде, вон там, в углу. А в других местах, если взгляните, про любовь к ближнему, дух и материю, борьбу видов и классов, соотношение ценностей, тезис и антитезис. На любой интерес: ориентиры, предпочтения, правила, что хорошо, что плохо. Мы ведь, в своем роде, как эти

твари, копошимся среди разных слов. Не то что годами, изо дня в день — тысячелетиями. Хочешь, не хочешь, но без этого почему-то нельзя. А чем все разрешится, заранее при том знаем... Вы зрения особенно не напрягайте, тут и при ярком солнце, под увеличительным стеклом не все разберешь. Тем более когда языки непонятные. Обратите лучше внимание, этот хроменький недомерок по пути выпускает из себя слизь вроде бы с икринками. Да? Только что в этом месте виделась путаница, пятна с линиями. Взгляд не имел сосредоточенности. А вон ведь как внутри вздутостей обобщается, какие выявляются очертания, целые картинки»...

Что бы Зимин ни думал об этом типе, отказывать ему в несомненных способностях, право же, не следовало. Он все-таки сумел довести беднягу до необходимого состояния. Состояние это можно было, если угодно, объяснять предварительным воздействием темных, с бородавкой на нижнем веке, глаз, да и свечной дурманящий запах загустевал в комнатном воздухе. Но себя-то Зимин просто перегрузил, видно, таблетками от бессонницы — они не столько помогли, сколько сделали бессонницу какой-то недостоверной. Перепечатывая время спустя набело эти страницы, он местами не мог разобрать собственный почерк — можно было подумать, что прямо по ходу сеанса, в полусумраке, и записывал возникавшее перед взглядом. Не то чтобы недомерок, но поменьше других рак с поврежденной, видно, клешней или нарушенным равновесием забирал от прочих все дальше в сторону. Красочные картинки подрагивали в выпуклых пузырьках живой слизи, шевелились в трепетных свечных отсветах. Описание их заняло у Зимина почти пять страниц, однако большую часть он потом вычеркнул, вынужденный признать в некоторых эпизоды из уже полузабытых «Времен жизни», давно обособившиеся от сюжетного русла. Можно было, впрочем, оставить зеленый луг детства, разноцветные запахи над цветами, отражение неба в глазах зверей, а заод-

но невнятные страхи, проступавшие из тех же переплетений, из сумеречных ветвей. В разных жизнях найдешь что-то общее. Но кому, кроме Зимина, могло показаться знакомым всплывшее по пути лицо женщины, насмешливое выражение ее накрашенного дочерна рта, когда она смотрела на него, медленно пересчитывая языком зубы? К герою это просто не могло иметь отношения — как и многое, впрочем, другое, возникавшее вообще неизвестно из каких очертаний, непонятное самому Зимину, вот с чем он просто не знал, как быть. Вроде того четырехногого тела, что совокуплялось само с собой в гадостном окружении, две ноги были неприятно мохнатые, а когда очертания, слипшиеся в выпуклой капле, разделились, мохнатых стало четыре: одно из тел оказалось животным...

«Что вас так передергивает? — замечал бородач. — Тут все перемешано, и пакости разные человеческие, как же без них? Не обязательно вникать, тем более без личной причастности. В жизни-то видеть всего не надо, правильной вообще не знать. Непотребства, каких не вообразишь, уродства, кровопускания... вон... мало ли!... Что нас не касается, в жизни надо от взгляда загоразживать. Обособливать по возможности в специальных закрытых местах. Так оно и делается, правда ведь? У нас раньше об этом больше старались, сами знаете. Но не всегда удается. Не все вообще в человеческой власти. Вспучится вдруг перед тобой в любом месте, в любой момент... из собственного нутра, как некоторые выражаются, лезет. Твари дорогу не выбирают. Вон, гляньте опять»...

Кто-то с винтовкой наперевес бежал мимо разрушенного дома. Груда костей белела на его пути, на развешиваемся знамени были буквы. «Видите, что написано?» — поощрял бородач. Разобрать не было, конечно, возможности, но ошалелый бедняга считал все же нужным откликнуться, словно это могло по каким-то правилам засчитаться ему на пользу. «Добро победит!» — наугад читал он. «Молодец!» — одобрял шарлатан, и это заверение дол-

жно было показаться как раз подозрительным, однако герой вдохновлялся дальше, словно ученик, демонстрирующий усердие. «Красота спасет мир», — читал он. — «Закаляясь в битвах и труде»... Что-то неприятное происходило между тем внутри слизистых выделений, очертания искажались, распадались, точно пораженные гнилью. Голова знаменосца ообособлялась от тела, рот расплывался то ли в удивленной, то ли в блаженной улыбке, красная капля выдавливалась из шеи. Отдельный глаз всплывал на кровавом оборванном стебельке. Нарастало предчувствие близкого, тревожного понимания, страшно было его дожидаться, любым способом хотелось что-то предупредить, оборвать... Хорошо, что в последний момент хромоножка едва не свалился с края стола — губошлеп успел его подхватить...

Как это может каждому показаться знакомо! — сочувственно покачивал головой Зимин: когда, очнувшись с чувством ухваченной истины, обнаруживаешь себя с пойманным раком в руке, не более, под насмешливым, но удовлетворенным взглядом специалиста. Оставалось описать завершающую часть ритуала. Клеенка со стола убрана, шнур кастрюли, оказавшейся электрической, воткнут в розетку, возвращенные в нее раки приобретают вид красных, а значит, пригодных к употреблению трупиков, и в меру охлажденное, хотя и горьковатое пиво выставлено для совместной трапезы.

«Я знаю, знаю, чего вы сейчас от меня ждете, — откровенничает бородач, со смаком высасывая, выкусывая из скорлупок нежную сладкую мякоть. — Есть разные научные говоруны, они бы стали со значением объяснять, обо что потерлись по пути брюхом эти вот панцири, что вообще значит наружный скелет для формы и жизни существ. И как ему соответствуют на другом уровне так называемые идеи, идеалы, идеологии, и что происходит с жизнью от их ослабленности... нет, только со скорлупками все же поаккуратней, выбрасывайте вот сюда, в баночку, они у

меня идут на необходимую обработку... Много ли добавит понимание? Вот что надо переварить. Вкус испорченной конфеты иной раз опрокидывает все умственные построения, сами знаете. Или, опять же, сегодняшнее впечатление. Не обязательно его в словах сопоставлять со своей жизнью. Некоторым зачем-то именно слова нужны. У меня был тоже интеллеktуал, писатель. Я ему говорю: диагноз мне очевиден, оболочка защитного равновесия прохудилась. А он: что это значит? В смысл ему вникнуть нужно. Как будто еще не убедился, что чем глубже станет в него внедряться, тем больше нагромоздится вокруг бессмыслицы. У вас, может, тоже шевельнулась неуверенность, когда я ваше чтение подтверждал? Лукавлю, думали? Признавайтесь?.. Нет, в том-то достоинство и правда метода, что неправильного попадания быть тут не могло. Слова заслуживали подтверждения, как же! Великая цель... какие там были еще?» — «Неумолимый прогресс», — с неожиданной готовностью подсказывает губошлеп и отплевывает с губы очередную скорлупку. — «Туда же, туда же! — радуется целитель. — Все в дело пойдет! А что там у самого края было написано, где вы этого уродца поспешили схватить? Не успели прочесть? Ну как же! Бросайся в бездну, чтоб отросли крылья»...

И оба вдруг разом, словно восхитившись неизвестно чем, разразились хохотом — и чокнулись стаканами с горьковатым, но право же, приятным напитком.

«У вас, я вам скажу, более счастливое устройство, складистое, вы готовы усваивать без самолюбивых комплексов, — одобрительно подтверждает целитель. — Писателя по-своему тоже понять можно, — снизошел он все же до неблагодарного, видно, клиента. — Реальность замусорена словесной именно скорлупой. Среда, я бы сказал, перегружена. Профессиональное отравление, организм не так просто очистить. Я, говорит, без настоящих слов жизнь не чувствую, самого себя. Это, говорит, мой материал. А они по природе связаны со смыслом. И прекрас-

но, ему отвечаю. Играйте с ними, тасуйте, стройте из них сюжеты, концепции. Все может быть интересно. Кто ваши книги еще захочет читать, пусть получает свое удовольствие. Особенно если с увлекательными поворотами. Все равно что разные жизни к себе примеряешь, разные состояния. Томление духа? И это по-своему увлекательно. Только по какой мерке вам надо еще оценивать смысл и бессмысленность? С какой точки зрения? С каких высот? Возьмите то же самоубийство — начни-ка в него вникать! Сколько надо решить попутных проблем: каким способом, где достать, в какой руке держать, наверняка ли? Вдруг не получится — ведь позор! Не говоря о боли и всякой рвотной гадости. Жить проще, тут процесс налажен. Установил протез — что значит память о зубной боли? Перестаешь с мерками разбираться — бессмысленность исчезает сама собой. Вот к чему вы уже понемногу подходите. Еще только дозреть до кондиции. Ну, это дело времени. Я для закрепляющего воздействия дам вам свой фирменный концентрат, он делается как раз на основе этих скорлупок. Снимает, я бы выразился, комплекс жизненной недостаточности. Хотя много зависит от личных особенностей, должен честно предупредить. Промежуточный резонанс бывает у всех разный. Некоторым даже капли на стакан много. Понюхать хватает. Знаете, как полыхнет иной раз погасшая почти головешка? Такие волнения оживают, такое беспокойство мучительное! Прямо-таки невозможно жить дальше, если чего-то немедленно не сделаешь, не исправишь, не разрешишь, как надо. Себя самого стыдишься, чуть прямо не корчишься. Трясет лихорадками всех прошлых лет — сегодняшние ваши вздрагивания рядом с этим ничто. Концентрат. Нужна осторожность. Но не пугайтесь, действие кратковременное, вот на чем метод строится. Отойдет, отхлынет — и вот тогда оцените действительную благодать. Ощутите себя в своей комнате, среди своих стен. В прежнем виде, в неизменном, казалось бы состоянии. Но беспокоящие участ-

ки, если так выразиться, протезированы. Не терзаешься никаким там непониманием. Что понимаешь — на самом деле правильно. При истощенной энергетике особенно важно предотвратить утечку, чтоб не требовалось непосильных затрат. Что значит чувство, будто ты не живешь? Другого на самом деле не нужно. Не хочется, вот в чем приобретение... Только злоупотреблять я не советовал бы, промежуточное напряжение дается все же болезненно. Возможны побочные действия. Прыщи у некоторых вылезают. Вам, надеюсь, даже нюхать будет не обязательно. Достаточно сознавать присутствие пузырька на случай надобности. Само сознание, представьте себе, подпитывается. И чем дольше, кстати, настойку выдержать, тем она эффективнее. Хранить желательно при комнатной температуре, в закрытом от света месте»...

Зимин дописывал эти строки, невольно кривясь в сумке — словно от приятного напитка оставался во рту привкус неясной оскомины. Покрыв готовую стопку титульным листом, он вывел на нем от руки заголовок. А рукопись в единственном пока экземпляре засунул в ящик, поглубже.

Ему, помнится, пришло в эту минуту на ум, что так клали когда-то созревать в темноту зеленые помидоры, чтобы вынуть со временем красные. Если покраснеют, конечно, не подгниют. Мыслями насчет публикации Зимин, во всяком случае, мог себя не отягощать — на хлеб он зарабатывал не этим. Если называть заработком плату за аренду своей бывшей квартиры — по доверенности, которую ему оставила прежняя жена, обосновавшаяся теперь за границей с сыном. В тот день он, сверх ожиданий, впервые за долгое время заснул — как провалился. Никакие сны ему не мешали, проснулся он с чувством отделавшегося от трудов человека, а про оскомину мог даже не вспоминать.

Но она словно вдруг явственно ожила, вызвав на лице нечаянную гримасу, когда его посреди улицы окликнул однажды человек, которого Зимин не сразу смог вспомнить.

— Ну как же! — расплывался тот в мелкозубой улыбке. — Шаров, забыли такого? Я возле вас одно время крутился. Тоже был среди литераторов. Вас тогда не печатали, я сам не читал, но имя, конечно, звучало, как же!..

Поддался ли Зимин на нехитрую лесть, позволив круглоголовому Шарову буквально затащить себя в попутное уличное кафе, донимала ли его самого жажда? А может, он понадеялся заглушить неприятную кислотность во рту, возобновив другой, еще памятный вкус? Пиво в этом убогом заведении приходилось тянуть из банки, даже бумажных стаканчиков тут предложить не могли.

— А мне один говорил, вы теперь не здесь, где-то у них, там, фигурой стали, по какой-то другой части, — присасываясь к банке, поглядывал Шаров на Зимина из-под белесых бровей. — И вроде у вас что-то с ногами. Я говорю: так я его лично знал, тоже был когда-то писатель. А вы — вот он. Перепутал, значит. Но в печати я ваше имя ведь не встречал, да? Я понемногу слежу, по деловым теперь интересам...

И небрежно выкинул на мокрую столешницу визитную карточку, где на двух языках значился шефом издательства «Шар».

— Для таких, как вы, напечататься, как я понимаю, опять проблема? — что-то вроде плотоядной заинтересованности было в его взгляде. — Раньше, как любят некоторые говорить, причины были идейные, теперь экономические, да? Слышал я эти разговоры. Тогда было проще набивать себе цену: не дают нам сказать свое слово, рты затыкают. И вот, пожалуйста, ори во все горло. Перди, извергай, какое хочешь, дерьмо. Так ведь не всякое дерьмо, оказывается, нужно, вот оно как повернулось. Я в этом смысле сориентировался. Зачем из себя изображать? В мировое развитие вряд ли вступишь, лучше заработаешь на чужом. И несут, кто может. Не бог весть что, это понятно. По-настоящему теперь ни у кого, считай, не получается. Так, синтетика. Чтобы хоть запах был, как у дру-

гих. Но потребитель пока хаваает. Скоро и это наше дерьмо переведут, как я понимаю, на электронную основу. Мне уже предлагали одну идею...

— Закон современной цивилизации, — счел нужным проявить понимание Зимин. (Надо было словами еще и заглушить какую-то собственную, неясную пока тревогу). — Производишь, что спрашивают, спрашивают, что производят. Попробуй остановить цикл, не подбавлять смазки в колеса. Цивилизация не допустит, такой пойдет скрип, грохот.

— Закон нарушать нельзя, это вы поняли. — Шаров удовлетворенно откинулся на спинку пластмассового белого стула и раскупорил очередную банку. — Колеса должны крутиться. А вы, значит, уже своего подбавлять не стараетесь? Отошли в сторонку?

— Воздерживаться в частном порядке все-таки не запрещается, — осторожно выразился Зимин. — Можно ведь уменьшить, например, потребление. Сказать себе, что слишком много пива — вред для здоровья. И банки, глядишь, скоро замусорят окружающую среду. Один тип выразился: не надо перегружать реальность. Но это твое личное дело, не более. Закон не нарушается. Производить будут все равно.

— Не потребляю — не произвожу? Так, значит, теперь?

— Если б я мог! — словно сам над собой усмехнулся Зимин — тут же осознавая, что цитирует вслух своего героя. Хорошо, что это прошло мимо Шарова. — Потребление укоротить проще, — поспешил он затемнить сказанное. — Но попробуй укоротить еще работу в этом вот черепке, шевеления чувств!

— Это в смысле: обрезать бы яйца, тогда будет полное соответствие? Глядишь, к этому все и придем... А у вас, значит, еще стоит? — дошло до него все-таки. — Ну, я так и заподозрил! А делаете вид! Меня так просто не проведешь...

Тут только Зимин вспомнил, что слышал много лет назад про этого человека. Будто бы он крутился вокруг тог-

дашних диссидентов, у литераторов интересовался рукописями, не предназначенными для опасных глаз. Кому-то потом пришлось, говорят, пережить неприятности, для кого-то они обернулись при том непредвиденной славой. Достоверно Зимин ничего утверждать не мог. И теперь-то чего было опасаться?..

— Что у вас может быть по нынешним временам такого уж непечатного? — раздражался почему-то Шаров — как будто от него пытались укрыться. — Порнография какая-нибудь особенная, политика? Да бросьте выпендриваться! Сейчас ничего такого быть не может..

— Слова, не более чем слова, — неуверенно попробовал оправдаться Зимин. — Я просто без этого не могу. Пока не переработаю внутри себя вкус этого так себе пива... этот наш разговор, эту муторную духоту, шум машин на загазованной пыльной улице... ничто, представьте, не получает полноценного существования. И сам я, и вы со мной... То есть, не обижайтесь, я как-то не так выразился. Но такое чувство, что и перед вами невольно оказываюсь виноват. Что-то не получает действительной полноты. Ежеминутно, ежесекундно чувствовать себя живым... не знаю, как выразиться... воссоздавать мир? самого себя?.. — действительно в этом смысле нельзя. Что-то неизбежно исчезает, проваливается безотчетно. И вот очнулся очередной раз, озираешься... живешь, не живешь... непонятно. А ведь показалось было. С чем-то не справился. Не получилось. Увы. Должен признать...

Было чувство, будто ты двигаешь шахматным ходом фигуру, оказавшуюся на шашечной доске, где не так ходят, не так снимают, а может, подразумевают вообще поддавки. Когда сам для себя еще даже не решил, во что ты играешь — любой ход можно считать проигрышным. Шаров обставился уже целой баночной батареей, но гладкое, похожее, не нуждавшееся в бритве лицо его почему-то не выделяло пота, лишь становилось все более рыхлым, не то что белым — цвета пивной пены.

— Почему это для тебя не жизнь? — с нарастающим раздражением перешел он на «ты». — Чем ты хочешь меня уесть? Что пиво не то? Про себя ты знаешь другое, нам не дотянуться? И объяснять не станешь? Ты не такой, как мы. Писатель. Хотя только для себя. В душе, так сказать, да? Конечно! И этого мы наслушались. Что значит писать для себя? Любовью занимаемся тоже для себя, но не с собой же? Хочешь сказать, что литература — онанизм? Пожалуйста, можно и так. Но не надо изображать из себя больше, чем есть. Онанисты сейчас, как все, рады выставиться, напоказ, в этом по нынешним временам кайф. Без откровенности не пройдешь. Было бы, что показать. А ты, значит, укрыться хочешь? Голеньким показаться боишься?

— Со мной что-то похожее было, вы угадали, — тихо сказал Зимин. — Вдруг испугался, что я почему-то голый среди людей. И не могу даже объяснить, кто я, почему в таком виде. Но потом постепенно осознаю: вокруг полно голых. Сплошь голые, вроде я оказался на пляже. А поглядывают как раз на меня странно, посмеиваются, втихомолку и откровенно. И вот тут действительно до меня доходит, в каком я виде на самом деле: в устарелом, полосатом купальном трико. И понимаю, что надо бы раздеться со всеми. Только ведь поздно, уже никого ни в чем не убедишь. Разве только если изобразить из себя потешного клоуна... получится, глядишь, выигрышно. Лучше всего, конечно, проснуться — но если это все же не сон?..

— Знаю, знаю, поэзию ты напустить умеешь, — оскалил тот заостренные мелкие зубки. Пивная пена белела у него теперь не только вокруг рта, она проступала из рыхлых пор, лопалась и шевелилась уже на бровях. — Давно, помню, тебя оценил: умеет выскальзывать. Попробуй за него уцепиться. Зацепки повернуты все время не в ту сторону... Но со мной тоже не надо так свысока. Ты мне даже выкаешь. Не надо... И не жмись ты так, не девица, не изображай невинность. Незаконный приплод, что ли, хочешь

припрятать? Времена не те. Люди теперь такого поведения не выносят. А вдруг ты дитя придушишь? Кто тебя знает? Общество вправе требовать или нет? Как нас с тобой раньше воспитывали? Забыл, что ли?..

Зимин потом сам бы не мог объяснить, почему он поддался. Городская ли духота подействовала, недоброкачественное ли пиво? Расслабленность была не физическая — отказала способность сопротивляться. Не хотелось ведь допускать Шарова в свою комнатушку, где он обитал после развода, со старой пишущей машинкой на старом столе, и не нужна была ему ничья помощь, чтобы подняться по лестнице на второй этаж. Этот круглоголовый выпил куда больше. Но тот не столько поддерживал, сколько вцепился ему в локоть, по пути толковал что-то про особые возможности, про гонорар, которого, впрочем, заранее не обещал... Все это проходило мимо. Нельзя было сказать, что Зимин поддался соблазну. Мог бы просто сказать непрошенному издателю, что у него это единственный экземпляр. Но чем бы это еще обернулось?.. мало ли, чего было от такого ждать...

Вытаскивая из ящика папку с рукописью, он еще надеялся продемонстрировать Шарову на примере любой страницы, насколько ему это будет неинтересно, незачем даже начинать чтение, одолевать все равно не захочется. Было явственно слышно, как потревоженная понапрасну рукопись, только что дремавшая так успокоенно, скулит все испуганней, предчувствуя назревавшее предательство. В последний момент она даже сумела выскользнуть из рук на пол — Шаров подхватил ее первый...

Пришлось оставаться с сознанием не совсем чистой совести, чуть ли не насилия, совершенного над существом, присутствие которого, допустим, тебя тяготило, заставляло о себе думать, не давало вполне освободиться, расслабиться. Но и стыдить себя, и тревожиться было пока преждевременно — только разве что морщиться, представляя, как круглоголовый касается наслюнявленным пальцем

беззащитных страниц, и надеясь, что даже перелистывать их он до конца не станет.

Выждав приличный срок, Зимин собрался, наконец, вернуть рукопись. Голос девицы по телефону злобно ответил, что шаров тут больше нет, лопнули. Домашний телефон вовсе не откликался.

Стоило ли говорить, как чертыхался писатель после каждой очередной попытки найти необязательного пройдоху, как клял и корил себя, переживая потерю, ошибку, если не сказать хуже? Надежда как-то еще вернуть свой труд породила разнообразные фантазии; одной из них была мысль рано или поздно, восстановить написанное по памяти, причем в этой памяти — или воображении — книга (как и сама утрата) все больше набирала значительности. Но никакая оскомины во рту, между прочим, больше не портила аппетита.

Читательское письмо словно вдруг выбило Зими́на из установившегося было равновесия. Тут лишь он ощутил, насколько не был готов к действительному существованию книги, насколько привычным, уютно греющим стало чувство окончательной, не от тебя зависящей жизненной неудачи. Как книга попала к этому однофамильцу? (Можно было подумать, что именно совпадение его привлекло; заподозрил, что ли, родственника? Иначе он книгу бы не купил). Восторженность отклика и вовсе отдавала недоразумением.

Выражался этот человек в тонах приподнятых, местами с заушной какой-то витиеватостью. «Ваша книга не просто оказалась для меня адресным, именным посланием. Когда бьешься над безнадежными мыслями, отгороженный от других в экспериментальном своем ящике, соприкосновение с родственной мыслью производит воздействие мозговой вспышки». В таком вот духе. Пробившись не без усилия через восторженный, местами наукообразный сумбур («энергетическая подпитка» была упомянута здесь, «алгоритм жизнеспособного саморазвития» и даже «энергетика

потрясений»), понемногу можно было добраться все же до сути. Человек, по некоторым намекам судя, довольно еще молодой, интеллектуал-графоман с уклоном, очевидно, техническим сочинял что-то свое; совпадение фамилий побудило его обратиться к профессионалу с надеждой до смешного небескорыстной — и ведь не просто на содействие или протекцию. Тем же витиеватым слогом Зимину-старшему предлагалось многообещающее соавторство, вот так-то. «Если бы вы взяли посмотреть мои материалы, разделенные частности могли бы объединиться даже сверх ожиданий каждого из нас, выстроилось бы правильное развитие, я убежден. При вашем-то мастерстве». Проблема авторства (при общей фамилии) его вроде бы не интересовала. Только вот присылать свои «материалы» он почему-то не рисковал — и здесь нечаянно проговорился: «До меня запоздало дошло осознание: когда содержимое мозгов, весь рабочий процесс открыт для других, можно без твоего ведома, без нужного понимания злоупотребить промежуточными результатами, вот ведь в чем ужас». Это, увы, напоминало уже вполне известный сдвиг. Становилась отчасти понятна и умышленная, скорей всего, зашифрованность языка: писавший словно боялся, как бы письмо не перехватили, не уличили в чем-то недозволенном, не потребовали объяснений. (Проскользнул даже намек, что посылалось письмо не по обычной почте). Запрещалось, что ли, отправлять «материалы» из этого ящика?..

Ну, тут начиналась уже область догадок, углубляться в которые Зимину было незачем. С преувеличенной почтительностью этот другой, Д.Зимин приглашал его приехать к себе, даже подробно расписывал дорогу от железнодорожной станции на автобусе, потом на катере с указанием точного рейса в 9.30 и обещанием «организовать встречу, как дадите знать». «Если, конечно, для вас не проблема ездить», — приписано было в скобках. Не особенно тактичный, прямо сказать, намек то ли на возраст, то ли на непосильность нынешних транспортных цен.

На конверте же в качестве обратного адреса указан был номерной шифр того самого, упомянутого в письме «ящика». Что он мог означать? Засекреченный объект? Что-то военное или, может, тюремное? (С медицинским уклоном, — невольно добавил про себя Зимин). При номере имелось название города, которое обозначало, однако, не более чем привязку к почтовому пункту. Так называлась и железнодорожная станция (Зимин не без труда нашел ее в подробном атласе), но от нее еще надо было добираться, и неблизко, к месту, имевшему, наверно, другое, свое название.

Заглядывал Зимин в атлас, разумеется, всерьез о поездке не помышляя. При всем желании увидеть все же свою книгу, удостовериться в ее существовании (ни в одном магазине обнаружить ее не удалось), отпугивала мысль о необходимости знакомиться в нагрузку еще и с неизвестными «материалами». Можно было, написав в ответ слова стандартной вежливой благодарности, задать на эту тему попутный вопрос. Но что-то мешало Зимину даже взяться за такое письмо. Почему-то заранее неприятно казалось выводить на конверте собственную фамилию. Так отгаликивает иногда вид почерка на собственных старых письмах — возвращаешь их, где лежали, подальше, не перечитывая; так чужеродна собственная остывшая слюна... Нет, было что-то еще и другое...

Отделаться сразу от мыслей о письме, вот с чем Зимин помедлил. Так и не решив, отвечать ли, он поневоле к нему возвращался — и вызывавшие усмешку мудреные выражения, на которых он и не думал задерживаться, теперь неожиданным образом зацепляли, словно поворачивались другой стороной. Взять хоть ту же «энергетическую подпитку» — ведь это были, как запоздало вспомнилось, слова из речей бородатого шарлатана; Д. Зимин сочувственно употреблял их, намекая на тему неизвестных своих занятий. Вообще он, похоже, считал автора солидарным именно с этим своим героем, сам находил у него

родственное себе. «Это ведь и моя проблематика: возможность соединиться с жизнью, не прорывая сберегающей оболочки, которую после пережитого едва удалось нарастить», — так он выражал свое понимание.

Зимин давно уже убедился, что читатель по природе своей никогда не воспримет написанное, как это замыслил автор. Зато непременно обнаружит такое, чего тот вовсе не имел в виду, не заметил или недопонял. Да еще переиначит в меру собственного опыта, характера, представлений. Если угодно, обогатит, досочинит, не дописывая ни строчки. Возражать против этого Зимин не мог, сам был читателем. Может, и он в письме обнаруживал больше, чем там было на самом деле. Одно место в нем было, между прочим, о чем-то схожем: «Так обводишь контуры поневоле ограниченного пространства, чувствуя, что одновременно возникают очертания другого, незамкнутого, открытого мира».

Сомнительность восторгов, вот чем как-то болезненно задет был писатель, вот что требовало опровержения. От неприятия, непонимания, ругани проще было бы отмахнуться. Точно этот Д. Зимин произвольно распоряжался текстом, присвоенным вместе с именем. Не имея на руках экземпляр, трудно было подтверждать или опровергать его, как полагается, с убедительными цитатами. Дословно Зимин у себя многого не просто не помнил — написанное слишком успело преобразиться в его собственной памяти. Особенно же смущало чувство, что в письме упоминались эпизоды, которые первоначально во «Временах жизни» действительно были, но из окончательного текста убраны. Неужели какие-то отвергнутые страницы могли по недосмотру оказаться в папке? Он ведь даже не проверил, как следует, отдавая ее. Но каким образом они были вставлены в текст, куда?..

«Не знаю, что значит для вас «отгороженность от жизни» (тем более в неизвестном мне ящике), «соединение» и тому подобное, — не удержался он мысленно от стилис-

тического передразнивания. — Автору можно приписывать свои мысли, но не мысли же персонажей. Мне многое приходилось оставлять за пределами повествования. Чувство отгороженности от мира, ограниченности своей жизни, желание охватить все (если вы говорите об этом) — отчасти юношеское. Мой герой мог бы рассказать вам, как был разделен на «концы» город его детства. Забрести в чужой конец было опасно, могли сильно поколотить. Между ними велись настоящие войны, годами. То есть можно было много лет прожить в небольшом сравнительно городе, ни разу не побывав на другом конце. Но ведь и внутри маленького квартала, за соседними стенами, жизнь протекала как бы в разных, непересекающихся измерениях, со своими законами, правилами, понятиями. За одной, представьте, апартаменты подпольного богача с невообразимой, чудовищной роскошью, за другой — уголовный притон, пропахший перегаром и блевотиной, и тут же, чуть не вплотную — пугливая семья ссыльных интеллигентов, которой надо прятать от посторонних наследственные, запретные книги. А как им, в самом деле, было открыться? И так всем, всем. Но герою в юности хотелось проникнуть за любые стены. Ему мешали, ненавистны были всевозможные ограничения, которые закрывали другой мир, другую жизнь. Его унижали все эти закрытые зоны, границы, спецпропуска. Представлял ли он, как вместе с этими перегородками исчезнут однажды существенные ориентиры, каким он почувствует себя незащищенным? Как после стольких лет, стольких странствий он не сможет уверенно сказать, знает ли хоть ближние окрестности — таким все становится неузнаваемым? Вот что выясняется на самом деле: обогни хоть всю землю — добраться в конце концов можно не более, чем до себя. Если, конечно, не заплутаешь в пути. Если еще останется, к кому возвращаться, вот в чем настоящая-то тревога»...

С кем это, однако, я думаю объясняться, с какой стати? — одергивал себя тут же Зимин. Только что удалось

поставить точку, а затем и совсем успокоиться. От Шарова следовало ожидать пакости, но не этого же. Надо что-то еще договаривать, объяснять, чуть ли не оправдываться. Хотя никому ты на самом деле не должен, никто от тебя объяснений не мог требовать.

Неотвязность все тех же мыслей порождена была, видимо, возобновившейся бессонницей — она опять иногда словно снилась. И точно озвучивалось письмо: ну что, так приедете? Или слабо? Да, небось, слабо. Как в детстве подначивали, чтобы ты прыгал в яму (и яма в непроглядной темноте бессонницы существовала невидимо, но реально, вот тут, прямо перед тобой), и ты ради самоутверждения уже готов был прыгнуть — непонятно куда, непонятно зачем. То-то и оно, что ты уже не ребенок.

Как бы изнутри этого состояния, из смещенной бессонницы и пришел вдруг телеграмма, сообщавшая о похоронах Зимины. Без извещения о самой смерти и ее причинах, даже без формального приглашения приехать — лишь с указанием даты. И подписано было официально: «Отдел обслуживания». Не требовалось чересчур напрягаться, чтобы расположить в уме наличие при бредовом ящике и такой службы. Не обнаружили по документам других родственников и решили известить на всякий случай однофамильца. Сэкономив, как водится, на словах. Это все можно было совместить. Если что выпирало, не укладываясь, так это единственное, отдельно добавленное слово: «Пожалуйста». Точно прицепили без связи неуместный, из другого набора, бантик.

Продолжалась все та же муь. Да что же это было такое? Нельзя было так распускать воображение, связывать неизвестную, не имеющую к тебе отношения смерть с чем-то, что ты сделал или не сделал, написал — или именно не написал. Будто человек действительно не дождался от тебя насущного ответа, какой-то поддержки или хотя бы опровержения. Потому что и от собственных мыслей ты не смог убедительно отвязаться. Какой напряженной ноты, какого предупреждения не сумел уловить?..

Нет, все это было опять же черт знает что. Абсурдно, смешно было даже говорить себе, будто, не поехав и теперь неизвестно куда, ты что-то опять нарушишь, не выполнишь непонятный тебе, на самом деле не существующий долг. Ехать вынуждало разве что недостоверное существование книги. Не покончив с этой неясностью, нельзя было скинуть прицепившийся груз, избавиться не то что от душевной неразрешенности — от застрявшего неудобства. Вроде как от песчинки в туфле. Или скорей камешка. Даже если поедешь зря, — говорил он себе, — если ничего и никого не найдешь. (Если окажется неизвестно чей розыгрыш — мелькнула и такая мысль). Чего ты как будто боишься? Это и будет действительным облегчением. Ведь не боишься же на самом деле. Нет более простого способа освободиться.

2

Бессонная ночь в поезде еще больше усугубила его состояние. Купейного и даже плацкартного билета взять не удалось (помимо желания сэкономил, — привычно усмехнулся Зимин: над самим ли собой или над унижительной необходимостью в таком-то возрасте считать деньги), а заснуть в общем оказалось попросту невозможно. Он ворочался с боку на бок на душевной верхней полке, без постельного белья, укрыв разутые ноги лишь курткой, а под голову пристроив подошвами вверх кроссовки и наплечную сумку. (Из какого-то самоутверждения он собирался в дорогу, как прежде, по-молодежному, налегке). Внизу же громко гуляла компания подвыпивших парней, к которым не без навязчивости прибился пожилой пузан в камуфляжной пятнистой форме. Натерпевшийся герой Зимина одно время по привычке считал эту форму признаком военной принадлежности, сочинял для себя несусветные объяснения, когда и страховой агент приходил

к нему в камуфляже, и рыночный продавец оказывался в той же форме — словно разрасталась сама собой категория особых служителей, обладавших, может, даже оружием. Пока не увидел, что эту форму теперь можно купить в обычном магазине, и недорого. Ее стоило бы даже надеть, примеривал мысленно губошлеп, чтобы производить впечатление, ради какой-то, может, мимикрической самозащиты: мало ли за кого тебя в ней примут, и приставать на улице остерегутся. Въевшаяся в кровь законопослушность мешала ему присвоить не положенное. А вот этот, со взмокшим от пота зализом на лысине, по виду скорей магазинный работник, чем даже отставной военный... хотя кто их теперь различит?.. у этого хватило свободы, он сумел без заботы о формальных правах — в духе времени — обзавестись небесполезными пятнами.

На столике внизу были вскрыты консервные банки, выставлены бутылки. Разговор шумел беспорядочный, малопонятный, потренькивала гитара, улавливать связанное содержание Зимин меньше всего хотел. Он пробовал как-то загородить уши от звуков, чтобы поскорей заснуть.

— У них теперь за выстрел двенадцать тысяч плотят, — уверял кто-то внизу.

— Это смотря какой выстрел, — опровергал другой. — Есть и за пятьдесят.

— У кого деньги есть, пусть выкладывают...

Охотники, что ли? — думал писатель, поворачиваясь на другой бок и закрывая рукой свободное ухо. Или сейчас вроде еще не сезон? Ружей у них что-то не видно. Может, рыбаки? Что это теперь за цены?..

Отгородиться от галдежа все же не удавалось, то одно ухо, то другое оказывалось открытым. Кто-то начинал рассказывать, как стреляли из рогатки воробьев, потом из них суп варили — вкусно. Все хохотали непонятно над чем. Лысый раз-другой пытался вставить что-то про американские консервы (нет, не магазинный работник, — внес для себя поправку Зимин, уже выделявший его го-

лос, — те до общего вагона не опустились бы). Наконец, тот сумел все-таки протиснуться в разговор:

— Да, воробьи у нас тоже были. А голубей я потом лет пять не видел. Кошки, собаки — те еще оставались. Хотя тоже не как сейчас...

Это он про послевоенное время, что ли? — начал прислушиваться Зимин. — То есть, про наше послевоенное?.. — Он, помнится, сам однажды, уже задним числом, отметил, что с детства долго не видел в городе голубей. Это потом их объявили символом мира, и сизари стали обычной птицей. Лишь тогда ему пришло на ум, что в войну их, наверно, поели. Даже обычный цветок городских пустырей, цикорий, он впервые увидел уже школьником — тоже, видимо, извели в свое время...

— Собаки вообще-то вкусные, — подтвердил другой, молодой голос. — Мы раз-другой пробовали. Но как увидели, что они едят трупы, есть перестали...

Да кто же это говорит?.. о чем он?.. Зимин все-таки повернулся посмотреть — и поймал на себе нечаянный встречный взгляд. Сидевший с краю вихрастый рыжий, совсем мальчишка на вид, показался ему непонятно знакомым...

— Не, а мы в деревне корову одну взяли, — вступил мордастый в косынке, повязанной по-пиратски, — у нее, бля, вот такой осколок между рогов торчал. Воткнулся — и ничего, так прямо и гуляла...

Откуда я этого рыженького знаю? — все пытался вспомнить Зимин. Как будто уже видел где-то именно эти вихры. Золотистый отблеск на щеках, словно щетина проступала расплавленными точками, укороченные, приподнятые брови... Был вроде такой рыжий соседский мальчуган, еще в том, прежнем доме...

— В деревне и корову ничего не стоило взять, и бабу, — сказал кто-то, невидимый под полкой...

Не стоило, наверно, смотреть на рыжего так долго, тот снова встретился с Зиминим взглядом и задержался, слов-

но тоже захотел убедиться в чем-то. Зимин поспешил прикрыть веки...

— Особенно когда целым взводом, — добавил другой. Все снова дружно загоготали...

Господи, они ведь на самом деле о войне, — с чувством странной пустоты внутри вдруг понял Зимин. — Они, эти вот молодые, а не взмокший камуфляжный толстяк. Он сам-то явно ни в какой не участвовал, ни в той, большой, ни в какой-то из нынешних, но все пытался так ли, иначе подключиться к недоступным ему разговорам (сколько где стояла канистра бензина, обсуждали они попутно). Пятнистой формы было все-таки недостаточно, чтобы стать среди них совсем своим...

— ...Они с подарками все вернулись, — рассказывал голос под полкой, перемежая каждое слово необходимыми междометиями. — Кто швейную машинку жене приволок, кофточка, тряпочки, то, се, один дочке маленькой трехколесный велосипедик притырил, всю дорогу на себе, представляешь, тащил. Даже соседей не позабыли, всем что-нибудь хорошее сделали. С войны, как же. Ну, отметили возвращение, погудели дома, как по-ихнему полагается, с бабами перепихнулись. Но ужиться у себя не смогли. Над деревней, повыше, в лесу устроили лагерь, как обычно, и стали на них с гор спускаться...

— На своих, что ли? — не понял кто-то.

— Да они там все были свои. Язык один, только называются по-разному. И крестятся в разные стороны.

— Алфавит у них тоже разный, — уточнил знающий. — Язык один, а алфавит разный...

Это я бы и о себе мог сказать, — смутно думал Зимин. Язык действительно один, слова не нуждаются в переводе, даже знаешь, о чем они, но все еще не можешь подключиться к действительному пониманию. Как будто успел незаметно для себя вздремнуть и до сих пор не вполне очнулся. Не вполне вынырнул неизвестно откуда на поверхность без смыслов, в этот загустевший накуранный

воздух. Вот пятнистому даже осваиваться в нем было не надо, он только все никак не мог перехватить разговор, все пытался вставить какой-то особый рассказ про личного знакомого, небывалого летчика, дважды Героя Советского Союза, который первую свою звезду получил еще в Испании, потом, в большую войну, немцы сбили его, он под чужим именем подышал в концлагере, совсем доходил от голода. Но кто-то там, представляешь, узнал его по фотографии...

— Тогда ведь как было, слышь? Ты послушай! У немцев был такой список или, по-настоящему, альбом лучших летчиков мира, с фотографиями. И он там был на двенадцатом месте. Ну, конечно, предложили снова сесть за штурвал и бомбить, так-перетак, Англию. Все-таки не своих...

Можно было, не глядя, представить, как он дергает, привлекая, слушателя за рукав. Слушал ли кто его? Гоготали все о своем, но он пробивался наперекор шуму — надо было все-таки досказать:

— Над Англией его, слышь, опять сбили и тоже узнали. Слышь? Он там тоже был в их альбоме, только на восемнадцатом месте. Предложили бомбить японцев...

— И там опять сбили? — спросил молодой узнаваемый голос. Этот, значит, все-таки слушал?.. Зимин осторожно приоткрыл левый глаз, чтобы удостовериться. Рыжий смотрел снизу прямо на него, точно дожидался. И даже подмигнул, как своему, приглашая присоединиться к намечавшейся, видно, забаве. Он уже наклонно держал водочную бутылку над лысиной толстяка, словно собираясь окропить голову новопосвященного. Тот ничего, однако, не замечал, он радовался вниманию. Поблескивал во рту золотой зуб, обе руки были заняты бумажными стаканчиками, подсунутыми с разных сторон.

— А как же! Он еще и американцев бомбил. Ну, а потом, конечно, в наш лагерь попал. Но его оттуда тоже освободили. Даже одну звезду вернули. За Испанию. Герой — он

должен быть герой. Вот как было когда-то, — добавил с непонятной гордостью. И вдруг, оглянувшись на рыжего, сам плеснул себе на лысину из стаканчика. Довольно осклабившийся рот обнаружил теперь обилие золота...

Вот так-то, — неопределенно подумал Зимин. — А ты бы так не сумел. Ты все надеешься удержаться в другой, несуществующей жизни, все не хочешь или не можешь оторваться от воображаемых опор...

Правильней было вообще отвернуться, только не сразу... сперва просто на спину. Чтобы не выглядело демонстративно. В поспешности, с какой Зимин в первый раз зажмурился, было, наверно, что-то постыдное. Но не нравился ему этот взгляд. За кого его принимал этот рыжий? Как будто считал, что он с камуфляжником заодно. Из одной компании, одного возраста. Отвечай за него. Жмурься теперь, не жмурься...

— Мы всю жизнь в битвах участвовали, — проповедовал теперь тот, дошедший уже до желанного благодушия. — Раньше ведь за все была битва, не как теперь. Вы, небось, не застали. За урожай была битва, да? Против империализма, национализма. Много чего было. Космополитизм был. Коммунизм. Враги народа, это само собой. Сейчас жизнь не такая понятная. Но ничего. Мы еще повоюем, правильно? Война есть война...

Шум становился все более пьяным, неуправляемым, он плавал по вагону, мешаясь с перестуком колес. Начинаясь то и дело пение под гитару приспособлялось к тому же ритму, преодолевая нестройность, слова были не более чем производными шума. Сквозь закрытые веки можно было почувствовать, что освещение в вагоне погасло, оставлен был лишь слабый ночник. Компания, однако, утихомириваться не собиралась, и можно было не сомневаться, что никто из пассажиров не рискнет призывать их к порядку. Пахло потными мужскими носками, почему-то баклажанной икрой и все более явственно — перегаром. Как-то слишком явственно. Будто кто уже ды-

шал тебе прямо в рот. И даже проводил рукой перед закрытыми глазами (дуновение прохлады, паутинка у кожи). Так в детстве испытывали, не прикасаясь: выдашь ли ты, что на самом деле не спишь...

Зимин решил все-таки приоткрыть глаза. Темное расплывчатое пятно загораживало свет слабой лампы.

— А? — удовлетворенно сказал приглушенный голос, обдавая перегарным желудочным жаром. — Не будем больше притворяться? Узнал, что ли?

— Сам не пойму, — так же негромко, не выявляя усмешки, ответил Зимин. Глаза он снова прикрыл, отчасти демонстрируя невозмутимость — придавая разговору как бы домашний характер. Правильней было также игнорировать тыканье — не тот случай. Тем более, сам он по старой памяти — если человек действительно был знаком — лишь с усилием мог бы говорить этому давнему мальчику «вы». — Значит, все-таки узнал. А притворяться мне незачем. Просто в воспоминаниях не бывает полной уверенности. Тем более когда проходит так много времени. Детские лица совсем ведь меняются. Но твое, значит, на удивление сохранилось. Такая шевелюра приметная. Ты, помнится, собак очень любил, приبلудных подкармливал, да? А мама не разрешала брать. Я как-то помогал тебе перембинтовать одной раненую лапу, у нее текла из глаза слеза. Помнишь такое? А?..

Зимин подождал отклика, подтверждающего или опровергающего. На всякий случай он все же не уточнял имени, да и адреса, а попасть можно было и наугад. Внимательное молчание его поощрило.

— У тебя было такое милое лицо. Как будто всегда был удивлен чем-то. Лицо можно узнать, но куда девается удивление? Вот что я особенно старался когда-то понять, — неожиданно вдохновился он, чувствуя, что, именно растягивая разговор, отводит все дальше и дальше опасность недоразумения, до сих пор все еще неясной угрозы. — Главным образом в самом себе. О других говорить проще

всего, но я ведь себе кем-то казался. Не буду объяснять, кем. Неловко даже некоторые слова говорить. Достаточно, что казался. И сейчас, может, кажусь. Куда девается в нас способность к чему-то, что от рождения представлялось естественным... поэтому и не сознавали? Понимаешь? — продолжал он, не открывая глаз; это помешало бы ему говорить, сбило бы мысль. — Что с нами делает время? Или не просто время? Превращаемся ли мы в кого-то другого? Но что тогда остается от нас? На чем же тогда держаться? Страх... да, он был всегда. Но он скорей разъедает, чем держит. Вот стыд... да, стыд, мне казалось, действительно последнее, что дает себя сохранить. А смотришь на этого пузана... Только, пожалуйста, не дыши так, если можно, в лицо. Не обижайся, но я задыхаюсь... Ты говоришь: не притворяйся. Этот пузан ко мне отношения не имеет, я с ним незнаком, но слов его отрицать не могу. Какое может быть притворство, если я свои слова уже записал на бумаге, не вычеркнешь. Я даже сочинил, представь, что мое поколение застало последнюю большую войну. Ну, не то чтобы думал соврать, я был уверен, что это правда. Война казалась тогда настоящей по-другому, не как сейчас. Отец принес с той войны пистолет — какая сладость была его подержать, поцелиться! Сколько я совершал с ним подвигов — за правду. Каких наказывал злодеев... конечно же, злодеев! Как я завидовал смотревшим в лицо смерти, по-настоящему! Какое было чувство справедливой власти, какая гордость!.. Я понимаю, смешно сейчас перед тобой даже произносить такие слова. Не могу, наверно, вынырнуть из фантазий. Конечно же, война была не тогда, она сейчас... я не вполне уверен, где. Бессмысленно спрашивать. И кто может знать заранее? Где угодно. Нет месяца, чтоб не стреляли, не убивали... вот к чему я, может быть, не готов. Чего-то не хватило. Наверно, воображения... да, представь себе. Настоящего, честного воображения. Придумывать надо так, чтоб до предела раскрыться... до сути дойти. А как ее уловить?

Этот пятнистый по-своему выразил. Тогда казалось, нельзя все-таки без идеи. Хотя бы какой-нибудь... Я не опровергаю и не отказываюсь. До сих пор просто удавалось, может быть, обходиться. Сочинял, что говорить... хотя думал, что от моих слов мало что на самом деле зависит. Но вот, оказывается... Жена... бывшая жена... говорила, у меня мозги вывернуты не в ту сторону. Досочинялся до того, что у всех жизнь пошла не туда... и у нее, и у сына. Ты его должен помнить, вы вместе майских жуков ловили. Я не оправдываюсь, не думай. Не получается соответствия... как выразился один тип. Вот, показывают чуть не каждый день всякие раздавленные кишки, ужасы. Собаки эти самые жрут трупы. Я видел. И ничего, можно, оказывается, жить, как жил. С той же головой, теми же чувствами. Даже вот столечко не тошнит, можешь поверить? Такому, как я, это непросто понять. Пока все эти ужасы были для нас словами, какие закипали чувства! Слова действуют, оказывается, сильнее. А когда ни от чего, кажется, не тошнит — настоящее это или нет? Поахать, конечно, можешь, с полным чувством, но без внутренних последствий. Как в кино. Картинки обезображенных трупов, может, для того и показывают, чтобы от них отделаться насовсем, поскорее. Чтобы они больше не существовали. Проще лить слезы по тем, кто остался в воспоминании не таким. Или кого мы вовсе не видели. Образы создаем. Веками создаем образы один мощнее другого. Так надо для жизни. Ужас это или не ужас? Если ты все равно остаешься ни при чем? Почесываешься, конечно, как от блох. Но не больней, не опаснее. Кожа привыкает, это научный факт. Срабатывают защитные механизмы. И порошки разные есть... Нет, не в притворстве дело. Я еду не с вами, это действительно. Не могу, извини. Но тоже, представь себе, в ящик, — решил вдруг Зимин не то что щегольнуть для чего-то — но словно все не удавалось до конца оправдаться. — Слышал, что это такое? Сам не знаю. И знать не положено. И не хочется туда, по правде сказать. Ох, не

хочется! Сидел бы в своем. Но вот, оторвало. Сел в поезд — на ходу уже не выпрыгнешь. Зачем-то надо. Не могу объяснить. И вслух не все можно. Только совсем тихо. Приставь к моему уху лупу, если у тебя есть... Туда ведь не всех пускают... дебри бреда... зеленого цвета, чтоб издали не было видно...

— Да куда ты полез? — с угрозой спросил голос.

Господи, — вздрогнул Зимин. Он словно опять очнулся. До него тут только дошло сознание, что он говорил сам с собой, вслух или не вслух. Хотя как будто уже некому было его слушать. Словно этот рыжий успел незаметно от тебя отвалиться... Когда? Был ли он вообще? Или ты опять ухитрился теперь уже в самом деле незаметно вздремнуть? Давно ли? Но чей это в таком случае был голос? Надо ли было ему отвечать? Почему он спросил так?..

С полки напротив и снизу уже слышался храп, ворочались тела, поезд гроыхал на стыках. Да, значит, не заметил даже, когда все улеглись. И то ли наяву, то ли в дремоте — все о том же. Непонятно о чем. Едешь неизвестно куда, неизвестно зачем. И чем в самом деле захотел похвастаться? Выдал, о чем лучше было помалкивать... А!... ладно. Не о том опять думаю. Все-таки бы надо по-настоящему заснуть. Может, действительно получится. Только бы не проспять станцию. В восемь двадцать пять... а который теперь час? И запах все-таки чувствуется. Разлит ли он по всему вагону, продолжает ли кто-то молча дышать совсем рядом, в упор? Неужели все-таки он? Открыть бы снова глаза, удостовериться... В детстве ты хитро умел притворяться. Главное в таких случаях — не замирать, будто совсем неживой, не выравнивать ненатурально дыхания, нет, наоборот, посопеть, промычать вот так во сне... и как бы во сне повернуться...

Это движение причинило Зимину внезапную боль на горле, вынудив замереть. Будто натянулась, зацепившись за что-то, нашейная цепочка... то есть какая цепочка?.. у меня никакой нету, — замельтешилось в полусонном уме.

Что это было такое? Хорошо, что не дернулся сильнее. Следит ли кто сейчас за тобой? Ждет, что ты сделаешь дальше?..

Он попробовал шевельнуться еще раз, осторожно... Горло действительно было перетянута чем-то тонким. Неужели ухитрился этот рыжий... или кто-то еще из них... придумал? Все-таки осторожно... как будто именно не просыпаясь... подвинуть к шее свободную левую руку... Да, в самом деле, натянута что-то вроде лески. Этого и следовало от них ждать. Ведь знаешь же, что такое жизнь, надо заранее быть готовым. Неважно, что они к тебе могут иметь, важно в решающий момент бодрствовать. Чтобы не попадаться. Хоть бы подумали, идиоты, как могут закончиться такие недетские шутки. Затаились где-то поблизости, дышат на полке напротив, ждут...

С силой, резко Зимин потянул леску рукой. Она больно вдавилась в ладонь — но все-таки лопнула или оборвалась. Приподнялся на локте. Никого перед ним не было, лишь на противоположной полке кто-то действительно лежал, отвернувшись. Храп слышался вполне натуральный... не ты один умел прикидываться. За окном было уже светло. Неужели утро? Ведь только что было темно. Который час? Или в здешних местах уже время белых ночей? Но разве я еду на север? Куда я еду?..

Поезд замедлял ход. Зимин наклонился с полки, глянул в окно — и совсем уже ошалело увидел на проходившей мимо платформе щит с названием своей станции. Ему нужно было здесь выходить, то есть попросту выскакать, поезд мог стоять не больше минуты. Некогда было даже обуть кроссовки.

Чей-то приоткрывшийся глаз смотрел на него с нижней полки. Здесь спали полусидя, полулежа, навалясь друг на друга... совсем как будто другие люди... вот даже две женщины с ребенком...

Благо, собираться было не нужно. Куртку и кроссовки в руку, спортивную сумку на плечо — и чуть не упал,

споткнувшись о чью-то ногу. Разбираться уже было некогда — успел выскочить.

3

Этот сдвиг внезапного перехода, возможно, еще больше усугубил двусмысленное, недостоверное чувство. Чего он не ожидал от себя — так это почти спортивной, почти невесомой легкости, вконец утраченной, казалось бы, после болезни. Ни сердцебиения, ни одышки. Запах вагонной духоты, перегара, прокисшей закуски держался даже сейчас — словно не в памяти легких, а в самом окружающем воздухе. Как держалась еще эта резь на горле или внутри горла. Так просыпаешься, бывало, в поту с чувством, что тебе нечем дышать. Вдавленный тонкий рубец еще болезненно ощущался ладонью, но едва выделялся своей краснотой и прямизной среди других бороздок на ней. Покажи другим — признает ли кто на самом деле след опасной лопнувшей лески?..

Заслужил, заслужил, — бормотал про себя Зимин, балансируя на одной ноге, чтобы обуть кроссовку; нога, еще в носке, брезгливо ощущала прохладную сырость платформы. — Непозволительно так расслабляться, могло занести, затянуть невесть куда...

Поезд, чокнувшись на прощанье вагонами, тронулся дальше. Освободилось пространство для другого, все более узнаваемого запаха, он растекался в утренней промозглости. Стандартная беленая стенка перед бетонным сортиром в конце перрона тоже выглядела знакомой. И зеленая краска на станционном здании была, как обычно, облуплена. Ты сюда уже приезжал или дожидался здесь поезда и заходил перекусить вот в эту стеклянную забегаловку (вкус сомнительных мучнистых котлет ожил в желудке — шевеление памятной тошноты, вставленной даже когда-то в попутный сюжет)...

Минуту спустя Зимин сам удивлялся, почему запах сортира не пробудил в еще дремотном сознании мысль хотя бы наскоро справить уже накопившуюся нужду — не говоря о том, чтобы просто где-нибудь умыться, привести себя в мало-мальский порядок. На привокзальной площади разогревался, готовясь к отправлению, единственный автобус, и Зимин зашпешил к нему, почему-то сразу решив, что автобус тот самый, указанный в письме, на него надо было успеть. Хотя взгляд, мимоходом скользнувший по вокзальным часам, не отметил даже осмысленного положения стрелок. Едва Зимин вошел, автобус тут же тронулся, а он не мог уверенно сказать, указана ли была пристань в табличке на ветровом стекле.

И чего так рванулся, не оглядевшись? — качнул он головой, протирая запотевшее стекло; уголки глаз он заодно протер смоченным осторожным пальцем. Надо было хоть посмотреть обратное расписание. Убедиться, что обратные поезда отсюда ходят. А мог бы ведь просто проехать станцию — нечаянно, не нарочно. И все, нечего дальше решать, не о чем рассуждать. Сумел выскочить, как ошалелый. Опомнился. А тут тебе и автобус. И на него ухитрился не опоздать. Значит, дальше. Можешь даже припомнить, зачем — понимания не прибавится. Все дальше в дебри...

Асфальт на городской улице был разбит, чувствительно давая знать о себе тряской. Дома вначале шли двухэтажные, каменной старой постройки, потом начались деревянные. Знакомо, еще бы не знакомо, — думал Зимин. — Не столько улица, сколько чувство. Словно этот автобус и впрямь везет тебя в то же трогательное захолустье — памятное по временам, когда ничего не стоило взять рюкзачок и странствовать неделю, другую. Ночевать в райцентровском Доме крестьянина, с цинковым баком для кипяченой воды и кружкой на цепочке, с железной печуркой в номере и поленницей во дворе. Или в каюте на речном дебаркадере (рубль за ночь), где вы лежали с возлюб-

ленной, не укрывшись даже простыней, жужжала ленивая летняя муха, а за дощатой стенкой в шаге от вас ходили и разговаривали о своих делах пассажиры. Или в таком вот деревенском, считай, доме, с сеновалом, клетью и всяческой живностью, с набором тусклых фотографий в общей рамке на стене — семейным иконостасом, распив для разговора с хозяйкой привезенную четвертинку (тогдашняя валюта). А утром вас подвозил куда-нибудь дальше попутный грузовик, где в кабине сладко пахло теплым бензином, и в попутной чайной подавали олады с брусничным вареньем, грибки местного засола, и сохранившиеся церковки были прекрасны, хоть и употреблены под склад или ремонтные мастерские. Выйти бы здесь, задержаться надолго, а там и насовсем, раствориться в повседневных заботах о пропитании, о поддержании теплой, неприхотливой, привычной жизни, с которой больше необязательных, посторонних мыслей связывает запах детских пеленок, кухонного керосина, куриного помета, квашеной капусты в погребе. Уйти от прежней... или, наоборот, вернуться... Ведь можно же...

Автобус притормозил возле остановки, приглашая садится желающих. Трое мужчин смотрели через окно прямо на Зимина безучастным взглядом: совсем еще молодой паренек в серой кепочке, облокотившийся о седло велосипеда, краснолицый мужик в телогрейке и высоких сапогах с отворотами, болезненного, то есть скорей испитого вида старик с козой на веревке. Как когда-то. Как всегда, в тех же позах. Задержались друг возле друга, чтобы по случаю покурить вместе. Старик по-прежнему предпочитал самосад, сворачивал газетную бумажку почернелыми пальцами, откашливал закопченную мокроту. В сторонке пацан отгонял от дороги гусей, трое проследили за ним взглядом, покуривая. Оставалось ли им еще о чем говорить?..

— И этот пустой, — пошевелил губами старик, глядя через окно прямо на Зимина. — А говорили, народ поедет.

- Пока храма нет, народа не будет, — ответил мужчина.
- Чтоб храм поднять, нужны деньги, — высказал мнение паренек.
- Не будет храма, откуда деньги?
- Сначала деньги, тогда храм.
- Сначала храм, тогда деньги.
- Кому что.
- Хоть купол подняли.
- Купол подняли, а яиц теперь нет...

Автобус, никем не пополнившись, тронулся дальше. Зимин проводил оставшихся взглядом. Губы их шевелились беззвучно, как полжизни назад. Только разве поменялись возрастом: пацан, гнавший гусей, вырос теперь в этого парня, тогдашний старик уже догнивал на погосте. Живописные когда-то домишки скособочились, обросли дополнительной рухлядью полугнилых почернелых сарайчиков, пристроек, курятников, они отличались друг от друга лишь размерами и скоро должны были истлеть вместе, если никто не снесет прежде. Так и не нашлось сил выйти, — запоздало оценил свое состояние Зимин. — Только на мысль и хватило. Улица выглядела безлюдной, словно остальные в этот час еще спали. Дымка, чем дальше, тем заметней окутывавшая дома, казалась веществом витающих здесь сновидений. И как бы поверх этих снов позади домов поднялось что-то сияющее, золотое. Облегченный для порыва ввысь, дутый шар, кверху вытянутый и заостренный, повис в белом воздухе, невесомый, нездешний, даже чуть наклоненный, точно расслабился один из канатов, которые удерживали его, чтоб не взлетел. Но ни канатов не было видно, ни старинной полуразрушенной церкви под куполом. Растворилась, слилась с туманом. В ней когда-то была птицефабрика, — смутно сопоставлял в уме Зимин, — а в пристройке клуб для молодежных танцев... Вдоль дороги справа на временных стойках развешаны были для продажи проезжим большие купальные полотенца и коврики местного, видимо, производства; кроме

красочных полуголых красоток на некоторых была изображена белая церковь с золотым куполом, какой она обещала стать после восстановления...

Автобус свернул налево. Да, здесь и должен был кончаться асфальт, — подтверждал для себя Зимин. Дальше действительно пошла проселочная дорога. Туман за окном становился плотней, совсем уже непроглядный. Попытка стереть его со стекла больше не помогала. Они явно спускались все ниже к воде. Приходилось ползти будто наощупь, медленно — но как было судить о скорости движения? И долго ли они так ехали? Смотреть вокруг было теперь бесполезно, Зимину лень было даже открывать глаза, чтобы взглянуть на часы. Оказывается, он для отдыха все-таки прикрыл веки. Заснуть он не мог все равно — просто чтобы не напрягаться зря. Только не проехать остановку, — повторил про себя он. Но тут же вспомнил, что остановка у него конечная, и проехать ее невозможно. Никого в автобусе больше не было, он предназначен был для единственного пассажира, да и без него, наверно, катил бы так же. Зимин попытался вспомнить, взял ли он у шофера билет? Автоматические действия проходят мимо сознания. Сейчас заявятся контролеры, — думал он, — оштрафуют. Или даже высадят. Тогда все. Никакого катера. А то еще окажется, что автобус все же не тот... Достать, что ли, бутерброд? — думал он. — Пора вроде бы подкрепиться, но нет даже чувства голода...

— Э! Выходить собираешься? — трясли его за плечо.

Зимин встрепенулся. Его расталкивал шофер. На какое-то время он все-таки отключился...

Туман обступал его теперь вплотную, как сырая холодная вата. Автобус, взревев, развернулся. Фары бесполезно высветили две призрачных коротких дорожки в белой гуще. Потом и красные огоньки растворились в ней.

Он беспомощно огляделся. В какой стороне тут могла быть пристань? Надо было спросить водителя... опять не успел, не сообразил. Лишь наклон утоптанной дорожки

указывал направление к реке. С той же стороны веяло особенно прохладной сыростью. Чего я на самом деле хочу? — с усилием попытался отдать себе отчет писатель. А... справиться нужду — вот что действительно возвращало к реальности.

Давно не случалось ему двигаться в настолько густом тумане. Смутные тени, приблизясь, оказывались каждый раз деревьями. Лишь тут он, наконец, вспомнил о необходимости взглянуть на часы. Они показывали без пяти одиннадцать. Вот тебе и на! — екнуло у Зимина внутри. А катер-то в девять тридцать. Неужели можно было так опоздать? Так долго автобус тащился в тумане? Приложил часы к уху — и вздохнул с облегчением. Остановились, оказывается. Забыл, видимо, завести, вчера или позавчера. Но который теперь час был на самом деле? Утра или вечера? Рассеянный свет делал неопределенным само состояние суток.

Утраченным казалось не только время, не было ни звуков, ни красок, лишь оттенки серого. Какой-то, помнится, художник считал этот цвет несуществующим, он брался воссоздать его сочетанием красок радужных и даже вообще убрал с палитры черную, не желая разбавлять ее белилами. Интересно, как бы он обошелся здесь, — думал Зимин. Сколько ни вглядывайся. Туман лежал в траве, как густой пух, свисал с веток размокшими рыхлыми клочьями, обкладывал слух. Голос жалобной птицы возник вдруг в нем — ясно, чисто, подтверждая, что дело все же не в оглушенности.

Откуда у Зимина было ощущение, что он идет в правильную сторону? Вот здесь держаться надо было правой, — чувствовал он, и в самом деле — в трех шагах слева начинался скользкий обрыв. Осторожней, — отмечал неявным сознанием он... а вот тут деревянные ступени спуска и мостик через ручей... И пристань — вот она, наконец. Все-таки существовала, действительно...

Дебаркадер выглядел так, как ему в таких местах полагалось, по крайней мере снаружи. В зале для ожидания были свалены прогнившие доски начатого неизвестно когда ремонта. Настил частично снят, торчали из воды голые, тоже полусгнившие сваи. Пахло сырой необитаемой затхлостью. Кассовое окошко закрыто было фанерным бельмом. Над ним висел ценник — судя по цифрам, чуть не десятилетней давности — и расписание рейсов на Урязино, Кокошино, Изгойск. Вот на Изгойск имелся рейс на катер или, как здесь было написано, на теплоход — как раз в 9.30. Только названия такого Зимин не знал. Может, именно этот Изгойск был зашифрован когда-то номером почтового ящика, может, это название успели даже вернуть. Ни в чем не могло быть уверенности: даже в том, куда ты на самом деле попал, на тот ли все-таки автобус сел. И не у кого было теперь спросить, как вернуться обратно. Обратно...

Пронзительный телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Аппарат устарелого образца висел в углу возле закрытой служебной двери. Звук отдавался в пустом помещении громко, требовательно, и пока Зимин колебался, надо ли ему подойти, смолк. Он не успел расслабиться, когда телефон затрезвонил опять, раздраженно, нетерпеливо. Писатель поспешил на сей раз снять трубку.

— Ты что ж не подходишь, — сказал обиженный женский голос. — Я ведь знаю, что ты здесь.

— Я здесь случайно, — не нашел другого ответа Зимин. — И даже не думал, что телефон работает.

— Ну, зачем мне-то так говорить? Никто не знает, но мы-то с тобой знаем. Я не в обиде, не думай. И звоню без упрека. Просто чтобы услышать голос, знаешь, как это бывает нужно... Ты, может, приедешь?

— Катера нет.

— Ну да! Не умеешь соврать красивой. Я знаю, ты все равно не приедешь. Но чтобы хоть ненадолго поверила. Мне ведь не честность твоя нужна. Велика радость с твоей

честности. Только и слышишь: звонить нет смысла, телефон отключен, на пристани нет никого. И самой пристани больше нет. Как ни придумывай, лучше не будет. Я понимаю, той нашей жизни и быть не может... А как там сейчас пахнет, скажи?

— Водой пахнет, — сказал Зимин. — Прелыми листьями.

— А у меня сверчок поет. Он в углу тут пристроился, за дверью, я его обнаружила. Такой на вид нескладный уродец, я не ожидала. Никогда раньше не видела. А голос какой! Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Зимин.

— Нет, по-настоящему ты все-таки обманывать не умеешь. Сверчок поет ночью, а когда еще будет ночь? Меня все тут обманывают, я знаю. Может, так лучше. Узнаешь, говорят, правду, не сможешь жить. Я понимаю. Но надо же, чтоб хоть в памяти, хоть в воздухе оставалась нежность. Помнишь, какие ты мне читал стихи?

— Какие?

— Дождь стер черту
Разделявшую небо и воду
Белые паруса

Плывут над деревьями.

— Японские, что ли?

— Почему японские? Ты говорил, твои.

Стекла перебрасываются отражениями

Уже их не возвратят.

Ты хочешь меня увидеть?

— Как мне тебя увидеть? — сказал Зимин.

— Только бы захотел, сам знаешь.

И каждую ночь

Эта репетиция рождения и смерти.

Но ты себя побережь постарайся, я чувствую. А мне ведь очень важную вещь тебе надо сказать. Ты слышишь?

— Да, но в трубке какой-то шум.

— Это не в трубке. Это же мотор заработал. Ты слушаешь меня?..

Зимин повернул голову. Заработавший на самом деле мотор вдруг взревел где-то совсем близко. Трубка еще была в руке. Осторожно, точно украдкой, чтобы не добавлять слов, он вернул ее на рычажок и заспешил на звук.

Нетяжелая наплечная сумка позволяла бежать. Опять он отметил все ту же, сверх ожиданий, легкость. Туман вроде бы немного ослаб. Возле небольших мостков, исполнявших, видимо, временную роль рабочей пристани, стоял непривычного вида катер, окрашенный в серозеленый, полувоенный цвет. Матрос в куртке такого же невнятного цвета и черной спортивной шапочке уже убирал трап. Зимин на бегу крикнул, чтоб подождали, и без трапа вспрыгнул на борт — едва там не поскользнувшись. Матрос грубовато его подхватил и выровнял.

— Ну, тебя еще специально ждать, — буркнул он тоном служебного недовольства, словно ситуация позволяла ему панибратство. Лицо у него было мятое, серое, как бывает с похмелья. Можно было подумать, что именно Зимина они дожидались.

— Туман, — пояснил Зимин, зная по опыту, что лучше в подробности не вдаваться. — А вы... в этот?... Куда вы направляетесь? — запоздало побеспокоился он, сознавая идиотизм вопроса. Все та же история: не оказывается времени уточнить прежде, чем прыгнуть. Все тот же нелепый, вынужденный завод продолжал действовать.

Мотор уже работал равномерно, катер плыл неизвестно куда сквозь туман.

— А вам куда надо? — с понятным недоумением, но как бы и с оттенком настороженности, переходя на «вы», спросил в ответ матрос.

Зимин внутренне выругался. Номерного адреса он наизусть не помнил, и имело ли смысл называть именно его?

— Сейчас, — сказал он, нащупывая во внутреннем нагрудном кармане телеграмму. — Вот.

Матрос взял из его рук сложенную бумажку, развернул непослушными черными пальцами.

— А... по вызову? — понял он. Ну, вот и хорошо, с облегчением подумал Зимин, адрес отправителя не возбудил по крайней мере вопросов. Значит, попал все-таки правильно. Матрос перевел взгляд с телеграммы на Зимина, потом снова на телеграмму — точно сверял с фотографией на документе. — Вы, что ли, тоже Зимин?

— Да, — сказал тот. (Могу и документ предъявить, — чуть не добавил он. Но решил сам без надобности не нарываться). — А что?

— А почему не заверено?

— Что? В каком смысле? — не понял писатель.

— Ну, в случае смерти — положено ведь заверять подлинность. Чтобы по вызову отпустили со службы. Меня так же вот из армии вызывали, когда мать задавило. По незаверенной телеграмме отпускать не имеют права. Вдруг фальшивка, мало ли что? Кому-то прогуляться по отпусковой захотелось.

— А... Меня отпускать ни с какой службы не надо, — объяснил с усмешкой Зимин. — Я человек, как бы выразиться, свободной профессии.

— А.., — сказал матрос тоном, как будто объяснение было более чем достаточным. (Правильно, что не сказал: писатель, — отметил про себя попадание Зимин. Каким-то особым разрешением на въезд тот, похоже, не интересовался). — А то оформят кому как попало, и с нас же потом спрашивают. Тем более вы не с экскурсией. Ведь кто только не рвется сюда! А спроси некоторых, зачем? — Он качнул головой и вновь уставился на телеграмму. — Похороны! Какие у них могут быть похороны?

— Не бывало прежде такого? — не удержался от иронии Зимин.

— Бумажек таких прежде не было, — покачал головой тот. — Кому такие дают? У вас кто-то там есть? Родственник, значит... А больше у вас ничего?

Что ему еще нужно? — снова насторожился писатель. — Все-таки пропуск? На пристани могут спросить?

Чего он так медленно тянет? Смотрит на тебя, точно выжидает: какое решение ты сам предпочтешь: чтобы тебя пропустили — или чтоб завернули назад? Причем тут я? — почувствовал он нарастающее раздражение. Не от меня зависит. Не нашел дорогу, не туда попал, не пропустили. В любом случае подтвердится то, чего ты мог ожидать. И не будешь считать потерянным время. Оно ведь так ли, иначе оказывается наполнено. Как наполнена чем-то, говорят, даже теоретическая пустота... Чувствовалось, что матрос, вряд ли имевший отношение к каким бы то ни было пропускам, решает что-то по другой, своей мысли. Он возвратил, наконец, бумажку и пояснил свои слова мусолением пальцев.

— В смысле билетов? Уплатить? Ну, Господи! Это конечно, — устыдился элементарной своей недогадливости Зимин. Наряду с облегчением словно осадок невольного разочарования выпал на доньшко: значит, все-таки еду. — Касса тут, вы же знаете, не работает. Само собой. Сколько с меня?

Матрос опять протяжно посмотрел на него — то ли обдумывал, сколько взять, то ли ожидал все-таки чего-то другого. Кивком показал, чтобы Зимин проходил в салон, сам, ухватясь за поручни, соскользнул вниз — туда, откуда несло утробным теплом машинного отделения.

С удовольствием последовал бы Зимин за ним, чтобы согреться. Сырость все чувствительней пробирала. Сидеть даже в закрытом салоне было зябко. Он поднял капюшон куртки, нахохлился. Хотелось мысленно восстановить в воздухе голос женщины, ее слова. Какую важную вещь он не дал ей договорить? Надо было успеть, дослушивать не хватило времени. Успевать-то успеваешь, но вот куда? Так почему-то все получается.

Почти весь проход и даже сиденья завалены были разнообразными мешками, тюками, громоздкими сумками из цветного стекловолокна. Этот служитель ведь тоже чего-то не договаривает. Ну и не надо. Доплыть доплы-

вем, — подумал Зимин, — там станет ясно. Если не заблудимся в этом молоке...

В таком вот тумане он переплывал как-то на моторной яхте большое озеро, держа курс только по компасу. Знакомое чувство недостоверного движения. Хотя на реке другое дело, тут мель возможна, какой-нибудь остров попутный — а ни бакенов не видать, ни берегов. Не определишь даже, в какую сторону течение. Легкие белесые завитки шевелились над темной поверхностью воды. На старой карте река была обозначена чуть ли не как тоненький ручеек — но вот, оказывается, разлилась. Может, плотину где-то успели построить...

Высоко наверху, зависнув в тумане, проявился, медленно приближаясь, пролет ажурного пешеходного моста, неизвестно откуда поднявшегося и куда спускавшегося. По нему шла девочка в зеленой куртке, с оранжевым школьным ранцем за плечами. Она остановилась у перил и, перегнувшись, стала смотреть вниз, на катер. Движение было беззвучным, медленным. Заглохло натужное старанье мотора. А девочка вот-вот должна была исчезнуть из поля зрения, проплыть над головой — и не вывернешь шею, чтобы смотреть на нее через окно вверх. На серозеленый, в водяных каплях, поручень откуда-то сверху шмякнулась белая нашлапка помета.

Зимин поспешил из салона, чтобы все-таки проводить девочку взглядом. Он надеялся выйти на корму, но неожиданно попал в закрытый темный отсек. Встревоженные глаза уставились на него. В тесноте, прижавшись друг к другу, сидели на полу, на вещевых узлах люди с детьми; среди них были даже двое чернокожих. Белки их глаз светились испугом. Зимин попятился, поскорей вернулся к себе в пустой салон. Холод уже в самом деле начал его дожимать...

Когда впереди проявился высокий берег, стало видно, что туман уже все-таки не прежний. Две постройки на берегу выглядели нежилыми: то ли склады, то ли сараи, и

ничего больше. Матрос, выбросивший сходни, был теперь другой, вида скорей заспанного, чем похмельного, с азиатскими скулами. Зимин помедлил и подержал руку в кармане, ожидая уточнения насчет платы — он не хотел проявлять инициативу, чтобы не возобновлять непонятных разговоров о праве своего приезда сюда. Матрос, похоже, растолковал его задержку по-своему.

— Вам порошок нужен? — сказал вполголоса он.

Какой еще порошок? — чуть было не спросил Зимин — но вовремя сообразил, что непричастности к здешним делам лучше не обнаруживать. Ему надо было спросить другое: где здесь кладбище, как на него пройти. Но уж такой вопрос тем более стоило придержать при себе.

— Нет, — сказал он коротко.

— У нас дешевле, чем тут, — заверил матрос. — И без подделки, не сомневайтесь. А может, электроникой интересуетесь? Есть импортный ширпотреб, в ассортименте...

Зимин отрицательно помотал головой. Никакого другого интереса к нему у матроса не оказалось, он лишь дожидался возможности снова поднять сходни.

Была бы тут хоть настоящая пристань, с какой-нибудь внятной надписью! Словно катер высадил его, где пришлось, на нежилом месте, как высаживают незаконных контрабандистов. Чтобы не обременять себя непонятной ответственностью. А сам теперь отчалил к настоящей пристани, где тебя, впрочем, вряд ли кто дожидался. Знать бы, что ждут!

Разъехавшиеся деревянные ступени вели наверх. Окна двух почернелых строений, которые издали показались складами, заколочены были досками. Сквозь одну крышу прорастала береза. Кучи мусорного происхождения выросли бурьяном, образуя до тоски знакомый пейзаж. Дорожка, утопанная когда-то от лестницы, перегорожена была длинной, судя по всему, новостроечной бетонной стеной. Влево тоже идти было некуда, оставалось двигаться направо, вдоль замусоренного обрыва.

Одышка, наконец, стала все-таки ощутимой. А может, бетонная сплошная ограда вызывала у Зимина чувство ограниченного, недостаточного для дыхания пространства — как бывало во времена, когда он спешил и безнадежно опаздывал на свидание по улицам и переулкам поселка, состоявшего сплошь из длинных глухих заборов; за ними слышались голоса, лай собак; доносился запах сладкого самоварного дыма, цветущих яблонь, но от тебя эта жизнь была закрыта; голый качающийся фонарь высвечивал лишь геометрическую перспективу, навязывая единственный путь. Стена и впрямь точно загораживала от воздуха — хотя с другой стороны простор оставался открыт. Водная гладь внизу, под откосом, все еще сливалась с туманом, ширина реки оставалась неопределенной. А на берегу он уже почти рассеялся. Лишь пух белых, необычайно крупных здесь одуванчиков плавал в воздухе, как выпавшие в сыворотку хлопья.

Пространство свалки постепенно расширялось, кучи пивных банок, опустошенных когда-то Шаровым, сменились обычным смешанным металлоломом. Из чугунной облупленной ванны торчала рука отмененного памятника. Дальше громоздились все более в высоту останки покореженной, обгорелой военной техники, целые ходовые части, куски танковых гусениц, навал заржавелых касок. Вот оно что, — примерял неопределенно Зимин. — Может, это и называлось когда-то номерным ящиком...

Металлический взвизг и скрежет — прямо по коже спины — заставил его передернуться. Торчавшая над грудой металла танковая башня с пушкой уставлена была жерлом прямо на него, словно только сейчас повернулась. Быть этого не могло, однако инстинкт заставил Зимина все же отодвинуться из-под прицела чуть в сторону. Из откинутого люка высунулась голова в каске, украшенной венком из увядших одуванчиков, потом поднялось по пояс голое тело.

— А, вон он где, — обнаружил Зими́на человек. Он что-то дорабатывал жующими движениями рта. — Ты чего тут ходишь? Тут дикарем нельзя.

— Я не дикарем, а по бумаге, — сам не ожидая от себя такой находчивости, ответил Зими́н. Нечаянное наитие подсказало ему, что вылезать за бумагой этот диковинный страж не станет. Тем более, что голым он был, кажется, не только по пояс. На животе поверх пятна зеленки наклеен у него был крест накрест пластырь. Чирием, должно быть, страдал. Надо было задать ему действительно нужный вопрос, но как? — А ты знаешь про Зими́на? — понесло вдруг дальше неожиданное вдохновение.

— Чего? — переспросил тот — и как бы против желания, преждевременно сглотнул недожеванный комок. К удивлению самого Зими́на, имя и впрямь произвело впечатление. — А я тут при чем? Это вам надо в контору.

— А далеко контора? — воспользовался, наконец, возможностью естественного продолжения Зими́н — но это, похоже, оказалось нечаянным промахом.

— Так вот же она, тут, — показал с некоторым недоумением голый страж. Показывал он рукой вправо, но голова при этом дернулась поперек, влево. Зими́н глянул и в ту сторону, и в другую — ничего не было видно, кроме продолжающейся бетонной стены.

— Да что ты с ним говоришь, комбинат со вчерашнего дня не работает, — крикнул откуда-то снизу, из металлических глубин, женский голос. Зими́н только тут заподозрил, что самого танка под башней как бы и нет, там навалена была высокой кучей свежескошенная трава. Так безногий инвалид прикрывает ветошью отсутствующую нижнюю часть. — Все закрывают на перестройку.

Женская рука поднялась из люка, загнутым средним пальцем зацепила стоявшего за пупок, чтобы, как крючком, опустить вниз.

— Да погоди, дура, — голый отлепил от живота руку, точно банный лист. — Я же не по службе. Надо поговорить. А он: Зими́на знаешь? Вы не археолог случайно?

— Причем тут археолог? — насторожился Зимин. В таких разговорах, когда хотят выяснить, кто перед тобой и как может поступить, правильное выждать, пока раскроется другой.

— Да вот, мне тут пара листков из журнала попалась, — оживился страж, почесывая живот выше пластыря. — Насчет археологии. И прямо про нас. Эй, Дусь, дай мне эту страничку, — крикнул он вниз. — Под автоматом прижатая... Я прежде по службе сам занимался такими же вот отвалами. В смысле переплавить танки на консервные банки... Вот, — получил он снизу листок. — Дусь, а где там очки? Дай очки, мне так не разобрать... Ну, я могу пока своими словами, — решил он не терять время. Там про археологию, как говорится, с обратным знаком. То есть, в экологическом смысле. Для этой, пишут, специальности главная находка — отбросы и любые мелкие черепки, правильно? По ним можно разобраться в любой цивилизации. И вот, пишут, гляньте, что оставляет после себя наша. Сколько произведено памятников материальной, как у нас любят выражаться, культуры. Ведь через сотню лет, не говоря через тысячу, специалист задохнется в этих навалах. Но скорей всего и разбираться не будет уже смысла. Нужна, пишут, такая цивилизация, чтобы памятников после себя не оставляла. То есть желательно без следов. Которые называет памятью разная интеллигенция. Нет. Живешь — живи, а после тебя чтоб было чисто. Вот что такое экологическая идея. Есть ведь, пишут, уже такая химическая посуда, которая от времени сама собой растворяется. И надо все на такие материалы перевести, чтобы следующие поколения не загружать. Хотя интеллигенция, может, на это не согласится. Им ведь важно оставаться в веках, а как же... Дусь, ну где все-таки очки?

— Ты долго еще будешь трепаться? — поторопил женский голос с ноткой капризности. — Думаешь, с интеллигента на поллитра обломится?

— Причем на поллитра! Я же не по службе, я по-человечески. Попался же человек... про Зимина даже знает. Он, может, и написал. Не все ведь с тобой общаться, плотская тварь, — огрызнулся голопуз добродушно и надел на обожженный загаром нос поданные, наконец, снизу очки. — Есть, они говорят, мысль, что паренье духа, свобода и торжество наступят, когда вещи будут уничтожаться вообще в день изготовления, да?... Где тут?.. Ну, падла, это же другой листок!.. Но тоже, между прочим, интересно. Про археологию. Вот.. «Скелет, обнаруженный при раскопках, находился в почве вертикально вниз головой, захватывая три исторические эпохи. Череп оказался в двенадцатом веке, в слое золы, оставшейся, как предполагают, от сожженного татарами селения; кости туловища были среди черепков шестнадцатого века, разбитых, скорей всего, во время одного из опричных погромов; конечности торчали среди полуобгоревших, полусгнивших досок, которые до революции считались иконами.» А? История!.. да погоди ты! — вскрикнул он, вынужденный все же согнуться: невидимая рука что-то с ним там, внизу, произвела. — Не дает, падла! Что с ними делать? — выпрямился кое-как он. — Э, отец, — поспешил он напоследок задержаться Зимина, — а хоть закурить у тебя найдется?

— Не курю, — ответил тот и огляделся опять, соображая, как бы все же расспросить подробнее про контору. «В отцы меня произвел», — уязвленно отметил он про себя.

А когда обернулся к голому сторожу снова, тот уже исчез в металлических дебрях, в бронированном чреве или под копной непросохшего сена, где оставалось предположить мягкую, нагретую телами ветошь, и выпивку с закуской, и надышанный теплый уют — обиталище, не зря ведь от века желающее называться крепостью. Женское довольное взвизгивание подтверждало местонахождение обоих.

Пройти понадобилось совсем немного. За уступом бетонной ограды, в углублении, открылась загороженная до сих пор от взгляда двухэтажная постройка из того же материала. Никакой объясняющей вывески у двери не было, если не считать черной стеклянной таблички: «Служебный вход». Ниже имелась еще одна, белая: «Пропуск предъявлять в развернутом виде». Но Зимин уже понимал, что обе они для него бесполезны: большой ржавый замок висел на двери.

Все-таки уперся, — вынужден был устало признать он. Дальше соваться было некуда, глухая стена впереди спускалась к самой воде. И ведь говорил же себе с самого начала. Теперь надо опять возвращаться под танковым дулом, неизбежно объясняться со сторожем в каске, кто же ты на самом деле такой, раз не оказался допущен, забрался, куда не положено, даже не знал, что для тебя входа здесь нет. А в другую сторону тоже пройти некуда. Будешь торчать один на пустом берегу, как потерпевший кораблекрушение, дожидаться, не подберет ли тебя кто случайно.

Прикинув к черному окну, Зимин попробовал всмотреться, нет ли кого внутри. Прикоснуться лбом к запыленному стеклу было неприятно. Разбить, что ли, его, забраться каким угодно способом внутрь, а там пройти через бетонный ящик насквозь, к лицевой, обитаемой стороне, где можно будет найти пристань? Контора была явно необитаема, замок, по ржавчине судя, не вчера повешен.

С досадой дернул Зимин за ручку двери — и едва удержал равновесие. Дверь оказалась не заперта, замок декоративно висел лишь на одной дужке, не зацепляя другой.

Затхлый полумрак служебного присутствия встретил его внутри. В небольшом входном холле стоял, как положено, столик для дежурного, однако за ним не сидел никто, не было даже стула. Гардероб за барьером также был

пуст, что соответствовало сезону. Лишь на одном крючке висел оставленный кем-то полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Перед входом на лестницу висел в деревянной рамке стенд с золочеными буквами: «Доска прика ов»; одна буква выпала. На пустой фанерке оставался единственный лист, верхний угол его был прикрыт приклепленной бумажкой: «Нашедшего ключи на брелке просьба вернуть в профком». Сам приказ, без первой страницы, начинался сразу с шестого пункта:

«6. Считать временно утратившими силу п.п. 4, 16, 25 Приказа о восстановлении внешних связей. При необходимости и в случае конфликтных ситуаций контакты регулируются по усмотрению ответственных лиц в зависимости от обстоятельств.

7. Правила временного допуска, предусмотренные п.п. 12, 15 отменяются до специального распоряжения. Заявки, поданные в письменном виде, рассматриваются по согласованию без ограничения срока.

8. Права спецконтингента подтверждаются в прежнем объеме, за исключением п.п. 13а, 13б, 68-1, 184, предусмотренных Инструкцией для служебного пользования.

9. Непрерывность информационного питания с оперативными уточнениями, предусмотренными программой «Память», временно обеспечивается комиссией того же названия...»

И без того подслеповатый шрифт выцвел от времени, разбирать его в полусумраке было бесполезно, понимания текст не прибавлял. Зимин искал взглядом что-нибудь более осмысленное. Пожелтевшая афиша, перекосясь на последней кнопке, висела рядом на стене, она приглашала на выставку инсталляций «Оживление мертвого».

Ни одна лампочка не освещала открывавшийся от холла коридор неопределенной длины; темнота, сгущавшаяся вдали, ничего, кроме тупика, там не обещала. Свет проникал лишь в единственное окно посередине лестничной площадки. Зимин, еще не решив направления, поставил

ногу на ступеньку — и будто нажал клавишу вздохнувшего инструмента.

Это был именно вздох, органнный звук. Он шел откуда-то сверху, но отдавался в гулком пространстве сразу со всех сторон, словно вздоху вторили стены, воздух; надорванный хрип, сипенье испорченных мехов все более проступали в этой музыке. И пока Зимин поднимался на второй этаж, она утасла, замерла.

От лестничной площадки там открывался такой же длинный, сумрачный коридор. Зимин пошел по красно-зеленой ковровой дорожке. Одинаковые простые двери были по обе стороны. На некоторых имелись таблички. «Бухгалтерия», — читал он по пути. «Бюро заказов». «Народный контроль». «Управление внешних связей». Поначалу Зимин для проверки, вежливо стучал в каждую, потом, не слыша ответа, дергал ручку, толкал. Затем он и стучаться не стал, толкался плечом наобум, чуть не с разгона, как баловник-школьник, ничего не опасаясь, ни на что не рассчитывая. Ни одна не отзывалась, все были заперты.

В конце коридора возникла еще одна лестничная площадка, отсюда можно было подняться выше, на третий этаж. Вот ведь как, значит, этажей здесь имелось больше, чем можно было увидеть снаружи, держась вплотную к стене, а потом так и оказавшись в упор перед невзрачной двухэтажкой. Для этого надо было отойти на достаточное расстояние, если б его там еще хватило. И то вряд ли открылось бы что-то снизу. Тут нужен взгляд с какой-то более высокой, обзорной перспективы, — подумал Зимин. Во всем так, — неясно добавил он про себя...

Над лестничным пролетом вверху встрепенулась, забила крыльями крупная птица — как и ты, попавшая сюда неизвестно откуда и не умевшая найти выход. В полумраке она трепыхалась бесплотной тенью, а когда успокоилась, стала неразличимой в нем.

Зимин огляделся опять. Подниматься выше вряд ли имело смысл. Коридоры от площадки расходились напра-

во и налево; света в обоих не было, но в дальнем конце одного виднелась еще площадка. Лучше туда, решил он. Все лучше, чем возвращаться назад. Позади неизвестности больше, чем впереди — и слышалась же ведь где-то музыка. Пусть наугад — дело обычное. Во всем так, — усмехнулся он снова. Попробуй охватить обобщенным пониманием, с несуществующей высоты всегдашние свои блуждания. Как искал в таком же лабиринте, бывало, проход вместе с сыном...

Почему он вдруг подумал о сыне? Где они так вот бродили? (Бесшумная тень появилась из дальней двери справа, бесшумным шагом удалилась, скрылась за поворотом)... Не мог вспомнить. А ведь искали как-то дорогу, действительно. Двери были похожие, справа и слева. Но мало ли ты таких навидался?.. Таблички попадались все менее понятные, без освещения с трудом удавалось их прочитать. «Операционный зал», — всматриваясь, разобрал Зимин. «Реабилитация». «Автономное обеспечение». «Кабинет имитации». Потом почему-то «Рентген». И совсем уж непонятное: «Блок загрузки»... Ковровой дорожки под ногами больше не было, тускло отблескивал гладкий линолеум. Толкаться подряд в каждую заведомо не имело смысла, но для проверки он иногда пробовал.

Холл в конце коридора был немного просторнее предыдущих, хотя такой же сумрачный. Предметы, валявшиеся на полу в разных местах, вызвали мысль о не до конца разобранный инсталляции. Большие счеты с неполным набором костяшек можно было увидеть здесь, старый железный утюг с открытой пастью, дамский сапожок на высоком каблуке. Из пустого телевизионного футляра, как из окошка, выглядывала голова пустоглазой куклы. На белых высоких постаментах остались еще таблички, обозначающие названия произведений. Зимин не удержался от попутного любопытства. «Лес и поле», — читал он. «Бодалка». «Воспоминание детства». Поискал взглядом, что бы здесь могло прежде стоять. Детский горшок подошел

бы, пожалуй. Березовый банный веник лежал рядом с венником из сорго. На небольшом зеленом коврик лежал лист бумаги с крупной надписью «Проект Звездное небо». Зимин поднял его.

«Ляг на эту лужайку, устрями свой взгляд ввысь», — призывал текст. Писатель поднял голову. Под потолком подвешен был большой темносиний лист со звездными блестками. «Никогда еще не открывалось тебе такой красоты, — продолжил Зимин чтение. — От темных небес веет покоем, долгое их созерцание напоминает о бесконечности. Отдайся этому чувству, проникнись им без сопротивления, вбирай в себя величие мерцающего безмолвия. Слова умолкают: лежи, проникайся»...

Зимин добросовестно примерился. Лечь он не мог. Нет, к этому он, пожалуй, был не готов, а может, попросту не способен. На стене оставалась единственная пустая рама. Картиной, возможно, следовало считать узор облупленной краски внутри нее. Объясняющий листок рядом и впрямь надеялся вдохновить зрителя, на сей раз даже стихами:

«Чем больше ты глядишь на облака,
Их переменчивые очертанья,
Тем больше возникает перед взглядом
Тобой же нарисованных картин».

Знать бы наверняка, — условно согласился Зимин. — А без таланта — куда же тут..

За дверь, выходящей в холл, послышался ему гул равномерно работающей техники. Уже по привычной инерции он дернул ручку. Запахом холодильника и лекарств дохнуло из открывшейся внезапно комнаты. Она была пуста, лишь больничная каталка стояла перед окном, голые ступни торчали из-под клеенки...

Он захлопнул поскорей дверь. Постоял немного, унимая сердцебиение. Что это был за экспонат?.. Заглядывать еще раз он не стал...

Лестница от площадки вела снова вверх и вниз. Слишком уже далеко забрался, — почувствовал Зимин. — Поворачивать назад незачем. Единственный способ вернуться — идти дальше, пока есть куда. А вверх больше не подниматься. Глядишь, откроется там еще и четвертый этаж — зачем, сколько можно? Силы надо рассчитывать. Пора спускаться.

Еще одна дверь выходила в холл, прямо против лестницы, крупней прежних, вида скорей парадного. Обломок стеклянной таблички держался на ней: «альный зал». Поколебавшись, Зимин все же решил напоследок проверить. Фигурная бронзовая рукоятка поддалась легко, дверь стала открываться без скрипа...

После коридорной тесноты и сумрака помещение показалось особенно большим. Свет лился из высоких матовых стекол на потолке. Запах сырой извести и краски говорил о совершавшемся здесь ремонте. Стену против входа украшала прежде монументальная, видимо, роспись, но она была соскоблена почти до штукатурки, а местами уже подмалевана. Угадывались лишь остаточные очертания крупных фигур...

Лишь в следующий момент взгляд Зимина воспринял под этими фигурами настоящих людей. Трое мужчин и женщина, сидевшие внизу за столом, показались несоразмерно уменьшенными, точно куклы у ног громадных актеров. Стол под красной скатертью уставлен был как бы игрушечной посудой. Все четверо смотрели на вошедшего, остановив возле рта кто вилку с подхваченным куском еды, кто зеленую травку лука.

— Виноват, — проговорил Зимин, запоздало опомнившись, но не соразмерив звучания своего голоса. Казалось, что в таком помещении его издалека могли не услышать, однако неожиданная акустика усилила голос чуть не до крика. Под грубо сколоченным помостом в углу стояли ведра в потеках краски, малярные кисти. Люди за столом имели вид здешних рабочих. — Извините, — повторил он сдержанней, — я просто хотел узнать...

— Смотри, приехал! — шумно поднялся сидевший во главе стола скуластый с черными усиками и толкнул в плечо соседа слева. — Говорила же Сана! А ты не верил.

Все остальные тоже с шумом поднялись, словно считая долгом приветствовать вошедшего. Крайний пошатнулся, вставая, ему пришлось для равновесия опереться о стол ладонью единственной руки — другой у него не было.

— Я хотел... извините... тут... насчет похорон, — попробовал все же пояснить Зимин.

— С похоронами — не сомневайтесь. Шито-крыто, и землей засыпано. Кому надо, те поспешили. Сейчас тоже, небось, выпивают, довольные. Думали, уже все. А вы — к нам. Мы уже и не надеялись. А? Сана, встречай, это же он. Видишь? Он!

Неужели в самом деле попал? — неопределенно, с какой-то усталой обреченностью подумал Зимин. Хотя имени его здесь не прозвучало, сомневаться не приходилось. Тут, значит, уже поминки. Они, пожалуй, не маляры, краской во всяком случае не запачканы. Женщина, пошедшая навстречу, была в длинном коричневом платье; того же цвета косынка на голове вызывала мысль то ли о монашеском одеянии, то ли о подобии униформы.

— Раздевайтесь, — сказала она с тихой улыбкой, потупя взгляд, и приняла от Зимина сначала сумку, затем куртку.

— Я, видимо, опоздал? — сказал тот вопросительно. — Но катер пришел только что... возможно, из-за тумана...

— Туман — это само собой, — махнул рукой черноусый, бывший тут, видно, за старшего. — Они и без тумана поспешили пораньше. Чтоб шито-крыто. Как будто, прямо же, чувствовали, что вы приедете.

— Интересно, — сказал Зимин. — Кто же меня тогда приглашал? И зачем?

— В каком смысле? — улыбка сменилась на лице черноусого выражением тревожной растерянности.

— Мне кто-то ведь телеграмму прислал.

— А! — понял тот. — Телеграмму — это она. — Он показал на женщину. — Нашелся один клиент, взял по пути от править, со станции. Уверенности, конечно, не было. Неизвестно ведь, кому доверяешь. Но Сана сказала, если до вас дойдет, вы все поймете, как надо, и решите правильно. Она молодец. А некоторые, — глянул он на однорукого, — сомневались.

Тоже верно, — мысленно согласился Зимин. — Как я понял, так понял. Приглашения ведь и не было, сам решил. Своим умом. Если умом. Решил поехать и поехал. Оставалось лишь вписываться в изгибы пути. Всего только.

— Никто меня даже не встретил, — не удержался все же он от упрека. Чтоб не считали себя совсем не виноватыми. — Мог бы вас не найти.

— Как бы вы не нашли! — расплылся в улыбке скуластый. — Это же вы! А у пристани вас бы перехватить могли, как пить дать!..

Однорукий пихнул его под локоть и показал взглядом на потолок. Поосторожней говори, — означал этот взгляд. Ого, здесь у них какие-то внутренние отношения, — понял Зимин. — Еще мне этого не хватало! За кого они меня принимают? Зачем ждали? Бесплезно вникать, и незачем. Похороны, стало быть, позади, чего еще? Остается лишь поддержать бессмысленную инерцию, чтобы тем же ходом вернуться к себе. С другой, так сказать, стороны...

— Вас зовут Сана? — посмотрел он на женщину. Цвет лица у нее был несвежий. Край губы припух от начинавшейся лихорадки.

— Ага! — отозвался за нее черноусый, явно радуясь, что Зимин больше не высказывает недовольства. — Это у нас имя такое, бабайское. Я сам бабай! — захохотал он, открывая стальные зубы — заметно уже на взводе. — Меня тут так и зовут: Бабай. Да вы садитесь... нет, сюда, пожалуйста, — он уже освобождал для приезжего свое место. — Во главе, так сказать, стола.

— Я лучше сяду здесь, напротив, — сказал Зимин.

— Ну, все равно во главе, — охотно согласился Бабай. — Сана, давай туда стул, тарелочку. И мы к вам поближе.

Все стали перемещаться к другому торцу. Зимин уже пожалел о своей неуступчивости. Стол был непомерно большой. Место оказалось на самом деле неудобное; какая-то, видно, тумба, до пола закрытая скатертью, не позволяла поместить под него ноги. Сама красная скатерть имела вид скорей служебный — таким сукном покрывали когда-то столы на торжественных заседаниях. Бабай пристроился от Зимина справа. Он был в приличном, хотя и ношенном пиджаке, клетчатой рубашке. Двое других имели вид совсем мятый, вызывая мысль о инвалидной или, скорей, похоронной команде. У однорукого, сидевшего рядом с Саной, слева от Зимина, пустой рукав засунут был в карман пиджака. Лицо второго было обожжено, часть губы выглядела пузырчатым куском мяса.

Бабай уже, не спрашивая, наливал Зимину в граненую стопочку неизвестный, цвета чая, напиток из графина. Угощение на столе выглядело смешанным: неожиданные маслины были здесь, орешки, но и вареная картошка остывала в большой миске, соленые огурцы лежали на тарелке, редиска, перышки лука.

— Извините, конечно, за угощение, — растолковал взгляд гостя Бабай. — Деликатесы не наши, это она принесла. И водочку не нашу, какую-то особенную. А я ему говорил, — показал он на однорукого, — что надо бы раков наловить. На случай, специально, вдруг вы приедете. Но он сказал: раков не надо.

— Причем тут я? — насторожился Зимин. — Почему для меня раки?

— Но вы про них вроде писали, — неуверенно пояснил Бабай.

— А вы что, читали меня?

— Нет, мы не читали. Ей командир наш рассказывал, — Бабай слегка утерял уверенность. Странно было, что он все время ссылается на эту тихую женщину. — Ты говори-

ла, правильно? У вас, в смысле, к ним какой-то особый вкус. Вы их как-то необыкновенно описываете.

— Нельзя варить живых, — с непонятной мрачностью посмотрел на Зимина однорукий, ожидая скорей возражения, чем поддержки.

— Да знаю я твои бзики, знаю, — отмахнулся Бабай. — Он, видите, жизнь не разрешает давать в обиду, — пояснил гостю. — И раков понимает, может, не как вы, в простом смысле. Не обращайтесь внимания. А у нас их знаете, как ловят? На лягушку приманивают, вы не пробовали? Ей только надо шкурку, то есть, кожу на спине разрезать и на голову завернуть. Чтобы закрывала глаза. А то раки в сетку к ней не полезут, они глаз боятся.

— Живые должны глаз бояться, — еще мрачней насупился однорукий.

— Да ладно тебе, я же сказал, никто ни на кого тут не покушается. Вот, травка тебе на столе, как ты любишь... Да что мы все не про то. Мы еще тост не выпили.

Зимин увидел, что все выжидательно уставились на него. Очевидно, ему, приезжему, не успевшему еще даже выяснить, что здесь все-таки произошло, полагалось произнести действительно важное слово. На него смотрели, как на особого, непростого человека, и, хочешь ты здесь что-то понять, не хочешь — для начала надо сравняться с их состоянием, с общей температурой. Привести себя, так сказать, в соответствие. Знать бы заранее, как подействует выпивка натошак, да после такой ночи. Однако уклониться от этих взглядов возможности не было.

Он встал со стопкой в руке. Все шумно поднялись вслед. Однорукий, опираясь на стол, при этом опрокинул свою рюмку — Бабай тотчас поднял ее и долил.

— Что я могу сказать? — неуверенно начал писатель, еще не представляя продолжения. — Человека больше нет с нами. Близкие, как я понимаю, люди горюют. Даже, может, потрясены. И при этом — вот, — показал он свободной рукой, — жуют, пьют, даже начинают смеяться. Не

нами заведено. Нам этого, может, по-настоящему теперь не понять. И нужно ли? Тем более такому, как я. Для которого человека, можно сказать, прежде не существовало. Я ведь потому и приехал, что его больше нет, — сказал он и почувствовал, что выразился неудачно. — Будь он жив, я бы, может, сюда не приехал, — немногим более удачно поправился он. — Значит ли это, что теперь будет не существовать тем более? Вот что нам предстоит осмыслить. Потому что теперь это существование зависит от нас. Не даром ведь, когда человек уходит, нам, оставшимся, говорят: он приказал долго жить.

Что-то я не то... не туда понесло, — с некоторым испугом оценил сам себя Зимин. Он приподнял рюмку повыше, поясняя, что слово произнесено. Молчание установилось на миг непонятное. Но всего только на миг.

— А? — восхищенно встряхнул головой Бабай. — Умеет же человек выразить!

— Что значит приказал? — все еще мрачно супясь, буд-то заранее настроясь сопротивляться, спросил однорукий. — Зачем? Можешь мне объяснить?

— Что значит зачем? — посмотрел на него Бабай.

— Зачем приказал жить? Для чего? В каком смысле?

— Приказы не обсуждаются! — прикрикнул Бабай. — Зачем, не зачем! Потому что другие за нас умирают. Чтобы, которые остаются, жить больше хотели. А зачем, нас не спрашивают.

— Ну, если чтоб не зря умирать, — с усилием согласовал что-то в своем уме однорукий. И, как бы приняв, наконец, тост, первым выпил, точнее сказать: опрокинул в рот жидкость. Бабай опрокинул тоже, крикнул, занюхал черной горбушкой. Лишь обожженный едва пригубил из своей рюмки. Зимин, поглядев на него, задержался, потом сделал осторожный глоток, для пробы. Но, ощутив на себе выжидательные взгляды, все-таки выпил до дна.

Уважительный вздох был откликом. Все шумно стали рассаживаться.

— Я, честно сказать, смотрю и не верю, что вижу настоящего писателя, — помотал головой Бабай, доливая Зимину из графина и чокаясь с еще стоявшей на столе стопкой. Хруст зеленого лука на стальных зубах был каким-то неживым. Зимин смотрел между тем на обожженного. Тот не произнес до сих пор ни слова, о выражении его лица, как и о самих чертах, было невозможно судить. Но простой огурец он разделявал на тарелке, деликатно действуя ножом и вилкой. — Мне один говорил, по-военному писатель — все равно что полковник, так ведь?

— Раньше были такие, что генералы им должны были козырять, — поправил его понимание однорукий.

— Раньше само собой! — не стал спорить черноусый. — Раньше порядок был во всем установленный, определенный, не то что теперь. Знали, в какую сторону идти, кто командует. То есть одни давали команду, а другие обеспечивали насчет идей. Чтоб смысл люди чувствовали: сюда надо, так правильно. Это теперь все в разброде...

Зимин пока еще прислушивался к действию выпитого. Надо было спросить, что это у них в графинчике. Напиток был крепкий и на удивление тонкий, от него во рту остался приятный вкус. Ни с каким пониманием он сравняться пока не помог, — оценил писатель. — Неспособность опьянеть — состояние отчасти внутреннее. Не можешь, значит, погрузиться. Или, наоборот, всплыть на поверхность. Считай, держисься. Эти инвалиды, похоже, и до выпивки были готовы...

— Ты только подумай, ведь в этом какая власть! — продолжал Бабай. — Когда человек может любого до винтика разобрать и все на место определить. Лучше, чем ты сам знаешь. Тебя, может, уже в природе нет, а у него, посмотришь — вот ты. Правильно я понимаю?..

Зимин смотрел на фреску перед собой, только теперь осознавая, что ради нее и захотел сесть напротив. Что-то в ней ему еще от входа почудилось. Хотя разглядывать оказалось на самом деле нечего. Старые фигуры почти до

призрачности были соскоблены, местами забелены свежей штукатуркой, местами заляпаны посторонними брызгами, новые очертания лишь намечены. Протертые полосы в разных местах выглядели скелетами белых деревьев, прораставших сквозь полупрозрачные тела, на самих телах проявлялись высветленные ребра. Случайные пятна бурой краски производили кое-где впечатление неприятно разлагающегося мяса. У мужчины с вывалившимся из живота внутренностями можно было различить отбойный молоток на плече. Рядом мальчик трубил в горн с вымпелом, к вымпелу прилипло членистое насекомое. Женщина склонилась над чем-то, уже не видимым, сама она до пояса была закрыта зарослями белесых подтеков. Еще одна, с отсутствующей головой, протягивала куда-то к центру маленького ребенка, но там, в этом центре, оставалось лишь выскобленное пятно.

— Тут вопрос в том, что считать жизнью и что нашим знанием, — постарался Зимин ответить уклончиво, но в тон. — То, что мы знаем, это, глядишь, оказывается не жизнь. А жизнь — как раз то, чего мы не знаем.

— Это конечно, — неожиданно согласился Бабай. — Бумаги от жизни отличаются, еще бы! Если б кто мог посмотреть все ихние отчеты и докладные...

Однорукий пихнул его в бок и снова остерегаяще показал пальцем наверх.

— Да я ничего такого, — осекся Бабай. — Я понимаю. Это не здесь и не сейчас... Выпьем, братцы, за родственную душу. Ведь родственная душа, слышите? Даже голос похож. Я, как у двери увидел, сразу узнал: он!

И поднял свою рюмку, чтобы чокнуться.

Нет, дальше, пожалуй, стоп. Лучше не втягиваться, — уже ощутил Зимин. — Чего они от меня хотят, чего ждут?

— Мы, видите ли, не родственники, — счел нужным поправить он. — Просто однофамильцы.

— Это не всегда можно сказать, — возразил Бабай. — А поглядишь: в самом деле, как братья.

— Мы тоже хоронили как-то одного, — оживился однорукый. — Помнишь? Потом на поминках вот так же смотрим: а он сидит. Как ни в чем не бывало. Оказалось: родной близнец приехал.

— Близнецы бывают не то что на лицо похожи — даже на жизнь. Я в одной газете читал. Привычки одинаковые, болезни. Даже умирают одинаково.

(Близнецы с разницей в поколение, — неопределенно подумал Зимин. Но вслух высказывать этого не стал).

— У вас фотографии нет? — спросил он.

— А как же! Как раз увеличить собирались, еще не успели. Вот. — Он достал из внутреннего нагрудного кармана конверт. — Для вас, само собой, сделаем копию.

В конверте оказался маленький негативный кадр пленки. Зимин вынул его двумя пальцами за ребра, посмотрел на просвет, пытаясь перевести навыворот крошечные белые надбровья, зрачки, волосы, черную кожу лба и щек.

— Да, — проговорил неопределенно. — Документ... А как вы его звали? — сумел сформулировать он необходимый все же вопрос. Выдавать, что ты не знаешь даже имени своего однофамильца, только инициал, было неловко.

— Мы? — переспросил Бабай. — Мы его звали: командир, я вроде сказал. Мы же однополчане. Кроме Саны, конечно. А ты, Сана, его как звала?

Женщина потупилась, покраснев. Мужчины довольно захохотали. Зимин тоже улыбнулся, со странным удовлетворением чувствуя, что без этой малой определенности на самом деле предпочитал обойтись; она могла бы лишь обособить, отдалить от него человека, с которым начинал ощущать неясную общность.

— Что все-таки с ним случилось? — проговорил он не то чтобы вопросительно, а как бы про себя — и лишь тут осознал, что получилось неосторожно, вслух. В словах прозвучало, видно, что-то непозволительное. Однорукий засопел угрожающе, Бабай почему-то переглянулся с ним.

— Вы тоже думаете, что случилось? — сказал Бабай. — Вам от себя, конечно, видней. Раз вы так выражаетесь. Только не слушайте, если кто вам уже наговорил. Медицинские шифры мы сами знаем. Несчастный случай под пятым номером, сердечная недостаточность, выполнение добровольного долга. Это у них заранее расписано. Думают, кому знать не положено, тот не узнает. Нас к гробу ведь не подпустили, посмотреть, попрощаться не дали. Разве он мог так просто, сам? Тем более, когда знал, что вы приедете? Они же именно испугались, это такая мафия...

Зимин неожиданно для себя поднял к потолку предостерегающий палец. Было чувство, что он вовремя ликвидировал опасность, которую сам чуть не вызвал автоматическим, неосторожным вопросом. Не хватало тебе еще вмешиваться в неизвестные здешние разборки, безумные отношения, — подумал про себя он. — Как будто для этого ехал. Любой вопрос может в их глазах только уронить, если не хуже. А жест пальцем в потолок явно прибавляет значительности. Смотрят на меня, словно кем-то считают, чуть ли не всезнающим, всемогущим, чего-то ждут, на что-то надеются. И чем меньше я стану выяснять, тем сильнее непонятная надежда будет подогреваться.

— Это да... это само собой, — покорно кивнул Бабай. — Не здесь, конечно, я понимаю. Техника-то теперь я знаю, какая. Вслух мысли не подумаешь, не то что слова не скажешь. Хотя сегодня, наверно, они отключились. Его теперь нет — чего им подключаться? Был бы он, нас бы даже сюда не допускали. А теперь — все. Разворачивают, вон, видите, перестройку. Про вас-то они не догадались. Думали, шито-крыто и землей засыпано.

— И написать будет некому, — мрачно сказал однорукий...

Тихий плач, похожий на стон, заставил всех оглянуться. Слезы на лице обожженного проступили словно не из глаз, а из пузырчатых уродливых пор. Подняв перед собой правую руку, он протяжно запричитал, обращаясь на не-

понятном языке к Зимину, однако, не закончив, поник головой.

— Ах ты, мать моя, как вы на него подействовали! — Бабай с шумом отодвинул стул и поспешил к плачущему. — Нервы интеллигентские! Он ведь не пил совсем, вы же видели. Да и мы не особенно, нам тоже пока нельзя. Тем более еще на службу. Сегодня такой день. Ведь правда? — почему-то спросил он подтверждения у Зимина. — Ну, пошли пока, старшина, успокойся. Пошли, хватит... Коля, помоги с другой стороны.

Обожженный плакал уже беззвучно, сникнув совсем на руках товарищей.

— Он думает, вы за брата не будете мстить, — обернулся к Зимину однорукий. — Да перестань ты! Писатель приехал, значит, говорит, разберемся. Ведь правда? Скажите ему?

Бабай тоже оглянулся на Зимина, ожидая ответа.

— Разберемся, — вынужденно кивнул тот. Припадочный сверх ожиданий замолк.

— Вот, видите? — радостно осклабился Бабай. — Вы нас пока извините. Я за вами потом приду, отведу на место, расскажу всю обстановку, как понимаю. Они думают, нас можно просто использовать, без объяснений... Сана, ключи у тебя? Позаботься, ты одна тут знаешь... Да, — спохватился он, оставляя напарнику обмякшего однополчанина, — чтоб не забыть. У нас в знак похорон полагается сувенир. Я на всякий случай для вас... если, думал, приедете. Вот... как почетному, считайте, однополчанину...

Он извлек из глубин брючного кармана что-то вроде спичечного коробка, завернутого в газетную бумажку. Земли, должно быть, с могилы насыпал, — подумал Зимин. Он постоял, опустив голову, не глядя больше на удаляющихся к двери инвалидов. Можно ли было понять, что же значит эта чувство не вполне ясной, но словно все сгущающейся угрозы, и что делать теперь?..

— Да, — вспомнил он. — Когда отсюда катер?

— Катер? — непонимающе вскинула брови Сана. — Вы спрашиваете, сегодня? Вы разве не будете смотреть его работу?

— А... конечно, — вынужден был признать тот. Не ожидал, насколько она в курсе дела. Посмотреть было действительно надо. Ведь не более того. Да, и про книгу еще, конечно, спросить. Для чего ехал? — Это конечно, — подтвердил он.

Женщина, стоя у стены, сунула ключ прямо куда-то в деревянную панель — в ней оказалась прорезана незаметная на поверхностный взгляд дверь без ручки. Она открылась внутри от простого нажатия.

5

Дохнуло неожиданным воздухом затхлого прокуренного жилья. После просторного зала комната, в которую они попали, казалась почти каморкой, правда, с несоразмерной высоты потолком. Задрав голову, можно было разглядеть под ним тень густой паутины; запахи загустели внизу. У стены справа стоял продавленный диван, застеленный клетчатым пледом, над ним книжная полка. В углу под окном кучей свалены были картонные коробки, разрозненные книги, подушка без наволочки, табуретка без ножки. Неожиданным среди этого хлама выглядел компьютер, разные части которого занимали весь письменный стол. Да еще внушительных размеров коричневый сейф у самого входа. Вместительный, — оценил с невольным интересом Зимин. Пока он оглядывался, женщина уже открыла для проветривания окно и стала быстренько прибирать со стола на поднос пепельницу, еще полную окурков, накопившиеся чашки с блюдцами, кофейник.

— Он что, здесь жил или работал? — спросил Зимин, подходя к книжной полке.

— Работал, конечно, — ответила она, отчего-то вспыхнув. И спешно поставила поднос на стол, как будто для ответа ей нужны были свободные руки. — То есть жил тоже, — поправилась тут же она...

«Приближения» на полке не оказалось. Стояли какие-то специальные издания, справочники, книги с иностранными названиями. Снял с полки одну: на красочной обложке изображен был механический человек с широкоствольным орудием убийства в руках. Интеллектуал, — подтвердил для себя писатель. Сана смотрела на него, ожидая дальнейшего вопроса, но, как будто смутившись, что выразилась непонятно, сочла нужным пояснить:

— Он говорил, что здесь только и живет. Когда работает. Я до сих пор даже прибраться здесь не решалась...

Зимин вернул книгу на полку. Это мы сами знаем, подумал он. Когда жизнь годами вытесняется, подменяется работой. А потом и от работы остается то же, что от тебя... Спросить у женщины про свою книгу он все еще медлил. Невозможно было пояснить, что ты сам ее никогда не видел, у тебя даже нет экземпляра, ты ехал сюда, чтобы удостовериться в ее существовании. Любопытство без повода выглядело бы тщеславием, тем более в таких обстоятельствах... За сейфом в угол была задвинута инвалидная коляска, от двери не замеченная. Вот оно как... еще и это. Еще и коляске надо определить место в умственных догадках.

— Коляска его? — спросил он для надежности.

— Да, — с готовностью кивнула Сана. — Он говорил: скоро от меня останутся только мозги, — добавила она, помолчав. — Мозги, пальцы и эта вот коляска.

Оставалась лишь уточнить, безногий он был или просто парализованный. Но стоило ли? Без фотографии же обошлось. Правильнее без этого. Часть тела перестала существовать раньше всего остального. Неизвестно, какие подробности проявятся, если вздумаешь их вытаскивать, станут цепляться одна за другую, заполнять пустоту ниче-

го уже не значащими очертаниями, разрастаться, расплываться, потребуют выяснять что-то дальше — лишь добавляя при этом непонимания, недоумения, ведь заранее знаешь. Да еще зацепит какая-нибудь тебя в самом деле — и с головой затаянет. Понесет невесть куда, закрутит, закувыркает, и не за что станет держаться, будешь барахтаться безвольно, беспомощно, с разинутым ртом. Нет, поддаваться нельзя, с каким бы ожиданием на тебя ни смотрела эта неясная женщина. Вон сколько там этих материалов в сейфе...

— Вы наших разговоров не слушайте, — Сана словно вдруг догадалась о чем-то. — Мы тут мало что понимаем, каждый по-своему, а знать-то ничего сами не можем. Нам здесь и не положено. Теперь вы сами приехали, во всем разберетесь... Знали б вы только, какое счастье вас видеть... Я даже не думала...

И, сделав вдруг порывистый шаг, опустилась к руке Зимина, взяла ее, поцеловала.

— Да что вы! — опешил тот и отдернул руку. — Что вы, в самом деле? Встаньте.

— Извините, — забормотала она, суетливо нащупывая позади себя поднос. — Это я так... вы не думайте. Такая на вас надежда. Я сейчас все унесу. Вы включите сами?

— Что? — не понял Зимин.

— Это, — показала она на компьютер. — Я включать тоже умею, он немного меня учил. Можно?

Снова поставила поднос на стол, тронула выключатель. Замигали огоньки зеленые, красные, в пробуждающемся теле пискнуло, заурчало. Сана улыбалась с гордостью человека, сумевшего оказаться полезной — и кому!

— Работайте, — окончательно заторопилась она. — Тут, за дверью, если понадобится, умывальник... ну, и все, что вам надо... За этой, — уточнила она, увидев, что Зимин смотрит на другую дверь. — Там разное оборудование... студия, как он это называл. Но у меня от нее ключа нет. Вам ведь не нужно?

Зимин отрицательно покачал головой.

— А в случае чего — вот у двери звонок. У меня до смены еще есть время. Пепельница вот. Кофе я принесу. Он кофе потреблял жутко много. Кофе и сигареты. Вы с сахаром любите или без?

Прижимая одной рукой поднос ребром к животу, она другой уже неловко открыла позади себя дверь — но все еще медляла, еще надеялась на вопрос, на возможное продолжение. Вот к чему Зимин сейчас меньше всего был готов.

— Все равно, — ответил он.

Дверь захлопнулась на пружине.

Да... Этого он действительно не ожидал. Каких-то бумаг из металлического объемистого ящика, оставшихся рукописей. (Про свое «Приближение» он так и постеснялся спросить). Но компьютер! Лишь теперь, с задержкой, дошла до Зимина нелепость его положения. Невозможно же было сказать восхищенной девочке, что он обращаться с этой техникой не умел. Не то что для секретарш в учреждении — для детей в школе она уже стала привычной, немолодые коллеги, он знал, один за другим обзаводились приспособлениями, облегчающими работу; он предпочитал говорить сам себе о приверженности консервативным привычкам, о нежелании терять задумчивую, интимную связь с пером, движущимся по бумаге. Ну, и тому подобное. Не хотелось до конца договаривать, что игрушка была ему просто не по карману. Да теперь, видимо, и ни к чему...

И тут же словно что-то соединилось в мозгу — высветилось воспоминание, которое он пытался и не мог зацепить, блуждая время назад по коридорному лабиринту. Нет, это ему не привиделось. По таким коридорам учил его продвигаться вместе с собой сын, показывая компьютерную игру.

После развода они виделись с Павликом все реже. Бывшая жена не поощряла встреч, методично Зимина отдаляя

от сына. В тот раз вид нескладно разросшегося, крупного мальчика с волосками, уже проступавшими на подбородке вызвал у него щемящее, похожее на испуг чувство: к такой быстрой, трогательной перемене он не был готов. И до чего же глупо выглядел принесенный им в подарок электрический конструктор — неисполненная мечта собственного детства! Павлик вежливо держал коробку двумя руками, не проявляя желаний ее раскрыть, односложно, наклоня к плечу голову, отвечал на вопросы — пока Алин многозначительным взглядом не поощрила его отвести отца в свою комнату, показать другую, настоящую игру. Мальчик принялся вначале без охоты, но добросовестно объяснять ему, какие для чего нажимать клавиши, как двигать по столешнице штуковину, называемую «мышкой», какие и где искать подсказки, чтобы перебираться с ловким, хитроумным, жизнеподобным героем от задачи к задаче, от приключения к приключению, из диковинной страны в еще более диковинную, через коридоры, туннели, зеркала, встречи и борьбу с непредсказуемыми, переменчивыми существами, а там уже и с техническими устройствами, где начинались задачки все многосложней, все изощренней. Зимин восхищался небрежной легкостью, с какой это проделывал Павлик, чувствуя в то же время, что тот отчасти томится необходимостью демонстрировать неумелому взрослому такие элементарные, для него уже скучноватые вещи; через слишком очевидные эпизоды он перескакивал без объяснений. Против ожидания Зимин в какой-то момент даже увлекся азартом поиска, пусть не совсем понятного, он рад был изображать преувеличенный интерес, лишь бы подыграть сыну — как давал ему, бывало, продемонстрировать свою силу, когда они боролись и тот мог уложить отца на лопатки, или когда вез на санках его, тяжелого взрослого человека; маленькое тельце его напрягалось, мягкие волосики взмокали под шапкой, ты незаметно помогал ему движением ног, а потом валился с ним вместе в свежий пуховый снег, не-

жность и счастье были вашими общими... Вот и теперь больше всего хотелось потрогать отросшие на загровке трогательные косички, незаметно, чтобы не помешать. Игра постепенно становилась совсем непонятной, правила ее, похоже, видоизменялись, как изменялся сам герой; невозможно было понять смысл его непоследовательных действий, а то и приступы внезапной жестокости. Оскаленное лицо иногда становилось звероподобным — и он ли был элегантным красавцем, который сидел с белокурой девушкой за роскошным столом среди цветущего сада?.. Павлик объяснять уже перестал и без объяснения же вдруг оборвал игру. Так захлопывает подросток книгу, не желая, чтобы родители заглянули в картинку, которую ему рассматривать не позволяли... Что же там было дальше?..

Он помнил, как ощутил вдруг что-то вроде взрослой беспомощности перед этим мальчиком. Они прощались в прихожей, и вид у него, наверно, был не просто растерянный — потерянный. Алин смотрела на него снисходительно, медленное движение языка по зубам отзывалось на ее накрашенных губах переменчивой усмешкой. Лицо было нарисовано заново, даже глаза не вызывали никаких воспоминаний, только умственные. Она могла утверждать, что когда-то в угоду его вкусам отказалась от привычной прежде косметики — сам он этого вовсе не требовал, но ему просто казалось, что по-настоящему она хорошеет от его взгляда, краска ее лишь закрывала. Она отказалась даже от имени на французский лад, которое до замужества нравилось ей больше любых производных от паспортной Александры, согласилась на русскую Алину. Несовременность его вкусов она приняла за своеобразие, сопутствующее таланту, и по-женски, искренне сумела на время приноровиться даже к удручающей старомодности. Вряд ли стоило теперь говорить об ошибке, притворстве или самообмане — все вместе, может, и входило в состав, называемый любовью. Ужасней всего была теперь невозможность восстановить даже в памяти, во внутреннем чувстве

то, что ушло из жизни вместе с уходом жены. Подорвана была уверенность в себе, в подлинности прежнего самоощущения, в том, что делало эту жизнь жизнью... Толстое плечо мальчика тихонько и неумолимо высвобождалось из-под ласковой, безвозвратно почужевшей, посторонней отцовской руки. Со скучающим, вежливым нетерпением дожидался он возможности вернуться опять в свою комнату, затененную шторами, в другой, настоящий мир, подключиться к его загадкам, правилам, представлениям и соблазнам, и не тебе было его удержать, ты уже вот сейчас отделялся, переставал существовать для него...

Зимин встряхнул головой. На невостребованном экране светился переливчатый пестрый узор: декоративная заставка без объясняющих надписей. Подошел поближе, наклонился, вглядываясь. (Стула, чтобы сесть, возле стола не имелось). Узор составлен был на самом деле из мелких фигур, значков, букв. Что-то ему это напомнило... Зимин тут же удивился, что не сразу вспомнил: клеенку, описанную в «Приближении». Та виделась ему, конечно, совсем иной, более красочной, и фигурки представлялись живописней, фантастичней — как фантастичней, впрочем, любое словесное описание по сравнению с такими вот примитивными человечками, животными. Прозрачные улитки с клювиками медленно ползли или, скорей, плыли, как инфузории, по экрану в разные стороны... и раки!.. вот же отделился от общей неразборчивой массы рак, которого можно было бы назвать довольно реалистичным, если считать реалистичным красный цвет, не мешавший даже варенному двигать клешнями. Серый, понятно, выглядел бы не так живописно. Математические формулы попадались ему на пути, слова и целые фразы на неизвестно каком языке. Почему-то и здесь непонятном. Губошлеп у Зимина не зря ощущал то и дело свою безъязыкость — то немного, что он когда-то учил, рассосалось, выветрилось, невостребованное в жизни. Когда так отгорожен от мира, довольствуешься одним, своим язы-

ком. Он, что ли, хотел проиллюстрировать меня? — подумал Зимин. — Если это имело отношение ко мне. И, может, ничего больше. Что было делать с этой картинкой?

Смутно припоминая, как это показывал сын, он нажал большую, изогнутую прямым углом клавишу — продолжения не последовало. Понажимал клавиши со стрелками вверх, вниз, в стороны — результат был тот же. Пробовать наугад все прочие он все-таки остерегся — можно было не просто испортить неизвестно что, но выставить совсем уж напоказ свое дикарское неумение. Честней было сразу признаться.

Что ж, все разрешалось даже смехотворней, чем можно было вообразить. Как чаще всего и бывает, когда ждешь, сам не зная чего, настраиваешься, пребираешь неизвестно какие мысленные возможности. Осуществляется же совсем не то. И приходится считать реальностью именно то, что осуществилось — другая тебе недоступна. Как и то, что затаилось внутри этих ящиков. Почему даже мысли о компьютере не возникло? Письмо было написано от руки... да, помнится, от руки. (Перестаешь уже доверять собственной памяти). А мог бы, наверное, напечатать, среди этой техники на столе должно иметься соответствующее приспособление... Ладно, может, и к лучшему, — подумал Зимин. Сейчас эта женщина принесет кофе, надо приготовиться к конфузу. Все равно уезжать. Или проще бы улизнуть без разговоров? О «Приближении» она, скорей всего, ничего не сможет сказать, да и тем более стыдно теперь будет об этом спрашивать. Знать бы наверняка выход, дорогу к настоящей пристани...

Он разогнулся, потирая поясницу, она была утомлена неудобной позой. Нужда заставила вспомнить о существовании туалета. По обе стороны от унитаза здесь было пристроено что-то вроде кустарной конструкции с поручнями. Действительно, для безногого, — примерившись, подтвердил догадку Зимин. Чтобы пересаживаться с коляски, отжимаясь на руках. Вафельное полотенце воз-

ле умывальника снабжено было черным казенным штампом «Комбинат». Вместительное слово, — оценил писатель. Подсоединяй к нему, что подвернется — очертания не станут отчетливей. На туалетной полочке нашлось лишь тусклое карманное зеркальце — другого не было. Зимин увидел в нем край щеки, заросшей густой суточной щетиной. Щетина была седой. Не зря этот сторож назвал меня папашей, — усмехнулся он. — Надо будет побриться, пока есть время.

Он вернулся в комнату, попробовал еще одну, запертую дверь. Подошел к окну, по пути отодвинув ногой кучу пустых коробок. Высокая безглазая стена напротив загроживала свет. Перегнувшись, выглянул вниз. В глухом внутреннем дворике громоздились кучей свежеструганные, нарезанные неровными трапециями доски; нетрудно было составить из них в уме готовое изделие. Не так уж отсюда высоко, — примерил зачем-то Зимин. Не разобьешься...

Кофе все еще не приносили. Никак не закипает, должно быть. Стоило все-таки посидеть хоть для вида перед компьютером, изобразить к моменту ее прихода завершенную как будто работу. Как будто первоначальная заставка просто вернулась на место. А там, глядишь, удастся найти уклончивые слова. Лучше всего бы помалкивать глубокомысленно, как удавалось иногда до сих пор, выслушивать, что она станет говорить, кивать понимающе или с сомнением пожимать плечами. Можно вывернуться. Лишь бы уйти отсюда по возможности пристойно, не разочаровав совсем уж до неприличия ожиданий, которые тебе все равно неизвестны, вот ведь в чем дело. Стыд, что говорить. Ну, да ладно. Если бы еще хоть как-то сдвинуть, заменить картинку — чем-нибудь, для видимости. Этой Сане тоже не обязательно разбираться.

Ни одного стула в комнате не было, женщина не догадалась принести из соседнего зала. Не пришло в голову. До сих пор, надо понимать, хватало каталки. Зимин подо-

двинул ее к столу, закрепил на колесе тормоз, пристроился, привыкая к чужеродному ощущению. Старое байковое одеяльце, сложенное на сиденье, еще хранило вмятину от чужого тела и прохладу его пота. Поколебавшись, Зимин решил его не убирать. Какой-то неудобный выступ мешал под коленями, но сидеть было можно.

Красный маленький рак продолжал странствовать по экрану. Приглядевшись, Зимин обнаружил, что изображения и знаки, через которые он прокладывал свой путь, исчезали, а позади него появлялись уже другие. Они словно выдавливались из тела первоначально вместе с желтоватыми пятнами, потом освобождались от них. Икру это, наверно, изображает, — всмотрелся еще поближе писатель. И чуть не вздрогнул от неожиданности, увидев, как из пятна выпросталось слово: ZIMIN.

Что это значит? Что с этим можно делать? — поискал он взглядом подсказку. Сын что-то похожее ведь показывал. Где у них эта «мышка»?.. ну вот ведь, засунута оказалась за ящик. Попалась бы на глаза сразу...

Он взял ее в руку, двинул по столешнице. На экране, и верно, заерзала стрелочка. Надо же, и не догадался прежде, не вспомнил. Ткнул стрелочкой в свою фамилию, нажал левую клавишу...

В первый момент ему показалось, что компьютер выключился. Экран погас — но тут же на нем стали быстро сменяться таблички разного вида — Зимин не успевал ни одну прочесть. Дальнейшее оказалось совсем неожиданным.

Раздалась негромкая приятная музыка. На экране установилась рисованная цветная картинка. Запущенного вида жилье изображено было на ней. Диван под клетчатым покрывалом и книжную полку над ним можно было считать срисованными тут же, с натуры. На этом сходство, однако, кончалось. Карикатурный, обросший щетиной хмырь сидел на табуретке в совершенно пустом углу. Музыка смолкла — и он вдруг ожил, задвигался. Взял та-

буретку, пододвинул под крюк, оставшийся на потолке, надо понимать, от снятой лампы, схематическими движениями рисованного персонажа в два приема наладил веревку, сунул голову в петлю — и замер. Вся картинка вместе с ним омертвела.

И что это должно было означать? — вскинул брови Зимин. Разновидность компьютерной игры? Намек неизвестно на что? Причем тут, однако, ZIMIN? И который из нас? Эта фамилия присутствовала теперь над рисунком в верхней части экрана, посередине, словно заглавие сюжета. Что предложено было сделать с этим хмырем?

По смутному воспоминанию или догадке он снова попробовал нажать изогнутую углом клавишу. Продолжение на сей раз в самом деле последовало: поверх картинки возникла небольшая зеленая рамочка с вопросительной, судя по знаку, фразой — прочесть ее Зимин опять не сумел. Не знал он этого языка. Предложенные пониже для выбора варианты: Yes и No — были, конечно, английскими, но других слов, увы, он не узнавал. Впрочем, ему это было все равно. Yes было заранее подчеркнуто мерцающим штришком, и он нажал уже освоенную клавишу подтверждения.

Картинка сменилась белым полем, текст на нем был теперь, к счастью, понятен:

«Господи, сколько проблем»...

Уже второй раз Зимин поневоле вздрогнул от неожиданности — еще до того, как отчетливо понял, почему ему знакомы слова. Это был отрывок из его «Приближения», откуда-то из второй главы:

«Господи, сколько проблем это решило бы сразу! Не пришлось бы в пятницу идти к зубному врачу, удалять очередной зуб, залечивать оставшиеся, дергаться в кресле... Бр-р! Не пришлось бы идти в суд, решать вопрос о разделе имущества. Пусть она берет себе все, пусть потом мучается мыслью, что это она довела. Тем более, не так ей много останется. Не придется думать, как отдать триста

рублей приятелю, избегать с ним встречи, бояться подойти на телефонный звонок. А так и стыда не будет, никаких чувств, вот что важнее всего. Доводов «за» настолько больше, они так естественны и всем известны, что можно скорей удивляться, зачем люди тянут бессмысленную лямку дальше, терпят унижения, мучаются? По привычке, это конечно. Из страха перед неизвестно чем. Как будто надеются дотерпеть до какого-то смысла, который в конце концов все равно окажется издевательским. Нет, мысль лучше укоротить. Она дальше всего уводит от дела».

Вот он, оказывается, куда запустил мой текст, — уяснил не без разочарования, хотя и усмехнувшись, писатель. На что, значит, употребил. Приспособил к нехитрой картинке в духе черного, как говорят, юмора. И с какой все-таки мыслью? Если он хотел сделать этого хмыря похожим на моего персонажа — нет. Нарисовано так себе. Двигается разве что. Но зачем, спрашивается? И что с этим делать дальше?

Надавил знакомую клавишу еще раз. Возникла опять зеленая рамочка с непонятым вопросом. Во что тут предлагалось вникать? Нажал Yes.

Прежняя картинка восстановилась. Хмырь, однако, теперь снял с шеи петлю, задом слез с табурета, быстро переместился в другой угол комнаты. Там стояла целая батарея небрежно изображенных бутылок, Зимин не обратил на них до сих пор внимания. Взял одну — в ней можно было отчетливо различить красный остаток — и уставился с экрана на Зимины, искривив рот в страдальческом ожидании.

Ну, знаете! — дошло, наконец, до писателя. Присобачивать к моему тексту известный, давно заезженный анекдот! Про алкаша, который, уже наладив веревку, вдруг вспомнил про недопитую бутылку: не оставлять же другим? Вопрос в рамочке не требовал перевода. Можно, конечно, считать и это юмором, но попахивал он в этой комна-

те скверно. Не говоря о исполнении. Как и о том, что присвоен был без разрешения неуместный здесь текст.. имя, в конце концов. No! — перевел он черточку.

Хмырь что-то возмущенно заверещал электронным голосом, крутя у виска пальцем. «А право на последнее желание?» — понять это верещание было не сложнее, чем надпись, похожую на абракадабру. Как будто мы не знаем, что там дальше. Запоют птички за окном или в голове, жизнь еще может наладиться, да? И такие вот электронные премудрости ради анекдотической ерунды? No. No.

Хмырь понуро вернулся на табурет, надел на шею петлю, выжидательно замер. Зимин смотрел на экран не то что с разочарованием — с какой-то даже обидой. Словно лично ему была адресована усмешка — неизвестно чья, неизвестно за что. На какие еще куски разобрано здесь мое «Приближение»? Куда они рассованы? И где их искать? Собрать по клочкам? А главное, для чего? — подумал он...

Так вот же еще книжная полка! — вдруг удивился писатель своей недогадливости. Что это ты, в самом деле? — сказал он себе. — Не сообразил ткнуться туда сразу! Книгу следовало искать именно там. Неизвестно, правда, в каком виде. Компьютерный, надо понимать, метод: расщеплять мысль на составляющие, переиначивать, сцеплять неизвестно что неизвестно с чем. Названия на корешках отсюда не прочитывались, надо было их увеличить. Ну-ка, попробуем ткнуть сюда стрелочкой...

Хмырь повторил уход с табуретки, только на сей раз прихватил ее с собой — полка была нарисована высоко. Залез, обернул к Зимину вопрошающее лицо. «Чем больше начнешь размышлять, тем дальше уйдешь от дела, я же предупреждал,» — напомнила чужезычная надпись. Ладно, ладно, — отмахнулся Зимин. Yes, — нажал он продолжение.

Корешки разноцветных книг укрупнились во всю высоту экрана, в длину же вся полка на нем не поместилась.

Читать вертикально расположенные названия было очень удобно, к тому же многие и здесь оказались иностранными. Зимин их стал пропускать, выделяя для себя русские. Книги были совсем не те, что оставались в настоящей комнате. «Геометрия музыкального поля», — читал он. «Формула дерева». «Перемена сознания и мира». «Эстетика и этика зла». «Самоуничтожение века»... Ничего себе! — покачивал он головой, читая. — Нашел же такие! А, может, сочинял на подобные темы, книги, не книги — у них они могут называться программами или играми. С использованием рисунков, текстов, геометрии, формул, чего угодно. Где тут все же поискать «Приближение»? Надо продвинуться дальше, вправо. Как это делал Павлик?

Потыкал опять клавишу со стрелкой вправо. После нескольких нажатий изображение сдвинулось. «Философия целого», — читал Зимин дальше. Эх как многообещающе, — насторожился он. «Энергетическое измерение». «Трусость литературы»... О, это уже что-то по моей части, — усмехнулся писатель. «Жизнь мимо жизни»...

Электронный писк заверил, что дальше книг не было. И что теперь делать с этими? — примерил писатель. Ткнуть той же стрелочкой в любую, глядишь, откроется? Вопрос, в какую? «Жизнь мимо жизни»... Сомнительное заглавие. По правде сказать, без любой бы он предпочел обойтись. Зря отказал этому хмырю в более приятном выборе. Вернуться бы к нему, посмаковали бы вместе картинки попроще. Поувлекательней. Но Зимин не знал, как вернуться. Забыл сыновний урок. Ничего. К приходу женщины он, право же, мог считать себя готовым. Разве что полюбопытствовать, куда осталось время, насчет энергетика. Это дурацкое слово столько раз возникало в письме. Попробуем через нее, — решил он.

Подвел стрелочку к книге, нажал клавишу. Энергетика благодетель, - возникло оглавление во весь экран.

Энергетика веры

Энергетика власти

Энергетика дела
Энергетика души
Энергетика животная
Энергетика гиперморали
Энергетика космическая
Энергетика личная
Энергетика любви
Энергетика масс
Энергетика потрясений
Энергетика художественная
Энергетические затраты
Энергетические источники
Энергетический проект.

Да... Ожидавшихся находок это явно не обещало. Построения в духе любительского философствования. Какая-то гипермораль. Какие-то благодеяния. Вспомнить бы, как все-таки вернуться назад, теперь уже хоть отсюда, попробовать другую книгу. Да ведь и это бы не прибавило смысла. Хорошо, сунемся в душу, не все ли равно?

Появившееся изображение представляло теперь цветную фотографию. Театральный зал был на ней, зрители смотрели на сцену. Актеры в современных костюмах стояли там вокруг тела, лежащего на возвышении, пятками к залу. Это еще было к чему? Зимин не успел сообразить, что теперь нажимать, когда картинка сама по себе сменилась текстом.

«Плотно ли закрываются двери в зале? Если напустить сюда газ, он вытекать не будет. Двери на вид достаточно прочные, их можно укрепить дополнительными засовами. Газа понадобится много: объем-то какой! Раз в двадцать больше любой камеры. То есть около сорока емкостей, не меньше. Если я еще сохранил способность считать в уме. Зато сразу такая производительность. Здесь человек двести. Всего за четверть часа. Если, конечно, все щели плотно закрыты. Одних волос наберется мешков восемь. Соответственно и одежды. А золотых зубов! Не говоря о

драгоценностях. Еще бы, мы всегда старались с собой взять побольше. Чтоб еще пожить. Пожить. Доходит не сразу. До этих тоже не сразу дойдет. Но что они там на сцене делают? Почему так разволновались? Пока что волноваться нечего. Там кто-то умер, это я понимаю. Сам по себе. Один человек. А столько суматохи, разговоров и — смотри-ка ты! — слез! Честное слово, внутри все начинает смеяться. Если это так можно назвать. Несут зачем-то еще цветы, ленты. Даже оркестр привели играть. Да что они, в самом деле? Это же невозможно вынести: столько суматохи и слез вокруг одного-единственного тела».

Чей это бред? — передернуло Зимина непонятым ознобом. И на какой вопрос опять требуется отвечать... если тут вообще есть вопрос? Если считать вопросом эту абракадабру в рамочке. Вылезать, вылезать надо отсюда... во что опять тыкаться? Во что угодно...

«Энергетика души отличается от природной, — возник новый текст, — но требует особого питания. Душевный запас сверх обычной нормы так же редко дается от природы, как умственная гениальность, и истощается вынужденным растратным усилием (голод, страх, забота, переутомление, позор, беда). Потрясение может порождать плюсовую энергию, когда оно качественно сконцентрировано во времени и пространстве. Люди с минусом жизненного чувства ослабляют своим существованием энергию совокупную».

Не просто бред, — подтвердил для себя Зимин, — именно самодельная философия. А знакомый язычок проступает, как же! Энергетический минус, качественная концентрация. «Приближение», надо надеяться, здесь ни при чем. Еще бы этого не хватало. Подальше от меня, подальше — куда, не имеет уже значения. Но занятно, как я могу все-таки продвигаться, сам сознавая, что не умею. А получается ведь...

Он и впрямь начинал ощущать нечто вроде азарта, обнаружив в себе эту способность так запросто, против соб-

ственных ожиданий, перемещаться от картинки к книге, от страницы к странице. Что-то похожее было с ним в детстве, когда он сел без спроса за руль оставленной во дворе взрослыми автомашины: нажал, сам не зная какую, педаль, и машина тихонько двинулась под уклон. Как ее удалось остановить, он не помнил, помнил только замирание сердца — оно повторялось потом не раз, когда он вел машину, зная, что научиться этому не успел, но удавалось само собой, без умения — даже благополучно проскакивать не замеченные вовремя светофоры, непонятные знаки, вписываться в любой неожиданный поворот. Не удавалось лишь почему-то выехать к нужной улице, но упоение было в самой способности, которой ты за собой, странное дело, не знал. Это оказывалось вовсе не так сложно, не надо было бояться, лишь бы необъяснимыми, но все равно правильными усилиями остановить машину без катастрофы...

«Чувство внезапного понимания проникло в меня, — читал он следующую страницу, — когда я увидел озеро с самолета. Тысячи сохранившихся тел видны были под прозрачным льдом, в одежде и без одежды. Не знаю, можно ли применить обычные слова к воздействию этой силы, даже на расстоянии. При такой-то концентрации, такой интенсивности. По моему нечаянному опыту, наличие за стеной даже одного достаточно свежего тела действует на мысль, как совокупление двух живых.

Вопрос, передается ли нам от животных. Установлено во всяком случае, что производительная сила возрастает, если племенные заводы устраивать рядом с бойней».

Ишь, куда его! — в нарастающем, не совсем здоровом уже возбуждении поторопил следующую страничку Зимин. — И меня вместе с ним заносит. Это, что ли, называлось у него энергетической концепцией? Ничем хорошим там даже не пахнет.

«Утро в горах, — читал он теперь. — На одной стороне ущелья еще ночь, на другой — уже солнце играет. Ты сто-

ишь между светом и тенью, автомат еще раскален от стрельбы, а ты — живой. Как описать невероятный накал всех чувств на тонкой грани между жизнью и смертью, резкого их обрыва, когда смолкла стрельба и наступила оглушительная тишина? Опустошение и свобода. Небывалое сознание и чувство жизни. Когда не просто вдыхаешь воздух — вместе с ним входит в тебя новая сила. Обычной жизни этого не понять. Ты не испытывал такого даже в любви. И хочется испытать это снова».

Кто это говорит от своего имени? — сопоставлял Зимин. — Один человек? Или подобраны разные свидетельства, рассуждения? Уже можно примерно догадаться, о чем. Зачем все же ему показался нужен я? Не туда занесло, уже ясно. Меня, во всяком случае, не туда. Но если не знаешь, как выбирать дорогу.. Вот, опять:

«Эти люди в обыденной жизни добродушны, улыбкивы, они не питают злых чувств к иноплеменникам, которых подстерегают в зарослях. Что делать, им нужны чужие головы, чтобы раздобыть имена для своих новорожденных детей. Так устроен их мир, в нем запас имен ограничен, надо какое-то освободить для беспомощного, вошедшего в жизнь младенца, иначе он не получит прав для существования в этой жизни, не сможет в ней удержаться.

Какой возвышенный идеализм — называть это потребностью в имени! Другие обосновывают свою потребность иначе, ищут способ отменить ограничения, когда нужно исполнить обычай или государственный приказ, защитить себя или близких».

Философ, — подтвердил с кривоватой усмешкой Зимин. Надо все-таки отсюда выбраться. Что здесь считать словом «нет» или, может быть, «выход»? Допустим, это.

Табличка или новое оглавление появилось в ответ на экране:

анонимность
комбинат
материал человеческий

подписка о неразглашении
полигон
программа
ритуал
служба поиска и вербовки
страховка
структура
сувениры
фармацевтика
шифры медицинские
центр возвращения к жизни
экскурсия

Ну, вот тебе и на! Выскочил, называется, — качнул головой он. Что-то опять из разряда игр, в которые нет ни охоты, ни надобности играть. Комбинат... шифры медицинские... экскурсия... слова-то, оказывается, уже отчасти знакомые. Нужно ли в самом деле разбираться, что они здесь означают? Нетрудно вообразить, идея так и готова выстроиться. Хватит. К тебе это не может иметь отношения, а холодком каким-то оттуда веет, что говорить. Лучше не трогать. Не забредать, куда не надо. Осталось бы после него что-то более осмысленное. А этот вопрос, что бы он ни означал: No. No.

«Можно обходиться без понимания, — неожиданно согласился компьютер. — Перебирать варианты ответов, не заботясь о вопросах, об их смысле, не нуждаясь ни в том, ни в другом. Проскакивать развилки, к которым уже не вернуться, поздно. Даже если бы ты захотел, если бы смог — упущенные возможности отменены. Стоит ли обсуждать их в сослагательном наклонении? Мы тут. Дикарь, который тычет наугад клавиши, не самый опасный. Действительным ужасом может обернуться то, что кажется пониманием. Первоначальное направление мысли просматривалось так ясно, выбор был так очевиден! Требовалось его лишь осознанно выстроить, добросовестно испытать, проверить возможные отклонения, как проверяют же

фармацевты побочные, нежелательные воздействия. Почему все равно неизбежно оказываешься тут? Я запоздало осознал, что за работой моих мозгов все это время кто-то имел возможность следить, использовать промежуточные, попутные результаты, присваивать, приспособлять для того, что называлось и у них программой. Запоздало опомнился. Моя вина. Безнадежной была попытка убежать, убежать все время куда-то дальше, дальше, запутывая следы, не позволяя себе остановиться. Потому что, едва остановишься, ощутишь тот же ужас. Он, оказывается, в тебе. Единственный выход — прекратить работу мысли, которая может сама себя погубить. Все. Прощайте. Я ухожу туда, где вы меня не достигнете».

Зимин читал это, поеживаясь словно в непонятном ознобе. Сумасшествие, сумасшествие, — подтверждал для себя он. Но как было не принять на свой счет нечаянное попадание? Дикарь, наугад тычущий клавиши, обошедший без вопросов. Проскочил, значит, какие-то развилки, и безвозвратно, так это понимать? Там ведь, действительно, было разное, как же. Энергетика любви, энергетика художественная... словесная всячина. Что же осталось скрыто, спрятано в этих неживых внутренностях? Зачем? От кого? И теперь, может быть, утрачено? Куда хотел он добраться сам? Неподвижный инвалид, сохранивший лишь голову и пальцы для работы на клавиатуре. В таком неопределенном виде он для тебя только и остается. Тебе доступно только несуществующее, с другим просто не совладать. Такой горестный, такой незаурядный, что говорить, ум. Известное дело: между безумием и гениальностью не всегда уловишь границу. И в такой обстановке, в таком окружении, на этой коляске! Какими он мучился ужасами, какими вопросами, от кого хотел убежать?..

Да, — тут же поправил себя Зимин, — если насчет преследования — это все-таки не обо мне. Я тут вообще ни при чем. Как и моя книга. В ней он даже близкого найти

бы не мог. Разве что в пространстве, как он выразился, вокруг. Но это уже другое. Меня он, наоборот, звал зачем-то. Зачем-то я мог показаться ему нужен...

Он вдруг ощутил, как онемели от неудобного долгого сидения ноги. Захотелось поправиться поудобнее, встать. Ноги дернуло электрической болью. Он, зажмурившись, замер. Непонятный испуг пронзил его вместе с этой знакомой болью. Боль отсутствующих ног, — подумалось ему почему-то. Словно бы не моя...

Выждал время, пришел в себя, переменял все-таки позу. Ни вопроса, требующего выбора или решения, ни мерцающего штришка больше не было на экране. Значит, все. И на что было тут отвечать, что решать? — с усмешкой сказал он себе. — Все верно. Потыкался, как умел, добрался, куда занесло. На этом надо кончать. Признаю. Согласен. Где тут признаться, что нажимать? Не стоило, во всяком случае, оставлять напоказ этот нелестный итог. Убрать хоть как-нибудь. Все равно выйдет наугад...

Он уже и думать перестал, что какой угодно результат может показаться ему опять неожиданным. Но появившегося в ответ надпись его озадачила.

«Write your code», — предложил компьютер. Недоученный в свое время язык Зимин на таком уровне мог, оказывается, понять, упрекал он себя не вполне заслуженно. Тот, прежний язык был, действительно, не английским, может, вообще никаким — не для понимания. Кроме двух единственных слов. Но какой код, интересно, от него требовали? Контроль теперь уже и на выходе, для понимающих? Смешно. В письме, помнится, было заумное выражение о каком-то общем буквенном шифре. Общая фамилия, что ли, имелась в виду? Мерцающий штришок указывал для этого место.

Печатать на машинке Зимин умел и вслепую. «Pbvby», — получилось на экране. Ошибка стала очевидна тут же: клавиатура была настроена на латинский шрифт. Набрать имя в латинской транскрипции было несложно, только

бы знать, как стирается написанное. Даже такой простейшей вещи он не умел. А, если ему нужно, пусть разбирается сам, — нажал клавишу Зимин.

Компьютер принял код без возражений, даже шрифт переиначил сам.

«Do you want to go to Zimin 2?» — поинтересовался он.

Это что же, — насторожился писатель, — есть, значит, еще куда? А я уж думал... Ну что ж, если допустить, что это ко мне...

Экран на время, как уже было, погас. Из затемнения под тихий музыкальный перелив появилось ненадолго лицо — то самое, что недавно показывали на крохотном негативе — если можно было в таком виде и за такой краткий миг что-то узнать. Перед собой негативный человек держал указательный палец, как бы призывая немного подождать: сейчас... Музыка умолкла, вместо лица появился текст:

«Программа впечатляла видимой простотой. Так хватило когда-то пальцев двух рук для заповедей осмысленного существования. Система первоначальных уравнений приобрела графический вид дерева, на удивление жизнеспособного, со множеством разновеликих веток и даже утолщениями зачаточных листочков. Очертания радовали взгляд гармонической красотой, которая подтверждает истинность и совершенство решения. Лишь в некоторых местах возникли чужеродные, болезненные образования. Не составило труда их убрать, выправить, если угодно, оздоровить картину. Вникать в соответствующие программные уточнения не было надобности. Едва удавалось следить за саморазвитием образа, оказавшегося жизнеспособным. Дерево разрасталось, распускались листья. Можно было ввести объем, цвет. Женщина выявилась в стволе, ее груди вспучивались вместе с корой дивными выпуклостями, на месте выпавшего сучка круглился пупок, сок проступал из расщелины. Мужские образования прекрасными трудно было назвать, но не избавляться же было

от этих наростов! Как вообще судить о красоте и уродстве, отличать здоровое от больного, безвредное от губительно-го, злое от доброго?»

«Птица Анзуд свила в ветвях гнездо, — сменилась на экр-ране страница, — в корнях поселилась змея Мерит. Кор-ни вылезали за пределы обозримого. Стоило проследить дальше их разветвленную до капилляров систему, чтобы обнаружить, как они соединялись там с системой других, неизвестных, совершенно чужеродных сосудов. Древес-ный сок, моча и гной, кровь и сперма текли по трубам, клоакам неизвестной канализации, по вздувшимся мно-готрудным венам. Никакой объем памяти не мог бы этого вместить, к ней оказалась подключена, очевидно, чья-то еще, и не одна. Что же творилось тем временем наверху? Как неузнаваемо все там преображалось! Первоначаль-ные ветки усохли, отпали, как родительские предания; еще кривлялись, приплясывая, остаточные тени, когда-то пугавшие древних, потом растворялись, исчезали — насов-сем ли? Другие ветви разрастались, усложнялись бессчет-ными разветвлениями, это было уже не дерево, цельный вид его невозможно было выявить, обозреть — сплошной путаный хаос, кишенье».

«Укрупнив мельчайший участок, — читал дальше Зи-мин, — можно было увидеть реку с песчаным берегом, темные норки, точно поры, покрывали обрыв, озабочен-ные быстрые стрижи сновали туда-обратно. В другом мес-те оказывались вздымающиеся горы, ящерка грелась на горячем камне. И вдруг камень вместе с ней сметало без-звучным взрывом. Стоило ввести звук, чтобы услышать стрельбу, крики ужаса — что же было теперь с этим де-лать? Ни одна клеточка не могла ощущать своей связи с целым, а ты сам уже ни над чем не был властен, не мог даже уследить за ежесекундным развитием, откликаться на непредсказуемые перемены».

Дальнейшего не последовало.

Увы, — прикрыл устало глаза Зимин. Не слабость, а какую-то разбитость ощущал он. — Если это вопрос, то не ко мне. Я на обобщения не претендовал. Хотя в своем-то возрасте не столько понял, сколько ощутил: попытка выстроить какое угодно убедительное понимание, какое-то осмысленное решение — при таком разнообразии исходных данных — обречена заранее. Как и надежда предупредить, выправить искажения, ошибки — да, оказывается, неизвестно еще чьи, так, что ли? Не над всем ты оказываешься властен. В какой момент происходит сбой? В любой, неужели могло показаться иначе? Искать неточность, пробовать задним числом что-то улучшить, исправить — все равно, что искать смысл. Я-то уже действительно это прошел, в этом и расписался. Кончим на этом, ладно?

И снова, с усвоенным уже автоматизмом нажал клавишу.

«Write your code», — вернулось на экран требование.

Вот те на, я ведь только что его написал? — поморщился недовольно Зимин. — Двойной, значит, контроль? Не велик секрет — фамилия. Ну, пожалуйста.

«Zimin», — набрал он на клавиатуре, теперь уже правильно.

«No, your work, please», — попросил недоверчивый компьютер.

Мою работу? — понял Зимин. — Написать заглавие? Для перестраховки, чтобы не влез чужой? Еще бессмысленней. Разве и это заглавие — большой секрет, чем фамилия? Экземпляр был, допустим, единственный, но он уже здесь, известен. И, кроме того, я не знаю, как «Приближение» на английском, если именно это нужно. Вы слишком лестно обо мне думали, — добавил мысленно он, словно и впрямь обращаясь к кому-то. Даже, вот, русскую клавиатуру не умею переключать... Ну, хорошо, если это вам зачем-то понадобилось — попробую, как умею.

«Ghb, kb; tybt», — получилось в результате набора. Зимин нажал клавишу.

«Thank you, but first title, please», — не принял его абра-кадабру компьютер, вежливый, но преувеличенно бдительный.

«Первое заглавие»? — понял Зимин, ощущая, как снова нарастает внутри непонятное волнение. Это что еще значит? Разве он мог знать о «Временах жизни»? Откуда? В книге этого заглавия, помнится, не возникало. Неужели все-таки попали случайные, не отсюда, листки, остался по недосмотру наемк?.. Возникло ведь такое чувство однажды. Не знаю, — сказал он себе. — Не знаю. Что-то уже из области мистики. Ладно. Мистика так мистика. Введем «Времена жизни».

«Dheveuf ;bryb», — набрал он и нажал клавишу.

Знакомая мелодия — мелодия узнавания — заставила его снова поежиться. На мгновение, как переходная техническая стадия, негатив того же лица вывернулся позитивом, и Зимин не мог утверждать, будто в самом деле смог за это время узнать, ухватить мимолетное сходство. Да разве узнаешь уверенно самого себя на юношеских снимках? Установился опять негатив, призрачные черты вдруг зашевелились — и раздавшийся непонятно откуда голос вызвал у Зимина в самом деле озноб по коже.

— Вы все-таки нашли меня. Нет сомнения, это действительно вы, никто другой сюда не добрался бы. Мне так не хватало ваших исходных материалов, недоступных мне доброкачественных данных. Может, вам тоже кого-то надо было сбивать со следа. Но так хотелось верить, что мы друг друга найдем! Ведь я для вас еще существую?

Голос замолк, Зимин все не мог оправиться от какой-то ошеломленности. Он оглядывался, выискивая источник звука. Темная коробка стояла на сейфе, еще такая же была позади компьютера на столе... Может быть, эти... Но что это объясняло?..

— О да! — Зимину пришлось поневоле сглотнуть слюну, чтобы смочить пересохшее горло. Собственный голос звучал, как чужой, он требовал принудительного усилия.

Но как было еще отвечать? Микрофона среди этой аппаратуры на столе он распознать не мог — да был ли он? И до кого мог дойти голос? Не сумасшествие ли было говорить вслух? — Если бы можно было и себя считать сумасшедшим, — ответил он сам себе, преодолевая смущение. — Увы, я слишком нормален. Может, потому и держусь. Вы даже угадали мое слово. Насчет «существую». Но мне ли теперь удивляться? Казалось, с несуществующим говорить проще. И вот говорю — зачем? А ведь всю жизнь занимаешься чем-то похожим. Ведешь разговор то ли с самим собой, то ли с кем-то невидимым. Про себя или вслух? Правда ведь? Как бы ты его ни назвал, кем ни считал. Вы для меня существуете, как мало кто другой... о да! Хотя, может, наши мозги просто несопоставимы. Даже устроены как-то по-разному... по-разному оснащены. Я никого не собирался сбивать со следа, чего-то я просто не понимаю. Что значит для вас доброкачественный материал, исходные данные? Если я верно понял, моя книга попала каким-то образом к вам прямо сюда, в этот вот ящик. Не нуждаясь в бумаге... Мне это трудно представить. Хотя объяснить, наверно, несложно. Другая цивилизация. И, может, нигде больше она не существует. Растворилась, мне до нее теперь вряд ли добраться. А что найду, не узнаю, да? Разобрана на куски, переиначена, переосмыслена. Но что же вам захотелось соединить, что показалось совместимым? Разные времена? Разные жизни?...

Он помолчал, ожидая ответа, потом, спохватившись, нажал клавишу.

Голос на сей раз не откликнулся. Пошевелив губами, юноша вдруг исчез с экрана. Вместо него появилось пожелание — теперь по-русски:

«Введите начало».

— Какое начало? — в недоумении переспросил Зимин — все еще поневоле вслух. — Как начиналась книга?.. Или вы имеете в виду что-то другое? Можете объяснить?

«Введите начало», — только и повторил компьютер.

— Не понимаю, — пожал плечами Зимин. — Что вы называете началом? Начало текста? Вы его сами знаете. Какой-то из самых ранних, первоначальных вариантов? Начало жизни? Неловко же говорить об этом всерьез. Работа моя, правда, начиналась действительно с невозможного, неисполнимого желания — вместить в считанные страницы весь мир целиком, не более не менее. Всю полноту жизни. Проследить, как она складывается, понять, почему так, у всех вместе и у отдельного человека. Я об этом уже говорил. Что-то близкое вашим занятиям, насколько я способен себе их представить. Но ведь я, пожалуй, раньше вас осознал: всякий мир оказывается неизбежно условным, неизбежно ограниченным. Хотя когда-то, представьте, пробовал, напрягая фантазию, вообразить даже начало сознания. Это еще непостижимей, чем представить возникновение жизни. Нет, забраться можно не дальше, чем в детские воспоминания. Если это вы называли доброкачественным исходным материалом?.. нелепые все же слова, простите. Вы хотели что-то такое ввести в неизвестную мне программу? Времена, так сказать, невинных радостей... — ну да, где же еще искать? Но знаете, когда невинный младенец обрывает крылышки мотыльку, лишает жизни красивое существо, не зная даже слово «жестокость», когда осознаешь, сколько и здесь бывает намешано... да что говорить об этом! Известное дело. А забраться бы куда-нибудь еще дальше, совсем уже в досознательное, утробное существование, представить, каким ужасом сопровождался сам акт рождения! Как мучительно, с непосильной для живущего частотой билось еще не родившееся наше сердчишко, как распирала его кровь, что означал этот вопль рождения! Нет, что нам теперь до этого? Да мы и помнить не можем. Началом, некоторые говорят, вообще надо считать не это, а другой, действительно воспетый, сладостный миг. Ну да, уж это конечно! Если б мы только по себе не успели узнать, сколько быва-

ет связано с этим стыда, ужаса, лжи, унижения, боли, крови, насилия, грязи... Простите, я понимаю, что несу бред. Во всем почему-то оказывается неправда, неполнота — словно действительно в программу, выражаясь по-вашему, оказывается вживлен зародыш чудовищного развития. Чего действительно невозможно понять: мир при всем этом каким-то образом держится. Пока держится, вот что опровергает умственные построения. У меня, если на то пошло, должно было в самом деле начаться все с чувства, называемого, представьте, любовью. У вас тоже что-то из этой области проскочило... не знаю. Я набросал, помнится, такой эпизод. Выбросить его тоже пришлось, он просто не соединился с последующим. С последующей жизнью, так сложилось... но я опять не о том. Это не значит, что я от эпизода отказываюсь. Пусть остается сам по себе. Я его даже помню. Может, и не дословно... то есть не в прежних словах. Так ведь слова все равно мои, смешно отнекиваться. Могу ввести, если вас это интересует...

Надпись уже исчезла, чистое голубое поле предлагало себя.

— Да, — спохватился с усмешкой Зимин, — но я не умею даже переключать шрифт, получается абракадабра. Вам, может, все равно, я это уже почувствовал. Но когда набираешь текст, не видя нормального результата, надо над каждой буквой себя перепроверять, как бы не было опечаток. Это ведь может иметь значение, да? Запятая не в том месте вдруг вызовет непредвиденные последствия, что-нибудь где-нибудь выйдет не так?.. Ладно, считайте, что сам над собой смеюсь. Я ведь не понимаю, как все это устроено, чего вы ждете, что такое эта программа. Но если понимание не обязательно — как хотите. Только будет совсем медленно. Назовем это началом жизни, еще неизвестно чьей. Или началом дня. Утро, одним словом...

«Встаешь от женщины, подходишь к окну, — начал набирать он, следя лишь за клавишами; белобуквенная абракадабра на голубом поле сбивала лишь его с толку. —

Уже светло, и все вокруг: деревья, дома, дорога, небо — окрашено, омыто, наполнено или опустошено совершившимся, отзвучавшим только что, и озабоченные прохожие — посторонние на твоём празднике, не подозревающие о нём, но самим своим существованием в этот миг все-таки к нему причастные. Им тоже это бывает дано, но сейчас ты — царь, прекрасный мир перед тобой, прекрасная женщина за твоей спиной».

— В таком вот роде, — остановился Зимин. — Так это начиналось когда-то. Дальше не имеет значения. Слова красиво звучат, да? Пожалуй, слишком красиво. И что с этим теперь делать? Ввести, так вы бы сказали? Если получится...

Полуразборчивое бормотание раздалось в ответ нажатой клавише. Это был звук ритмичной работы.

«Что-то сладкое было в этой беспричинной жути, в этом чувстве близкой и важной догадки, которую не удавалось выявить до конца, как не удавалось выдавить из себя кашку, — вдруг узнал он строки из той же книги. — Край горшка все больше вдавливался в попку, и хотелось длить это сладкое мучительное состояние — но тут открывалась, слепя глаза, дверь, мама сердито поднимала тебя с горшка и обнаруживала, что он пуст...»

Непонятное мельтешение началось на экране. Мгновенные изображения, таблицы, надписи стали сменять друг друга, не давая себя рассмотреть. «Надорванные края по закону мировой кривизны должны совпасть совершенно», — сказал отчетливый голос. Тени произвольных очертаний заполнили экран, их стало крутить, словно затягивая в воронку, к центру, от этого мельтешения начинала кружиться голова. Наконец оно остановилось.

«Бросайся в бездну, чтоб обрести крылья», — высветилось на черном фоне во весь экран.

— Нет! — даже пристукнул по столу Зимин; неожиданная реакция его была бессмысленна, как все сейчас. — Это не мое. Мне это не нужно. Неужели надо еще объяс-

нять? Как будто оправдываться. Даже мой губошлеп сумел такую простую вещь понять. Потому он и удержался в жизни, смог ее продолжать. А вы на чем сорвались? Куда вас занесло? И боюсь, не только вас, вот что я начинаю с опаской чувствовать. Но я тут ни при чем. Это не я. Я этого не утверждал. Знал же, что лучше вовремя прекратить. Но. Где у вас это Но? Нет!

«Страдание замедляет время. Невыносимое страдание останавливает время. Называется ли это вечностью?»

— Нет. Нет, — в безотчетном ознобе твердил Зимин.

То, что он теперь слышал, было биением его сердца. Звук нарастал, подчиняясь неизвестно чьему усилению. Бормотание становилось отчетливым. «Вечность рая или вечность ада, — без выражения говорил голос. — Запах стыда и запах бесстыдства. Свет на оболочке без глаза.». — Бормотание приспособлялось, подчинялось тому же ритму, что звук сердца, сквозь него проступала все явственной музыка. «Небо перевернуто, колючая проволока, лошадь без кожи, опаленная взрывом, пальцы и лица, мягкая плоть обвисает, мертвеет, переходит в сырье для еще не рожденных, кости в золе белеют, как свечи, неизвестно где, вне времени и пространства». Жалобный напев пробивался и не мог высвободиться из-под басов, взмахи черных тяжелых крыльев обрушивались на мечущуюся пташку. Ритм вдруг передернуло судорогой, кривая трещина, громыхнув, вспыхнула на экране, она расширялась со скребушим по спине стоном...

Зимин вскочил, с трудом выдерживая собственное сердцебиение, стал озираться, пытаясь определить источник звуков. Музыка шла откуда-то не отсюда — из-за стены. Он кинулся к двери, рывком распахнул ее.

Звуки высвободились, хлынули в открывшийся проем, переливаясь, клубясь, громокая. Незвестный инструмент сипел, задыхался, точно уже не справлялся с напором — что-то в нем надламывалось, хрипело. Жалобное подвывание, пускание ветров, скрип падающего дерева, стон трещины... Полопались, рассыпались брызгами пугыри. Все смолкло.

Зимин, наконец, увидел: над парадной дверью в торце зала нависала надстройка вроде хоров. Входя, он не заметил ее над своей головой, лишь теперь она была осознана взглядом. Там, в темной глубине, угадывались трубы невидимого инструмента. Музыкант, должно быть, затаился за ним.

— Послушайте, — сказал Зимин — и уже который раз смутился звучания своего голоса. Он отдавался в пустом пространстве опять с преувеличенной, чужой силой и ясностью. — Послушайте, — умерил он голос, — почему вы вдруг перестали играть? Я не собирался вам мешать, поверьте. Хотелось, наоборот, еще вслушаться, понять. Но конец такой внезапный, оборванный. Что это за музыка? Без построения, развития, темы. Мешанина звуков. Или я не сумел уловить? Я знаю, теперь принято обходиться без того, что называлось гармонией. Музыкой может звучать что угодно. Повседневный шум, шелест листьев, хлопанье белья на морозе. Ее просто не всегда слышишь, я сам когда-то думал об этом. Но что у вас за чудовищный инструмент? До сих пор мурашки по коже.

Зимин почувствовал, что льстит музыканту не совсем по заслугам, мурашки могли быть вызваны вовсе не достоинствами исполнения и самой музыки, чем-то совсем другим. Он словно хотел расположить неизвестного, заверить в своем сочувственном понимании. И говорил-то скорей наугад — как обращались в детстве к спрятавшемуся, делая вид, будто уже разгадали, знают где он — и,

подавшись уверенному тону, тот решит, что прятаться теперь бесполезно.

— Вы понимаете? Вы меня слушаете? — повысил Зимин голос. — Почему не желаете показаться? Или хотя бы ответить? Не можете? Или, черт, побери, издеваетесь? А? — крикнул он уже раздраженно, понимая, что отклика не дождет. — Не к электронике же вы этой подключены. По-человечески — так все-таки нельзя...

Господи, да что ж я все время, как идиот? — одернул он себя, наконец. Обращаюсь к кому-то опять, теперь уже наверху. Как будто он для меня может что-нибудь значить. Да еще чуть ли не с заискиванием, с преувеличенной похвалой. До него попросту не доходит, что я хочу выразить. Это в самом деле нельзя даже называть музыкой. Набрел кто-то случайный на инструмент, балуется, пробует без умения, воображает, что это игра. А я, как всегда, тянусь воображением вслед... даю в себе разрастись. Хотя надо мной втихомолку сейчас и вправду смеются...

Да можно просто застигнуть его на месте, увидеть, схватить за грудки, — пришло ему вдруг на ум. Там, прямо за дверью, была ведь лестница наверх, она, конечно же, вела на эти хоры, к паршивенькому инвалидному органу...

Он кинулся к выходу, дернул, потом толкнул дверь. Она была заперта. Кто-то, значит, успел позаботиться. Инвалиды замкнули за собой или эта женщина. Может, и наружный выход закрыли.

Зал был пуст и неузнаваем в искусственном полусумраке. Света за потолочными стеклами больше не существовало, только дежурные лампочки. Посуда и скатерть были убраны, на месте стола открылся голый геометрический постамент, какие можно увидеть в церквях, крематориях и ритуальных отделениях моргов. Вот почему было так неудобно сидеть — некуда засунуть ноги. Полустертые подробности настенной росписи были обобщены полусумраком, свежеразмазанные пятна рабочей штукатурки оказывались не просто случайными, они выбелива-

ли костную основу громадного, во всю стену, лица; затененные провалы глазниц под лобными костями, над скулами, вмещали в себя целиком остаточные фигуры.

— Ладно, — сказал Зимин — сам себе, но все еще вслух. Отчасти по инерции, отчасти на случай, если его все-таки слышат. Пускай не воображает о себе свысока. Сверху. Принял за музыку невесть что. Допустил слабость. Бывает. Я ведь и не ждал ничего, — продолжил он уже про себя. — Не претендовал, не искал. Если угодно, наоборот. Это от меня все чего-то хотели, ждали. Как будто что-то может зависеть от меня, который здесь небольшое способен понять. Чем дальше, тем меньше. И лучше не надо. На этом и разоидемся. Как уже решено. Без дальнейших выяснений. Что бы ни оставалось там, внутри электронных коробок или не знаю где, у меня есть своя жизнь, не здесь, и я в нее намерен вернуться. Вот так. Пусть продолжается, как пойдет. По возможности. По привычке, по дорожке хоженной-перехоженной, среди своих стен. До конца в любом случае добредем, не правда ли? Тогда и будем толковать, подбивать бабки. А насчет разных этих построений, гармоний, чего там еще?.. Мы ведь их не более чем сочиняем по надобности на время своей жизни, привносим в нее от себя...

На спинке одного из стульев, рядом придвинутых теперь к стене, он увидел свою куртку. Она была аккуратно повешена, сумка лежала там же, на сиденье. Позаботились. Вот и хорошо, — подумал он. Лучше все-таки теперь самому найти выход, никому не звонить, никого не звать.

Он заглянул еще раз в комнату. Пахло чем-то горелым. На экране еще светилось, затухая по краям, тусклое, на издыхании, бельмо. Неужели я что-то не так сделал, нажал что-то не то, безнадежно испортил, уничтожил все, что здесь было? — подумал Зимин. — Вместе со своим «Приближением», вот ведь какое дело. Тогда тем более лучше улизнуть, пока этого не обнаружили.

На сейфе у двери стоял белый фаянсовый кофейник, чашечка с блюдцем, сахарница. Значит, Сана все-таки тихо сюда заходила, а он не заметил, поглощенный экраном. Как будто отсутствовал. Долго ли?.. Потрогал пальцем — кофейник уже остыл. Хлебнул прямо из горлышка... Да, а что еще за сувенир подсунул мне этот Бабай? — вспомнил он.

Отколупнул скотч, развернул оберточную бумажку. Из нее выпростался коробок вроде спичечного, только с цветной печатной наклейкой: «Сувенир». Выдвинул ящичек — и ощутил дурноту. В коробке лежал кусок белесого хрящика с кровавым обрезом (сухая капля заржавела на доньшке), в легком волосяном пушке. С отворачиванием отшвырнул коробочку. Рвотный приступ удалось замять.

Все, — уже окончательно повторил он. — Прочь из этого сумасшествия. Своего хватает. Никого больше не искать, не спрашивать, не прощаться. К себе. К себе.

Он прихватил в зале свою куртку и сумку, огляделся еще раз в поисках неочевидной двери. Взгляд уже был подготовлен, дверь обнаружилась именно там, где ее можно было предположить для симметрии — прямо напротив той, что вела в служебную комнату. Опасение, что ее не удастся открыть, не оправдалось — достаточно было нажать.

За дверью оказался не коридор и не холл, а что-то вроде переходного, довольно длинного тамбура с тусклыми плафонами на низком потолке. На выходе была еще одна дверь. Потянуло ускорить шаг, убедиться, что и она не заперта.

Неожиданно приятным запахом дохнуло на Зимина. Это был запах оранжерейной зелени, свежей воды и чего-то еще, полужнакомого. Переход вывел его, как можно было понять, в другое здание. Перед ним была длинная светлая галерея; по правой ее стороне шел ряд дверей, слева, внизу, ярко голубела среди зелени вода бассейна. Плеск воды ли, приглушенный ли шум голосов вызывал

ощущение многолюдной, но скрытой от взгляда жизни. Возле одной из дверей стояла тележка со сменным постельным бельем и принадлежностями для уборки.

Зимин огляделся, нет ли поблизости кого. Ему хотелось проскользнуть по галерее как можно более незаметно, пока не появился никто. Как время назад было желание найти хоть живую душу, чтобы спросить дорогу, так сейчас хотелось избежать всякой встречи, соприкосновения. Он представил со стороны, каким чужеродным, вызывающе нелепым был здесь сам его вид — небритого, с курткой на руке, в этих кроссовках и старых джинсах, где в промежности можно было, присмотревшись, обнаружить умело вставленную, почти незаметную заплату. Выпуклые номера на дверях были позолочены, серый мягкий палас скрадывал звук шагов — но чьи-то голоса уже приближались. Он ускорил шаг и с облегчением увидел лестницу, уводившую от галереи.

Внизу было подсобное помещение. Вдоль стен стояли ровными штабелями картонные продуктовые коробки, пустые цинковые лотки. Запах близкой кухни из открытой напротив двери объяснял их назначение; но идти туда имело меньше всего смысла. Осмотревшись, Зимин обнаружил другую, невзрачную дверь. Обмазанная красной краской лампочка горела над ней, обещаая дежурный выход.

Он потянул ручку — и, едва войдя, понял, насколько ошибся. Свет, снаружи лишь обозначенный, здесь разливался теплым розовым полусумраком. Под настенной лампой у дальнего зеркала спиной к вошедшему сидела женщина, подкрашивала лицо. Она обернулась.

— Извините, — пробормотал Зимин. — Я думал, здесь выход... ошибся. А где?...

— Вы сами пришли, — женщина поднялась навстречу. — А я как раз собиралась к вам...

Он с недоумением всматривался в недорисованное, совсем не знакомое лицо, но уже узнавал голос, и эту козынку, и халат невнятного в розовом освещении цвета.

— Я вам приносила кофе, — улыбнулась Сана чужими, яркочерными губами. — Только не захотела мешать. Вы были так поглощены работой. Совсем как он. Я со спины смотрела — ну прямо, как он. А у нас уже скоро смена, теперь мне надо быть здесь. И сюда звонок даже не проведен.

— И звонка, значит, нет, — качнул головой Зимин. — Я ведь мог вас и не найти.

— Как вы могли не найти? — не поняла она. Как будто эти люди здесь предположить не могли, что он не отыщет, если захочет, дороги, пройдет мимо единственно нужной двери. Не объяснять же ей было, чем он раздражен, разочарован на самом деле. Словно не освободился от чего-то неотвязного, безотчетно застрявшего, не сумел проскользнуть незамеченным, как надеялся только что. Пусть чувствует себя виноватой за то, что сама не пришла.

— Хотите выпить? — спросила она.

Зимин увидел у боковой стены небольшой бар с рядом неосвещенных бутылок. В угол вписан был мягкий диван с кожаной темнокрасной обивкой, перед ним был низкий стеклянный столик. Легкая занавеска прикрывала дверь в соседнюю комнату.

— Если бы это помогло придти в себя, — помотал он опущенной головой.

Усталость от пережитого за день вдруг на него навалилась. Он подошел к дивану, сел. Расслабляющая мягкость передалась от дивана всему телу. Прежде, чем уйти, надо было здесь посидеть. Выпитого время назад оказалось, увы, недостаточно, установить желанную отчетливость, трезвость чувств так и не удалось. Только не засыпать, — предостерег себя он. — Только не засыпать, вот что может обернуться невесть чем.

— То, что там пили, да? — по-своему поняла Сана.

Прежде, чем направиться к бару, она вернулась к зеркалу, наклонилась перед ним, несколькими тщательными движениями что-то поправила на лице, растерла губой по губе помаду. Отражение встретилось в зеркале с его взгля-

дом — показалось, что беленое лицо ее зарозовело, глаза вспыхнули. Разогнувшись, она сняла с головы косынку, встряхнула высвободившимися каштановыми волосами. Давнее памятное очарование было в этом движении — движении женщины, которая продолжала чувствовать мужской взгляд. Вскинутые руки обнажились, она еще задержала их у головы, чтобы приподнялась грудь. Чуть тронула там-сям щеткой, проверила ладонью. Волосы были длинные и улеглись хорошо. Так же оставаясь спиной к Зимину, она стала расстегивать пуговицы на халате. Вначале ему показалось, что она осталась в черном нижнем белье. Это был, однако, наряд из тех, которые прежде называли бы рискованными: короткое, на бретельках, платье, полупрозрачное кружево на груди. Обула черные, на высоком каблуке, туфли, провела ладонями по талии и бедрам, обтягивая платье. И только потом подошла к бару, издали показала ему большую квадратную бутылку, спрашивая подтверждения. Молчания оказалось ей достаточно.

— Извините, — сказала она, подходя, каким-то изменившимся голосом. — Смена уже скоро, а я еще не готова.

Поставила на столик две конусообразных рюмки, сама села рядом.

— Вы курите?.. Ах, да, я уже это спрашивала.

Зимин молча протянул руку, взял сигарету. Она поднесла ему зажигалку, сама с наслаждением закурила.

Куда девалась ее недавняя почтительная робость? В движениях, интонациях проявилось что-то новое. Лицо все же до конца так и не было выявлено, краска покрывала его ровно, как недоработанный подмалевок, глаза и брови еще не обведены — не успела или забыла. Выражение его он мог скорей лишь угадывать.

— Он что, с вами тоже пил? — спросил Зимин.

— Кто? А!.. Что вы! — Она затаилась и, прикрыв глаза, выпустила дым кольцами, повторявшими очертания ее выпяченных губ. — Он не пил. И мне на той работе не полагалось. Я просто была по отделу обслуживания. Вро-

де санитарки. Поговорить он со мной, конечно, любил. Особенно когда я вывозила его погулять. То есть, сперва и вывозить было некуда, кругом шло строительство. Но когда впервые разрешили показать ему зимний сад — вы видели — как он обрадовался! Он еще думал, все это по его идеям.

— Здесь что, больница была или заведение в этом роде? — спросил Зимин.

— Можно сказать, в этом роде, — согласно кивнула она. — Раз вы так выражаетесь.

— А написано «Комбинат».

— Это конечно, — подтвердила она, не находя тут противоречия.

— Я встретил у него еще слова «Центр возвращения», — не удержался писатель. — Это для возвращенных к жизни, так мне подумалось?

— Вы так хорошо умеете выразить. Меня, можно сказать, тоже вернули. Здесь вначале все было по его идее. Так он мне говорил. Собирали таких, как я, как этот Бабай. Я знаю, Бабай все рвется вам рассказать, что тут теперь творится на самом деле. Подстерегает вас где-то, у выхода. Сюда, в здание, ему не положено. Я его с этими инвалидами провела ради поминок, с заднего хода. Такой день, комбинат пустой, никто увидеть не мог. Все-таки однополчане. Им хотелось отметить на его месте.

— Место как раз подходящее, — подтвердил для себя с усмешкой Зимин и пригубил из рюмки.

— В каком смысле? — спросила она и, не дождавшись пояснения, пригубила вслед за ним. — Но я не знаю, стоит ли вам этих инвалидов слушать. Что мы тут можем понимать? Мы нездешние, нас сюда привезли. Его тоже, но он мог считаться на особом положении. Его мозги, идеи, первоначальный проект начальству были нужны. Так он думал. Под это шли большие деньги, международные. Но кто здесь начальство, кто распоряжается действительно на самом верху, он тоже не знал. Они, может, вообще не

здесь, до них не добраться. А ближний, непосредственный персонал тем более ничего нам не объяснит. Не хотят или сами не могут. Расписан порядок для повседневной работы: права, обязанности, кому куда можно, куда не положено. Но даже про это мы иногда узнаем, если нечаянно что нарушим. Или когда повесят приказ, что какие-то права отменяются. Про которые мы и слышать не слышали...

Зимин сидел, борясь с желанием прикрыть глаза, пальцами свободной руки прижимая висок. Голос женщины бился под пальцами вместе с жилкой. Не поддаваться, — напоминал себе он. — Не закрывать глаз. Расслабляться дальше будет опасно.

— Никогда прежде не думал, можно ли так жить, — сказал он. — Не знать, что делается скрытно — если бы просто от глаз — от понимания. Кто чем управляет, по каким законам. А ведь можно, выходит.

— Да, — тихо сказала Сана. — У вас, конечно, не так.

— Что значит «не так»? «У вас»? Живем, как живется, значит, этого для жизни достаточно. А понимаем, не понимаем... Если удастся жить в пределах своего понимания, большего мы ведь не хотим. Что-то мне примерно в таком духе писал ваш Зимин. Большого, может, не вынести, вот в чем загвоздка.

— Да, — откликнулась Сана. — Он про вас так именно говорил.

— Что? — насторожился писатель. — Что он про меня говорил? — повторил он с начинающимся раздражением.

— Что вы умеете... в пределах понимания, — смутилась она. — А я, говорит, видимо, не сумел... Я, может, неправильно передаю слова. Но что какое-то предчувствие у него было, это я знаю. Буквально за день перед тем — я как раз возила его по галерее — он попросил, чтоб я поправила ему плед, и когда наклонилась, сказал на ухо чуть слышно — громко он уже опасался. Если услышишь, сказал, что меня нет, позови того Зимина. Он, знаете, что говорил про вашу книгу?..

— Про книгу не надо, — прервал ее поспешно Зимин. — Книги нет. Все. Какой может быть о ней разговор? Вы ее, как я понимаю, не видели. И сам я, представьте, тоже... А что произошло на другой день?

— На другой?.. А, — поняла она. — Мне позвонили, в ту еще мою комнату. Когда я пришла, там был молодежавый такой человек, в кожанке. Не знаю, как зовут. Без усов, но с бородкой. Сказал, что Зимина нет. И все. Я еле на ногах устояла. Но спрашивать ведь не могла, вы понимаете. Как спрашивать? Неизвестно ведь, как он ответит. Дал мне ключи, чтоб я потом прибрала. И сказал, что у меня теперь будет новая работа. Как раз с сегодняшнего дня. Вот...

— И никакого подтверждения, кроме этих слов?

— Как? — переспросила с испугом Сана...

Где-то заиграла вдруг тихая музыка. Зимин встряхнул головой.

— Начинается ваша смена, — понял он. — В самом деле, пора. Пора... Знаете, я сейчас не хотел прикрывать глаза. Но прикрыл все-таки, не удержался. И что? С вами так говорить даже лучше, вот ведь, оказывается. Пока я смотрел на ваше лицо, оно мне мешало. Оно для меня было как бы не совсем настоящее. Надо было его еще дорисовать. Как многое другое.

— Дорисуйте, — сказала она дрогнувшим голосом.

Зимин попытался встать, но почувствовал, что не может преодолеть притяжения расслабляющей мякоти.

— Дайте мне, пожалуйста, руку, — попросил он.

Она помогла ему встать. Его слегка покачнуло к женщине, он не сразу установил равновесие. Сана придержала его правой рукой за плечо, но и левую не выпустила. Некоторое время они стояли так. Зимин подумал, что сейчас надо будет высвободить руку, но перевести это желание в усилие не сумел.

— Где это играют? — спросил он.

— Там, в зале... А вы, правда, могли бы меня дорисовать? — задышала ему Сана в лицо. — Я ведь той, прежней

своей жизни совсем не могу вспомнить. Только иногда... какие-то сны. Или когда слушала про вашу книгу и думала: да, ведь так у меня было. Он говорил: о своей жизни вообще знаешь, наверно, меньше, чем со стороны. Правда? Ваше знание, говорил, больше.

— А его, значит, просто никто больше не видел? Но что если тот человек в кожанке вам не сказал правду? — вдруг вырвалось у него.

— Конечно, — согласилась она покорно. — Это как вы скажете. Зависит от вас. Потому вас все так здесь ждали.

— Если Зимин где-то еще есть? — не удержался от продолжения он.

— Вот же вы, — согласилась она едва слышно.

— Вы не так мои слова поняли, — качнул головой он — и словно опомнился. — Но будем считать, что этим и надо удовлетвориться, да? Все равно дальше не проникнуть, лучше и не пытаться. А то ведь, глядишь, отсюда еще не выберешься. И не вернешься. Не буду вам пояснять своих слов.

— Я понимаю. Я сама знаю, — Сана прижалась к его плечу мокрой от слез щекой. — Вы сейчас все равно уедете. Куда-то к себе, в свою жизнь. Исчезнете для нас окончательно. Я понимаю, так должно быть. Так надо. Но пока вы еще здесь, никто больше сюда не может войти. Еще немного, еще чуть-чуть, ладно? Знали бы вы, как я о вас думала! Какие вела с вами разговоры! Когда человек близко, на самом деле, с ним действительно говоришь по-другому. Я понимаю, что вы сказали. Может мешать какой-нибудь запах, сбивать всякая мелочь. Но когда увидела вас сейчас в зеркале, поймала ваш взгляд — это было такое настоящее! Я чувствовала, как становлюсь от этого взгляда другой. Что-то со мной происходило. И вот — теперь чувствую ваше тепло. Кто, кроме вас, мне может быть нужен?..

Рука ее лежала на плече Зимина, голова опущена на другое. Туфли прибавили ей роста. Волосы пахли горько-

ватой черемухой у реки, весенним головокружением — и чем же еще? Оба они переминались под музыку, не обнимая друг друга.

— Мы что, танцуем? — спросил Зимин.

— Танцуем, — как эхо, подтвердила она.

— Но я совсем не умею танцевать. Жена говорила, что я совсем не умею.

— Что же это такое?

И правда, — подумал Зимин. — Что такое танец, как не вовлеченность в ритм, общий хотя бы для двоих?

— Вам знакомо, наверное, это чувство, — сказал он. — Когда не можешь вспомнить что-то важное. И мучаешься невозможностью. Кажется, именно этого тебе не хватает. Наконец, вспоминаешь все-таки. И оказывается, это был совершеннейший пустяк, стоило ли так мучиться? Но все равно облегчение. Не мог, знаете, вспомнить, чем пахнут ваши волосы. А ведь я этот запах описывал. Когда голова от него кружилась. Мы смотрели с моста на ледоход.

— Да, еще бы! Я помню. Ледоход был у нас праздником, все выходили на берег. И воздух был, вы помните, какой сладкий?

— А как весной язык немел от черемухи?

— Мы ходили по улице и держались за руки, даже если просто шли в магазин.

— Счастье прикосновения.

— И рисовали дождевой водой по стеклу, никто, кроме нас, не видел.

— Жена смеялась надо мной, когда слушала. Что ты, говорила, придумываешь, особенно насчет женщин? А ведь в ней меня в самом деле когда-то все восхищало. Даже эта недоступная мне практичность, интерес к вещам, к разным тряпочкам. В этом ведь может быть особая прелесть.

— Еще бы! В детстве это бывает чудом, правда? Примериваешь старую занавеску, ажурную, в дырках, и видишь себя принцессой в белом наряде. Или найдешь совсем ка-

кую-нибудь дурацкую хламиду, волосы уложишь, вертишься перед зеркалом: я кинозвезда. И думаешь: есть ведь где-то такая жизнь, должна же она где-то быть. И принцессы есть.

— То-то и оно, это не совсем наша выдумка, так я себя и оправдывал. Если тут и миражи, они порождаются не просто чьим-то беспомощным воображением. Так нужно самой природе — на время, о да! Чтобы взять у бедных, обреченных, очарованных существ нужное ей... зачем? Наше дело догадываться, обманываться, искать слова.

— Я ведь без вас теперь не смогу, — бормотала она ему в плечо, сглатывая новые слезы. — Как только его не стало, меня начали мучить вдруг ужасные сны. Я несусь в какой-то вонючий хлев помой свиньям, каждую знаю по имени. И так промозгло, так холодно! Кости ломит. Мужик наваливается, душит, изо рта сивухой несет. Но я ли это? Когда меня, как вы говорите, вернули, я долго не могла даже красок вспомнить. Все оставалось бесцветным. От его слов только они начали возвращаться. Все становилось опять ярким, отчетливым: небо, цветы. Даже асфальт ярко-серый, а в нем трещины, и муравьи снуют — как у вас, да? Он мне так и рассказывал. Если бы вы могли меня взять с собой! — приподняла она лицо, задышала ему в подбородок. (Я ведь побриться забыл, не успел, — вспомнил почему-то Зимин). — Я бы ни на что не претендовала, ничего от вас не просила, вы не думайте. Я бы зарабатывала. Я бы все для вас сделала, что вы скажете. Для себя мне бы ничего бы не надо, только если вы захотите сами. Как подумаете обо мне, я буду под рукой, а так — всегда можете считать, что меня нет. Я не обижусь, наоборот. Только бы знать, что вы есть, думать о вас. А вдруг даже и ревновать — какое нужно еще счастье? Но чтобы вы не знали. Ведь вам тоже нужно, я чувствую. Вы седой, но живой. Да? Я так чувствую... Я еще родить могу..

Зимин в самом деле ощущал в себе невольно оживавшее напряжение. Вот ведь как просто его поворачивало! А

ведь только что говорил себе: не поддавайся. Как будто не знал этих ловушек жизни. Ей хотелось, чтобы ты остался, а не останешься — чтоб взял ее с собой. Так просто... Смотришь на женщину: такая слабая, неуверенная. Так покорно подтверждает твои же слова, даже если они противоречат одно другому. Не то что откликается — поддается чуть ли не движению твоей мысли. Но почему-то оказывается, что именно эти слова, эти движения ей-то и были нужны, противоречия ее не смущают, все получается, как она хочет. И приезжаешь куда-то, потому что она это устроила. Одну дверь запрет, другую откроет, а ты идешь, не догадываясь, куда...

Сквозь закрытые веки он ощутил прибавление света. Открыл глаза. Свет зажегся за дверью в соседней комнате. Занавеска оказалась прозрачной, там на кровати сидела полуголая дородная великанша, почесывалась, зевая, под грудью...

— Ведь можно, да? Правда? — Сана подняла на Зими-на заплаканные глаза. Осветившейся комнаты за спиной она не видела. — Если я буду с вами, меня пропустят. С другим не пропустили бы, а с вами даже документов не надо. Вы только на катере скажете, когда спросят: что я с вами...

Великанша из освещенной комнаты, прищурясь, всматривалась в их сторону, наконец, поняла, что там люди. Потряхивая грудями, она подошла к двери, задвинула непрозрачную штору. Жаркий телесный запах распространился через перегородку...

— До катера мы пойдем врозь, так лучше, чтобы нас никто вместе не видел, — дышала она ему снова в лицо. Глаза ее были размазаны слезами, само лицо расплылось. — Вот тут, сбоку, есть отдельная дверь, через нее сразу выход... только нет, пожалуйста, не оглядывайтесь, — теперь она совсем шептала. — Вот, сейчас повернемся, чтобы увидели... там, за баром... делайте вид, что ничего не произошло. Пробрался все-таки, ненормальный. — Улыбка и тон ее не соответствовали смыслу этого шепота. — Я

вам говорила, связываться с ним не надо, что бы он ни выкинул. Сама его задержу, отвлеку на себя. А вы не обращайтесь внимания, поскорей идите. Там встретимся. Все еще будет, да?..

Медленно повернувшись с ней в танце, Зимин увидел, о ком она говорила: Бабай прятался за боковой стенкой бара, почти вжавшись в нее. Поняв, что его обнаружили, он вышел из укрытия.

— А ты думала, разведчик не сумеет пробраться? Честь имею! — козырнул он, изображая что-то вроде дурачества. Он не совсем еще был, видно, уверен, что тут происходит и как тут себя вести. Но блеск его глаз выдавал болезненную возбужденность.

— А ты какого черта сюда без спроса сунулся? — неожиданным, каким-то базарным голосом одернула его Сана. — Разве можно, когда я не одна? Порядков еще не усвоил?

— Но-но! — немного опешил он. — Какие еще тут порядки? Свои же люди. Ты, что ли, уже напилась, не дождавшись?

— Напилась, не напилась, я тебе не подчиненная, — огрызнулась Сана. — А вот начальству сейчас про тебя скажу — знаешь, какое тебе место найдут?

— Чего? Ты это чего? — Бабай начал уже расплятаться. — Ты с кем это разговариваешь таким тоном, блядь придорожная? Я тебя своими руками могу пристроить. Что ты ему говорила, думаешь, я не слышал?.. А ну-ка, сволочь, дохни!

Он потянулся рукой к ее подбородку — Сана, не дождавшись, смачно плюнула ему в лицо...

Что она делает? Зачем притворяется пьяной? — лихорадочно соображал Зимин. Чуть обернувшись, она сделала ему знак бровями: не вмешивайтесь, идите. Отвлекает на себя этого усатого, — убедился он. — Чтобы дать мне возможность уйти без разговоров, не ввязываясь, не выясняя еще и этого. Она все устраивает сама...

Появление Бабая что-то для него вдруг облегчило. Он знал, чего на самом деле смутился. Поведение женщины выглядело демонстративным; вмешаться — значило лишь что-то испортить, усугубить положение. Бабай схватил ее за кисть руки, намереваясь вывернуть, она сумела, однако, вырваться и выбежала в коридор. Грохот падающих жестяных лотков донесся оттуда.

— Куда? — прикрикнул Бабай — и в нерешительности оглянулся на Зимина. — Сейчас... Вы не обращайтесь внимания. Мы с ней в момент разберемся... будьте спокойны. Только подождите тут, я в момент...

Он не сможет с ней ничего сделать, она там не одна, — окончательно решил Зимин. Но неужели она все-таки и впрямь постарается со мной уехать?..

7

Как будто его время назад подвезли действительно с заднего, что называется, двора, отгороженного от лицевой стороны бетонной стеной, и надо было замусоренными задами добираться до черного хода, называемого служебным, чтобы, пройдя сквозь невнятные внутренности, выбраться через другую дверь не просто на незнакомую улицу, в совершенно другую местность — в новый, с другим запахом, воздух.

Аккуратная небольшая площадь окружена была невысокими, старой постройки, домами, носившими следы свежего, еще пахнущего краской ремонта или строительства. Стены были ровно, очень красиво оштукатурены и выкрашены в пастельные цвета: розовый, салатный, светло-желтый. Стекла витрин на первых этажах по большей части замазаны белилами, но вывески над ними уже были готовы, крупные, яркие, некоторые почему-то иностранными буквами: «Kafe Amalia», «Сувениры». Занавески, шторы на верхних окнах и даже горшки с цветами

подтверждали их как будто бы жилой вид. За одним стеклом белело лицо, кто-то неотчетливый смотрел на площадь. Лишь справа еще не убрана была земляная насыпь, за ней, где-то в невидимом котловане, возобновила громыхание работающая техника.

Зимин оглянулся. Фасад здания позади отделан был блестящим сплошным пластиком и такого же цвета затемненным стеклом. Сквозь него слабо просвечивали внутренние огни, совмещаясь с отражением неба и всей площади напротив, но число этажей по этим неравномерно размещенным огням не так просто было определить: то ли четыре, то ли пять. Из какой двери Зимин только что вышел, тоже сказать было трудно. Высоко наверху без надобности светилась среди дня красная неоновая надпись: «В экскурсии — сила».

Воздух можно было считать уже вполне прозрачным, но солнце все-таки оставалось закрыто пеленой или дымкой, его местоположение лишь угадывалось по более освещенной стороне неба.

Что-то неестественное было в этом чистеньком, непривычном виде, в каких-то нездешних фасадах, в этой безлюдности, в самом освещении. Что-то от декоративного макета, еще не вполне завершенного для намеченного действия: еще предстояло перерезать ленточку и допустить участников или зрителей. Люди были видны лишь поодаль, на улице, начинавшейся прямо от площади. Вот улица выглядела отсюда вполне узнаваемой: с разбитым асфальтом, обшарпанными стенами. Выход же на нее был и впрямь загорожен — пусть не ленточкой, а бечевкой, подвешенной между двух стоек. На ней болталась картонная табличка тоже со знакомой, хотя и не совсем понятной надписью: «Спецобслуживание». Почему-то она обращена была в сторону пустынной площади. У ближней витрины стояли двое парней в пятнистой форме, с современными представительскими карточками на груди, о чем-то переговаривались. Один, прислонившийся к фонарному столбу, оглянулся через плечо на Зимина.

Наклон улицы вниз несомненно указывал направление к реке, спрашивать дорогу тут не было надобности. Не хотелось не только заговаривать, но вообще соприкасаться со здешними обитателями. Было чувство, что это может лишь замедлить и даже затруднить возвращение — единственное, чего Зимин нетерпеливо теперь жаждал. Параллельным безлюдным переулком, который начинался тут же, левой, спуститься будет если не ближе, то во всяком случае надежней и проще, — решил он. Так всегда казалось проще перелезть через забор, чем входить в приглашающе открытую для тебя калитку...

Чего он не ожидал: что квартал по соседству с оживленной парадной улицей окажется не просто безлюдным — безжизненным. Окна двухэтажных в основном домов, каменных, иногда с деревянными надстройками, зияли пустотой; на некоторых еще отблескивали осколки разбитых стекол; нижние были заколочены досками. Двери оставались заперты, но проникнуть внутрь вряд ли составляло проблему. Стены местами были черны от копоти — кто-то, видно, баловался огнем; один дом выгорел изнутри и вовсе основательно, однако дальше пожару не дали распространиться. Предназначалось ли здесь все целиком на снос, начиналась ли частичная, но так и не продолженная реконструкция? Никаких признаков работы не было заметно.

Лишь кое-где дома и дворы огорожены были дощатыми строительными заборами. Но и они оказались отчасти закопчены. Как всегда, не упущена была возможность запечатлеть на пустых плоскостях надпись. «Эксы горилы дрожите мудилы», — читал попутно Зимин. «Где совершенства красота, там истины живет творенье», — выведено было размашистой краской из белой брызгалки. А ниже, не так крупно, черным фломастером, приписаны стихи:

«Если хочешь жить о'кэй,
Кулаком по морде бей.

Как устанет бить рука,
Начинай душить врага».

Еще дальше, простым мелом, значилось: «Я сделал 3 + бабу». И снова из белой брызгалки: «Иди по жизни просто и легко, вдыхая аромат свободы».

Местные счеты, местные премудрости, — отметил бегло Зимин. Мысль не желала задерживаться ни на непонятной цифре, ни на грамматической ошибке. Рожица с раскрытым зубастым ртом выражала то ли испуг, то ли недоумение; торчащие дыбом волосы составлены были из букв: «ЗАЧЕМ?»

Угнетающе действовала не просто пустынно́сть места, но омертвевшая беззвучность его. Ни голосов, ни шума близкой, казалось, улицы сюда не доходило. Не чирикали даже воробьи. Зимин уже начинал колебаться: не возвратиться ли ему, чтобы пройти все же по нормальной улице? Но свернуть к ней можно было, наверно, и по какому-нибудь следующему переулку, должен же был такой открыться дальше...

Ожидание не замедлило подтвердиться: из-за угла впереди выбежали двое парней, кинулись в разные стороны: один свернул направо и дальше за ближний угол, другой, в джинсовой куртке, нырнул прямо во двор напротив. Едва оба скрылись, как из-за того же угла появились сразу четверо. Эти были уже в синей форме, с настоящими автоматами в руках и даже в бронежилетах; лица были закрыты черными трикотажными масками с прорезями. Еще один, с телевизионной камерой на плече, сопровождал их трусой. Пока все остановились, озираясь, оператор забежал вперед. Теперь он продолжал съемки, пятясь.

Двое преследователей побежали направо, остальные повернули в сторону Зимина — и оператор с ними. Милицеская машина появилась следом из переуллка.

Писатель едва успел посторониться, чтобы не мешать неизвестным съемкам, когда подбежавший первым (знак

собачей морды на рукаве) схватил его за плечо, толчком развернул и подпихнул к стене, так что Зимин едва не стукнулся лбом.

— Руки за голову! Ноги раздвинь! Стоять! — гаркнул за спиной автоматчик и чувствительно ударил носком сапога по одной щиколотке, по другой — со второго раза попал прямо по болезненной косточке.

— Вы что...? — вскрикнул Зимин и не сумел договорить от боли. Он попробовал оглянуться — его ткнули в затылок так, что он все-таки чувствительно ударился лбом о стену. Грубые руки обхлопывали его грудь, плечи, бедра, ноги. Из нагрудного кармана вытащен был бумажник с документами и деньгами, с плеча сорвана сумка.

— Кто такой? Кого еще отловили? — послышался за спиной негромкий, но с интонацией начальственной, голос. — А ну, поверните его! Повернись, — повторил он для Зимина, хотя грубая рука уже опередила добровольное действие.

Перед Зиминим стоял человек в кожаной куртке, воротник клетчатой рубашки расстегнут. Моложавое лицо было румяным, узкая бородка без усов придавала ему вид не милицейский, скорей интеллигентный. Из-за плеча распорядителя уставлен был на Зимина объектив телевизионной камеры; машина стояла поодаль.

— Вы что?.. — сумел только повторить писатель, трогая пальцами ссадину на лбу. Она кровоточила. Полез в карман за носовым платком — автоматчик стукнул его прикладом по руке.

— Стоять! — напомнил он.

— Я не из вашей группы, — бессмысленно огрызнулся Зимин.

Распорядитель принял от человека в маске бумажник. Извлек из него паспорт, развернул. Правая бровь его удивленно поднялась. Повторялась уже знакомая мимика: взгляд из-под бровей сравнивал Зимина с фотографией.

— Вы действительно Зимин? — сказал распорядитель.
— Тот самый?

— Не знаю, кто для вас тот самый, — мрачно буркнул Зимин, прикладывая, наконец, платок ко лбу. Кровь отпечаталась на нем. — Того самого считайте не существующим. Если он вообще когда-то существовал. А вы, что ли, режиссер этих бандитских инсценировок?

— Ну, это преувеличенные слова! — с деланным смешком возразил человек в куртке. — Отставить! — прикрикнул он на статистов в масках. — Все прекратить!.. — Вынул из нижнего кармана сотовый телефон, быстро набрал кнопками номер и, чуть отвернувшись, что-то вполголоса проговорил в него. — Не ожидал вас здесь встретить, — возвратился он к писателю. В любезном его тоне слышался оттенок смущения, как бы опасливой неуверенности. — Как вы сюда попали? Я и не знал. Вы же не с группой? Да что я говорю! И даже не предупредили. Вас бы не просто встретили, как положено. Тут обсуждалась возможность специальной программы, как раз на случай, если приедете. Тем более накопилось столько материала для обсуждения. Но так просто не ждали. День все-таки суматошный, видите? Надо подготовить то, се, подчистить для профилактики, обеспечить порядок. А вас сразу вон куда занесло! Ну, это по-своему тоже понятно. Писателя должно тянуть не на те улицы, которые для других, вы согласны с таким выражением? Другие ведь, то есть читатели, от него потребуют такого, чего в жизни, на себе, предпочли бы не испытывать. Как вы думаете?

— Я не совсем вас пойму, — Зимин потрогал двумя пальцами лоб: кровь уже почти не текла. — Вы занимаетесь здесь каким-то искусством? Или это у вас жизнь такая?

— Не всегда отделишь одно от другого, — засмеялся уклончиво человек в кожанке. — Иной раз смесь, я бы сказал, алхимическая. Потому и без накладок, увы, не обходится. Не знаю, право, как просить за них перед вами.

Переусердствовали... совсем еще таким делам не обученные. Тем более у вас вид такой... — (Зимин невольно провел по щеке ладонью). — Простые люди смотрят, вы знаете, по внешнему виду. Что писатель для них, что не писатель — как различить? Они у нас за это получают, не сомневайтесь. Тем более если вы добавите необходимое слово. Любое возмещение можете требовать. Слышите? — повысил он голос для своих.

Те кучковались в сторонке, смотрели на них из черных прорезей. У одного самодельная, видно, дыра не была, как положено, обметана, нитка вылезла у глаза, и он подергивал головой, не понимая, что его раздражает. Сказать ему, что ли? — подумал Зимин.

— Нет, нет, — махнул рукой режиссер оператору, который не спускал с них свою камеру. — Перекур! Сейчас разговор не по вашей части. Занимайтесь пока своими делами... При нынешней технике все равно лучше тут лишнего не говорить, — пояснил он зачем-то вполголоса Зимину. Что-то, похоже, мешало ему в зубах, он все пытался среди разговора выдать языком, может быть, волоконце мяса. — Да, так насчет реальности и, как вы говорите, искусства... — Он все-таки достал зубочистку и справился, наконец, с мешавшей штучкой в зубах. Удовлетворенно попробовал языком изнутри: справился. — Реальность в новом искусстве недостаточно, как вы говорите, просто увидеть, надо ее создавать.

«Где это я говорил?» — вскинул вопросительный взгляд на режиссера Зимин. Тот все более расхотелся. Ему стало ясно, что неприятностей от писателя можно не опасаться, а воспользоваться случаем для разговора на профессиональную тему хотелось. В голосе его звучала уже такая артистическая вальяжность.

— Ну, вот, скажем, мы снимать предполагали вообще не здесь, для съемок определено другое место. У нас специально выделен, как вы знаете, полигон, в том числе для попутных художественных экспериментов. Там и обста-

новка освоена, и персоналу проще ориентироваться. Чтобы не выяснять каждый раз заново, где преступление, где наказание, где, черт возьми, профессиональные обязанности. Все должно решаться по ходу дела, естественно, без умственных рефлексий. Но когда подворачивается неожиданная натура, тоже бывает жаль упускать. Тем более если она, как у нас говорят, уходящая. А она не просто уходит, но все время растекается, расплзается, просачивается туда, где ей быть не положено. Надо пользоваться. Порядок пусть наводят, кому положено. Но вообще-то удерживать происходящее в разумных границах становится все менее возможно. Даже проконтролировать, уследить не удастся. Что, рвы рыть, мины ставить, колючую проволоку натянуть по всему периметру? Кто-то уже предлагал собак выписать. Но это все не художественные, как говорится, проблемы...

— Я все-таки не могу понять, — еще раз дотронулся до лба Зимин, — вы мне какой-то свой сюжет рассказываете?

— Сюжет, ну, конечно же, вы вовремя это уточнили! — словно обрадовался удачно подсказанному слову режиссер. — Хотя своим называть его у меня даже в мыслях не было, что вы! Я, может, сбивчиво излагаю. Потому что одновременно тут и реальная ситуация. Жизнь подбрасывает такой материал, такие фантастические развороты — придумывать не приходится. Катастрофические районы, как вы знаете, множатся, отовсюду устремляются к нам. Любыми путями, в обход правил, постановлений, законного отбора. Откуда они про это место прослышали, что? Не в газетах же прочитали. Ну, соответственно кому-то выплачивают проездные, подъемные. Созданы, как обычно, разные учреждения. Масса людей при них кормится. А где много денег, там без спекуляций не обходится. Ну и так далее. Скучная, неизбежная повседневность. Действительный сюжет для нас начинается, когда возникают счеты, конфликты. Жизнь перестраивается, как вот этот квартал, перемены к лучшему очевидны, но ведь на

промежуточном этапе они происходят неравномерно. Все оказываются в разном положении. Кто свое успел получить, жалуется, что незаконные дармоеды им на шею садятся, преступность разводят. Начинается борьба за порядок, за справедливость... Вам скучно слушать такие общеизвестные вещи?

Зимин неопределенно пожал плечами. Ему в самом деле хотелось уже скорей покончить с этим ненужным, не относящимся к нему объяснением. Но было в нем что-то и успокаивающее.

— Я понимаю, конечно, для вас это еще не сюжет, — удовлетворился отсутствием реакции человек в кожанке. — Исправлять жизнь — не наша задача, правда ведь? Для художника, как вы показали, любая действительность оскорбительна и неправильна. Морализировать бессмысленно. Мир не лучше и не хуже нас. Понятие нормы мутирует. То, что казалось недавно откровением, выглядит вдруг смешной пошлостью. Вы ухватили самую суть. Не я же все это придумал. Бессмысленно, в самом деле, рассказывать, например, этим гориллам, какой я в личной жизни добрый семьянин и как меня воротит от их непотребств. Но вот, мы оказались поставлены в отношения, когда они мне должны подчиняться. Можно назвать это правом художественной условности, есть у вас такое выражение? Никому, кроме художника, не могла бы прийти в голову идея психкомбината или, как вы называете, психодрома по полной программе, на уровне мировых достижений. Нам ведь не то что в будущий век входить — в новое тысячелетие...

— Послушайте, — наконец, спохватился Зимин, — к чему вы все время меня приплетаєте? При чем тут мои идеи? Какой психкомбинат? Какой психодром? Я не писал ни о чем подобном. А если какие-то слова употребил походя, значения они для меня не имели. Слова эти были вообще не мои.

— Ну, пардон, я может не так выразился, — без смущения признал режиссер и согласно выставил перед собой

ладони. — Я чувствую, вы просто, может, не со всем здешним разворотом успели освоиться. По-человечески эта жизнь нам может не нравиться — и кому она нравится? Вы тоже ее не придумали, я же не настаиваю. — Он осторожно посмотрел на Зими́на, точно ожидая опровержения. — Я с вами говорю сейчас как с художником. С кем же еще? Возьмите, например, это современное отношение к катастрофам. С одной стороны, техника позволяет и демонстрировать, и воспринимать их как впечатляющее зрелище, да? Ведь и прежде, скажем, войну можно было считать элементом необходимой жизненной игры. Игра, как вы замечательно показали, одно из ключевых слов. Но что значит подключиться к ней непосредственно? Устраивать что-то вроде экскурсий для разогрева жизненных чувств? Даже организаторы там, наверху, не ожидали, что проект окажется таким привлекательным. У нас его так и называют: проект Зими́на. Сперва думали опробовать, как эксперимент. И рекламы никакой специальной не было. Разве что, как вы говорите, на художественном уровне... Нет, молчу. Не сочтите за дешевый комплимент... редкая все же возможность — поговорить с живым автором. Но ведь рвутся сюда люди, рвутся, и ноздри, посмотришь, прямо дрожат от возбуждения, как всегда в прежние времена на охоте. Здесь, говорят, получаешь такой заряд, что на несколько лет хватит. У многих, говорят, потенция повышается. Побыв у нас, начинают детей рожать. Причем подделку, эрзац им не подсунешь. Из разряда вторичного, так сказать, искусства. Они ноздрей этой своей чувствуют, экраном их не накормишь. Миру, оказывается, не хватает чего-то такого, что вырабатывается только у нас, в таком качестве и масштабе, не говоря о художественном измерении. А мы сами не сознаем, не чувствуем, какую это имеет цену. Как, может, насекомые не сознают, какую они вырабатывают волну или запах. Не нарочно же, в самом деле. Мы ведь привычно стонем, жалуемся на свои страдания. А надо пользоваться и страданиями, как подлинным сво-

им богатством, добывать из него новую силу. Пока источники еще не иссякли. Мало ли как дальше будет. Такой художник, как вы, приходит именно здесь к главному: чтобы достичь чего-то на высшем уровне, страдать надо, страдать...

— Ну, это уже совсем черт знает что! — не выдержав, взорвался Зимин. — Вы что, и это у меня прочли?

— А у кого же? — не понял его возмущения человек в кожанке. — Великая мысль!

— Может, и великая, но не моя. И поняли вы ее как-то превратно. Все, что вы говорите, ко мне отношения вообще не имеет. Переиначено понаслышке, не знаю, кем, перемешано с чужими идеями. Какая-то бредяттина, извините.

— Нет, я, разумеется, не настаиваю. Хотя немного странно, почему вы так закипаете. Впрочем, известное дело. Автору, говорят, тоже не всегда все у себя видно. Другие имеют право расширять смысл, разве нет? Тут у нас, знаете, объявился один деловой тип, говорит, близко вас знает. Так он предложил учредить даже специальный приз вашего имени, за особые достижения. Лысый такой, круглоголовый... забыл фамилию... Сейчас спрошу...

— Не надо, — оборвал резко Зимин. — Еще мне этого не хватало! Придумывать от моего имени!

— Нет, за разрешением к вам обратятся, не сомневайтесь, — по-своему понял его человек с бородкой. — Авторские права для нас святы.

— Я сам еще напишу об этом, — сказал Зимин, как показалось ему, с угрозой. В былые времена таким обещанием можно было действительно припугнуть. Но тут же почувствовал, что действие произвел обратное.

— О! — расплылся режиссер в широкой улыбке. — Я даже заикнуться не решался об этом. Такая честь!.. Слушайте, раз камера уже здесь, может, сразу возьму у вас интервью? А? Ссадину мы подмажем, не волнуйтесь, никто не заметит. А лучше даже не замазывать, такой ваш вид

будет даже выигрышным. Почувствуют, каких вы здесь уже набрались впечатлений. Эй, где камера?..

— Нет, — сказал Зимин. — Мне пора уезжать.

— Вы разве уже спешите? Но теплоход еще нескоро, — он посмотрел на часы. — Еще есть время.

— Нет, — повторил твердо Зимин. — Только сумку верните.

— Сумку? Какую сумку? — не понял режиссер. — У вас была сумка? Кто ее взял? Кто взял сумку? — крикнул он и перевел взгляд с одного на другого. Те размножили это движение, оглядываясь друг на друга. — Ну, знаете! Если и в вашей команде есть такие... Вы не беспокойтесь, — обернулся он к Зимину. — Сумку мы вам найдем и доставим в полной сохранности. Сегодня же. Если вы, конечно, немного задержитесь. А виновник поплатится. Здесь не должно быть ни малейшей преступности. За что же мы боремся?.. Вот, — он увидел, что в их сторону уже волокли кого-то пойманного. Это был парень в джинсовой куртке. Бросили на землю неподалеку, ожидая, пока начальник освободится.

Режиссер поморщился, сейчас ему это было некстати.

— Что другое, а преступность будет искоренена, — сказал он, как бы объясняя. — Пусть не полностью, но в меру возможности и, главное, необходимости. Здесь проект мирового значения...

— Как мне теперь пройти к пристани? — перебил его Зимин.

— Вы все-таки решили?.. Ну, это ваше право. — Режиссер все же чувствовал облегчение от возможности закончить с не вполне понятной ситуацией. — А насчет сумки — оставьте, что ли, заявление. Или просто адрес. У вас визитная карточка есть? Ну, я понимаю, вы себя не хотите афишировать. Да мы вам и так, сами пришлем, непременно. А моя — позвольте вам вручить. — Он вынул карточку из нагрудного кармашка, с любезнейшей улыбкой передал Зимину. — Не в последний раз, надеюсь непременно

еще увидеться. А на улицу вот здесь, переулком, там через ворота и выйдите, это два шага. Я поручу вас проводить... Ну, как хотите. До встречи. Оревуар...

Человек, стоявший у проходных ворот, проводил Зимина равнодушным взглядом. Дежурил ли он здесь? Форма не выделяла его среди прочих.

Словно бы обострилось чувство, что улица, на которую он вышел, выгорожена была для демонстрации обычного течения жизни — той, что могла бы прежде казаться ему действительно естественной, нормальной. Он с недоверием смотрел на людей, проходивших мимо. Они смеялись, о чем-то беседовали между собой, останавливались перед витринами. Две девушки, смеясь, ели мороженое, одна облизнула свою порцию языком, лукаво покосившись на Зимина. Как будто попросту не существовало происходившего сейчас же, вот там, в переулке, за ближним углом. Ему еще слышались оттуда голоса, крики — для них они не звучали.

Что-то искусственное, недостоверное было в этой обыденности. Транспорт по улице не ходил, здесь было торговое оживление — пешеходная зона. На облезлых, требующих ремонта стенах заплатами из другого материала выделялись свежерыкрашенные участки иногда с пристроенными порталами, вывесками, облицовкой из полированного камня. У некоторых магазинов на тротуары выставлены были стойки с одеждой, лотки с разнообразными товарами. Зимин вдруг поймал себя на том, что безотчетно выискивает взглядом книжный магазин — словно еще на что-то надеялся, словно это еще могло что-то значить. Какие случайности, житейские совпадения могут повернуть жизнь невесть куда! Упустил простенькую возможность пойти по другой улице, вовремя спрятаться за углом. И думал бы: со мной этого не может быть. Не должно.

Как я его припугнул: напишу! — усмехнулся он над собой снова. — А если в самом деле, вернувшись, попробую

написать об этом? Раньше думалось: надо же что-то сделать — и что я еще могу? А теперь — какой это может иметь смысл, какое может произвести действие? Даже если прочтут. Нет, главное, написано-то будет не об этом... До чего-то я все еще, боюсь, не добрался...

Он не мог понять своего состояния. Площадь, недавно покинутая, светилась неопределенным пятном в конце улицы; неоновая реклама экскурсий краснела на пластиковом фасаде. Непрозрачная белизна заменяла, как прежде, небо, понемногу тускневшее.

Небольшая очередь перед бочкой с квасом заставила Зимина ощутить жажду. От бочки отходил в сторону резиновый шланг, там на асфальте уже натекла кисло пахнувшая лужа. Среди оберток от мороженого и сигарет прыгали воробьи, выискивая себе пропитание. Вид их и сам этот запах были необъяснимо приятны. Захотелось не просто попить — оживить вкус кваса, просто постоять в этом месте немного...

— А эта мне говорит: почему написано «Не для продажи», — рассказывала знакомой женщина впереди. — Я смотрю: не местная она, что ли, из приезжих? Первый раз видит гуманитарную помощь? Забыли, говорю, этикетку снять.

— Понапускали всяких, — согласилась другая. Левую руку ее оттягивала тяжелая полиэтиленовая сумка. — Порядка знать не хотят.

— Лишь бы ухватить задаром, что не положено.

— А я тебе говорила, месяц назад по гуманитарной программе в Италию ездила? Не показывала еще фотографий? Ну, сейчас покажу...

Приподняв ступню и колено, она с усилием пристроила на нем тяжелую сумку, вынула, как бы выкатила вверх кочан капусты, той же рукой высвободила из-под него небольшой альбом, кочан вернула...

Надо же, по магазинам с собой носит. Хочется показать, — подумал Зимин. Очередь была небольшая, но словно не двигалась.

— Ух ты какая тут европейская, — не торопясь, перекидывала страницы альбома женщина. — Нет, что говорить, разве мы раньше могли о таком думать? Эти говорят: производство у нас работало. Так ведь воздух зато был какой! Слабоумных нарожали больше, чем нужно.

— Не говоря о том, что в любой момент взорваться могло, — согласилась приятельница.

— Если кто приспособиться не сумел, пусть виноватят себя сами... Ух, какая тут на тебе блузочка! В Венеции покупала?

— Где же еще!

— А я, знаешь, слышала, кто на полигоне работает, в хорошем смысле звереет. За ночь, говорят, мужики по три раза.., — она похихикала, наклонясь к уху товарки.

— Нет, это кто как. Кто сюда на экскурсию, тот уезжает, посмотришь — ну, прямо, как новенький. Так у них же валюта, это другое дело. А мой за ними потом прибираться должен, та еще, скажу тебе, работенка. Он рассказывать не имеет права, да и не обязательно знать. Печей для отходов еще не запустили, а воздух должен быть все-таки чистый, семьи живут тут же, вонь допускать нельзя. Платят, не буду врать, хорошо. Но вечером придет — не то что три раза, а вообще...

— Что нас не касается, того для нас нет, — с готовностью согласилась подруга. — А знаешь, что я про эти экскурсии слышала?.. — Она оглянулась на всякий случай и только тут обнаружила позади Зимина. — А тебе тут, папаша, что надо? — прикрикнула она сердито. — Чего стоишь, слушаешь? А ну пшел отсюда!..

Зимин сам словно очнулся. Никакой очереди перед ним уже не было. Женщины стояли, оказывается, сами по себе, посреди улицы. Продавщица заканчивала работу, готовила бочку к закрытию...

Да что же я, в самом деле? — качнул головой он. — Пора отсюда. Пора. Какой еще квас! Ссадина совсем не чувствовалась, если ее не трогать. Скоро и заживет. А ще-

тина словно успела еще подрасти, она уже не кололась, обмякла. Бритвенный прибор остался в сумке. Что там было еще? — вспоминал он. — Зубная щетка, полотенце, дешевая мелочишка. Как они ухитряются пожить мимоходом! Искать в таких случаях бесполезно. Ладно. Главное, документы и деньги на обратный проезд оставили. Да, а ключи? И ключи остались в кармане. Ну их к чертовой матери! Сумка все равно истрепалась до неприличия, давно пора было купить новую. А что, кстати, у этого типа на визитной карточке? — нащупал он уже на ходу и вытащил посмотреть.

Режиссер, или как было его еще называть, в спешке не поглядел, всучил вместо своей карточки миниатюрную рекламу фирмы «Amalia». Четырехзначный телефон без адреса значился на ней, на обороте был убористый текст.

«Вы сумеете оценить особенно изысканный вкус наших бифштеков, — прочел Зимин. — Они приготовлены из мяса годовалых бычков, которых в последний путь на бойню отправляли в обитых изнутри материей фургонах, где приглушенно звучала музыка. По отзывам специалистов, наилучшего вкусового эффекта позволяла достичь музыка Баха, Моцарта, а также Бетховена».

Под фонарным столбом, прислонясь к нему спиной, сидел встрепанный седой человек в шляпе, на груди его висел картонный плакатик: «Гадаю по руке. Предсказываю будущее. Углубляю линии жизни». Артистичная его внешность была настолько знакомой — впору было вообразить, что ты этого седого уже видел на самом деле.

«Иди сюда», — поманил рукой шарлатан, уловив его взгляд. Бородавка на нижнем веке была целиком поглощена лиловым отеком. В бороде застряла белая, еще не подсохшая сопля.

«Нет. Хватит с меня», — движением головы отказался Зимин.

Внизу уже открывалась просторная водная гладь. Другого берега не было видно, даль оставалась все-таки зак-

рыта маревом. Похоже, здесь действительно разлилось водохранилище, не известное Зимину, не отмеченное на его устаревшей (как сам он) карте. У просторной нарядной пристани с большим бетонным причалом стоял такой же нарядный катер, точней даже сказать, теплоход, не защитного невнятного цвета, а, как полагается, белый. Такой же нарядный автобус поднимался от него вверх, видимо, с только что прибывшими пассажирами. Экскурсия, — примерил Зимин. — Какую в самом деле бредятину начал мне плести этот тип? Надо было оборвать его сразу. И эти бабы о том же болтают. Если тут есть достопримечательности, пусть, конечно же, смотрят. Но без меня.

Мысль о том, что теплоход может вот-вот отойти, заставила его ускорить шаг. Наклон улицы сам поощрял перейти почти на бег.

Звуки знакомой музыки уже доносились из мощных динамиков. Ароматами Венского леса дышала она, запахом развесистых лип, нежных фиалок, свежей травы, переливистым журчанием прозрачных ручьев, прохладой солнечных ледниковых долин ласкала она слух. Потом музыка оборвалась, зазвучал зазывной голос:

— Уважаемые дамы и господа, мы рады будем приветствовать на борту экскурсионного теплохода «Китеж». Вам достался редкостный шанс: наш рекламный рейс можете считать практически бесплатным. Время до отправления вы с удовольствием проведете у нас в ресторане, в баре, в игровом салоне, дискотеке, а при желании — в библиотеке с прекрасным набором современной и классической литературы...

Стюард в белоснежной куртке приглашающе махнул Зимину с борта. Тот, улыбнувшись, сделал рукой ответный знак. Даже не верится. Бывает же такое, — подумал он, чувствуя, как обнадеженно и тревожно забилось сердце. — Но ведь бывает! И так на самом деле просто. Почему я был почти готов усомниться в этом? Что-то сейчас закончится, пусть даже не вполне прояснившись — тебе на

самом деле не нужно, чтоб прояснялось; темневшая угрозой тучка рассосется, растает. Устроишься, как всегда, поудобней в приспособленном, привыкнувшем к телу кресле, нальешь в рюмку из давно заготовленного, отложенного пузырька. А там, захочешь — начинай разбираться, что бы хотелось вспомнить, что лучше не надо... Что такое еще у меня вертелось сейчас в голове?.. А... вдруг где-то здесь в самом деле окажется Сана? — вспомнил он.

— Эй, командир! — окликнул его откуда-то сверху знакомый голос.

Он поднял взгляд. Со взгорка неподалеку махал ему однорукий.

— Хотите глянуть? Идите, — позвал он.

— А что там? — спросил Зимин.

Возле небольшого служебного домика, теснясь у единственного окошка, чтобы по очереди в него заглянуть, стояло несколько любопытных. Зимин обернулся еще раз на теплоход. Не столько собственный интерес, сколько нежелание показаться напоследок невежливым побудило его подняться на взгорок.

— О, вы, я смотрю, уже получили крещение, — с удовлетворением оценил однорукий растерзанный вид писателя. — И расписания дожидаться не стали. Это по-нашему.

— А где ваш однополчанин? — спросил Зимин.

— Этот? — показал, уточняя, на свое лицо. — Он уже на своем дежурстве. День сегодня такой, рабочий для них, сами знаете.

Нет, ввязываться еще в разговор с ним, уточнять — не надо, — напомнил себе писатель.

— А что у вас тут? — спросил он.

— Посмотрите... Э, подпустите знатного гостя, — отогнал он теснившихся у окна. Те, оглянувшись, уступили Зимину место.

В полутемной каморке, в высоком прямом кресле, отблескивавшем какими-то никелированными частями, сидел боком к окну смуглый, совершенно голый человек.

Запястья его были прикреплены к поручням ремнями, на голове круглый колпак или шлем, от него отходили разноцветные провода. Такие же провода подсоединены были присосками к разным частям тела. Даже с расстояния чувствовалось, как тело это бьет крупная дрожь. Запахом устоявшегося страха несло из комнаты. Человек в голубом медицинском халате склонился, спиной к окну, над светящимся экраном.

— Что это? — спросил Зимин шепотом.

— Лечат, — также вполголоса пояснил за спиной голос.

— Зайца поймали, — уточнил однорукий.

— Что значит зайца?

— А с катера сняли.

— Он, что ли, без билета ехал?

— Еще не успел.

— Да кто ему даст билет, — подтвердил один из зрителей. Другие засмеялись согласно.

Зимин посмотрел на них. Это были по большей части небритые, потертого вида, мужчины. Не вполне еще зная, чего ждать от подошедшего, они держались на всякий случай уклончиво.

— У него вообще документов при себе нет, ничего. Неизвестно кто, — сказал однорукий.

— А здесь что такое? Милицейский пост? Медицинская служба? — попытался все же понять Зимин. — Что это за кресло?

— Медицинская, — кивнул тот, на кого он смотрел.

— Научная аппаратура, — пояснил другой.

— Чтобы правду узнать, — осклабясь с довольным видом, снова сказал свое мнение однорукий. — Как вы узнаете, только по-научному.

И пошептал на ухо стоявшему рядом. Тот на полшага отодвинулся от Зимина, но уперся в стоявшего сзади. Это было движение почтительности. Сказал, кто я, — понял писатель.

Он еще раз глянул в окно. Сидевший в кресле сумел повернуть в его сторону лицо. Глаза его были расширены недоумением или мукой. Долго смотреть на него было невозможно.

— Что значит правду? — попробовал хоть немного выяснить Зимин. — Чего от него хотят?

— Так он про себя ничего не говорит, — ответил один из стоявших. — Кто он есть.

— А кто он такой?

Доброжелательный смех был оценкой его юмора.

— Про то мы и говорим.

— Откуда же знать, пока он не скажет?

— Тем более он языка даже не понимает.

— Поймет, если хорошо постараться.

— Сейчас есть такие, своей нации не знают.

— Может, и знают, только не признаются.

— О, вы бы видели, как он сейчас дергался, — с удовольствием вступил опять однорукий. — Изо рта вот такой белый червь выскочил. Да, мужики? Не от боли, от страха.

— Боли он еще не почувствовал.

— А на экране эти зигзаги так и дергались, все выше, видели?

— Наука, что тут скажешь.

— Сколько раз я вам говорил: не мешайте работать! Пошли вон отсюда! — прикрикнул на них, наконец, из комнаты медик в халате. Он подошел к окну, задернул резким движением занавеску.

Зимин стоял, обессиленный непонятно чем. Он словно не мог вспомнить, что теперь должен делать. Этих людей не надо было слушать, они просто не знали, чем там занимается медик, несли вздор в меру своего понимания. Но почему приходится слушать опять именно такое, именно такое?..

Музыка снова донеслась с теплохода. Надо было заспешить туда сразу, — сказал он себе. — Мог же. Что опять

удержало? Какой еще встречи я хотел дожидаться, какой голос услышать?..

— Вот он где! — послышалось неожиданно. С берега к пристани спустился Бабай. Он запыхался от спешки. — Я же сказал: погодите там! Зачем сюда? Здесь пока делать нечего. До места еще нужно дойти. А вы тут застряли! Опоздать можно. Пошли скорее. Пошли же!..

8

Упустил момент, ведь только что мог! — в тоскливой растерянности оглядывался Зимин. Стюард в белоснежной куртке снова помахал ему рукой с борта и что-то стал объяснять подошедшему товарищу. Кучка темных людей на пригорке молча наблюдала, как Бабай, ухватывая писателя то под локоть, то попросту за рукав, увлекает его от пристани вверх, по узкой дорожке.

— Куда вы меня тащите? Зачем? — морщась, пробовал тот высвободиться; оказывать слишком резкое сопротивление на виду у зрителей было нельзя, неизвестно, как бы они это могли истолковать. Правильней было сначала отдалиться от посторонних взглядов, объясниться разумно, спокойно, отцепиться от этого возбужденно оскаленного, с болезненно светящимися белками глаз человека.

— Так ведь пора уже. Нельзя опаздывать. Время не ждет. Вы, я смотрю, без меня успели ввязаться? — удовлетворенно отметил и он ссадину на лбу Зимина. — Ну, эта партизанская самодеятельность не для вас же. Пошли... пошли. — Он даже подтолкнул его сзади в плечо, легонько и с уважительной фамильярностью, как уже почти своего, хотя и повыше чином. — А то эта блядь хотела мне запудрить мозги, что вы здесь вовсе не для того, вы не тот человек, как мы думали. Другой. Мы вам никто, и ждать от вас ничего не нужно... Все ищет, как обдурить, придорожная падла. Я про нее ведь тоже знаю, не думайте. Чем

она раньше промышляла, еще когда девчонкой была. Ее к дальнобойщикам-шоферам в машины подсаживали. Голосовала на шоссе, просила подвезти, да? А по дороге охмуряла, заманивала, куда нужно. Там подельники уже поджидали, раскурочивали контейнеры. Попутно ее, конечно, использовали. И как такую не использовать? А потом свои же ее кинули, как говорят на их языке. Топилась она или травилась, вот этого я не знаю. И какая разница? Говорит: ничего не помню. Это удобно. Здесь многие так говорят. Если бы я мог не помнить, что было, пока сюда не попал. В прежней, как у нас говорят, жизни. Что было со мной час назад, могу забыть начисто, а вот ту, другую жизнь... Она, что ли, пробовала и вас охмурить? Это ее специальность — охмурять и заманивать. Ее натура. Как будто вы сюда за этим приехали. Вас здесь не для того ждали, верно?..

Что он от меня хочет? — осоловело соображал Зимин. Руку высвобождать уже не было надобности, голос подгонял, подталкивал в спину сам — но как было высвободить мысль из нарастающего шума крови? Зачем он это наплел про Сану? Теперь надо его слова считать правдой. Пусть так. Все может быть правдой. Все про всех. Без усилия, сами собой поворачиваются, переводятся в мозг соединения, перестраивается взгляд. Только возникает ли из этого действительное понимание? Наоборот, увы. Непонимание скорейпомогало справиться с угрозой, с чем-то, что явственно тут же рядом присутствовало, подступало вплотную, но не осознанное, не оформленное, расплывалось, проходило мимо. Ты не так откликался, это сбивало с толку чего-то от тебя ожидавших, чего-то желавших добиться — выскальзывал нечаянно, сам не зная, как.

Он безотчетно ускорял шаг, точно это помогло бы ему оторваться от неотступного, сумасшедшего, подгонявшего сзади голоса. Нельзя же было идти, заткнув уши.

— Разве можно так жить, как мы? — говорил Бабай ему в спину. — Бьемся вслепую, кто как умеет. Раньше хоть зна-

ли: есть Зимин. Пусть нас совсем от него отгораживали, но он есть. Значит, рано ли, поздно должен сказать, что нужно. Кто-то с высоты должен давать ориентацию. С нами ведь делают, что хотят, мы только ушами хлопаем. Они уже думали: все, избавились. Нет Зимина. А он — вот он!

Торжествующий радостный смех захлебнулся кашлем.

— Вы не волнуйтесь слишком, — попробовал успокоительно сбить этот непосильный напор писатель. Идти приходилось от берега куда-то вверх, задышка мешала говорить, но остановиться не удавалось. — Все действительно непонятно, неясно. Не только вам, мне тоже, не думайте. Разобраться на месте ничуть не проще, вы совершенно правильно выразились. Надо, как вы говорите, отдалиться на высоту, на расстояние. Или на время...

— Ну, я же знал, что вы поймете! — восхищенно согласился тот и поддержал Зимина сзади, то ли помогая идти, то ли мягко подталкивая, чтобы не останавливался. — Для понимания нужна высота, на месте можно только почувствовать, войти в волну. Заряд получить, как здесь говорят. Никакой умственной работой этого не заменишь, никакими словами не объяснишь. Да что я вам говорю, вы потому и приехали. Сейчас некоторые, я знаю, приспособились дрочить вприглядку, нажимают кнопки, пускают слюни на цветные картинки. Вам же нужно запах в себя впустить, дрожь воздуха. Это я понимаю, запахи задевают струну раньше мысли. Вы еще в отстойнике у них не были? Ну, и не обязательно. Они думают, с этого лучше всего начинать. Не через глазок просто глянуть, а именно вдохнуть, чтобы ужас тел этих почувствовать. Вы нанюхаетесь не такого. Я же вас поведу неофициально, вы с ихней экскурсией так не врубите. Они ведь должны все-таки ограничивать. Страховку платить лишний раз тоже не хочется, в убыток себе. Коэффициент риска в оплате по договору учитывается, но это на добровольный выбор. А что такое по нынешним временам риск? Когда в любом метро у вас, как передавали, может взорваться. Если сам

этого риска не ждешь и не ищешь, ничего внутри не успевает возникнуть, да? Или когда стреляешь издали, без опасности. Кто-то падает, а попал ты или не попал, нет уверенности. Может, притворился, изображает. Они же тебя не подвезут вплотную удостовериться. Скажут: участвовал, порцию чувств, как хотел, получил? И все. Нет, вот с близкого расстояния, когда видишь, как мозги брызнули — тогда в крови действительно закипает. Входит в тебя что-то такое... да кому я толкую? А на большом расстоянии действие, конечно, рассеивается...

Звучание слов уже почти нельзя было отделить от шума крови в висках. Так бывает на высоте или при долгой гонке, когда не хватает воздуха, но продолжаешь двигаться отчасти автоматически. Дорога, расширившись, все поднималась вверх, вокруг был развороченный пустырь. Кучи грунта, мусорного щебня навалены были повсюду. Гнутые арматурные прутья торчали из бетонных обломков, груд битого кирпича. Большие ржавые трубы лежали одна на другой у края разрытых когда-то, но давно обвалившихся, почти засыпанных траншей. Некуда было свернуть. Удалось, оказывается, втянуться в ритм, но шаг становился все-таки медленней.

— А верно я слышал, у вас выстрел две тысячи стоит? — попробовал Зимин наугад подладиться под бредовую речь — словно, совпав с этой логикой, можно было вызвать резонанс, овладеть разговором, вывести его на нужное направление. Ему становилось жарко. Он все-таки задержался, чтобы снять куртку. Бабай нетерпеливо прошел вперед.

— Обижает, начальник! — радостно обернулся он на ходу. Оскал его стальных зубов был таким же восхищенным, как блеск глаз. — Эти рассказы не про нас, не слушай. Без тарифной системы у них, конечно, нельзя. Если не попал с первого раза, надо, конечно, доплачивать. Рыночная экономика. Это само собой. Но мы ихними тарифами подтираемся, мы не ради же денег. Я, может, когда

волнуюсь, говорю не совсем подряд, не как надо. Простите. Вы сами выстроите, как Зимин хотел. Для общего понимания. Нам только этого не хватает... Давай свою курточку, я понесу, — нечаянно соскользнул он на «ты». — Давай, давай.

— Вы действительно слишком возбуждены, говорите так сбивчиво. Я, может, не все понимаю, — проговорил Зимин осторожно, еще не зная, удастся ли обойти по краю какой-то совсем уже близкий провал — от него дышало пугающим холодом. — Я тоже в состоянии не самом лучшем, после такого трудного дня. Вы извините. В голове все так или иначе можно разместить, совместить. Экскурсионную программу с центром реабилитации. Но когда стрельба, как вы говорите, на самом деле?.. В кого стреляют? Зачем? Речь может идти о деньгах, может идти об идее, это я способен понять...

— Ну конечно же! — оборвал его Бабай, так же восхищенно оскаливаясь. — Я же знал, вы в самую точку попали. Читаешь их газеты, со всякими лозунгами, рекламой... чьи они на самом деле, надо еще поискать, так просто не докопаешься... — деньги для них ни при чем. Все насчет того, как общую силу восстановить, освежить народную кровь, наладить жизнь, как всем хочется. И что весь мир, значит, начинает сходиться с ума, а мы должны стоять, как герои, не жалеть своей жизни ради общего дела. Как будто мы когда за свою жизнь дрожали. Мы совсем про нее успели забыть. Голыми руками, в одних брезентовых рукавицах на расплавленной крыше реактор гасили. Тут много собралось таких, на той стороне, можно сказать, побывали. Возвратились, оглядываемся. Что такое вокруг? Почему? Никто объяснять не хочет. Собирают себе конгрессы международных защитников, с выпивками, оргазмами, трофеями. Экскурсантов мордатых возят, деньги неизвестно какие крутят. На нашей же крови. А ты здесь чужой. Ни работы, ни жилья, ничего. Кроме слов, чтобы тебя опять использовать. Вторично переработать. Смотрят на

тебя, как на пустое место. Я одну ихнюю сволочь схватил вот так за грудки... нет, я только показываю. Ты пробовал, говорю, как пахнет горелое мясо? Подходишь к танку, еще горячему, люк только ломом можно открыть. А там за рычагами дружок твой сидит. Весь черный, но узнать можно, как негатив, до мелкой черты. Потом ветерок подул — и нет его. Представляешь? Нет. Кучка пепла осталась, можно в каску ссыпать. И запах, запах... О, говорю, ты даже не выдержишь такого, что у меня внутри, в черепке. Идешь вот так по улице, вокруг люди, такие вроде, как ты. Мороженое едят, разговаривают, и на тебя тоже смотрят, как целки нетронутые. У них даже в умах не поместится, что с тобой было, на что ты способен, какие картинки внутри глаз прокручиваются. А руки сами собой с поворота, чтоб не дышал тебе в спину неизвестно кто — хэк!.. Прости, друг, я ведь не по-настоящему...

Зимин вынужден был присесть на корточки, держась обеими руками за шею. Не утратить удар в самый последний момент решительности, можно было бы вовсе упасть.

— Извините, — бормотал Бабай, склоняясь над ним и придерживая. — Это я ведь так просто... автоматически. Организм не выдерживает, когда тебе дышат в спину. И еще смеются, как будто я чокнутый. Я говорю: ты свои смехуечки кривые бросишь. Я тебя слушать заставлю, если ты даже не хочешь, падла. Думаешь, мы совсем уже дохлые, как полусонные мухи? Ни на что не способны? Думаешь, сил хватает, чтобы только терпеть? Но внутри-то еще не остыло, еще раскалено... Извините. Я ведь еще ничего. Но ведь нельзя же так дальше. Чтобы все шло, как есть. Надо повернуть по-другому, правильно. Тем более, вы тут. Вставайте. Нам еще совсем немного пройти.

Зимин с трудом, медленно выпрямился. Место, где они теперь находились, было когда-то производственной территорией. Отработанный шлак заменял почву. Бетонный корпус неподалеку зиял пустотой раскрытых ворот, поверху чернел сплошной ряд таких же пустых окон. Кир-

пичный корпус поменьше был рядом. Заржавелые рельсы подъездных путей терялись среди бурьяна. Технические сооружения или станки, вызывавшие мысль об одичалых современных скульптурах, возвышались над зарослями в разных местах, как принадлежность пейзажа; пятна синеватой плесени проступали на них. Бесплезно было искать взглядом прохожих, надеяться на вмешательство.

— Дошли. Хватит, — помотал Зимин опущенной головой. — Что вы мне показываете на запястье, у вас же часов нет? Мои тоже остановились. Какое время? О чем вы говорите? Я, видно, все-таки не могу войти в эту вашу волну. Сейчас не могу, извините. Меня уже дома ждут.. жена, дети. Я предупреждал, что вернусь через день. Будут волноваться, если задержусь.

Он говорил, не поднимая глаз на Бабая, не желая видеть усмешку человека, знающего цену вранью. Некого тебе было предупреждать, куда едешь, и никто не спохватится, что тебя нет, никто не станет тебя искать, нелепый, беспомощный одиночка. Да и спохватится кто, не будет знать, где...

Звук показался Зимину похожим на громкий хлопок. Прежде, чем он понял, что это выстрел, острая боль обожгла ему лодыжку. Он не успел посмотреть, что это, откуда — Бабай насильственным рывком увлек его за ближний кирпичный угол.

— Балуются, так-перетак, раньше времени, — выматерился он беззлобно. — Поторапливают, что ли? А то мы сами не знаем!.. Ты что нас подгоняешь, как не своих, э? — погрозил он кому-то из-за стены кулаком и высунулся осторожно, не полностью.

Зимин из-за его затылка поглядел в ту же сторону. (Красный шрам черепной раны проступал под черными взмокшими волосами). Из пустого проема наверху противоположного здания скалилось уродской довольной усмешкой обожженное лицо. Зимин различал эту усмешку с необычайной четкостью, невзирая на расстояние, но веселье

обозначал эта оскал или беззвучный плач? Щиколотка под носком кровоточила, сам носок был в крови, но не разорван. Видимо, в это место попал острый осколок камня, выщербленный выстрелом.

— А? Партизан! — сказал Бабай уже для Зимина, поворачиваясь; в тоне его был оттенок скрытого удовлетворения. Наклонился, удостоверившись в неопасности раны. — Вы не сердитесь, он снайпер-загонщик высшего класса, никогда не попадет, если не нужно. Он выстрелом гвоздь забить может. Большой, конечно. От маленького только дырка останется. Ну, просто нетерпеливый, напоминает нам, чтоб не задерживались.

Он выпрямился, без надобности отряхнул брюки.

— Пошли, — подтолкнул Зимина в плечо. — На месте перебинтуем, у меня при себе ничего нет. Держитесь к стене поближе. Вы какое оружие больше любите?

— Оружие? — тот засмеялся невольно. Смех ли, неодолимая ли дрожь в ногах лишали его способности сопротивляться. Призыв держаться ближе к стене смысла не имел. В полуметре слева вдоль нее шли на разной высоте трубы. Полуистлевшая изоляция на них была покрыта налетом той же синеватой плесени. Тягостный смрад исходил от нее. Местами изоляция разлохматилась, свисали толстые грязные клочья. — Я, конечно, стрелял из винтовки, когда-то, но в учебную мишень, не более. А все другое — разве что в воображении. Как в детстве, в юности, когда раскидываешь всех вокруг, а сам поднимаешься после всех ударов, которые могли превратить тебя в идиота. В лучшем случае. И ведь затягивает, затягивает больше, чем ты можешь вообразить, помимо рассудка, куда-то, откуда уже не знаешь, как выбраться. Как будто обступает именно то, чего ты втайне боишься. Но я ведь о таком и думать не мог. Мне просто в голову придти не могло, откуда? Заложено, что ли, от рождения, вживлено в подкорку или я не знаю куда, требует выхода? Снова и снова, из века в век. Не в чьих-то отдельных мозгах изъян. Спро-

тивляйся, не сопротивляйся, понимай не понимай. Можно ведь, думаешь, по-другому, разумно, мы на самом деле вовсе не так ужасны, мы всегда надеемся, хотим лучшего. Как это объяснить?..

Мерзкая скользкая тварь тяжело шмякнулась сверху на плечо Зимина, задев левое ухо. Он передернулся, сгоняя ее рукой. Рука угодила в податливую слизь. Бабай помог счистить с плеча кусок разложившегося вещества. Грязный мокрый след на рубашке все же остался.

— Капает, до сих пор, — показал Бабай на почернелое ведро, кем-то поставленное у стены. Оно до половины уже было заполнено жидкостью. Из подтекавшей трубы, поперечно проложенной здесь над самыми головами, плюхнулась в него звучная капля, следующая медленно набухла на обвисшем ошметке изоляции. — И ведь собирает кто-то себе, травится. Тут земля на метр в глубину этой дрянью пропитана. А трава все равно растет, и цветочки цветут, и козы пасутся, и младенцы рождаются. С жизнью ничего не поделаешь, вы правильно говорите...

Он присел на корточки, тронул край ведра пальцем, понюхал, покачивая головой. Слышал ли он, что я говорю? — в отчаянии подумал Зимин. Затылок с красным рубцом среди волос был одновременно отвратителен и незащищен. Кусок выпавшего из стены кирпича лежал на земле. Наклониться так, чтобы не привлекать внимания, точно хочешь проверить щиколотку, уже совсем окровавившую носок. Поднять кирпич, разогнуться...

Вспышка боли в голове заставила его прислониться к стене, чтобы не упасть.

— Пошли, пошли, — сказал, выпрямляясь, Бабай. — Теперь сюда, за угол. Так будет, думаю, ближе. Тесновато вроде, зато сократим дорогу. И не так опасно...

Идти приходилось теперь между двумя почти соприкасающимися корпусами, обтирая боками стены. Чем дальше, тем они теснее сближались. Светящаяся щель выхода впереди все отдалялась. Зимин уже не шел, а

протискивался боком, повернув голову назад, в сторону Бабая.

— Чего вы от меня ждете, чего хотите? — все еще надеялся он убедить его какими-то логичными доводами. — Почему вы решили, будто я здесь что-то могу? Что в этой жизни от меня может зависеть? Не я же ее придумал... А знаете, что до меня дошло однажды? Я поймал себя не то чтобы на спокойствии — на чудовищном безразличии. Безразличии к смерти. То есть умом вроде бы понимаешь, что должен смерти бояться. Этот страх заложен внутрь человеческого существа самосохранительной природой. Уж я-то его помнил. Свобода от этого главного страха в юности казалась такой желанной, недостижимой. Но вместе с этим страхом исчезло из жизни что-то еще. Вначале показалось, я перестал понимать собственные прежние чувства, то, что когда-то восхищало, радовало или, наоборот, вызывало отвращение, ужас, стыд. Нет, понимания как будто вроде даже прибавилось. Но оно обесценивало эти чувства, удовольствия, даже беды, свои и чужие. Вот что до меня вдруг дошло: я вполне мог не жить. То есть, когда я хожу, дышу, двигаюсь, насыщаюсь едой, получаю впечатления... как, может, на этой неизвестной экскурсии... это, оказывается, еще не совсем значит жить. Вот даже сейчас: все органы работают. Я чувствую боль. Вот же она. Значит, на самом деле. Но боль рано или поздно пройдет. Не бывает же, чтоб все время болело, нельзя. Как же удостовериться тогда?..

А ведь он слушает, слушает, — вдохновлялся писатель. Что-то происходило с его лицом. Взгляд становился все больше растерянным, непонимающим, но уже не тем, безумным. Надо говорить, говорить дальше, действует убедительность если не логики, то голоса. Главное не останавливаться, говорить, говорить, чтобы отвлечь от хода собственных мыслей.

— И при всем этом, оказывается, я не могу даже ударить человека по голове, — продолжал он, с усилием про-

тискиваясь между стенами дальше. — И раньше не мог. Сколько ни воображал. Но именно воображение не позволяет, вот что до меня не сразу дошло. Потому что удар заранее отзывается в собственном черепе. Хотя говорят, воображение помогает уйти от жизни. Заменяет ее. Я сам так думал. Но ведь оно, оказывается, бывает разное. Мое, наверно, позволяло мне все-таки держаться, оставаться самим собой... не расплзаться вместе с жизнью вокруг... Пойдемте назад, — сказал он просительно. — Я дальше не могу. Мы окончательно тут застрянем...

— Один шаг остался. Полшага, — прохрипел Бабай. Лицо его покрыто уже было испариной. Похоже, протискиваться ему было еще трудней, чем Зимину, он был более широкого телосложения. — Гляньте... вон ведь... уже прямо за спиной...

— Я голову не могу повернуть, — сказал Зимин и прикрыл обессиленно глаза. — Стою, не стою — не знаю. Ноги не держат, а все равно не падаю. Стены не дают. Пусть так. Знаете, что написал мой однофамилец? Может, написал, без меня всем будет только лучше...

Полухрип, полуклекот послышался Зимину. Он открыл глаза. Что-то происходило с Бабаем. Лицо его было искажено гримасой. Расширенные зрачки стали совсем пустыми, безжизненными. Голова дернулась. Он ударился виском о стену и грузно стал оседать — упасть ни в какую сторону не было возможности.

Припадок, — понял Зимин. — Вот оно с ним что. Так я и чувствовал. На губах проступила пузырчатая, с примесью крови, слюна.

Собрав последние силы, Зимин дернулся — и едва не упал, высвободясь. Выход, оказалось, был действительно за спиной.

Что же теперь делать? — соображал он лихорадочно. Бабай затихал, открытые расширенные глаза не воспринимали уже ничего вокруг. — Он сейчас может заснуть... хорошо бы. Придет в себя, сам выберется. И не вспомнит,

что было. Я же его вытащить все равно не могу, ничем не могу помочь...

А куртка где? — опомнился тут же он. — Там ведь все документы, деньги. Осталась где-то за ним... не добратся. Только если найти кого-то, позвать на помощь...

Но он уже сам сознавал неубедительность этой мысли. Не надо было ему никого искать — только бы овободиться, уйти...

Эта возможность вдохнула в него внезапные силы. Пригибаясь на всякий случай, сам не зная, зачем, он добежал до каких-то пустых, разбитых контейнеров — и дальше, прячась неизвестно от кого за попутные укрытия, умеряя шум шагов по громкой щебенке...

9

Уйти, уйти! — с лихорадочным торжеством билось у Зимина в висках. Как есть, без документов, без денег, в обезображенной до неприличия одежде, с окровавленным носком, неизвестно кто. Для других — неизвестно кто. А для себя? Глупый вопрос. Какой ни есть — главное, вырвался из чужого, опасного бреда.

Время от времени он останавливался, прислушиваясь, не хрустят ли позади наступающие шаги. Но мало было остановиться, чтоб стало тихо: мешало собственное дыхание. Хрип его заполнял все пространство, размножался в нем, гулко усиливался; надо было хоть на миг его задержать. Долго вынести распирающую грудь тишину не удавалось. Хрип, хруст отработанного шлака, грохот шагов возобновлялся, биение сердца отдавалось в окружающем воздухе.

Открытые места он предпочитал обходить стороной, держался поближе к попутным стенам, к остаткам бетонной ограды, но при этом старался не терять направление под уклон, который должен был вывести его обратно к

реке. Надежда эта оказалась, однако, обманчивой. Спуск сменился подъемом, точно, перевалив незаметно холм, надо было подниматься на новый. В какую, однако, он шел сторону? Может быть, как раз от реки? Потускневший сумеречный небосвод был теперь равномерно серым и не позволял определить сторону света.

За глухой стеной крайнего заводского строения, почти вплотную к нему присоседилось несколько жилых, одноэтажных и двухэтажных домов. Они словно были вписаны внутрь производственного пейзажа вместе со своими садиками, бытовыми постройками. Толстые трубы проходили из цеха в цех поверху над их крышами. Сам поселок имел вид тоже необитаемый, местами полуразрушенный. Дранка открывалась под осыпавшейся штукатуркой. Обнажены были интимные внутренности былого жилья: остатки обоев на уцелевшей стене с невыгоревшими прямоугольниками висевших здесь прежде картин или фотографий; плитки белой керамики на бывшей кухне; рядом накренился, еще держась за трубу, развалившийся унитаз. Старомодная железная кровать на втором этаже свесилась над пустотой одной ножкой — кто-то внезапно вскочил на ней среди ночи, не понимая, что происходит.

Зимин пробирался среди этих домов, томясь чувством, что здесь еще дышит остатками жизни. Вид трупа бывает не так ужасен, как вид изуродованного, не до конца отмучившегося тела. Сквозняком выдувало из пустого окна легкую занавеску, она сохраняла еще голубой чистый цвет — цвет утренних сновидений. Запах свежего, не успевшего прокиснуть дымка заставлял вздрогнуть ноздри.

Наконец он вынужден был остановиться, упершись в тупик небольшого внутреннего дворика. Под обломанной полусохшей яблоней стоял вкопанный в землю столик, где только что пили освежающий летний чай. Уцелевшая чашка перекачивалась сама собой на боку от каких-то внутренних сотрясений, возле разбитого блюда. Таз с налетом мыльной засохшей пены и зубной пасты стоял под

рукомойником на табурете, крашеном белой краской. Металлическая, с мятыми ржавыми боками, бочка стояла у стены. Вода из нее вытекла через пробитую в середине дыру, но рядом — вот уж что неожиданно — следы свежего полива темнели на вскопанной грядке с уже разросшейся зеленью редиски, моркови и лука. Да, словно кто-то совсем недавно покинул этот продолжавший жить дворик или затаился где-то неподалеку, в укрытии, чтобы, переждав неизвестное бедствие, обосноваться здесь снова.

Зимин глянул в дыру окна. За такой же дырой в противоположной стене открывалось просторное поле с огородной зеленью, пугало на шесте с ночным горшком вместо шляпы. Значит, там должно быть настоящее жилье и нормальные люди, — стало вдруг Зимину ясно и просто. Достаточно было пройти напрямик сквозь внутренность дома. — Что я себе вообразил? Наслушался невесть кого! Зачем непременно думать о бедствиях, стихийных или производственных, об аварии, катастрофе, взрыве, не говоря уже о людских безумствах? Все это запустение может означать не более чем остановку ненужного производства, перспективу нового, уже намеченного, но пока не осуществленного строительства, перемен к нормальной жизни, в конечном счете.

Он без особых усилий залез на невысокий подоконник, спрыгнул вовнутрь. Пришлось почти сразу наклонить голову, чтобы не стукнуться о свисавшую с потолка деревянную балку. Одновременно приходилось смотреть под ноги, чтобы не ступить в кучку засохшего кала. Этих кучек здесь было навалено множество, но запаха они уже не издавали. Странно, как будто нос заложило, — отметил Зимин.

Он словно вообще вдруг перестал ощущать запахи. От этого окружающее казалось не совсем настоящим. Ты осторожно, медленно продвигался внутри декораций для съемок — вроде тех, о которых говорил розовощекий, с

бородкой. Как он называл эту натуру? Уходящая, да. Сколько ты ее уже навидался — не сейчас, когда-то, давно.

Из распоротого дивана торчала пружина и клочок ржавой ваты. Торс голого целлулоидного пупса с единственной ногой валялся на полу среди разбросанных школьных тетрадей, грязных листов гербария с засохшими цветами и зеленью, желтых, пыльных, ломких газет, для подтирки уже не годных, с новостями недостоверных времен. Из распаханного альбома грудой вывалились фотографии — не надо было наклоняться, чтоб посмотреть на них. Они не имели отношения к реальности, только должны были создавать впечатление документального правдоподобия. Как в жизни. Бутафоры о правдоподобии позаботились от души, но, пожалуй, переборщили, — думал Зимин. Вот, на полу зачем-то даже подтек краски, похожей на липкую, как будто еще свежую кровь... и на стене брызги. А в углу это что? Прямо всамделишный труп полусгнившей собаки, и мухи на животе копошатся совсем настоящие. Как они любят пощекотать нервы всякими этими трюками, ужасами, поделками в отвратительной краске! А главное, постоянным ожиданием неизвестно чего. Вдруг сейчас, вот из этих дверей сбоку появится зубастая пасть. То-то захочется поорать. Говорят, это производит даже полезное действие — но завершиться все должно, разумеется, благополучно. В этом деле иначе не полагается, иначе непонятно, зачем. Как невозможна гибель всерьез, пока ты жив. По-настоящему, конечно, бывает у кого-то, где-то, но не с тобой же, не здесь, не сейчас. Запахов-то все-таки нет, вот чем выдает себя декорация. Разве что мух может обмануть. Этот припадочный не зря только что о запахах толковал. А ведь вот на полу картина в сломанной рамке: закат на берегу озера, лодка под розовым парусом плывет к светлому замку с башнями. Насколько это более жизненно!..

Звук отдаленного мотора заставил его, вздрогнув, очнуться. Вот оно!... наконец-то! Чуть было не замечтался

тут, замер, остановился. С какой это слышалось стороны? Надо было заспешить навстречу, выбраться, черт побери, отсюда...

Звук, приблизясь, затих. Зимин выглянул из оконного проема. Посреди огородного поля, на невидимой отсюда дороге стоял автобус знакомого экскурсионного вида.

Чувство внезапного сомнения заставило Зимина в последний момент от окна отпрянуть. Сердце заколотилось. Он еще не осознал, не объяснил причины этого страха, проникавшего в колени, в живот, в кончики пальцев. Осторожно, одним глазом высунулся из-за простенка...

Десяток разношерсто одетых мужчин вывалился из автобуса. Преобладали спортивные яркие костюмы, но на ком-то была цветастая рубашка, на ком-то просторные пятнистые штаны, Один здоровенный широкоплечий бугай щеголял в шортах, с ковбойской шляпой на голове; у другого голова была обмотана платком вроде клетчатого. И эти на какие-то свои съемки, — неуверенно подумал Зимин. Знакового в кожанке среди них он не видел, это была другая группа. Кто-то небольшого роста, с отблескивающим круглым черепом уже объяснял статистам задачу, показывая жестами в разные стороны. А где у них камера? — все искал взглядом Зимин. И тут же увидел появившиеся в руках у одного за другим карабины.

Бугай в шортах первым, не дожидаясь окончательных объяснений, направился в сторону Зимина. Он шел медленно, но как бы пританцовывая, держа карабин в правой руке наизготовку, вверх дулом...

Да что же это такое? — лихорадочно пытался собрать мысли Зимин. — Дело не в камере... даже если б она была. Не на съемки прикатила эта экскурсия, тебе же именно это хотели втолковать, показать на практике... ты даже не пожелал допустить, что такое возможно в действительности. Думал, что вывернулся, ушел, перехитрил чье-то сумасшествие, отстоял свое. И ведь какую невнятицу нес, на что угробил время, быть может, спасительное. Потому

что тебя хотели довести до безопасной позиции, ты просто не захотел, не смог понять. Да еще терзался непонятно чем, чуть ли не виной, угрызением совести...

Одиночный раскатистый выстрел раздался за стеной, совсем близко. Зимин не удержался, выглянул снова из-за простенка — и едва успел отшатнуться. Бугай в шортах стоял уже в нескольких шагах от дома. К счастью, он в этот момент сам оглянулся на выстрел, прислушиваясь. Рыжеватая поросль отблескивала на голых незагорелых ляжках. Челюсть жевала механическую резину. Кончик висячего светлого уса слипся от выпитого недавно пива.

Спрятаться, скорей спрятаться, — понял Зимин. Это в самом деле что-то чудовищное... чудовищный аттракцион. Охота на живую дичь. Тебя соблазнили принять в ней участие, причем на особых правах, как знатного приезжего, так что ли? Даже предлагали оружие. Чтобы взбодрить застоявшуюся кровь, оживить чувства... как это они выражались? Или при надобности побороться на равных? И ты от этого отказался? Нет, бред здесь, оказывается, ужасней, у тебя просто не хватило воображения. Тебя просто использовали, и ведь так незамысловато. Заманили... да, заманили. Подставили. Даже потратиться не понадобилось, купили на нехитрую лесть. Им же нужна даровая дичь. Человек, которого никто нигде больше не хватится. И следов уже не найдут. Ты просто перестанешь существовать для той, другой жизни. Там не останется никого, для кого ты мог бы хоть что-то значить. Кем бы себя ни воображал. Теперь только спрятаться, только спрятаться, ничего другого уже не придумать. Только спасать жизнь, сколько бы ни говорил себе, что не хочешь, что тебе все равно. Это тебе не по силам — не хотеть...

На цыпочках, стараясь не производить шум, он пробрался к двери в соседнюю комнату. Она была чуть приоткрыта. Вздувшаяся половица не позволяла ни открыть ее пошире, ни закрыть за собой. Помещение за ней оказалось чем-то вроде проходного коридора без окон, но даль-

нейший проход был наглухо перегороден громадным старинным шкафом. Он занимал чуть ли не большую часть комнаты. Это был тупик. Единственное, что оставалось — протиснуться, спрятаться внутрь, закрыть за собой поплотней. Уместиться под низкой полкой можно было, лишь скорчившись, сжавшись в комок.

Было слышно, как невидимая грузная туша переваливается через подоконник в комнату. Тяжесть неторопливых шагов отдавалась сотрясением во всем доме.

— Э! — сказал ленивый голос. — Кто в теремочке живет? Чего молчишь? А, сука? Прячешься? Ну, дело твое. А у меня свое. Можно и не спешить. Зачем спешить? Удовольствие надо растягивать.

Это он сам с собой, — понял Зимин. — Известные штучки. Он же тебя не видел. Вдруг ты поверишь, что он про тебя знает, поддашься, сам выйдешь. Насмотрелся фильмов, где любят посмаковать наслаждение властью, не кончают сразу...

Бурчание внутренностей, где переваривалась поглощенная пища, слышалась из-за стены. Вдруг они разразились громким звуком освобождения. Густой запах отработанного материала недвусмысленно объяснил его происхождение.

— Ох, хорошо... о-ох, хорошо, — полупел, полустонал под свою же натужную музыку человек за дверью, —

До чего же хорошо,
То ли еще будет,
Если держишь жизнь в руках,
Свою и чужую...у-у...
Терпение и время... э-эх!
Собаки, дрож-жите...

Он просто справляет нужду, — понял Зимин. — Для этого сюда и направился. Здесь у них отхожее место. Только и всего. И говорит просто так, сам с собой. Напеваает, тужится. Неужели ничего больше? Как у него надолго хватает...

Страх заполнял теперь воздух снаружи, он словно был впитан все более чувствительной вонью. Значит, все-таки чувствую, — со странным удовлетворением отметил Зимин. Белая мелкая моль светилась, трепетала крылышками в темноте возле самого лица, от ее сухости, как от пыли, першило в горле. Кто-то маленький, теплый вспрыгнул ему на колени, заставив напряженные нервы вздрогнуть еще раз. Это была кошка, видимо, тоже искавшая здесь укрытие, а может, просто решившая пристроиться поближе к человеческому теплу, пригреться возле сотоварища по беде. Откуда она могла сюда проникнуть? Где нашла вход, если дверца была плотно закрыта? Свернулась у Зимина между коленями и животом...

Звук еще одного выстрела послышался с отдаления. Крик азартного торжества откликнулся на него.

— Ну, бля! — прорычал за стеной голос. Завистливая досада звучала в нем, но и облегчение от справленной нужды. Тяжелые шаги затопали снова к окну -- так спешат еще не нашедшие ничего грибки на возглас более удачливого добытчика: у меня есть!..

Зимин прикрыл глаза с чувством предельной расслабленности. Дрожь кошачьего дыхания передавалась телу тепло и успокоительно. Животное чувствовало себя защищенным возле чужого тела... Свернуться вот так комочком, унять лихорадку, занять меньше места, как в материнском чреве, согреть себя теплом окружающего покоя, в темноте, где никто тебя не увидит. Если бы можно было так замереть, в шкафу детских сказок, чуть не оказавшемся ловушкой, в неподвижном тепле, без чувств, без желаний — кроме одного-единственного: в этой успокоенности и остаться. Ничего больше не испытывать, не бояться. Зачем вставать? делать усилия, в которых будет смысла не больше, чем во всем до сих пор? Сколько это может еще длиться? Все равно...

Господи, опять та же бессмыслица, — одернул себя Зимин. Но заснуть бы сейчас в самом деле. Не осталось сил встать. Отказал даже голос. И куда же теперь идти?

Кошка расправилась, выбралась к Зимину на колени. Он скорее угадывал, чем видел в темноте, как она потягивается, выгибаясь горбом и от этого чуть тяжелея. Открой глаза, — сказал себе он. — Пора все-таки просыпаться.

Кошка спрыгнула с него и куда-то ушла. Ее тепла и тяжести не хватало теперь телу.

Куда она ушла? — соображал сонно Зимин. — Я наконец проснулся. Спал и проснулся. Вот, пальцы шевелятся. Я могу встать, если захочу. Но какая вокруг темнота! В этой комнате ведь и окон нет. Наверно, уже вечер. Или даже ночь... А что это там? Вроде бы свет? разве должен быть с той стороны?

В том же согнутом положении, наощупь он выбрался наружу — не замечая, что даже открывать дверь не понадобилось. Привыкшему к темноте зрению в самом деле мерещился — как будто вообразился — проем, обозначенный трепетным, теплым, живым светом.

Наощупь, по стенке он стал продвигаться в сторону света, по пути натываясь на неузнаваемые предметы, обходя их. Темнота иногда раздвигалась вдруг, оставляя руку без опоры, потом снова возвращалась стена. Под ногой оказалась ступенька вниз, другая, третья. Свет впереди становился все более явственным. Послышался едва слышный звук, похожий на детское всхлипывание...

Керосиновая лампа на полу высвечивала вокруг себя трепетный, тающий по краям шар. У стены, против лампы, поставлен был на неровные кирпичи пружинный матрас. На нем сидел среди одеял мальчик лет шести-семи, с пятном зеленки на стриженной голове. Он тихо, сдерживая себя, подвывал, размазывал кулачком слезы по грязным щекам.

— Ты почему здесь, один? — спросил Зимин невольным шепотом. — Почему плачешь?

— А ты к-кто? — слотнул мальчик икоту испуга.

— Я? Видишь кто: дядя, — неуверенно ответил Зимин.

— Не б-бабай? — глаза мальчика были тревожно расширены.

— Нет, я не бабай.

— Значит, камак. Я тоже не бабай.

— Кто? Какой камак? О чем ты говоришь?

— Не знаю, — сжался мальчик. — Мама предупреждала, надо сначала узнать, кто тебя спрашивает. Чтобы ответить правильно. Если спрашивает камак, скажи, что и ты камак, если бабай, скажи, что бабай. А то убить могут.

— Что за глупости ты придумываешь, — сказал успокоительно Зимин — но самому надо было еще одолеть болезненное посасывание в груди. — Здесь таких не бывает. Таких слов вообще нет.

— Раньше были, — отвел взгляд мальчик.

— Что значит раньше?

— Где мы раньше жили. Там стреляли все время. И здесь тоже. Ты слышал выстрелы?

На шее у него был свежий розовый шрам, волосы на голове успели слегка отрасти. Глаза в темных обводах казались огромными на болезненном бледном личике.

— Ну, это бродячих собак отстреливают, — объяснил Зимин. Объяснение на миг показалось ему самому убедительным — но потому и неосторожным.

— Зачем собак? — Мальчик вдруг снова заплакал, слезы потекли из его глаз. Он размазывал их кулачком, а другой рукой прижимал к животу мохнатую большую собаку. мех у нее был розовой, левой передней лапки не было. — Я раньше свою Вегу любил, не здесь.

— Да, с собаками так нельзя, — поспешно признал Зимин. Такое признание звучало относительно безобидно. — Надо будет сказать, чтобы так больше не делали.

— А мама говорит, мы теперь тоже бродячие. — Мальчик немного и впрямь успокоился. — Дома у нас все нет и нет. Хотя мама говорит, обещали. А еще мы там, в доме, оставили моего хомячка, Фиму. И еду ему оставили на два дня. Уже прошло два дня? — спросил он. — Почему мамы так долго нет?

— А куда она пошла?

— За едой.

— Так поздно?

Мальчик пожал плечами.

— А папа у тебя есть? — спросил Зимин — и опять тут же почувствовал, что так нельзя было спрашивать. Мальчик потупился, плечики его неопределенно дернулись.

— Папа на войне, — сказал он тихо.

Как же ему сказать, что этого быть не может? — мучительно подумал Зимин. — О какой он войне?

— Ты, наверно, есть хочешь, — поспешил он перевести разговор.

В углу возле окна устроено было подобие самодельного очага, не сложенного, а составленного из кирпичей, на нем стояла алюминиевая кастрюлька. Листы сухой штукатурки в верхней части стены отвалились или были оторваны, за ними чернела глубокая ниша.

Зимин подошел к окну. Оно было занавешено плотным одеялом. Отвернул край. За стеклом была непроглядная темнота — но что видно было отсюда днем? Приоткрыл крышку: там в воде лежало несколько уже очищенных картофелин. Рядом заготовлена была куча щепок, и спички лежали сверху. Остатки обоев и потолок вокруг ниши были закопчены: дым уходил, видимо, куда-то туда. В самой нише, в ее глубине он увидел верхнюю часть почерневшей, когда-то алебастровой, в дырках от гвоздей, колонны с обломанной коринфской капителью. Сухой штукатуркой ее когда-то обили, чтоб проще было клеить обои.

— Сейчас я тебе приготовлю, — сказал Зимин.

Сухие щепочки занялись сразу, весело. Запахло приятным дымком — он легко уходил в невидимую дыру за колонной.

Слабо освещенное пространство оживало, заполнялось все новыми, проступавшими из сумрака предметами. Они были нанесены сюда, в утретую нору, в отгороженное убежище, какие хотелось устраивать себе в детстве, чтобы

обособиться, укрыться от взглядов, угроз и стихий: нехитрая утварь, остаточная, давно устаревшая мебель, старое кресло со шнуром по бархатной обивке, забытой уже конструкции раскладушка с брезентом на раздвижной крестовине, ножная швейная машинка, раскрытый патефон с изогнутой заводной ручкой. Запахи прошлых лет держались вокруг этих вещей, среди снов детского пробуждения. Над матрасом за спиной мальчика висел памятный коврик, рога двух благородных оленей золотисто светились среди темносинего неба. Поверх одеяла разбросаны были разные мелочи, которые всегда держат под рукой лежащие больные, разрозненные листы бумаги и целый альбом для рисования.

— Ты рисовать любишь? — придумал развлечение Зимин; вода в кастрюльке должна была закипать еще долго. Подбросил впрок лишних щепок. — Что ты рисуешь? Дом, цветы, солнце?

— У меня нет цветных карандашей. Только серый.

— И серым можно много нарисовать. Давай мне твой карандаш, покажу.

Он прикрутил начинавший коптить фитиль лампы (пальцы вспомнили это давнее ощущение). Присел на край кровати, раскрыл альбом. Первая страница оказалась запачканной — угадывались следы рисунков, размазанных грязным ластиком. Пришлось перевернуть еще одну, и другую. Лишь на последнем листе оставался рисунок. Маленькие человечки на ломаных палочках-ножках бежали куда-то вперед, в палочках-ручках у них были винтовки, другие человечки лежали на земле, убитые. Но действительно реалистично, с подробным знанием дела, изображен был громадный танк со множеством разновеликих колесиков и тщательно прорисованными гусеницами. Дуло пушки выдвинуто было далеко вперед, на башне кривоватая звезда.

А ведь совершенно мой рисунок, — всмотрелся Зимин. Танки он умел изображать всем на зависть, и человечки выглядели разнообразными, живыми.

— Это ты рисовал? — спросил он.

— Нет, это не мой альбом. Это здесь раньше было. А ты собак рисовать умеешь?

— Собак я не умею, — сказал Зимин. С каких времен здесь этот альбом? — подумал он. Нашел на обороте листа чистое место. — А хочешь, покажу, как рисуют веселого человечка? Смотри, это совсем просто. Точка, точка, два крючочка. Носик, ротик... вот, смеется же, правда?

— А я зато умею вот так, — с заготовленным торжеством продемонстрировал мальчик тайное свое оружие: кусок ластика. И быстро, ожесточенно, словно готовый сорваться на плач, стал стирать рожицу.

Огонек фитиля отблескивал в его лихорадочных глазах. Он заметно устал от порыва своей деятельности.

— Зачем же стирать? — грустно сказал Зимин. — Рисовать лучше.

Он вовремя вспомнил про костерок — щепки едва не закончились, надо было подбавить еще. Белая пена всплывала уже на поверхность воды, но закипания еще надо было ждать. Да, и потом соли подсыпать, — напомнил себе Зимин. Где-то она должна тут быть... вот, в банке.

— А хочешь, сделаю тебе кораблик? — предложил он. — Я умею складывать с двумя трубами, как настоящий. Можно взять эти листки?

— Это моя сказка, — выхватил у него тот из рук лист. — Ты лучше мне почитай. Мама мне всегда на ночь читает.

Зимин приблизил листок к глазам. Шрифт был совсем мелкий, едва различимый. На детскую книгу не очень похоже.

— Я при таком свете не вижу. Не различаю букв, — виновато сказал он. — А какая тут сказка?

— Как мальчик встретил принцессу. Знаешь такую?

— Еще бы не знать! — улыбнулся Зимин, ощущая близость необъяснимого волнения. — Когда-то наизусть мог рассказать.

— Не рассказывай, а читай. — Мальчик, наконец, словно вспомнил про свою власть: не просить, а требовать.

— Если сумею, — сказал Зимин, сглатывая невольный комок.

Пододвинул поближе лампу.

— Текла через луг речка, — начал читать он. Каждое слово было теперь видно отчетливо. — Река стекала по круглой земле за невидимый край. Травы и цветы были такие новенькие, что еще не имели даже названия. Над цветами, как шары, колыхались разноцветные запахи...

— Это сказка или взаправду? — В голосе мальчика звучало недоверчивое желание уточнить.

— С кем-то когда-то это, наверно, было. Давным давно, когда я был такой, как ты. Я действительно это видел. На зеленом лугу паслись громадные, до неба, коровы. У стреноженной кобылы в большом животе лежал вверх ногами розовый жеребеночек. В голубых глазах собаки отражались цветы и небо. Куст акации был увешан свистульками...

— И там был ты? — сладко зевнул тот.

— Представь себе, да. Когда был, как ты. Я на самом деле тогда знал, что есть страны еще неоткрытые. Может быть, небольшие, их просто никто не заметил. Я собирался поплыть в те края на лодке. И лодку хотел сделать сам.

— Ты мог сложить ее из бумаги.

— Да. Только нужны были, конечно, непромокаемые материалы. И покрасить надо было потом такой же непромокаемой краской.

— У меня есть пружина от настоящих часов. Можно сделать такой мотор с пружиной.

Он потер левым кулачком глаз.

— Ну вот, ты сам прекрасно все знаешь. — Сердце Зимина щемило болезненной нежностью. — Только сейчас ты уже поспать хочешь. Давай я тебя хорошенько укрою.

— Нет, мне спать так много нельзя. Мне Вадик в больнице говорил: будешь долго-долго спать — и потом уже совсем не проснешься.

— Глупости. Не надо этого слушать.

— А он сам тоже так не проснулся. Я видел, его увезли. Это было совсем не страшно.

— Нет, с тобой так не может быть. Поспишь немного, проснешься — а уже и мама пришла.

— Я без нее не могу. Она брала меня на руки.

— Так давай и я возьму.

Легкое тельце мальчика оказалось не просто теплым — горячим. Он болен, — понял Зимин. — У него жар. Надо его уносить отсюда. Только дождаться, должна же придти его мама, не может же она не придти.

— Рассказывай дальше, — потребовал тот, приподняв голову. И снова уткнулся ему подмышку.

— Там летела высоко-высоко птица, — зашагал почти на одном месте Зимин, взад-вперед. Ходить тут было и негде. — У нее были разноцветные крылья, одно красное, другое зеленое. И дом ее был в цветке, высоко-высоко. Там с одной стороны было солнце, а с другой луна...

Сопение у груди было легким и ровным. Цветущие ветви разрастались, шевелясь, в стенах комнаты, чей уют не казался в детстве убогим. Все здесь дышало теплом и тайной, даже этот вот запах половой тряпки, запах пыли и керосина.

Боже мой, — думал Зимин, — но я ведь еще надеюсь вернуться. Куда? Что считать моей жизнью? Что значит остаться самим собой? Или самим собой стать? В таком-то возрасте!.. Проснулся ли я, наконец? Так поздно, так поздно!..

Прикосновение другого тельца, другого тепла — и вот поверхность, разделявшая двоих, словно растворилась, растаяла, потеряла значение, новая жалость, новая тревога входит в тебя. Чье-то сердце бьется у твоего уха. В сильных теплых руках тебе надежно и сладко. Тихий бессловесный напев в такт шагам успокаивает. Чьи-то еще шаги и голос — пришла мама. Мягкие губы прикасаются к волосам у виска.

- Смотри, что это у него тут поблескивает?
- Где?
- Ну, вот же, на волосах... И движется.
- Бог ты мой!... Это вошка ползет. Чего ты так испугалась? Сними, если можешь. Только тихо, чтоб не разбудить.
- Какой ужас!
- Ты что, никогда не видела?
- Не помню. Давно когда-то. Господи, ну что же опять за жизнь?
- Ничего. Главное, война кончилось. А вошек надо будет потом керосином. У нас теперь даже керосин есть, ты это почувствуй. Забыла вошку, забудешь и войну.
- Если бы я могла забыть!
- Все забывается, я проверял. Не сможешь забыть — не сможешь жить. Выкинь из головы. Чтоб не сойти с ума.
- Да, это я проходила. Кого нет, того уже не будет, ничего не поделаешь. А у тех, кто остался — должно наладиться. — Главное, теперь все впереди.
- У кого?
- У него.
- Лишь бы он жил не как мы.
- Может, мы за то, что есть, скажем еще спасибо.
- Кому?
- Жизни. Я, знаешь, прочел в одной книге: надо благодарить жизнь за то, что она с нами обошлась так сурово. Прежнюю жизнь мы так бы не ощутили, не оценили.
- Нет, пусть бы он обошелся без этого. Мы-то согласны выдержать что угодно, потому что он есть. Без него я бы не знала, зачем... А что же ты картошку оставил? Вода вся выкипела. Не забыл посолить?
- Забыл, как всегда... Ладно, что ты сразу засуетилась? Плянь у меня в сумке, какую я добычу принес. Коллекция старинных пластинок. Антикварная редкость. Видишь?
- Голоса птиц.
- Разных, представляешь? Соловей, зяблик, малиновка.

— Пение южных цикад.

— Ну, это южных. Это ладно. А там, посмотри, есть еще журчанье лесных ручьев. Тоже с обозначением, где, какой. С трещиной, правда, но это ничего.

— А это что? Вздохи осенних ночей.

— Осенних ночей. Ты представляешь? Да подойди-ка на минуту сюда. Еще поближе...

— Ну, ненормальный! Не сейчас же! Тише. Он ведь все понимает.

— И пусть понимает. Пусть понимает.

— Тише, тише. Давай я подержу.

— Ему нравится у меня. Пусть разоспится...

Сладкие запахи. Скрип половиц, расправляющихся после дневных нагрузок, вздох разохшегося дерева, тихий треск отстающих от стены обоев. Можно не раскрывать глаз.

1995—1998

Конвейер



Вода шумно спущена, бачок с ленивым журчанием начинает заполняться снова. Надо бы отрегулировать, так слабо течет, так медленно.

Вот твоё нынешнее состояние, — кривовато усмехаешься сам себе. Закончена работа, испытано недолгое удовлетворение. Справился, сделал дело, отправил написанное куда положено. Ждите анализа. Тем временем, глядишь, накапает что-то новое. А пока можно отдохнуть, отоспаться. Разобрать накопившиеся житейские завалы, почитать отложенные книги. Да вроде уже и отдохнул, сонливость больше одолевает во время чтения — где-то на третьей-четвертой странице, где автор, может, как раз собирался тебя заинтриговать. Откладываешь книгу, подавляя смущенный зевок, как человек, не оправдавший ожиданий — своих прежде всего — а спать тут же оказывается неохота. О житейских делах нечего говорить, их не переделаешь никогда. Только починишь стул — испортилась новенькая кофемолка. Ладно, можно некоторое время покупать молотый. Хотя это дороже. И вкус вроде не тот. Во всем не тот вкус, вот ведь оно что. Какое-то промежуточное, неудобное, черт побери, ощущение — как его назвать? Опустошенностью, выпотрошенностью? Тоскует ли выучная лошадь, оставшись без привычной поклажи?

Ну, чего уж тут, дело, как говорится, известное. Только что человек вышел на пенсию, встает утром без будильника ровно в семь, а ехать никуда не надо. Сколько лет думал: вот будет радость. Не надо вылезать под дождь, на

мороз, спешить, толкаться в автобусе, выполнять обязанности — живи в свое удовольствие. Нет, с удовольствием почему-то не у всех получается. И не о том речь, что на жизнь стало не хватать, это тема другая. Во дворе со мной на днях заговорил сосед-пенсионер — отошел от мусорных ящиков, где ковыряла палкой пожилая, интеллигентного вида женщина.

— Я думал, она пустые бутылки ищет, чтоб сдать, — поделился он впечатлением. — Смотрю, достает куски хлеба, горбушки выброшенные. Подождите, говорю, я вам сейчас хорошего вынесу. Смутилась, что я ее за таким делом застал. Спасибо, говорит, это я на дачу, курам.

Качнул головой, что-то с усмешкой оценивая: правдоподобие ли ее слов, свое ли очевидное преимущество. У него, как я мог понять, с этим было в порядке; не тот был случай, чтобы посокрушаться еще раз на темы унижающей нынешней нищеты. Участок у него тоже имелся, шесть соток, но он туда совсем не ездил. Там дети обосновались, битком набито. Не кур же разводить. И в земле копаться как-то не приучился, вот о чем вдруг захотелось сказать...

Понятно бывает это желание выговорить что-то накопившееся перед человеком, в сущности, незнакомым — все равно что в пространство. Раз уж возник в этом пространстве неважно чей, но все-таки воспринимающий слух. Соседей в современных многоквартирных домах знаешь ведь не более чем зрительно. Встретившись у подъезда, поздороваетесь, конечно, попутным словечком вежливо перемолвитесь. Где брали такие помидоры? Почему? Глупейшее занудство всерьез отвечать при встрече на формальный вопрос «Как поживаете?» Разумные англичане придумали отвечать на вопрос вопросом. «How do you do?» — «How do you do?» Приветственный звуковой сигнал, взаимная демонстрация неопасных, неагрессивных зубов, не более. Имитация интереса, нейтрализующая интерес. Но если говорить тянет не занудство, а, может, какая-то тоска, что ли? Мне самому, наверно, не стоило вставлять слова со-

чувственного понимания, спрашивать его о прежней работе: мол, интересное что-то было?

Похоже, тут он ощутил угрозу без надобности серьезного разговора. На миг замялся.

— Обычная была работа, — пожал неопределенно плечами. — Конвейер, — добавил зачем-то — как бы для самого себя.

И, буркнув неопределенно прощальное междометие, отошел от меня — словно внезапно вспомнил, куда ему было нужно.

Неловкость почудилась в этом поспешном уходе. Точно я ненужным вопросом заставил его смутиться, допустил непонятную бестактность. Ну, тут скорей были уже мои домыслы. Может, у него просто вдруг прихватило живот? Не я же заводил разговор. И чего такого особенного было сказано? Конвейер так конвейер...

Вспомнилось: в студенческие годы я подрабатывал недолгое время на телевидении, готовил сюжеты для редакции тогдашних промышленных новостей. На заводе «Каучук» мне показали одного из заслуженных ветеранов: женщину, которая посыпала тальком тянущуюся перед ней бесконечную каучуковую ленту — эскалаторные поручни. Она оказалась приставлена к этой ленте еще до войны, через ее руки протянулись все (действительно все, подумать только!) поручни московского метрополитена. О другом ветеране мне только рассказали, он прежде обслуживал вулканизационную камеру, где серные пары превращали каучук в эластичную резину. К тому времени он уже вышел на пенсию, но то и дело навевался к своей камере, когда она остывала после проделанной работы, забирался полураздетый внутрь и некоторое время кейфовал там. Дышал родным воздухом. Серные пары, по его словам (представит ли себе кто этот запах?), действовали на организм лучше целебных ванн, не нужен ему был никакой серноводский курорт. И действительно, подтверж-

дали мне, его до сих пор время от времени поколачивали за попытки прилаживаться к чужим бабам. По тем временам даже предлагать телевидению такие сюжеты было дохлым номером, да я, если припомнить честно, не особенно и старался. Мозг, настроенный на заработок, (за сюжет платили, кажется, рублей двадцать-тридцать), привык зря не тратиться на то, что было заранее не положено. Заинтересовала бы подобная идея нынешнее телевидение? Вряд ли. Там опять другой бизнес. С журналистскими заработками, как вскоре выяснилось, у меня вообще не могло получиться — и слава Богу! Женщину я позднее вывел в одном рассказе — эпизодический персонаж, не более. Много ли я мог о ней знать? Плаксивая замученная старушка ищет случая напомнить с гордостью о своих давних заслугах. Слушатели прячут усмешку, спешат от нее отделиться...

При мысли о конвейере, конечно же, вспоминается Чарли Чаплин: как он ритмично, однообразно, потом уже по инерции подкручивает что подвернется чудовищным гаечным ключом. Жалко смешного маленького человека. Во всяком случае когда его так трогательно показывают на экране. В жизни конвейерную повседневность терпишь, не замечая. На производстве сложнейшие манипуляции все больше стараются передавать автоматам. Мясные туши разделяют, допустим, вручную, но тоже ведь на конвейере. Проплывают на крюках мимо могучих работников с ножами. Даже для глазных операций ухитрились приспособить что-то вроде конвейера. Объекты перемещаются на креслах-лежаках от одного оператора к другому, все, разумеется, разные, то есть не вполне стандартные, люди все-таки, в этом особая сложность, да еще хрусталик в глазу совсем крохотный, автомату не поручишь. Какая тут требуется сосредоточенность, какое мастерство! Радость точно отработанного определенного движения, день ото дня все совершеннее. На посторон-

ние мысли не отвлечешься — но разве это не благо? Работа может быть какой угодно, скучаешь потом не по ней, а по этому затягивающему состоянию. Оно оказывается потребностью, как наркотик, как водка. Трудоголик — тоже ведь появилось слово. «Есть блуд труда, и он у нас в крови», как гениально выразился поэт. Невыносимым оказывается опустевшее время...

Сцепляются одна с другой мысли, а далеко уйти не дают, возвращаешься, как собака на пружинистом поводке, все к тому же — опять своему. Мы что-то стараемся понять в себе через других, и других понимаем через себя. В каком-то, помнится, фильме удачливые грабители после чудовищных перестрелок, обильно кровоточащих ран, смерти соратников (гибель преследователей-полицейских в таких делах, естественно, вообще не в счет) — после всех этих испытаний, потрясений и жертв получают возможность насладиться, наконец, вожделенным финальным блаженством. Растянувшись в шезлонгах на живописном морском берегу, они потягивают из запотевших высоких стаканов освежающую, пьянящую жидкость (дать бы еще покрупней рекламное обозначение фирмы). Ну, и, конечно, загорелые гурии тут же — для полноты антуража. Я смотрел на них в курортном кинотеатре, только что уйдя с такого же берега — можно считать, почти с такого же. Значит, ради этого стоило все вытерпеть? На зависть сидевшим в зале, эти расслабленные гангстеры не просто заполучили что-то, другим недоступное. Они могли больше ни о чем не заботиться, кейфовать вот так до конца дней. Полиция их уже не настигнет, никто не разоблачит, денег с избытком хватит...

После кино я сидел в парке. На скамейке рядом приселились сотрудницы местной биостанции, обсуждали, у кого в каком месяце будет отпуск, что было сегодня в магазине, когда назначена защита диссертации. Подошел мужчина из дельфинария, пожаловался, что какой-то дель-

фин опять на него плевал. «Так ты ему в тот раз рыбы не дал, — объяснила женщина, — он тебя запомнил». На их место сели трое местных охотников, до них дошла новость: собираются запретить свободную продажу пороха, будут выдавать только патроны, по счету, через начальника: двадцать штук, скажем, на уток, столько-то на зайца. Матерились, рассказывали про дорожное происшествие. На мгновение приоткрылась жизнь, о которой я знал не больше, чем о жизни ящериц, которые проскальзывали по своим насущным делам среди камней, среди пахучих сухих трав с неизвестными мне даже названиями. Я для этой жизни был посторонним — мое приятное времяпрепровождение здесь показалось вдруг в сравнении с ней каким-то не вполне настоящим, что ли, как ненастоящими были никогда не потеющие красавицы с курортной рекламы...

Нет, тут стоило бы, пожалуй, еще разобраться. Обнаруживаешь в чужой жизни что-то, чего не хватает в своей — и сразу же тянет ее опровергать. Вот люди сидят за столиками кафе, провожают рассеянным взглядом проходящих мимо, отхлебывают не спеша из своих посуды, пускают из ноздрей и рта успокоительный дым. Им хорошо, разве нет? Хорошо именно потому, что они могут сейчас ни о чем не думать. Шум волн на берегу вымывает, заменяет мысли. Что тебе в этом кажется недостаточным? Мог же только что сам растворяться, так сказать, бездумно в чудной стихии — когда плывешь в невесомости, свободно, как дышишь или идешь, под тобой колышутся мохнатые водоросли на бугристых от мидий камнях, проплывают переливчатые стайки рыб, вокруг горы, облитые горячим воздухом... ну, и так далее... Обнаруживалась вдруг словно бы хитрость природы: потому ты и мог что-то вспомнить, назвать словами, что удосужился это отметить, запечатлеть сознанием. Не запечатленное, не отмеченное попросту исчезало из жизни — насовсем, бесследно...

Ну вот, молодец, додумался. О чем спохватился переживать! Большая часть жизни именно так и проходит — незаметно, беспamięтно, автоматически, подбирай, если хочешь, другие слова. Иначе не может быть, пора бы уже напрасно не брыкаться. Тебе что, кажется возможным поддерживать такое постоянное напряжение между миром и чувствами? Молодое здоровое животное наслаждается просто, без слов, радостями мышечными, желудочными, зрительными — разве не это стоит назвать счастьем? Ладно, не будем злоупотреблять словом «счастье», с ним не все так ясно. Состояние организма следует считать здоровым, когда он о себе не напоминает. А тебе, значит, нужно непрестанно пропускать блаженство через сознание, соединять с чем-то в мозгу, в душе, то и дело вникать в свои ощущения, что-то фиксировать, осознавать, осмысливать, подыскивать эти вот самые слова? Но если это на самом деле не обогащает, а, наоборот, отравляет жизнь?..

Что ж, нельзя не признать, тугесть что-то от болезненного извращения. Так, бывает, едва ускользнешь, наконец, от бессонницы, но вздумаешь вдруг оценить: я сплю. И сна нет как нет. Какой-то коварный механизм встроено в твое человеческое устройство. Слова, может, больше всего мешают. И кажется, будто именно они позволяют задерживать, наполнять, делать полноценными хотя бы некоторые мгновения исчезающей невосстановимо жизни — не хочется все-таки допускать, чтобы она так просто и уходила, все быстрее и быстрее, растворялась, сливалась с пугающей пустотой, вот я о чем...

Допустим, так. Но есть хорошо разработанные способы заполнять пустоту. Проще всего, когда впечатления поступают, обновляются непрерывно, извне, сами, не требуя внутренних усилий, как достопримечательности за окном туристического автобуса. Только успевай записывать в тетрадку названия местностей, чтобы потом не смешалось в памяти. Возле какого это монумента мы сфо-

тографировались? Как назывался город, в котором была эта церковь? На пенсии самое время поездить, посмотреть мир. Если есть, конечно, такая возможность. Тем более при льготных тарифах. Та же повседневная занятость, очевидность задачи, благодетельная поглощенность процессом — что нам еще нужно? Заодно можно опять при желании привычно сетовать, как тебе всегда не хватает времени — именно времени — по-настоящему на чем-то сосредоточиться, что-то осмыслить. Отвлекает, мешает шум повседневной жизни. Уйти бы, как древние мудрецы, в пустыню. На худой конец в деревенское уединение.

Как бы не так! Предаваться раздумьям о жизни в свободное от работы время — занятие изматывающее и чаще всего бесплодное. Нужно, чтоб мысли, время и силы были щадяще, то есть постоянно чем-то загружены, называй этот процесс как угодно. Для специальных занятий не зря с давних времен выделялись разряды особых служителей, как выделялись — может, самой природой или неизвестным замыслом — брахманы, воины, да хотя бы, допустим, топ-модели. Может, и твое литературное производство (назовем это так) для чего-то понадобится. Ведь не просто же для себя — для общего, так сказать, пользования ты приставлен ворочать, составлять что-то в уме, искать слова, с пером в руке прояснять, осмысливать, запечатлевать даже вот это свое нынешнее, нетворческое состояние...

(Журчания почти уже не слышно, а бачок так до сих пор и не заполнился. Отключили, что ли, совсем? Временные неполадки. Бывает. Включат опять. Не могут же вообще не включить).

Вот ты сейчас что: ничего не делаешь — или уже работаешь? Странная, если подумать, профессия, где процесс мысли совпадает с работой. Или тут скорей профессиональная болезнь вроде кожного зуда? Записываешь попут-

ные впечатления, рассуждаешь о том, о сем — глядишь, потихоньку, само собой сложится что-то вроде эссе.

Стоит, кстати, об этом подумать. Есть в этом жанре что-то удобное, практичное, соблазнительное. Незачем напрягать воображение, выращивать в мозгу, наполнять жизнью создания, прежде не существовавшие, выстраивать последовательный многомерный сюжет. Достаточно, вот как сейчас, скользящих разрозненных лучиков. Выходит иногда любопытно. И читается легче. Не зря ведь читатели последнее время все больше предпочитают прямое изложение мысли, когда ничего не надо самим расшифровывать, договаривать. Мемуарные размышления композитора бывают увлекательней, я бы сказал, демократичней его непростой музыки. Музыка — это, как говорится, из других сфер, не всем доступных и даже нужных. Она дается другим усилием, другими способностями, ее можно не воспринимать, попросту не знать. Она, в конце концов, может быть вообще никакой — а вот читать интересно.

В романе Роберта Музиля «Человек без свойств» есть замечательные размышления об «эссеизме» как своего рода жизненном принципе, способе отношения к жизни. «Примерно так же, как эссе чередую своих разделов берет предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, — ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в понятие, — примерно так же следовало... подходить к миру и к собственной жизни». Причем эссеистики как таковой среди литературных сочинений Музиля совсем немного — почти всю жизнь он потратил на этот свой единственный, так и не заверченный, мало кем воспринятый поначалу роман. И в самом романе с иронической (на самом деле заметно уязвленной) усмешкой упоминает куда более удачливых, чем он, популярных эссеистов, мемуаристов, авторов так называемых биографий.

Что мешало ему, черт побери, самому добиться заслуженного успеха? Ведь умел же, да еще как! Сам роман чи-

тается местами именно как грандиозное эссе. Можно вообще считать его, если угодно, грандиозным эссе, написанным в виде романа. При всем разнообразии лиц, историй, характеров все эти великолепно вылепленные персонажи в одном до неправдоподобия схожи — способностью непринужденно, экспромтом высказывать суждения, доступные на самом деле одному лишь Музилю. А ему-то они давались пожизненным усилием, были выношены, выверены, отточены — ни слова случайного, приблизительного, пустого, никаких промежуточных междометий, без которых на самом деле редко обходится повседневная речь. Мысли элегантные, ироничные как бы сами собой выпадают из многолетнего насыщенного раствора. То есть уже очевидно перенасыщенного — столь концентрированную эссеистику оказывается тоже не так просто усвоить. Лучше всего одолевать за раз страниц по шесть-семь, попутно разбавляя эссенцию. Недаром, чтобы оценить Музиля, публике потребовалось время — дожидаться прижизненного признания ему не довелось.

Хотелось бы, однако, понять, что такое для Музиля эссеистика, «берущая» жизнь с разных сторон, но не претендующая на возможность охватить ее противоречивую полноту. Подлинно великой эссеистике, пишет он, чужда «именуемая субъективностью безответственность фантазий, но и «верно», «неверно», «умно», «неумно» — понятия тоже неприложимые к таким мыслям, которые тем не менее подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся». Ничего себе сказано, а? Надо понимать, законы вроде бы есть, но формулировка не поддаются: как в самом деле выразить невыразимое? И мы вроде бы догадываемся, что он имеет в виду, а попробуй перескажи, растолкуй. Растолковал бы сам автор. Но похоже, он как раз и работал для того, чтобы добраться до какого-то трудновыразимого понимания. Мне особенно понятен и близок феномен именно такого писателя. Человека, не излагающего заранее ему ясное — пишущего,

чтобы что-то прояснить. Может, мы и живем-то, чтобы понять, зачем.

«Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным», — усмехается снова Музиль. Ну, мы и это по себе знаем. Думать всерьез, говоря между нами — работенка скорей для слишком уж самоотверженного любителя. Или для сдвинутого профессионала, который в такую работу запрягает себя сам, как Музиль. А ведь умел, глядишь, выдать и легкий афоризм — едва ли не на каждой странице встретишь что-нибудь не менее блистательное. Вычленишь и выпустить бы их отдельной книгой — она могла бы, наверно, стать популярной, куда популярней, чем весь трудноподъемный роман. «Зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое». Право же, хорошо! Сложность в том, что сам автор слишком чувствует недостаточность любого частного утверждения. «Такие фразы пребывали среди его занятий, — пишет он об Ульрихе, умном герое романа, а в чем-то своем alter ego, — как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или представляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких, черных, спящих в желто-сером свете холмов».

И на схожую тему в другом месте: «Фраза эта была неотделима от определенного пространства, от комнаты с желтыми французскими брошюрами на столе, с порттьерами из стекла вместо дверей, и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распахнутую тушку, чтобы вытащить сердце».

Вот тут действительно проявляет себя подлинный романист, художник, которому нужен все-таки емкий пластичный образ — он способен вобрать в себя, выразить

больше иных рассуждений. И Музиля это умеет, да еще как! Роман полон картин, звуков, запахов, впечатляющих описаний, психологических сцен, житейских подробностей. И такие подробности для Музиля — не литературная частность, не антураж. Оставаясь одновременно эссеистом, он старается осмыслить их значение и роль — уловив раньше и лучше многих, сколько они определяют в самой жизни, культурной, частной, общественной.

«В кино, в театре, на площадке для танцев, на концерте, в автомобиле, самолете, — пишет он, — в швейных мастерских и коммерческих конторах непрерывно возникает огромная поверхность, состоящая из впечатлений, выражений, жестов, манер и переживаний... И совершенно неважно, что из этого удержится, а что снова исчезнет, как подумаешь, сколь великие и, вероятно, напрасные усилия понадобились бы, чтобы прийти к таким революциям в быту ответственным путем умственного развития, через философию, художников и поэтов; ведь из этого видно, какой творческой силой наделена поверхность вещей по сравнению с бесплодным упрямством мозга».

«Бесплодное упрямство мозга» — не слышится ли в этих словах ирония автора по отношению к себе самому? Не о своих ли он мучительных литературных попытках создать «ответственным путем» что-то действительно безусловное, долговечное? «Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным», — о да! А сколько усилий направлено на то, чтобы вообще вытеснить мысли: громом ли электронных инструментов, ритмическими ли движениями — чем угодно, что можно было бы назвать этим нынешним словом «кайф». Какой опыт мог всерьез рекомендовать другим человек, всю жизнь мучительно вращавший в мозгу свои сизифовы глыбы?

Знавшие Музиля отзывались о нем по-всякому. Отмечали в нем элегантность, замкнутость, вежливость, суховатость, иногда уничтожительную резкость, отмеча-

ли чувствительность к похвале и уязвленность преобладающим непониманием — много чего. Но в способности к самоиронии он никем, кажется, не был замечен. Похваливший при Музиле Томаса Манна рисковал испортить с ним отношения. Когда так непросто складывается жизнь, литературная судьба, в самом деле не всегда удается насмешливо взглянуть на себя со стороны. А вот в романе, где доверяешь героям выношенные свои мысли — и тут же, как положено автору, с добросовестностью объективного исследователя их перепроверяешь, неизбежно осознавая их недостаточность — вот тут-то, подчиняясь тому же бестрепетному писательскому долгу, поневоле усмехаешься, словно перед честным зеркалом, а то и покажешь язык самому себе.

Размышления о «бесплодном упрямстве мозга» и о силах, определяющих реальное развитие, Музиль доверяет на этих страницах человеку, которого он себе довольно откровенно противопоставляет — «сверхлитератору» Арнгейму, человеку, сумевшему во всем добиться успеха. «Осторожно, в виде пробы и с приятным чувством личной застрахованности Арнгейм пытался приспособиться к этому неминуемому, как он считал, ходу событий». В словах о «застрахованности» нетрудно уловить, конечно, уже знакомую нам усмешку — Музиль то и дело вынужден был отмечать, насколько ему самому приспособиться не удастся. Над успехом он продолжает иронизировать не без блеска. «Существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата.» Можно подумать, он сам-то знал точный рецепт, только не хотел воспользоваться — «как того требует чувство социального благополучия».

Знал ведь и об этом требовании — он все мог понять. (Что не мешало ему быть беспомощным в делах житейских: он словно не умел обращаться с деньгами, предоставлял жене расплачиваться за него в кафе и покупать билеты в трамвае — без нее он ходить не любил). «Чистейшая

банальность всегда человечней, чем новое открытие», — блистательные выписки можно множить. Вот снова на ту же тему: «В ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый становится все посредственной». Для нас это звучит, пожалуй, даже более современно, чем в пору, когда писался роман. При этом Ульрих, герой романа, отдает себе отчет и в другом: «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого».

Когда читаешь дневники Музиля, его письма или эссе, возникает, право же, впечатление, что сам он порой все-таки злился. Другое дело роман. У него бывало на душе «совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать», — это автор пишет о герое романа — но, конечно, и о себе тоже. Как положено творцу, Музиль внимательно и бестрепетно, с высот все той же иронии продолжал осмысливать свое время в разных его проявлениях — пробиваясь если не к недоступной, может быть, полноте цельного понимания, то к чему-то, что в романе называется «другим состоянием».

Понять бы, к чему он в конечном счете пришел. Это эссеист предложит нам свои размышления и доберется вместе с нами до результата. В романе Музиля мы вовлечены, так сказать, в поле незавершенных художественных поисков, и мыслей нам предложено тут в избытке, только разбираться приходится самим. Наши толкования скорей всего заставили бы самого автора то и дело скептическим вскидывать брови. Иначе не может быть. Ведь это становится уже отчасти не просто его — нашим миром.

В романе есть пассаж о людях, уверяющих «с горькой скромностью», будто они «хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или десять столетий, но все ощущают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперед».

Отрезвляюще действует сейчас сама эта насмешливая, на удивление современная интонация...

Надо будет еще об этом подумать, — оставляю я в книге закладку. Сумевшие довести свои усилия до мало-мальски приличного конца вправе назвать роман, на который были потрачены десятилетия, документом грандиознейшего литературного поражения. Слишком, пожалуй, грандиозного, попробуй его сразу осмыслить, вместить. Почему в самом деле проблемой оказалось завершить замысел?

Помнится, наш старый настройщик роялей выразился об одной знаменитой фирме: «Они не умеют кончать». То есть, по частностям у них вроде все в порядке, все составляющие высшего качества, а вот завершенное целое получается не таким, как хотелось бы, как могло бы. Где-то у меня в записной книжке должно было остаться имя-отчество этого настройщика... вот: Леонид Гаврилыч. Уже, наверное, умер. В эссе можно ведь вставить даже подлинное имя, жанр позволяет. Надо попробовать. Недостижимый уровень эссеистики — больше, чем эссеистика, вот чему бы поучиться у Музиля. Чтобы понимание становилось действительно объемным и многомерным, может, стоит в самом деле ввести и в этот вот текст элемент беллетристического повествования? А? Какого-нибудь, скажем, условного героя — пусть поможет перепроверять нащупывающую мысль посторонним недоверчивым взглядом. Вроде, допустим, упомянутого соседа, того, что мимоходом зацепил эту самую мысль словом о конвейере. Надеть его, разумеется, вымышленным именем. Скажем, Павел Ильич. Почему-то кажется, что это имя ему лучше всего подходит. Внешность позволительно срисовать с натуры: моложавый, в джинсовой куртке, седина только на висках, волосы редкие, зализаны поперек темени...

Господи, нашел бы кого-нибудь получше, — остановил я себя, поморщась. Кого-нибудь поближе. Вот уж совер-

шенно незнакомый, малопонятный, не особенно интересный мне человек. Я даже не знаю его профессию. У какого он мог работать конвейера? Завинчивал, соединял подплавляющие механические детали? Работа с металлом оставляет на пальцах несмываемые заусеницы. Или он имел дело с электроникой потоньше? Можно при случае взглянуть на его руки, не пришло сразу на ум. Только вот зачем?..

Мне, между прочим, с некоторых пор показалось, что этот сосед словно стал избегать со мной встреч: во дворе или на улице делал вид, будто не замечает меня, смотрел в сторону, а то даже заблаговременно куда-нибудь сворачивал. Впрямь, что ли, между нами возникла непонятная мне до сих пор неловкость? Пооткровенничаешь с попутчиком в поезде — так потом ведь расстанешься навсегда, можно ни о чем не жалеть, не опасаться смущающей встречи...

Нет, фантазировать тут вряд ли стоило. По-настоящему у нас никакого разговора и не было. О чем вообще было с ним говорить? Занятно, что прежде я этого Павла Ильича почти не встречал. То есть не замечал, не выделял рассеянным взглядом. И вот он словно стал возникать то и дело, даже влезал без надобности в мои мысли... Конвейер. Тоже ведь прицепилось слово. Что-то по разряду так называемой производственной прозы. Было, помнится, такое литературное понятие. Давненько не вспоминал. Конфликты в трудовом коллективе. Скорость движения конвейера должна оговариваться в соглашении с профсоюзами. Ну, это, допустим, не у нас, у нас разве настоящие профсоюзы? Раньше бы писать про такое не разрешили, попахивало литературным вольномыслием. Вообще отношения с начальством — тут открывается возможность разнообразных сюжетов. Ежегодные путевки на курорт полагались не всем, их надо было заслужить, не просто работой, правильным поведением. А то какой-нибудь аноним напишет кляузу, прилепят тебе аморалку — и ни путевки, ни премии...

Бог ты мой, даже на зубоскальство в духе нынешнего соц-арта меня, боюсь, не хватило бы. Такая оскомина вдруг начинает сводить скулы! Выморочность, тоска. И ведь у кого-то с этим до сих пор связаны задушевные воспоминания. Задушевные, не оспоришь. Коллективные поездки на спектакль «Сталевары». Автобусами из соседних областей. Схоровым пением в пути. (Песни до конца дней не забудешь). С запасом времени, чтобы успеть отовариться в магазинах московскими апельсинами, колбасой и водкой. Читательские конференции, взволнованные обсуждения. Взволнованные, разве нет? Критика существующих порядков. Тема столкновения с бюрократами... Как это совмещалось с жизнью, где не тащили с предприятия, только если тащить было совсем нечего, где после получки производство на два дня замирало, а бабы замазывали косметикой синяки на побитых лицах? То-то и оно, что совмещаться могло искренне и не такое. И чем дальше, тем искренней отстаивалась ностальгия по молодым временам... Аварии как повод для проявления героизма. Простые технические неполадки не в счет. Сбой налаженного процесса. Вроде как у меня сейчас...

(Отсидел ногу... — да, стоит, между прочим, записать и это сравнение. Видишь пальцы, направляешь на них волевое усилие, но шевельнуть не можешь. Отключился нерв, соединяющий мысль и волю с двигательной мышцей. А ведь знаешь, что правильной не вглядываться в себя: получается или все еще не получается? Известный способ обеспечить себе импотенцию)...

Отвлекся, куда тебе вовсе не надо. Переменить позу. Производственные проблемы так называемых творческих натур — вот об этом можно бы поговорить. Каких только не изобретали способов себя подстегивать! Тому надо было держать ноги в тазу с горячей водой, другой вдохновлялся запахом яблок из ящика письменного сто-

ла, причем яблок определенного сорта (вулканизационной камеры под рукой не было), третий просто накачивал себя крепким кофе...

(Да, кофемолку надо же все-таки, наконец, починить. Сколько еще можно откладывать? Не в том дело, что вкус кофе оказывается без нее не тот — надо хотя бы восстановить привычный утренний ритуал)...

Или вот, скажем, Достоевский. Тоже всю жизнь жаловался на нехватку времени, денег, на мешающие обстоятельства. Поджимали договорные сроки, надо было отдавать долги, не везло в рулетку — то и дело возобновляется страдальческий вопль в письмах. В такой, мол, спешке приходится постоянно комкать все и портить — именно приходится, поневоле. Написать бы хоть один роман «не на срок, а так, как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы». Можно подумать, что будь у него имение с приличным годовым доходом, он бы и вправду засел, наконец, в благоустроенной раковине выращивать не спеша, со вкусом какую-то совсем уж небывалую жемчужину. Как бы не так! Можно об заклад биться, что довольно быстро оказалось бы спущено любое состояние на той же рулетке. Случалось же, и не раз: сроки чудовищного кабального договора уже подпирают, а он даже пока не начинает чесаться, тратит время неизвестно на что, играет — добро бы на рулетке, там все-таки был настоящий, хотя и сомнительный азарт — нет, в каких-то пустых домашних спектаклях. Имитация занятости, способ убивать время. Именно убивать, изживать хоть как-нибудь — когда его было в достатке. А вдохновение, надо понимать, подремывало. Достоевский словно старался умышленно загонять себя в безвыходное положение — только отчаянная, крайняя необходимость начинала, наконец, подстегивать, пробуждала лихорадочную работоспособность, доводила до нужного состояния. Зарабатывать на отдачу долгов он

умел только пером, ничего не поделаешь — снова получал право сказать это себе. И возобновлялись проклятия мучительной литературной каторге.

Для великого творческого достижения, как полюбили мы многозначительно повторять вслед за классиком, страдать надо, страдать. Хотя с этим тоже ведь у кого как получается. Страдающих вроде бы хватает, а с творческими достижениями вопрос все равно неясен.

Есть лукавство в известных разговорах о том, что подлинно великое искусство лучше всего расцветает при тирании. Как будто тебе подсовывают сомнительный комплимент. Существовали, мол, предпосылки для гениальности — некоторые, значит, не оценили, соблазнились по своей слабости существованием, которое у других называется нормальной жизнью. Ностальгируй теперь, если хочешь. Если еще не понял, что, может, лучше вообще прекратить это необязательное занятие.

«Русскую жизнь изуродовали хорошие книги, — прочел я недавно у одного из наших, уехавшего от тирании подальше. — Это была сублимация недоедания». И в том же духе. Бессмысленно обсуждать. Все равно что оправдываться за то, что продолжаешь писать, переваривая калорийную как никогда пищу. А без паршивенькой кофемолки, оказывается, теперь не можешь. Остается только признать, что комфорт в самом деле способен отвлекать, расслаблять — по крайней мере, таких, как ты, с непривычки. На мягком сиденье какого-нибудь европейского Intercity удавалось не более чем дремать да глазеть в окно — не приходило в голову хотя бы простенького сюжета о загадочном дорожном убийстве. Организм, что ли, не приспособлен? У других, здешних, получалось же? Но как пробуждалась, бывало, мысль в душном плацкартном вагоне, где кормили грудью ребенка, загородив купе простыней, раскладывали на жирной оберточной бумаге котлеты и помидоры, играли в карты, обсуждали житейские дразги, политические новости, говорили о болезнях и де-

тях! Среди этого шума она странным образом начинала работать — словно именно из него что-то вдруг возникало. Он входил обертоном в само вещество работы. Мало ли какая мелочь вдруг зацепит, запустит в ход мысль?..

В гарантийную мастерскую пришлось тащиться на другой конец города, с двумя автобусными пересадками. Вокруг был уродливый квартал, отчасти промышленный, отчасти жилой. Сиротские серые пятиэтажки, панельные башни цвета давно не стираного белья зажаты были с разных сторон тяжеловесными бетонными стенами предприятий. Неприхотливые, нагловатые, жизнестойкие провинциалы-лимитчики поспешили без оглядки проникнуть, втиснуться в еще не занятые зазоры, уголки, лишь бы застолбить себе жилую территорию, а потом удержаться здесь уже насовсем, насколько самих хватит. Давно ли на крохотных балконах хранились мешки с картошкой, привезенной деревенскими родственниками, кое-кто даже ухитрялся держать коз? Людям на таких балконах делать ведь нечего, сюда не выходят вечерком подышать свежим воздухом. Какой тут воздух! Теперь они загромождены были обычным хламом, на веревках сушилось белье, уже тронутое копотью. Почему вид стираного исподнего вызывает такую меланхолическую усмешку? Выставленная напоказ малоэстетичная сторона жизни. Но ведь то же самое белье может и восхищать. Только не на этих веревках. Все дело в контексте. Потому взгляд и бывает несправедлив, вот с чем надо считаться.

А, может, дома были построены раньше заводов, не таких поначалу громадных? Это они потом стали разрастаться сами собой, от напора внутренних производственных сил, как вздуваются недоброкачественные образования. Трудно было предположить заранее осмысленную плановую идею в головах соорудивших все это. Дома строились ненадолго, их предполагалось через какое-то время снести. Но вот, предприятия уже выдохлись, начали выми-

рать, а три жилых окна с балконом свежоокрашены, на балконе зеленая тарелка телеантенны. Значит, кто-то, даже разбогатеv, собирался здесь жить дальше, и детей, может, оставить...

Коллекционирование подробностей впрок, неизвестно зачем. Писательский автоматизм. В воздухе держался запах детских пеленок. Хилые деревца служили здесь не более чем источником пыли. Серый тягостный цвет окрашивал лица редких встречных мужчин — все были какие-то сумрачные, усталые или неспросавшиеся. Мой вопрос вызывал у них недоумение. Не знал никто такой улицы, хотя что-то похожее вроде слышали. Словно сами оказались тут непонятно как, с перепою, не вполне ориентировались, махали неопределенно рукой: где-то не здесь.

Между тем табличка с нужным названием открылась вдруг совсем неподалеку, за очередным углом, на стене громадного заводского корпуса с единственным рядом непрозрачных, пыльных окон совсем вверху, и номер здания был тот самый. Добираться вдоль стены еще, однако, пришлось чуть ли не полкилометра. Стена сменилась длинной оградой из того же бетонного материала. В одном месте тротуар пересекли железнодорожные рельсы. Въездные металлические ворота были закрыты, с сетчатой арки над ними осыпались крупные буквы названия, осталась единственная «х». Наконец, ограда снова уперлась в стену здания, там обнаружилось что-то вроде служебного подъезда с широкой парадной лестницей. Никаких табличек у входа, однако, не оказалось, все три массивные двери были заперты, и стучаться я зря не стал. Опыт уже научил меня, что искать надо где-то не здесь.

Действительно, вывеска фирменной мастерской обнаружилась подальше на маленькой боковой пристройке. Отмирающий гигантский монстр выдавал из остаточных недр несоразмерные крохотули вроде моей кофемолки, чтобы на последнем издыхании еще подтверждать, под-

держивать свою жизнеспособность. Получалось, как я убедился, не слишком удачно.

Заранее тягостно было думать о необходимости проделывать тот же путь еще раз. Я вышел с полученной квитанцией из мастерской и огляделся: в какую сторону следовало теперь идти к автобусной остановке? Недавние блуждания совсем сбили ориентацию, не мог уверенно вспомнить. Спросить бы у кого дорогу, но ни живой души не было поблизости...

Внезапно я вздрогнул, увидев своего Павла Ильича.

Это был, право же, он, я не мог ошибиться, хотя он стоял ко мне спиной. Джинсовая курточка была знакомая, а главное, сама фигура, и редкие волосы на макушке, и эта жестикуляция. Он что-то объяснял человеку, который соизволил выйти к нему из парадных дверей. То был не прежний пожилой вахтер, какие мирно проверяли у турникета в проходной пропуска, а настоящий охранник, из нынешних, грозный бугай в пятнистой форме, с коротким автоматом на плече и даже зачем-то при бронежилете. Как будто здесь следовало опасаться стрельбы. Наверно, больше, чтоб производить впечатление. Павел Ильич искательно показывал какой-то свой документ, объяснявший право сюда стучаться, тот небрежным жестом махал в сторону: то ли призывал отойти и не мешать, то ли указывал, где положено было теперь предъявлять устаревший, наверно, пропуск.

Что могло здесь понадобиться моему Павлу Ильичу (я уже так про себя мысленно называл соседа)? Неужели и впрямь не вытерпел, захотел все-таки наведаться к своему оставленному конвейеру, вдохнуть еще разок необходимый, благотворный для соскучившегося организма воздух?.. Беспомощно как-то вдруг сникнув, он пошел, куда ему указывали, вдоль бесконечной бетонной ограды...

Меньше всего мне хотелось, чтобы он меня сейчас тут увидел. Но не было еще полной уверенности, что это дей-

ствительно он, а почему-то надо было либо убедиться, дожидаться, пока он повернет лицо, либо посмеяться над выходкой услужливого воображения. К тому же он должен был знать дорогу к автобусу, для него это был привычный маршрут, имело смысл пойти за ним. Да, именно ради этого...

Я выдержал подобающее расстояние и двинулся вслед — сам себе напоминая персонаж какого-то дешевого детектива.

Ночные фонари отбрасывают на стену ломаные тени, пугающие или перепуганные. Хруст шагов в пустоте. Жители окрестных домов ничего не знают о происходящем и не смогут потом рассказать полиции... Да какие тут тени, какая полиция? Неразбитых фонарей, наверное, не осталось. Вот сейчас среди бела дня перегорядит дорогу двое, дохнут в лицо перегаром, и куда денешься?...

Чувство повторяющегося тягостного сна, когда невозможно никуда свернуть внутри глухих бетонных загонов, и уже не хватает воздуха. В деревянном заборе можно было хоть выломать доску, заглянуть, протиснуться через щель, неважно зачем, пусть вовсе без надобности, главное, на ту сторону, чтобы хоть убедиться: ничего там другого нет, то же самое, даже хуже. Возвращайся, оставайся, где был до сих пор. Пока можешь. Выдерживал же...

Что-то гнетущее было в этом квартале. Знаем ли мы в самом деле, как сказывается на нас уродливое окружение? — вспомнилась опять давняя, до конца так и не разрешенная мысль. Говорят, красота леса и гор, благородство изящной архитектуры — вот что формирует полноценную человеческую душу. Хорошо бы, нет спора. Но ты снова напоминал себе, что могло казаться красотой и счастьем когда-то в детстве. Когда пускал кораблики, сделанные из щепки, они плыли по мутным весенним ручьям мимо грязных покосившихся заборов, облезлых барачных стен; в воде с бензиновыми разводами ослепительно отблески-

вало солнце, пахло сырой землей, талым снегом — все было полно сияния и радости. Своя красота была в загаженных городских речках, в выродившемся мелкоколесье, пыльной траве с мелкими цветочками. И совершенно ведь при этом не думалось о грязном убожестве, как не было еще сознания, что зелень может быть ядовита, а вода радиоактивна. Только ли потому, что нам от рождения дано было счастье до поры не представлять, не думать о возможностях какой-то другой жизни, другой обстановки? Это потом уже, вспоминая, мысленно сравниваешь восхищенное свое детское чувство с усвоенными впоследствии представлениями о красоте и покачиваешь головой, сам себе не вполне доверяя...

Нет, не просто в сравнении дело. Вот уже годы спустя смотришь на холсты умудренного, навидавшегося жизни художника. Это ли знакомые бараки, уродливые, тоскливые (как ты теперь сознаешь) улицы? Золотистый закатный отсвет ложится на кирпичные и бетонные плоскости глухих стен, сияют нежные тени, над ними, что ни говори, небо, синее или пусть даже серое, легкие облака, грозные тучи. Нищий, неухоженный Витебск Шагала, где за ворота выплескивались помои, оказывается так же чудесен, как великолепный Париж. В воспоминаниях художник, морщась, оглядывается: «Как я ухитрился здесь родиться? Чем здесь можно дышать?» И тут же: «Церкви, заборы, лавки, синагоги, незамысловатые и вечные строения, как на фресках Джотто».

Ничего себе — Джотто! Насчет вечности — это в каком смысле? Где эти заборы и лавки, да и синагоги вместе с церквями? Только здесь, на холстах, тут они преображены и увековечены. Но не примешивается ли ко всем этим мыслям ощущение сомнительной двойственности? Нет, не об искусстве речь — оно давно уже приспособилось делать своими объектами, эстетизировать любую грязь, мусор, мятые консервные банки, гвозди, сало, детали, обрывки, обрезки, обломки предметов. И не о детской

способности к счастью, (которая не зря нам дается природой: она бывает самосохранительной, помогает приноравливаться, выдерживать еще долго самую тягостную реальность). Но если, даже повзрослев, ты не сумел ужаснуться своей жизни — не хватило честности оценить, каких-то человеческих качеств, чтобы изменить ее, в конце концов, хоть с болью, но все-таки от нее оторваться, как сделал тот же Шагал?..

Что-то и здесь оказывается еще не вполне додумано. Нельзя все же называть просто самообманом эту художническую потребность искать краски, звуки, слова — именно потребность, отнюдь не просто рабочую необходимость — чтобы в любых обстоятельствах обосновывать возможность держаться, воспроизводить насущное чувство жизни, способность к радости. Хотя бы для себя, а там, глядишь, и для других. Если, конечно, представить, что кому-нибудь твои старанья понадобятся. Что у кого-то найдется случай, время, желание увидеть необязательную картину, задержаться, раскрыть страницу. Сохранившаяся на всю жизнь неприхотливость, невнимание к внешним условиям существования может быть связано со способностью распознавать прекрасное в любом убожестве и метафизическое измерение — в старом колченогом стуле, который у поэта вдруг становится темой стихотворения.

Будем все-таки считать: это нам нужно, чтоб выжить. Иначе ведь просто повеситься либо спиться — трезвость невыносима. Какие-то способы надо искать. Кто как постарается...

Человек в джинсовой курточке продолжал свое озабоченное движение вдоль бесконечной ограды. Хорошо, что не собирался на меня оглядываться. Довел бы до остановки, мне больше не нужно. Прокисшей мочой, давно отработанным паром, неудовлетворенной похотью пахло от разогретой ограды. Разноцветные надписи и рисунки на ней мало чем отличались от других таких же. Названия

футбольных команд и музыкальных ансамблей можно было опознать здесь. Враждующие болельщики и поклонники перебранивались друг с другом на языке скорей ритуальном, чем всерьез оскорбительном. Расшифровывать хитроумные орнаменты не имело смысла, тем более на ходу. Язык для посвященных, как в новом искусстве, не обязательно было его понимать. Слова, написанные с ошибками по-английски, не выглядели даже непристойностями, как наши, прежние. Те были все-таки способом выплеснуть известную подростковую озабоченность, подروحить хоть на стену. Демонстрировалось скорей стремление приобщиться к новой, не вполне еще освоенной культуре. Живей других звучал остаток надписи бледным школьным мелком: «Мамка, сволочь, я ему все равно дам!» Нельзя не искать способ сопротивления, самоутверждения, протеста. Отсутствие запретов может оскорблять, как изощренное издевательство. Кричи безнаказанные богохульства прямо в небеса, подкрепляй их жестами, которые у вас считаются непристойными, показывай, что у тебя есть показать — ну? убедился, что тебе ничего за это не будет? что там никого просто нет? Сопровивляешься хотя бы монотонности этих насильственных стен. Раскрасить их — значит уже расчлнить, освоить. Яркие брызгалки стоили недешево, не то что нестойкий мел. В одной не хватило, видимо, краски, слабеющей линией намечено было стилизованное изображение шприца, его нечаянно дополнил природный сырой потек: каплей жидкости повис он на кончике иглы. Додумался бы кто обводить, выявлять осмысленные очертания в самих этих разнообразных пятнах, трещинах — вот где может начаться работа действительно самостоятельного ума, взгляда. Какой это, помнится, художник придумал технику, где использовались случайные наплывы краски?..

Внезапно я обнаружил, что за посторонними мыслями потерял из виду своего Павла Ильича. Огляделся опять в

растерянности. Куда он здесь мог свернуть? За железнодорожной колеей открылась небольшая, еще не до конца реставрированная церковь. По пути сюда я ее не заметил. Обычное дело: та же дорога, когда идешь в обратную сторону, оказывается неузнаваемой. Здесь когда-то, наверно, была деревенька, церковь пыталась вспомнить прежнее существование. Туда ли ее занесло? И проходил ли я тут в самом деле? Ворота, в которые уходила железнодорожная колея, теперь оказались распахнуты, последняя буква с сетчатой арки, видимо, утомилась бессмысленным висением, как часовой, забытый на опустевшем месте, и, улучив момент, пока на нее не смотрели, сумела потихоньку упасть куда-то ко всем остальным, освободившим себя от службы.

За воротами, как за открывшимся занавесом, простиралась обширная, уже становившаяся пустырем территория с корпусом производственной архитектуры поодаль. В этой распахнутости было что-то приглашающее: ну? Только что тебя угнетала, давила закрытость без перспективы, никуда нельзя было даже заглянуть — на, смотри. Подростка бы сразу потянуло шмыгнуть за оказавшиеся вдруг доступными кулисы, через служебный, обычно запретный вход. Исследовательский инстинкт, унаследованный от животных...

Вряд ли я мог бы себе сказать осмысленно, что меня туда повлекло. Надеялся ли увидеть где-нибудь там исчезнувшего, не вполне опознанного знакомца? Разумное обоснование подоспело, пожалуй, уже задним числом.

Территория показалась вначале еще более безлюдной, чем улица — если позволительно сравнивать безлюдность. Пространство, так сказать, было масштабней. Лишь пройдя несколько шагов, я заметил на отдалении возле небольшой служебной постройки трех-четырёх человек, они загружали в автомобильный фургон ящики. Из пыльного бурьяна там и сям местами выпирали невнятные сооружения или образования, вызывавшие мысль то ли о

разоренном, одичалом кладбище, то ли о парке модернистской скульптуры. Заржавелые рельсы уходили прямоком дальше, в чернеющий, как врата ада, проем корпуса. Над проемом была красным кирпичом выложена монументальная цифра: «17».

Та же невнятная, все еще без мыслей, инерция потянула заглянуть зачем-то и внутрь. Цех отзывался гулкой пустотой на каждый мой медленный шаг, слышно становилось собственное дыхание. Рельсы продолжали свой путь по бетонному полу. Вверху над ними отблескивали черной смазкой остатки подвесных рельсовых устройств. Они плавно изгибались, обозначая маршрут исчезнувшего производства. Кое-где с них свисали цепи, болтались оборванные шланги, культы непонятных металлических сочленений. Останки полуразобранного оборудования еще громоздились в разных местах. В таких декорациях хорошо бы смотрелись сцены перестрелок между соперничающими гангстерскими кланами. На этом крюке поволочь куда-нибудь вверх и вдаль зазевавшегося головореза. А еще эффектней бы грохнуть его спиной об электрический щит с остаточными рубильниками — то-то брызнут фейерверком искры, то-то закорчитя в судорогах тело!..

Ничего более осмысленного воображение не предлагало — и что мне тут было для себя искать? Противоположный конец цеха был удален, точно в перевернутом бинокле. Рельсовые пути тамверху и внизу отсекались стеной или скорей завесой из легкого гофрированного металла — за ней представлялась дальнейшая, невидимая часть перспективы...

Я, наконец, оторвал от нее взгляд. Повернулся к выходу и лишь тут увидел у боковой стены плотные ряды поставленных один на другой картонных ящиков — таких же, что грузили в фургон на улице. Для обычного склада их было много, они могли бы заполнить обширное помещение, но в здешнем несоразмерном пространстве совсем

терялись. Двое работников наблюдали оттуда за мной, видимо, уже довольно долго. Теперь наши взгляды встретились -- это произвело воздействие сигнала. Мое неподвижное пребывание здесь потребовало, видимо, наконец, выяснения. Один, в легкой бежевой безрукавке поверх рубашки, перемолвился коротко с напарником и направился ко мне ровным неспешным шагом.

— Вам кого здесь нужно? — спросил на всякий случай вежливо, однако настороженно. Так милиционер, начиная разговор, козыряет, прежде чем спросить документы, и обращается по всей форме на «вы», но никогда нельзя знать, чем обернется потом эта вежливость. Я еще туго соображал — не вполне отошел от других, неясно шевельнувшихся мыслей.

— Мне? — переспросил рассеянно, с трудом перестраивая мозги. — Мне никого не нужно... — (Соображения хватило, чтобы не ляпнуть про своего Павла Ильича). — Скажите, а здесь был какой-то конвейер? — спросил я за чем-то.

И в тот же момент запоздало оценил, что ничего более идиотского произнести не мог.

— Какой конвейер? Вы чего здесь выясняете? Документы у вас есть? — Голос его с каждой фразой набирал силу все более подозрительной неприязни.

— Причем тут документы? — сказал я. (Дождался все-таки).

— А ну-ка давайте, пройдемте, — не стал он тратить на объяснения. — Пройдемте отсюда, я говорю...

До чего же, черт побери, противно оказывалось каждый раз предъявлять документы! До сих пор не научился находить правильный тон. Мог бы не забывать, в какой стране вырос. Хуже всего, если сразу начинал выяснять: а чего я такого сделал? Запретительных знаков или надписей тут нет, я ничего не нарушил. С какой стати должен что-то показывать? Тем более человеку не в форме? Зап-

рограммированная униженность была в самой попытке сопротивления. Тут же ты начинал ощущать, как набухает перед тобой мышца власти. Сопротивления ему только и не хватало. Еще бы физического — совсем хорошо...

Провожатый в безрукавке со множеством разнокалиберных кармашков на животе вел меня между тем по асфальтированной дорожке к служебному зданию у проходной. Он шел впереди, не оглядываясь. Деловитое предвкушение торжества было в его устремленной походке. Пуститься сейчас наутек по шпалам — станет он догонять? — примерил я дурацкую не по возрасту возможность. Заподозрили во мне, наверно, кого-то вроде сыщика из налоговой инспекции. Явился разнюхивать, что здесь за подозрительный бизнес, на каких неизвестных правах...

Перестал бы, наконец, фантазировать на чужеродные темы, — остановил я себя. Сунулся, куда тебе вовсе было не надо, теперь думай, как объяснять. А чего, собственно, объяснять? — примеривал я на ходу. Сказать просто, как было. Искал, мол, дорогу к автобусной остановке... попросту говоря, заблудился, да?.. пошел вслед за человеком, который показался знакомым, но незаметно его потерял... а попутно заинтересовался — не более чем заинтересовался — видом пустого цеха, останками исчезнувшего конвейера. Про конвейер незачем объяснять. Инерция литературной, можно сказать, мысли. Посмеемся вместе...

Н-да, сочинять всегда лучше удастся задним числом. И ведь даже неизвестно заранее, кто эти хмыри возле проходной. Камуфляжная форма теперь не говорит ни о чем, она с недавних пор все заметней стала вытеснять обычный мужской костюм. Но рожи у них были те еще! У одного щеки совсем заросли щетиной, у другого поллица обожжены. Персонажи из криминальной хроники.

Провожатый знаком велел мне остановиться на расстоянии, и я все в той же задумчивости машинально остановился. Покорно, как мой Павел Ильич, — вдруг вспомнилось мне отчетливо. Ох, черт побери, это уж дальше

некуда! Вот где мы оказываемся похожи — перед охранниками. Советская покорная выучка. А воображал о себе! Пора все-таки себя вспомнить. Говорят, раньше можно было произвести впечатление на милиционера билетом писательского союза. Теперь пришлось бы сперва объяснить, что это за профессия. Журналист, что ли? От пишущих людей жди неприятностей. Вообще не придумайшь более комичного самозванства — называть себя вслух писателем, подтверждать это удостоверением...

Провожатый что-то вполголоса объяснял стоявшим, показывал на меня движением затылка. Главным среди них, похоже, был небритый толстяк в спортивном костюме с крупной надписью на груди: JOKER. Лицо было не то что ожирелое — одутловатое. Посмотрел на меня внимательно, изучающе.

— Материал собираете? — спросил со странной усмешкой.

Да. Значит, все-таки принял за журналиста или кого-то вроде. Я мог только пожать плечами, изобразить веселое, свойское простодушие: о чем вы, мол, мужики?.. Еще не произнесенные слова превратились вдруг в набор постыдной бессмыслицы...

— Вась, — не дожидаясь, обратился небритый к одному из стоявших рядом. — Отвези писателя, куда ему нужно...

Не исключено, что у меня на мгновение отвисла челюсть. Если бы кто потом мне это сказал, опровергнуть бы я не смог. Вот уж чего, признаться, не ожидал. Да еще от подобного типа. Откуда он мог меня знать? Где-то видел? Неизвестным чутьем вычислил? Раз-другой меня показывали по телевизору, но когда это было! И передачи были не для таких... Подобия догадок беспомощно подергались в мозгу и тут же угасли...

Вася оказался тем самым, с обожженным лицом — поджарый, длиннорукий, подвижный. Голова прикрыта была бейсбольной шапочкой, виски поседелые. Обшир-

ное багровое пятно не позволяло точно определить возраст. Правая ноздря совсем была изуродована рубцом, край верхней губы подтянут к ней, оттого рот казался постоянно смеющимся. Что-то в движениях, во всем его облике было подстать этому неестественно оживленному выражению: разбитная, веселая, немолодая уже обезьяна. Голова и плечи на ходу едва заметно подергивались в такт неслышному танцевальному ритму. Зеленые пятна камуфляжных штанов хранили воспоминания о джунглях. Махнув приглашающе рукой, он повел меня к своим «жигулям». Потрепанным видом они странно напоминали хозяина. Я шел вслед за ним, по пути проверяя на ощупь деньги в кармане: хватит ли у меня?

— Вам куда? — спросил, открывая мне дверцу, Вася.

Я назвал адрес. Улицы он не знал, пришлось уточнить район.

— Ого! — присвистнул он. — Дальний конец.

— А сколько вы возьмете? — поинтересовался я осторожно.

— Но проблем, — обернул он ко мне свою постоянную обезьянью гримасу. — Обслуживание за счет фирмы.

Мотор заработал. Происшедшее оставалось мне до сих пор малопонятно, и все же отказываться не имело смысла. Чего было бояться? Довезет, и хорошо. В крайнем случае, если не хватит, найду деньги дома.

— Имеете интерес к нашим местам? — полуобернувшись с хитроватым подмигиванием, пригласил к разговору Вася. Это было подмигивание понимающего заговорщика. Он был явно из породы общительных водителей, такие не допустят, чтоб пассажир скучал наедине со своими мыслями. (Только что вспомнилось одно место в оставленной дома работе, шевельнулась в уме намекающая идея, надо бы удержать, пока не растаяла. Но попробуй с таким не отзовись).

— Здесь было раньше громадное производство? — рассеянно произнес я вместо ответа. Спросить на самом деле

хотелось бы про другое: про того небритого толстяка, вот кто меня интересовал. Что-то меня удерживало. Как будто, выясняя, можно было неосторожно выдать совсем ненужное.

— Ну! Не то слово! — охотно согласился Вася. — Суперсовременное производство, это вы правильно говорите. А куда все оборудование рассосалось, интересный вопрос, да? И ведь ни один вагон за ворота не выезжал, спросите, кого хотите, любой подтвердит. Рельсы, видели, еще когда заржавели. Производство давно стоит. Цирк иллюзион, следи за руками, ни хрена не увидишь.

Он был не просто готов откликнуться на интересующую меня фельетонную тему — сам предупредительно ее угадывал, даже подсовывал. Не хватало еще принять приглашение в ту сторону. Войти в предлагаемую роль, подтвердить образ. Это мне было совсем незачем. Кто мог все-таки быть тот толстогубый джокер, откуда он мог меня знать? (И как теперь восстановить промелькнувшую было догадку?)

— А вот в этом цехе, в семнадцатом, был раньше конвейер? — спросил я зачем-то.

(Дался мне, в самом деле, этот конвейер, — отметил опять с запозданием. Уже прямо какой-то автоматизм, инерция. Прилипло слово и суется, влезает без надобности само собой. Пора, наконец, отделаться от этой липучки).

— Ну, как же без конвейера? — подтвердил он не слишком воодушевленно. Чувствовалось, что не такого вопроса он ожидал. Не мог сразу совместить с уже приготовленным пониманием. — Это конечно. Тут в каждом цехе был свой конвейер, не только в семнадцатом. Я же говорю, гигантское суперпроизводство. Цеха, сами видели, с футбольное поле, да? У шефа — вот кто умеет соображать — у него есть идея, как теперь говорят, проект: устроить тут крытый стадион. С сауной, тренажерами, ну, как теперь полагается. Только сначала надо команду восстановить.

Тут же была раньше классная команда. Загородная база, е-мое, какая богатая, вы бы посмотрели, я к ним раз пять ездил. Денег тогда на футбол не жалели...

Ошеломительной была эта готовность переметываться от темы к теме по случайно подвернувшемуся слову, как перебирается муравей на травинку, стоит ей наклониться близко. Сравнить ее можно было разве что с водительской виртуозностью обоженного. Если называть виртуозностью сумасшедшую лихость, с какой он менял ряды, просовываясь поудобней туда, сюда, чтоб тут же сразу и повернуть. Зигзаги оказывались такими же прихотливыми, внезапными, как движение его речи, разговора он при этом не прерывал. Имущество — это, конечно, большое дело, но с ним разобраться была не самая большая проблема. Название команды — вот что успели перехватить другие, и попробуй его вернуть. Только шеф не тот человек, у него не так просто отхапашь, он сам, когда нужно, с руками откусит. Название — это же имя, фирма, как теперь говорят. Без названия у команды другая цена. Как у штанов без лэйбла, я правильно говорю? Футбол — это теперь тоже бизнес. Ну, вы сами болельщик, я так и знал!..

Щетинистая округлая физиономия возникала на горизонте словесного потока, словно неясное светило, при любом повороте. Неужели такой тип мог смотреть литературную передачу?.. Района, где мы ехали, я не узнавал и не понимал направления. Вникать в завихрения этой болтовни было не просто бессмысленно — еще и опасно. Не отвлекался бы он лучше, смотрел как следует на дорогу. Но Вася вдобавок чуть ли через каждую фразу поворачивал ко мне возбужденный оскал — дожидался ответного подтверждения, и опасно было его долго выдерживать в такой позе.

— А что тут делали раньше? — попробовал я хотя бы вернуть его к оставленной теме.

— Где? — не сразу понял он. — А! Вы про цеха. Где что.

— Ну, скажем, в этом, семнадцатом?

— А! Цех оборудования который, что ли, назывался?

— Какого оборудования? — я не сразу оценил, что своим вопросом словно продолжаю его полувопрос.

— Конвейерного, какого же?

— Конвейер был в цехе, — было чувство, что я как бы преодолеваю возникшую вдруг в собственном уме вязкость. Нашел кого спрашивать. И зачем? Не будь у этого Васи такого простодушного вида, можно было бы подумать, что он надо мной издевается. — И оборудование конвейерное?

— Ну! — Он глянул на меня с недоумением, слегка, пожалуй, обиженным. — А как же без оборудования? Тут инструментальный был цех, еще всякие. Я, может, не совсем правильно объясняю. Шофер, как я, он ведь всегда был шофер, нам в цеха не то что въезжать, заходить даже не полагалось. Наши как-то даже поспорили, сколько их всего было, цехов. У всех получалось по-разному. Некоторые ведь вообще не имели номеров. А почему не имели? Ясно же почему. Секретность — такое дело. Без секретности раньше было нельзя. Кому не положено, тому знать незачем. Тут были такие названия, без поллитра сразу не выговоришь. Тем более после того, как меня на моей же гранате подорвали, я две недели простых слов не мог вспомнить...

О, Господи! Ну как же было не уловить сразу природу этой лихой возбужденности, этой малоуправляемой речи? Не следовало к нему вообще садиться, — запоздало сообщал я. Как можно таким доверять управление машиной? Становилось все больше не по себе. Я уже почти не слушал его, напряженно следил за движением, как будто мог в нужный момент перехватить у него руль. Граната досталась ему по случаю, пацан предложил за пять долларов. Держал ее при себе так просто, для устрашения. Мало ли для чего понадобится. Дом в деревне два раза пытались поджечь, соседи, кто же еще? Материнский был дом, он

пробовал заняться там фермерством. Дом-то устерег, и скважину для колодца сделал, но бензин в скважину все-таки подлили, шесть коров так и полегли на покосе. Нет, в деревне бизнеса быть не может, там этого никогда не дадут. Соседи, кто же еще? Продать дом удалось за неплохие наличные, и ведь никому про эти деньги не говорил, секретность соблюдать научился, гранату вез с собой, под сиденьем. Посреди дороги прижал к обочине вот такой мерседес...

— Ну, ...! — он резко дернул в сторону руль, едва избежав столкновения. — ...! — выматерился с наслаждением еще раз. — Нарочно ведь подставляет бок, ..., чтоб я по нему чиркнул. А потом устроят разборку, расчет потребуют без милиции. Видали, какие там лбы сидят? По обычной таксе от них не откупишься. Но меня теперь тоже так просто не сделаешь. Говорить им бы пришлось не со мной, успели, гады, сообразить. — Он сумел сверх ожиданий вернуться в спокойный ряд. Я устало расслабился вместе с ним. Подробности давнего происшествия для меня остались неясными; возможно, я что-то упустил, но, может, он сам потом мало что мог про них вспомнить? Очнулся уже возле горящей машины, сам обгорелый, контуженный. О деньгах нечего и говорить. Он бы и себя не вспомнил, не подбери его шеф. Вернул, можно сказать, к жизни. Для фирмы ведь человек, как он, был самым подходящим работником. Способности вести машину на полном автомате у него было уже не отнять: за год ни единой аварии, ни царапины, и это при таком-то движении, представляете? Голова, конечно, до сих пор не вполне пришла в порядок. Но в таком повреждении оказалась как раз своя польза — было, в самом деле, чем восхищаться. Самая правильная организация, когда не объясняют ничего лишнего, только твою обязанность. Отвези туда, отвези сюда. Пусть кто хочет о чем спрашивает, — поворачивал он ко мне тот же свой неестественный оскал, — отвечай на любой вопрос с чистой совестью: ничего сказать не

могу. То есть сказать могу что угодно, только ведь не всегда потом повторю...

Движение ближе к центру все больше густело, мы продвигались теперь в сплошной медленной пробке. Машины слева и справа то и дело раздраженно сигналили — отупелое, как я, стадо. Я незаметно потрогал дверную ручку — не выскочить ли, пока стоим? Ручка не поддавалась...

В каждом бизнесе должна быть секретность, как же без нее? — машина время от времени останавливалась, но не Вася. Раньше на ней одной умели хорошую кормушку устроить. Она же была не сама по себе. За нее полагались надбавки, снабжение, сами знаете, что. А главное, разных ненужных проверяющих можно было не подпускать, тоже имело смысл, да? — (Со значением поглядывал на меня). — Что там делают, чего не делают, сколько тратят — посторонние пусть не лезут. Ограниченный допуск — великое было дело. Кто мог, себе старался устроить. Это раньше умели классно. Вот: отгородили наглухо цех от цеха, каждый знай свой отсек. Твое дело выполнять операцию. Положи, что сделал, на ленту — пойдет дальше своим ходом. Куда, зачем — не твое дело. Правильно?..

— Если есть кому кончать, — усмехнулся я. Над самим собой, над кем же еще? Над померещившейся и ускользнувшей опять догадкой...

— В каком смысле? — уставился на меня Вася. Я, видимо, не заметил, что пробормотал это вслух.

— Ну... должно же из полуфабрикатов что-то составиться, — спохватился я объяснить. Он смотрел на меня, все еще не понимая. Нам обоим, наверное, лишь казалось, будто мы говорим на одном языке. Машина впереди двинулась, нельзя было задерживаться дальше. — Я имею в виду, должен же быть в конце какой-нибудь сборочный цех?

— Это конечно! — Он облегченно стронулся с места. — Вы такие дела знаете лучше меня. Сборочный, разбороч-

ный. Лишь бы за работу платили, правильно? Мудаки здесь сидели восемь месяцев без зарплаты, держались за свой, как вы сказали, конвейер, когда уже не за что было держаться. Кого могли, выпихивали раньше срока на пенсию. Так они бастовать собирались, представляете? Е-мое! Кому их забастовка мешала?..

Нет, он-то был, само собой, не из тех, он ни забастовки, ни пенсии дожидаться не стал. Несчастный взрыв словно лишь аккумулировал непроявленную прежде энергию, дал ей выход. Сам не подозревал, сколько ее в нем, этой энергии. До контузии он себя так не ощущал. Есть руки, есть ноги, живые деньги только лови. Шеф не запрещал подрабатывать на машине в свободное время. Никогда так раньше не жил. Жене вот недавно стиральную машину купил. Советовали самсунг, но он купил канди. Немного дороже, но европейские, говорят, надежнее. Хорошая фирма, как вы думаете?..

Я лишь машинально кивал головой, соглашаясь. Что я еще мог? Он говорил со мной, как с человеком, способным отличить одну фирму от другой. «Жигули», конечно, старье, но иномарку бы сразу украли, надо сначала оборудовать надежный гараж, правильно?.. Играло включенное радио. Мы продвигались медленно, порциями, но продвигались. Когда-нибудь должны были добраться. Подробности небывалого шоппинга мешались с попутной рекламой. Кухонный комбайн мог выполнять двенадцать операций, если поймешь, зачем они бывают нужны, электронику в ассортименте лучше всего покупать на оптовой контрабандной толкучке, цены баснословно дешевые. Кайзер, канди, аристон, кто не с нами, выйди вон. Продукты, названий которых прежде не слышали, отзывались удовлетворенной отрыжкой не в желудке — в самом бурлении слов. Без прежнего производства воздух стал только чище, это все замечают. Трава стала расти, даже с цветочками. На территории двенадцатого цеха остались пруды, так теперь там фирма рыбу разводит. Кар-

пов в любом магазине можно купить. Одна тетка продавала с лотка даже форель. Я спрашиваю: что за рыба? Никогда такую не видел. Говорит: фо... ну, фо-рель-е-морель...

Машина, опять едва успев тронуться, затормозила так резко, что я чуть не стукнулся лбом о стекло. Постовой милиционер дал своей палочкой знак остановиться. Остановить Васю следовало, конечно, несколько раз прежде, но какие он нарушил правила на сей раз, я сказать бы не мог. Не автомобилист, что говорить, не понимал простейших вещей. Вася жестикулировал возбужденно, показывал то в одну сторону, то в другую, милиционер ограничивался ленивым пожиманием плеч. Теперь можно бы и улизнуть, — прикинул я запоздало, — только незаметно уже не получится. Вася возвращался, еще более возбужденный.

— Ну, гады! Ну, сволочи! Каждый месяц новых туг ставят. Нарочно, что ли, меняют? Прямо как премьер-министров. Ведь это не успеваешь приспособиться, у каждого своя такса. Должна быть норма, правила, без этого же бардак. Бензин, говорит, дорожает... а, б., чуть не проехал, надо же заправиться, пока тут дешевле...

Нет, это уже перебор, — тоскливо признавал я. Поездка получалась не растянутой — безразмерной. Давно пора было ее закончить. Хотя бы убрать избыточные словоизлияния. Все, на этом отключусь. Больше вместить я не мог. На автозаправочной станции собралась очередь: о близком подорожании знал не один Вася. На метро и автобусах с двумя пересадками я добрался бы, наверно, быстрее...

И словно в подтверждение, у поворота в наш двор, я увидел знакомую джинсовую спину. Мой Павел Ильич, проделавший ту же дорогу обычным транспортом, поспел раньше нас. Только на последнем повороте мы его все-таки обогнали. Цену за поездку Вася вначале отказывался даже назвать, но когда я сам предложил ему, взял деньги охотно. Развернулся по обыкновению лихо. И тут я уви-

дел, как он затормозил, остановился возле входившего во двор Павла Ильича. Открыл дверцу, выскочил к нему.

Это было похоже на нечаянную встречу со знакомым — то есть, как можно было понять, бывшим сослуживцем. По тому самому предприятию, возле которого я время назад увидел своего Павла Ильича... в самом деле, это был, видимо, все-таки он. Значит, не все следовало считать просто моим, так сказать, сочинительством? По жестикуляции было видно, что Вася вдохновлен встречей. Павла Ильича, как я мог ощутить, она не особенно обрадовала. Он слушал обожженного знакомого хмуро, сам не отвечал. Вася вдруг показал в мою сторону, объясняя что-то. Я поспешил укрыться в подъезде...

Да уж! Дописать эту сцену было нетрудно. Велико ли удовольствие встретить человека, настолько восхищенного обрушившейся на всех жизнью, настолько не тосковавшего по прежней, привычной возможности обеспечивать себе заработок честным, законным трудом? Это перед женщиной, собиравшей хлебные корки по мусорным ящикам, можно было тешить себя ощущением превосходства. Если еще помогали дети. А кто ты был перед этим бомбилкой с его несравненными заработками, японской электроники, итальянской стиральной машиной, с неустанным сиянием этого жизнерадостного оскала? У самого от прежних времен, небось, только и остался какой-нибудь туркменский ковер да телевизор львовского производства. В самом деле мурак. Пробовал, значит, бастовать, лишь бы разрешили дальше стоять у конвейера, улещивали словами про класс-гегемон, снимали в кино, над которым такие вот отступники, сволочи теперь насмеются. Не зря ведь в них, если на то пошло, стреляют, даже вот подрывают. Законными способами такие заработки не достаются, это мы давно знаем...

От чьего, однако, имени ты сейчас стал разоряться? — вдруг остановил я движение пера. Надо же соблюдать

единство взгляда. Кто из этих двоих показался тебе не то что ближе — понятней, в чью поддержку и ободрение хочется вспомнить доводы? Ладно, в воображении можно представлять себя кем угодно, но ведь как оказался перед непонятными охранниками, с кем вдруг проявилось сходство — в повадке, в покорной позе? Натура себя проявит сама собой, ее не подменишь. Да если присмотреться: многим ли твоя жизнь отличалась от жизни любого конвейерного трудяги? Ежедневное, неподвижное, однообразное высиживание, как сейчас, все за тем же столом. Большую часть жизни ухитрился, допустим, просуществовать на вольных, как говорится, хлебах, в обеспеченный разряд не угодил, перебивался неосновательной поденщиной. Но не более чем в рамках, допущенных государством. И считал эту жизнь вершиной возможных желаний, разве нет? Авантюрные варианты всегда казались сомнительными, это отгиснулось в подсознании. При том, что масса людей держалась в этой жизни сплошными отступлениями от закона, иначе сама страна не выжила бы. А ты до сих пор не можешь забыть детский стыд за огурец, украденный с чужой грядки. Соседка поймала с поличным, привела к маме. Ну? Посмотри на себя. Таким и остался. За всю жизнь не сумел ничего толком украсть. Кроме листов бумаги да скрепок давным-давно, по месту недолгой службы. Больше и негде было, и нечего. Вот и вышло из тебя, что вышло. Паршивенького ковра, и того дома нет. Тебе ли восхищаться авантюрными приключениями? А ведь как читались когда-то книжки про суровых купцов, которые снаряжались в дальние путешествия, зная, что в любой момент их караван на суше или на море может подвергнуться нападению разбойников, кривоглазых пиратов с повязками на отсутствующем глазу! И сами они умели за себя постоять. Как нравилось лихо распевать песни про тех и других! Нынешний обожженный выглядел, конечно, не так картинно, о мордатом небритом джокере вообще не мне говорить. До него не добраться. И не мой

это, в конце концов, жанр. Но все-таки, все-таки... Англичанин Рескин, помнится, разделил всех людей на две основные расы (так он и выразился: расы): расу игроков и расу работников. Не стоит сразу это опровергать, какие-то различия заложены, возможно, в саму нашу природу. У каждого надо признать свое достоинство. Но мне как будто хочется совместить то и другое. Чем окажется унылое, изматывающее кропанье, если оно не соединится с игрой, не озарится внезапной проясняющей вспышкой, желанием вместить, понять всех?..

Вспомнилось, как в лесу меня однажды отвлек от мыслей внезапный переполох. Возбужденно затрещали, разлетались дрозды. Я задержался взглянуть. Большая серая ворона постепенными шажками продвигалась по траве среди кустов. Всем своим видом она старалась показать, что прогуливается просто так, никуда особенно. Дрозды, конечно, не хуже меня поняли, почему на самом деле она не летела, а шла, куда пробиралась. Они стремительно пронеслись над ней — авиаторы назвали бы их полет бреющим. Ворона время от времени, предупредительно защищаясь, вскидывала кверху, в их сторону, клюв, но осторожное движение продолжала: шажок, другой — к невидимому для меня гнезду, где лежали, наверно, яйца, а может быть, уже вылупились птенцы.

Глупей всего оказался короткий момент моего сомнения. Шевельнулось, но не сработало сразу что-то вроде порыва защитить, воспользоваться своим человеческим превосходством, отогнать разбойницу. А та вдруг на меня оглянулась, коротко задержалась взглядом — взглядом домушника, выясняющего: опасаться непрошеного свидетеля или нет? Устранить меня было не в ее силах — но она как бы подмигнула, то ли приглашая в сообщники, то ли уже таковым считая. Мол, полакомимся вместе, а? Кушать-то надо, как ты думаешь? И не дожидаясь подтверждения, двинулась дальше.

Этот взгляд можно было назвать наглым, но я ощутил в нем свою правоту. Что можно разрешить, вмешавшись в природные отношения? Одним надо защищать свое потомство, другим добывать пропитание, — говорил этот взгляд. Всем надо жить. Так заведено до тебя, так и будет. Уйдешь, все повторится, не здесь, так в другом месте.

От решения я в следующий момент оказался избавлен. Ворона не выдержала натиска дроздов, поднялась, тяжело взмахнув крыльями...

Я сижу на лоджии в одних плавках, пользуясь теплой погодой. Отложил в сторону листки с разрозненными записями, которые так и не соединились ни во что целое, потягиваю все еще не вполне удовлетворяющий меня кофе. Жена уехала на дачу к дочери, люди где-то плещутся в теплой воде, наслаждаются настоящей жизнью, а я считаю своим долгом изображать добросовестного работника. Ворона пролетела невысоко, опустилась на край опустошенного мусорного контейнера. Может, та самая, узнать трудно. Каркнула разочарованно, злобно.

— Что, и тут ничего тебе не досталось? — вяло почувствовал я. — Успели утром вывезти все на свалку. Вот куда бы тебе надо. Давай, давай, есть же где поискать.

Ворона, чуть присев, грузно поднялась, улетела. Она и без меня знала, что делать. Городская птица всегда найдет себе пропитание. Человек и для них постарался. Хотя на свалке, наверно, тоже непросто, тоже своя борьба. А людям, что ли, проще? В благоустроенных человеческих обществах ищут способы избавить своих сочленов от агрессивной добычи пищи. Не говоря о копанье в отбросах. Там это называется социальным обеспечением и защитой. В животном мире тоже кому-то достается беззаботная сытая жизнь. На птицефабрике, например. Только неси яйца, клади на ленту, вот вся работа. У всех разные возможности, надо это признавать. Кто-то доволен стабильностью, может расслабиться, кто-то должен искать,

добывать, отстаивать, драться. Наивно говорить себе, что справедливо защищать маленьких, слабых. Не станешь же ты защищать червячков или мошек, которыми те же дрозды станут кормить своих сохранных птенцов? Ты просто отдаешь предпочтение тем, кто кажется полезней с твоей, человеческой точки зрения. И преспокойно станешь употреблять в пищу конечности тех же кур. Если не вегетарианец. Кто-то должен быть жертвой, приходится и это принять. Если, конечно, жертвой оказываешься не ты и не твои близкие...

У, в какие общие места тебя занесло, — снова остановился я. Некоторые считают стабильность предвестием упадка. Требуется подпитка той самой новой энергией, рациональному объяснению тут не все поддается, морализаторство оказывается инфантильным...

На дороге, ведущей во двор, опять появился мой Павел Ильич. Он шел, видимо, из магазина с полиэтиленовой сумкой в руке, аккуратный, неторопливый, задумчивый. Жара потребовала заменить молодежную джинсовую курточку на клетчатую рубашку с короткими рукавами. Позади, шагах в десяти от него, медленно плелась усталая дородная женщина в темном цветастом платье. Вдруг он повернулся, быстрым шагом направился к ней и ударил ее по лицу...

Лишь мгновенье спустя до меня дошло объяснение этой странной сцены: женщине стало нехорошо, она неслышно для меня позвала его, он поспешил привести ее в чувство уже опробованным похлопыванием по щеке. Дальше они пошли под руку.

Это была его жена, только сейчас я понял. Хотя ведь и прежде уже не раз встречал их, но то ли каждого по отдельности, то ли воспринимал порознь. Женщину нельзя было во дворе не заметить, она была из числа шумных, активных, такие не упускают случая указать встречной мамаше, что детей одевать надо не так, надолго останавлива-

ются у подъезда, чтобы обсудить с соседками очередное проявление человеческого несовершенства. Голос ее выделялся среди прочих — голос женщины, оскорбленной неспособностью других понимать очевидное. От такой озабоченности и возмущения могло и вправду страдать сердце.

Время от времени я любил упражняться в мысленных реконструкциях: всматривался в немолодые, обесформленные временем лица, стараясь выявить как бы внутри них прежние, уменьшенные, детские черты. Из этого, отечного, располневшего, уже едва проглядывало личико худенькой, остроносенькой девочки-активистки, какой она осталась, должно быть, на школьных выцветших фотографий. С Павлом Ильичом это удавалось совсем просто: он таким и был, слегка скуластым, с маленькими ушками — в меру шустрый, но всегда деловитый, исполнительный мальчик. Паша...

И тут же — по самоцепляющей цепочке — вспомнилось, как однажды она, эта самая женщина, стоя на тротуаре перед нашим домом, звала кого-то сверху, чтоб подошел к окну: «Паша!» Да, это она кричала, голос не спутаешь ни с каким другим, и кричала именно так...

В сознании внезапно соединилось: она звала его, своего мужа. Получалось, что я вовсе не придумал имя вымышленному персонажу, так, что ли? Дал знакомому человеку услышанное на самом деле? А оно действительно принадлежало ему, я только вообразил, что руководствуюсь своей сочинительской прихотью...

Какую-то странную смуту внесло в мою душу это нечаянное и ничего не значащее открытие. Было чувство, будто я неосторожно пустил на свои страницы лишь отчасти вымышленный, но отчасти все-таки реальный персонаж, а он захотел обосноваться здесь уже своевольно, оказаться более настоящим, чем предполагал допустить я. Он ведь мне вообще, если вспомнить, по-настоящему был не ну-

жен. Так, дал повод поразмышлять над подброшенным словом, не более. Показалось возможным использовать образ, чтобы через него прояснить, понять что-то не просто в себе. Общее всегда можно найти между собой и любым двуногим. Вникать в его неизвестную жизнь я не собирался. Мне совершенно не нужно было выписывать его характер, историю, вглядываться в его черты, представлять, как он просыпается утром, сладко, со вкусом почесывает в паху, видит рядом голову жены в косынке поверх бигуди, полуоткрытый некрашенный рот, узнает в собственном рту все тот же тоскливый утренний вкус, а впереди еще новый день с мыслями, происшествиями, за ним другой...

Не собирался, нет. И незачем ему было себя навязывать. Только пусти его, все более настоящего — дойдет до того, что однажды он сам тебя спросит: а при чем, между прочим, в этом повествовании твое неопределенное «я»? Кто ты тут, если разобраться, такой? Не более, чем личное местоимение, первое лицо единственного числа, разве нет? Куда более условное, чем я. Даже чем этот разукрашенный Вася. Твоего личного местоимения не увидишь, не ощутишь. Ни внешности, ни зубной боли, ни проблем с желудком, или что там у тебя? Рассказал бы. Нет, одна умственная озабоченность. Почему бы не поговорить действительно о своей жизни, о том, что составляет ее повседневное содержание? О семье, о здоровье, много о чем. Вот, допустим, младшая дочка выходит замуж, у ее жениха, говорят, проблемы с армией. Чем не материал? Стоило бы обсудить, это у всех найдет отклик. Или тем более про жену. Ведь есть у тебя жена? Почему ее на этих страницах совсем не видно, хоть показал бы?..

Ну, ну ну. Тут, давай, уже притормозим. Этого я вслух обсуждать не намерен. Тем более письменно. Жена таких разговоров не любит. Хотя скрытно она, допустим, присутствует во всем, что я написал... нет, молчу, молчу. Подробностей жизни не вместишь ни в какой объем. Тем более жанр, как уже сказано, не тот. Надо же соблюдать единство

темы. — Э! О каком ты единстве? — оживает вновь так и не заткнувшийся голос. — Сплошные отступления, о том, о сем, вот тебе и весь жанр. Ну расскажи хотя бы, как на той неделе ехал с женой на дачу к дочери и в вагон ввалились полсотни молодчиков в беретах, черной форме с портупьями, с нарукавными повязками РНЕ. Доморощенные фашисты. Двое уселись на скамью рядом, совсем юнцы, аккуратно стриженные, не наглые. Зевали, жаловались, что опять в выходной не удалось выспаться. Погнали на какие-то свои сборы. Напротив сидел их начальник, темные очки, лицо тонкогубого, монашески истощенного, не способного улыбнуться погромщика. Не успевшего пока до погрома дорваться, осуществить мечту жизни. Ты на них не оборачивался, изучал пейзаж за окном. А что еще можно было поделывать? Вагон так и дышал спокойствием. А они, возможно, интересовались в это время твоим профилем и, надо полагать, вполне были довольны собой. Рассказал бы, как ты в это время себя чувствовал, о чем думал...

Как тут можно себя чувствовать? Нечем гордиться, — признаю я. И говорить нечего, без слов понятно. Но я же сейчас не исповедальный роман сочиняю. Ставить перед собой зеркало мне здесь незачем. Сомнительное, между нами говоря, удовольствие — разглядывать свое отражение. Оно почему-то никогда, право, не кажется мне вполне похожим. Хуже бывают только фотографии. Положишь две рядом — разные физиономии, и ни одну не хочется признавать своей. Чем хорошо отражение: им все-таки можно распоряжаться. Недаром же в детстве таким удовольствием было показывать себе гримасы. Да если еще попадетса стекло с явной кривизной: передвигаешь отражение через нее, то увеличиваешь, то уменьшаешь лоб, подбородок, неандертальские челюсти. Интересней бывает себе удивляться, чем обнаруживать и без того известное. Вроде бы ты — и одновременно не ты...

Не начинаю ли я слегка именно этим грешить? Может, в самом деле правильной отказаться от сомнительного ме-

стоимения? — задержался я на идее. Позволительно будет досочинять себя, как того же Васю, добавить красок, дать полную волю фантазии. Писать станет как-то свободнее. Проще будет откровенничать, подмигивая читателю между строк: а вы думали, это на самом деле я?..

Вот, уже вообразил и читателя. Еще и работы не существует, и неизвестно, что из нее получится, получится ли вообще, а ты заранее строишь кому-то глазки. Давно ли, как говорят, опростался, результат уже сколько времени лежит в журнале, и никакого, между прочим, ответа. Знают ведь, сволочи, телефон, могли бы позвонить. Дождешься... О, какое это было переживание в свое время! Как начинало колотиться сердце при одной мысли о предстоящем звонке, как ты суеверно его откладывал, выгадывал благоприятное сочетание обстоятельств. Напечатают, напечатают? Это могло изменить жизнь, решить судьбу. Так казалось. А теперь — ну, допустим, все-таки напечатают, что это даст? Деньги, как сейчас говорят, почти символические (хотя и они нужны). Имя вряд ли прибавит. Вот, говорят, тираж последней книги до сих пор не распродан. А ты все не остановишься, запустил в движение еще одну. Опять получается то же: процесс должен быть завершен, результат выдан. Как это: работать без результата? Все равно что жить без смысла...

Насчет смысла, пожалуй, лучше не начинать. Это смотря что считать смыслом, что считать результатом. Попробуй пойми, почему Музиль до самой смерти так и не смог дописать свой роман...

У одного моего литературного героя тоже остался незавершенный замысел. В отличие от себя, я сделал его, человека пишущего, совсем одиноким. Одна за другой рвутся связи, семейные, житейские, социальные, держаться приходится лишь своим усилием, не надеясь на поддержку и понимание. Разговоры по телефонам, оставшимся в записной книжке, оказываются необязательными, пусты-

ми. Давай встретимся, соглашаешься на прощанье, и заранее знаешь, что никакой встречи не состоится.

Что такое дружеские отношения? — прочел он однажды у философа Мераба Мамардашвили. Их можно описать «как отсутствие человека перед лицом самого себя, поскольку, когда мы общаемся с другом, наша дорога в собственный мир закрыта». Я отчетливо представил себе, как мой герой уперся в эту парадоксальную, требовавшую прояснения мысль. Сам хотел бы в ней разобраться. Мераба об этом уже не расспросишь, а ведь он всегда казался открыт для простого застольного общения и на вопросы отвечал охотно, доброжелательно...

Словом, герою вдруг понадобилось прояснить для себя с пером в руке, что может означать одиночество. Одиночество вынужденное, житейское, несчастное, и одиночество добровольное, может быть трагическое, которого не следует бояться — оно бывает условием вершинных достижений, творческих и человеческих. «Быть солидарным и сотрудничать с другими могут только одинокие люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе», — эту мысль он тоже нашел у Мамардашвили, так на ней и застрял...

Жаль, что не хватило у него пороуху. Я сам, видно, понастоящему пока не дорос, не дозрел до способности дышать на такой высоте. Долго без простых житейских прикосновений не выдержишь, тянет спуститься на уровень попроще. Не оставляет, конечно, мысль когда-нибудь к этой теме вернуться, но о каком самоограничении говорить, если даже отсутствие злополучной, черт бы ее взял, кофемолки до сих пор ощущается, как неудобство?..

Да, подоспел все-таки срок забрать ее из ремонта, надо было покончить хоть с этим.

Казалось, если уже раз испробовал дорогу, можешь у прохожих больше не спрашивать. Самоуверенность, как всегда, подводила. Дома были те же самые, те же надписи на тех же стенах, может быть, лишь размножились вегета-

тивным путем или оказались не все замечены в прошлый раз, но дорогу пришлось искать еще дольше. Возвращение в знакомый, безнадежно повторяющийся, засасывающий сон, где никогда ничего не может получиться: не найти нужную страницу в книге, упавший на землю ключ, за дверью оказывается почему-то опять не та, конечно же, не та комната. Несколько раз мне удавалось даже проследить, как такие сны сочиняются — их сочинял именно я сам, и происходило в них то, чего я ждал: почему-то именно неудачи. Но при этом мерещилось, что нужное все-таки прячется где-то тут, близко. Разрешение ускользало. Почему несравненно реже бывали сны, когда удавалось что-то найти, когда получалось что-то, способное осчастливить? Говорит ли это обо мне, свойство ли это снов? И почему в миг счастливого свершения вдруг неодолимо тянуло проснуться, как будто я во сне сознавал, что быть такого не может? Впрочем, и чувство затянувшейся невозможности, неудачи там же, во сне, становилось невыносимо — усилием воли я заставлял себя вынырнуть на поверхность.

Внутри этого сна я уже почти готов был к тому, что меня ожидало: заказ не был выполнен к сроку. Не поставили каких-то запасных частей из-за какой-то границы. Мне надо было просто позвонить, прежде чем ехать. А как я мог это сделать, если на бланке квитанции номер телефона, оказывается, не был даже указан? Не догадался вовремя обратить на это внимание, не возникло естественной мысли, что могут ничего просто не сделать. Приемщица, новенькая, молоденькая, упакованная, как теперь положено, под журнальную картинку, возмущалась безобразием вместе со мной. С извинениями, охами, ахами исправила на квитанции недосмотр, попросила позвонить через неделю, не больше, обращая на меня взгляд умильных, нарисованных, кукольных глаз. Выучка была тоже новая, запрограммированная, а в вежливой повадке и голосе угадывалось безразличие автоответчика. Что мне остава-

лось? Чертыхаться, объявлять, что я с такой фирмой больше не стану связываться? Очень их это волновало! Эффективные сомнительные создания, неизвестно застанешь ли их, придя в следующий раз...

Мысль о том, что и этот раз не последний, заранее портила настроение, как необходимость еще одного непредусмотренного визита к зубному врачу. Яркое солнце на улице заставляло щуриться. Я прошел рассеянно несколько шагов, прежде чем опять спохватился, туда ли иду. Смушало невнятное воспоминание. Как будто меня автоматически потянуло в ту же сторону, к тем же воротам, что в прошлый раз. Вот уж куда было незачем. Не хватало снова кого-нибудь там встретить. Потоптался, уточняя ориентацию, и повернул обратно.

Уверенности, впрочем, больше не стало. Нарастало, наоборот, чувство, будто меня направляет, подталкивает логика все того же насмешливого сновидения. Черный сверкающий «мерседес» медленно обогнал меня. Показалось, он замедлил ход специально. Кто-то смотрел на меня с переднего сиденья из-за тонированного стекла. Разглядеть лицо было трудно, однако я почти готов был его узнать. Проехав немного, «мерседес» остановился у дверей двухэтажной стандартной постройки с зарешеченными окнами. Из него вышел так и не побрившийся толстяк в спортивных шароварах и куртке со знакомой надписью и рожицей джокера на груди. Машина укатила дальше, но джокер в дверь сразу не вошел, остановился. Он смотрел на меня, дожидаясь, пока наши взгляды встретятся.

Уже то, что я позволил себе его заметить и не скрыл этого, да еще невольно замедлил шаг, то есть замешкался в нерешительности, поставило меня в положение, которое шахматисты называют цугцванг. Приходилось делать вынужденный ход, двигаться дальше. Отводить вороватый взгляд было теперь нелепо, свернуть в сторону некуда. Джокер спокойно дожидался, пока я приближусь. Он поздоровался первый со слабой, но, пожалуй, приветли-

вой — не улыбкой — усмешкой. Не откликнуться было нельзя. Поздороваться может и незнакомый, никто тебе не мешает пройти, если хочешь, дальше.

— Здравствуйте, — остановился я. И не удержался все-таки от вопроса. — Вы со мной здороваетесь, как будто меня знаете?

— Я многих знаю. И меня некоторые знают, — он ухмыльнулся уже откровенно. — Но вообще-то у меня есть ваши книжки.

Бог ты мой! Почему не пришло сразу на ум самое простое? На некоторых обложках имелаась моя фотография, только и всего. Нет, подумал первым делом о телевидении. Неожиданностью было просто встретить здесь человека, читающего книги, тем более своего читателя. Тем более в таком обличье. Не преодоленный до сих пор сдвиг взгляда мешал сразу разрешить какое-то несоответствие. «Мерседес» можно было совместить со щетинистой порослью, модные мешковатые брюки лишь издалека напоминали спортивные шаровары, да и то если понимаешь в моде, как я. Но этот запах тонкого мужского одеколona, а главное, совершенно интеллигентная интонация!..

Он смотрел на меня спокойно, усмешка была одновременно доброжелательная и какая-то грустно-снисходительная.

— Я смотрю, вы сюда зачастили. Интересуетесь чем-то?

— Что значит интересуюсь? Мне пришлось мотаться сюда по делам. Кофемолку из ремонта никак не могу здесь получить.

— А... Кофемолка так кофемолка. Был бы повод, правда? Или все-таки нашли что-нибудь для очередного сюжета?

— Почему вы о сюжете? — я ощутил раздражение, точно меня вынуждали глупо оправдываться. — Говорю же, кофемолку привозил вот сюда... где у меня тут квитанция? — Я движением головы показал себе за спину, одновременно зачем-то пощупав карман, однако квитан-

цию доставать не стал. Еще предъявлять доказательства! — Не успели в срок починить, потому я опять с пустыми руками...

Я говорил и все больше чувствовал, что самому не так уж стоило бы сводить все к житейскому объяснению. Мне, можно сказать, предлагали комплимент — стоило ли так отмахиваться? Так поспешно разочаровывать, обманывать заинтересованное читательское ожидание? Джокер продолжал смотреть невозмутимо.

— Да и какие тут возможны сюжеты? — решил я просто покончить с темой. — Интересного не больше, чем в любом квартале. Этот ваш шофер... как его зовут? Вася, да? — он мне по пути, правда, успел наговорить всякого — самому сочинять незачем.

— А! — понимающе засмеялся небритый. — Вы про нашего Карузо. Нашли кого слушать. Ему дай только распеться, потом прочищай уши. И о чем он вам успел натрепаться?

— Ничего особенного не выдал, не волнуйтесь, — теперь уже и я позволил себе усмешку. — Вам он пел, можно сказать, гимны.

— Мне? — переспросил Джокер с недоумением.

— А как же! Вы для него чуть ли не Бог. Но про здешние ваши дела разговора вообще не было. Я не спрашивал, а то, что он болтал, просто не имело смысла. Он даже не мог толком сказать, что здесь было прежде за производство.

— Вы этим интересовались?

— Говорю же, ничем я не интересовался. Он сам начал что-то травить. Получилось похоже на растянутый анекдот. Про какую-то непробиваемую здешнюю секретность. Когда в каждом цехе делают составляющие для неизвестного изделия, и никому при этом не положено знать, что делают в соседнем цехе. А главное, что получается в результате. Знать могли только те, кто работали где-то в последнем цехе, на сборке, так я его понял. Ну, а про него он

вообще ничего сказать не сумел. И спрашивать не имело смысла. По-вашему, можно такое считать сюжетом?

Он пожал неопределенно плечами.

— Так себе. Можно бы придумать что-нибудь позабавнее. А что, это в самом деле насочинял для вас он?

— Насочинял, для меня! Почему у вас такие странные недоверчивые вопросы?

— Да как-то уж слишком получается в вашем духе. Не обессудьте, может, я ошибаюсь. Я замечал у вас слабость к интеллектуальным сюжетам, у которых не оказывается завершения. Нет, вы бы могли, конечно, придумать лучше.

— Опять: придумать, придумать! Вот это же, — я показал рукой, — непридуманное? За этими стенами было действительно производство, самое настоящее. Кое-что от него даже осталось, я мог убедиться. Кофемолку при случае вам в следующий раз продемонстрирую. Другое дело, если сейчас тут больше найти нечего.

— Ну, у вас не очень современные представления. Бизнес здесь как раз в самом расцвете.

— Вы это серьезно?

— А что? Вы хотели бы посмотреть?

— Что?

— Завершающий, как вы говорите, этап производственного процесса. Вы чего-то как будто еще не можете сформулировать?

— Вы имеете в виду?... В смысле: разве этот цех еще действует?

— Говорю же: производство в расцвете. Прибыльное, как никогда. И оно будет процветать, пока не исчерпается материал. Так что? Провести вас?

— Разве мне можно?

— Со мной можно, — сказал он с усмешкой.

И, не дожидаясь, нажал кнопку переговорного устройства рядом с дверью. Наклонился, буркнул что-то неслышное для меня...

Была некоторая неловкость в том, что я до сих пор не узнал имени своего нечаянного знакомца — не было повода поинтересоваться. Продолжения я не предполагал. Про себя пока можно было все еще называть его Джокером. Раздался сигнал, позволяющий открыть дверь.

— А если у меня документов с собой нет? — зачем-то сказал я — как будто в надежде, что это может его затруднить и на этом все оборвется. Хотя документы я при себе с некоторых пор стал носить постоянно, опыт научил. В любой момент могли потребовать. Он посмотрел на меня молча, непонимающе вскинув брови.

В небольшом проходном помещении, освещенном мертвенным светом дневной лампы, сидел у телемонитора коротко стриженный крепыш в аккуратном черном костюме с галстуком; на выбритой угреватой щеке краснел длинный порез.

— Со мной, — коротко сказал Джокер.

Мы вышли во внутренний двор, зажатый с четырех сторон разновысокими зданиями. Подъезд и нижняя часть фасада самого большого из них, четырехэтажного, были отделаны зеркальным пластиком. Три блестящие дорогие машины стояли перед подъездом. Я не сразу спохватился выяснить, как они смогли проникнуть сюда, в закрытое пространство. Потом оглядываться оказалось и некогда. Мой провожатый уже нажимал клавиатуру очередного скрытого от взгляда электронного устройства...

Есть такие восточные постройки: к улице обращены неприглядные, без окон, глинобитные стены, однако внутренние покои за ними оказываются иной раз роскошные. Нарастающее любопытство смешивалось с ожиданием, уже немного тревожным: к каким это секретным глубинам мы приближались? Фантазия работала неубедительно. Коротко, на пробу возникало что-то похожее на кадры из ходовых фильмов: компьютерные дисплеи, уходящие в перспективу ряды хитроумных устройств, охранники на каждом углу.

Охрана действительно разрасталась внушительно. У очередных дверей произошла заминка, Джокер вполголоса что-то стал объяснять человеку в черном костюме с галстуком (к уху подведен белый пружинистый провод), показывая полужестом на меня — я скромно держался на отдалении. Послышалось имя Ирины, на которую он как будто ссылаясь. Этот непроясненный тип, похоже, не был здесь таким уж хозяином, каким хотел бы себя изобразить — кто он все-таки был? Карточный джокер, который в зависимости от ситуации может по желанию игрока представиться хоть королем, хоть шестеркой. Я словно привычно примеривал, тасовал возникавшие в уме варианты.

Еще один аккуратный крепыш ощупал мне грудь и бока детектором — проверяли, что ли, оружие? Ого, в место я попал действительно непростое. Правда, никаким даже отдаленным производством здесь пока все еще не пахло, тишина была безжизненная.

Витая лестница повела нас куда-то наверх. Мягкий серый палас лежал тут на полу, стены были отделаны дубовыми панелями. У дверей кабинета сидела секретарша. Я невольно задержал на ней взгляд — мне показалось, она улыбнулась мне. Приятно было видеть такую противоположность недавней приемщице: несовременная светлая коса, мечтательное, отсутствующее выражение лица. Улыбка ее на самом деле была обращена не ко мне — куда-то в пространство. Словно она вообще сейчас нас не замечала, прислушивалась к звучащей лишь для нее одной музыке.

— Какая необычная девушка. Тургеневская, — сказал я, когда мы с Джокером вошли в пустой кабинет.

— Вы про кого? — он понял не сразу.

— Про эту секретаршу. Такое несовременное романтическое лицо. И эта коса. Какую она слушала музыку? Так была поглощена — как будто не на службе. Неожиданно здесь такую увидеть.

— Ну, вы даете! — Что-то в моих словах доставило ему удовольствие, он опять не усмехнулся — осклабился. — Вы все в своем репертуаре!

Широкие кремовые шторы были плотно задернуты, сквозь них проникал мягкий свет. Мой провожатый запыхался больше меня, ему потребовалось некоторое время постоять, чтобы привести в порядок дыхание. Посмотрел на меня, оценивая произведенное впечатление.

— Немного переведем дух? — сказал скорей себе, чем мне.

— Конечно, конечно, — согласился я. — Но вы же хотели мне что-то показать? — напомнил, не удержавшись. — Провести куда-то?

— А! Так уж вам сразу?.. Ну, если хотите, можно и сразу.

Он подошел к краю окна, потянул шнурок шторы. Открылся оконный проем во всю стену..

Макс Эрнст, вот как звали этого художника. У него были работы, выполненные в технике так называемой «декалькомании». Они начинались с хаотичных красочных пятен, наплывов, разводов, произвольно отгиснувшихся на холсте. Если бы можно было проследить, как зарождалась, развивалась мысль автора, когда он вглядывался в этот хаос, желая упорядочить его, осмыслить, какую получала подсказку, как это зрелище соединялось с пережитым, передуманным, что-то меняло, наращивало внутри, пока художник постепенно выявлял в нем, уточнял, обрисовывал подробные, более или менее осмысленные очертания! Из беспорядочных нагромождений, словно из грязевых наплывов, проступали на картине останки утерявших форму предметов, скелеты разрушенных сооружений, древесный сушняк вперемешку с коралловыми окаменелостями, ребрами, костями неизвестных существ; лошадиное копыто возникало среди навалов, череп фантастического животного с рогом на маковке. Внимательнее взглядевшись, можно различить там и сям разной

величины фигурки, то ли человеческие, то ли кукольные. Эту свою знаменитую картину Эрнст назвал «Европа после дождя». Мировая война только еще набирала силу. На более поздней работе он не оставил даже намека на следы жизни: навалы, переплетения одних лишь механических форм, плоскостей с тающими игольчатыми углами, шипами, призрачными линейными соединениями. «XX век» — так он ее назвал.

Что-то похожее на такую картину, преображенную, объемную, разросшуюся в натуральную величину, до горизонта, простиралось внизу перед нами. На металлических поверхностях отблескивало, слепя, солнце — оно здесь выглядело безжизненным, тревожным, инопланетным светилом. Лишь поближе к окну можно было различить подробности сложных механических устройств, искореженные остовы и сочленения, опутанные толстыми кабелями и более мелкими проводами в разноцветной оплетке. Дальше все сливалось в подобие фантастического пейзажа. Кромка темной зелени вокруг казалась такой же искусственной, неживой, как все прочее. Сосредоточив взгляд еще немного, можно было, как на картине Эрнста, обнаружить поодаль и крохотные человеческие фигурки, не вполне отчетливые. Возможно, они даже двигались, копошились — отсюда различить было трудно. Зато было видно, как там же, вдалеке поднимает длинную шею с маленькой хищной головкой механическое существо, напоминавшее ископаемого ящера с раздутым брюхом. В челюстях его трепыхались не до конца заглоченные металлические конечности.

Мы сидели с Джокером в кабинете, который выглядел не вполне служебным. На столе рядом с компьютером и телефоном в беспорядке валялись книги, журналы, художественные альбомы; книжные полки на стенах были загружены обильно и служили явно не для декорации. Прямо передо мной висела картина: испуганные голые люди

блуждали среди разросшихся укрупненных предметов: причудливо изогнутых ложек, вилок, по щиколотку в вязком месиве — это растекался потоком фарш, который выдавливала громадная мясорубка. Кривой консервный нож неустойчиво завис над головой одного из людишек, в круглом карманном зеркальце отражался восхитительный вид с ручейком среди цветущей зелени.

Джокер снял куртку, под ней оказалась новомодная белая рубашка без воротничка. Частый ряд пуговиц под горлом вызывал мысль о кнопках баяна. Назвать небритостью растительность на его щеках мог, конечно, лишь человек, до неприличия не настроивший взгляд на моду: это была наисовременная, умело обработанная специальной машинкой щетина. Щеки, послушно каждый день выскабливаемые, выглядели рядом с этой ухоженной порослью, наверно, такими же добропорядочно-устарелыми, как книги недавних лет. Вправду ли могло это больше нравиться женщинам? Вопрос ревнивого идиота. Что значит нравиться? От одной дамы я услышал, что ее возбуждает мужская лысина: есть что-то эротическое в гладкой коже там, где у других волосы, хочется тронуть, погладить ладонью. Впрочем, она была, кажется, лесбиянка. Нет, в разговоре о вкусах, тем более женских, меньше всего стоит звать к непосредственным чувствам. Вкусы определяют профессионалы. Как и в искусстве, кстати. Даже такая вот ожирелая одутловатость все заметней входила в моду вместе с культивированной небритостью; щетина на округлых щеках приобретала очертания чуть ли не окладистой бороды: сочетание солидной упитанности и артистичной небрежности.

Мы расположились за низким столиком, перед нами была бутылка превосходного французского курвуазье. С уютно засасывающих кресел можно было теперь видеть за окном лишь голое небо без единого облачка.

— Готовый синий квадрат, правда? — уловил направление моего взгляда Джокер. — Или, если чтить геометрию, прямоугольник. Предельная чистота, не замусорен-

ная подробностями — этого, говорят, искали первые абстракционисты. Их можно понять. От перенасыщенного жизненного кишения начинает в какой-то момент воротить. Вот она, первозданность.

Я неопределенно промышчал. Неприлично было совсем не откликаться, когда тебя угощали таким коньяком. Но и сказать ничего не получалось. Любые мои слова почему-то заранее казались дурацкими.

— А вас все еще занимает, мне кажется, скорей эта картинка внизу? — он взглядом показал на окно.

— Что вы имеете в виду? — спросил осторожно я.

— В одной повести у вас, я помню, живописалась этакая грандиозная свалка. — Джокер показал большим пальцем в сторону книжных полок за своей спиной. Неожиданно и почему-то не совсем приятно было представить там свою книгу. Раздетая догола в чужих руках.

— Ну, у меня свалка была другая, — вынужден был промямлить я. — И писал я это давным-давно.

— Не вас одного тянуло к таким современным пейзажам. Общее место! — подтвердил он удовлетворенно. — Я это вам не в упрек. Все, как говорится, там будем. И мотивы вполне могут повторяться, без этого никому не обойтись. Но меня сегодня позабавил ваш разговор о завершающем этапе какого-то производственного процесса. Я даже удивился: неужели вам не пришло на ум самое естественное? Как будто вы не даете мысли зайти подальше. Перескочив необязательные подробности. Сборочный цех — все-таки не самая последняя стадия, разве нет?

— Это уже что-то по разряду символов, — поморщился я.

— Ну, конечно, символы не для вас. Они для вас слишком поверхностны, — усмехнулся он понимающе. — Да я же вам ничего не навязываю, не предлагаю. Мне показалась занятной игра возможностей. Хотя какие тут особые возможности? Движение идет только в одну сторону, все туда же, и все быстрее, все быстрее. Называется это про-

гресс или как еще? Знаете, мне как-то случилось с родственниками, — движением головы он показал вбок, на стену, — смотреть с вертолета на танки, назначенные в переплавку. Ровные ряды, как на параде. Они заполняли поверхность огромного поля, до горизонта, и не все можно было обозреть разом, даже с такой высоты, можете себе представить? Мы летели над ними и летели. Впечатляюще! Стада еще не устаревших металлических чудищ, просто стали не нужны, подлежали сокращению. Проблема была с переплавкой, этот металл было не так просто разделить, не хватало каких-то мощностей, что ли? Ну, нас с вами это не интересует, правда ведь? Проблемы технологии и бизнеса...

И присосался блестящими толстыми губами к бокалу, не сводя при этом с меня испытующего усмешливого взгляда.

Фотография упомянутых вскользь родственников висела как раз над нашим столиком. Ширококостное, с мясистым носом, грубо вылепленное лицо могло без объяснений сказать не меньше, чем обилие охраны и сторожевых устройств в здании, чем массивный, прикрывавший печаткой сразу два пальца перстень на руке, которой этот мужик обнимал за плечо миловидную, хрупкую рядом с ним женщину. В ее взгляде можно было бы предположить выражение испуга: в эту самую лапищу угодила; но нет, он был уверен, этот взгляд, уголок губы чуть тронут улыбкой. Кое-что понемногу начинало соединяться в уме: свалка за окном была частью разраставшегося бизнеса. Запечатленные на фотографии супруги находились сейчас по делам в Норвегии. Джокер был всего лишь братом этой Ирины, не больше. Официальной должности он тут не имел, это мне становилось ясно, вообще ни на какой службе не состоял, но для каких-то неофициальных занятий получил здесь в пользование кабинет.

От прямых объяснений он предпочитал уклоняться, ему нравилось подбрысывать намеки, недоговорки, кото-

рые следовало мысленно дополнять, толковать самому. Но без моих вопросов при этом вполне обходился. Превосходный коньяк все заметней оказывал свое действие, ему явно хотелось поговорить. Почему именно со мной, об этом я подумал не сразу.

Отношения этой парочки до сих пор оставались ему, видимо, неясны, тут, чувствовалось, что-то его задевало. Оказалось, он по-настоящему не знал своей младшей сестрицы. Детские воспоминания в таких делах не срабатывают, они из другой жизни, ведь верно? -- вопросительно обращался он ко мне время от времени, но в подтверждении не нуждался. Много ли могут знать друг о друге взрослые люди, успевшие прожить несколько лет врозь? Тем более мужчина о женщине? В свое время казалось возможным смотреть на нее с привычным превосходством, так сказать, мужчины-интеллектуала, уже занявшего место в известных кругах (в каких именно и что это было за место — от уточнений он и тут продолжал уходить), тогда как ей после университета приходилось прозябать на обычных секретарских побегушках. Компьютер, языки — всем этим она владела. Интеллектом могла бы помериться с любым, о внешности нечего говорить. Но это была невелика редкость. Чего он не сумел, наверно, вовремя оценить — это особого женского тщеславия, особой хватки, способности сделать ставку предельно крупную, меньшее ее не интересовало...

Подобных слов он, разумеется, передо мной не произносил, их добавлял уже про себя я сам. Усмешка не сходила с его толстых блестящих губ. Ее можно было счесть снисходительной, эту усмешку, но в ней улавливалось уязвленное недоумение. Могло ли не быть уязвлено мужское самолюбие, если теперь получалось, что он как бы состоял при ней? Примитивней всего прозучали бы тут пересуды насчет корыстного расчетливого мезальянса. Но что в самом деле могла найти общего эта действительно тонкая женщина с таким вот мясником, гордо позирующим для

фотографии на Доску почета? Как они могли общаться, о чем им было каждый день говорить, чем, наконец, она могла его так долго держать? А ведь держала крепко, и не один год.

Кое-что могла подсказать фотография их четырехлетнего сына. Серьезная трогательная мордашка, удивленно распахнутые глаза, черная бабочка-бант, вызывавшая мысль о нежном котенке. Воспитание он получал домашнее, как в былых аристократических домах, имелась бонна, говорившая с ним по-французски. Обдумывалось ли отчетливо заранее, как надо будет пересаживать его потом из оранжереи под открытое небо, подключать к наследственному делу?.. А ведь речь, пожалуй, действительно могла идти о замысле, рассчитанном на перспективу. Ирина, по словам Джокера, была не на шутку одержима идеей о некой новой элите, в которую намеревалась не просто войти — скорей, если угодно, сформировать заново.

— Я ей как-то сказал, что у вас есть рассуждения на эту тему, — он вдруг посмотрел на меня со значением поверх бокала, не отрывая от него губ. — Она заинтересовалась. Расспрашивала о вас...

Вот когда я впервые не то чтобы насторожился: что-то в этом взгляде мне не понравилось. Он заметил, что мой бокал опустел, потянулся к бутылке. Я попробовал сделать протестующее движение, но оно получилось половинчатым, кресло слишком расслабляло. И коньяк все-таки был хорош...

— Вы представляете себе Пигмалиона в юбке? — удовлетворенно откинулся он. — Я иногда готов называть ее именно так. Материал ей достался, что говорить, сырой, неотесанный, но по-своему качественный, ему тоже надо отдать должное. Хотя работа потребовалась немалая. На фотографию не смотрите, — уловил он мой взгляд, — она устарела. Я у себя держу для памяти. Этот вульгарный чудовищный перстень она давно убедила его снять. Выбрать

костюмы, галстук, рубашку, парфюм, что там еще? все это она умеет лучше любых консультантов. Да и с консультантами нет проблемы. Манеры он худо-бедно усвоил, в ресторане пользуется ножом и вилкой, причем держит правильно, я свидетель. Нет, что-то в нем она распознала. Даже черты лица меняются, это удивительно наблюдать... Я, знаете, одно время думал, сестра нацелилась использовать меня в каких-то литературных целях. Для работы, как говорится, над образом. Ей ведь нужно непременно создать, оформить, помимо всего, образ мужа. Для публики, в деловых целях. Чтобы в перспективе продвинуть его, допустим, в какие-нибудь депутаты. Хотя от этой политической, как теперь выражаются, элиты Ирину особенно воротит. Но мало ли, вдруг придется. Надо, чтобы о нем начинали писать... Нет, литература для таких дел не особенно годится, это я сам успел понять. Тут теперь требуются действительно профессионалы. Не такие, как мы с вами. У вас, боюсь, просто не получилось бы, или я ошибаюсь?..

— А вы, значит, имеете отношение к литературе? — осторожно спросил я. И тут же ощутил, что вопрос получился неловким, до неприличия запоздалым. Выпитое начало действовать и на меня.

— Поинтересовались все-таки, — его ухмылка становилась все более удовлетворенно-расслабленной. — Ладно, чего тут объяснять? Я мог бы сам раньше представиться. Но мое имя вам все равно вряд ли что скажет. Я ко многому имел отношение. Чем-то занимался, чем-то интересовался. Театром. Вообще искусством. Пописывал. Крутился, можно сказать, возле культуры...

Имя действительно прозвучало скорей как псевдоним, я чуть ли не сразу его забыл. Как будто слишком уже свыкся со словом Джокер. Он умел ориентироваться в этой среде, вот что понадобилось использовать сестрице. Знал имена, репутации, отношения. Главное же, помогал ей быстрее избавиться от остатков застрявших с юности интеллигентских комплексов. Успели же в нас

вдолбить представление о так называемых властителях дум. Сеятелях разумного, доброго, вечного. Помните еще, как любили говорить о писателях?.. Читать современных авторов ей было, конечно, некогда, это она тоже поручила ему.

Что он умел делать с особым вкусом, так это спокойно, без злости раздевать перед ней самых раскрученных знаменитостей, не оставляя даже фигового листка. Иные ведь именно на таком листке любят изобразить что-нибудь особенно впечатляющее — наслаждение было тихонько продемонстрировать, что под ним на самом деле ничего вовсе и нет.

— Но знаете, в чем бывает самый большой кайф? — Джокер облизнул языком верхнюю губу, потом нижнюю. В его ухмылке появилось удовлетворение почти плотоядное. — Встретиться потом с таким властителем дум на престижной тусовке, познакомиться с Ириной, завести разговор на высокую тему — и элегантно, двусмысленно, незаметно его перед ней опустить. Кайф в этой самой двусмысленности, незаметности, он даже обидеться не успевал. Но Ирина все мои намеки секла сразу, у нас с ней успел выработаться свой язык. Стоило посмотреть, как она про себя торжествует. Ей ведь это больше всего нужно — удостовериться снова и снова, чего стоит на самом деле нынешняя так называемая элита. Культурная, интеллектуальная, какая еще? Ей это важно для внутреннего самоутверждения. А я ведь про этих тусовочных знаменитостей знаю не только по их книгам, они для меня, как облупленные, могу рассказать такое! До вас, может, кое-что доходило в виде фольклора?.. А?.. Вы что все молчите? — спросил он вдруг тоном недовольным, вызывающим, неприятным. — Не интересуетесь, что ли, окололитературными сплетнями? Ведь вам хотелось бы имен, подробностей, разве нет? Не лукавьте хоть с самим собой: разве не приятно услышать подноготную про слишком уж успешных кумиров? Зависть — чувство самое естественное, при-

зняться не грех... Ну, не отмалчивайтесь же, будьте, наконец, откровенны. Записывающих устройств здесь нет. Кроме вас. Ха-ха. Шутка. Ирина спрашивала: а почему, говорит, он никуда не ходит? Я говорю: так не приглашают, наверно. Да?..

Я поднес к губам бокал, чуть-чуть его наклонил.

— Да ладно, знаю я, что вы скажете, — он состроил пренебрежительную гримасу. — Сам не хочу, мне скучна эта суета. Ярмарка, как у нас говорят, тщеславия... Скучна, спорить не стану. А если я скажу: вам просто неохота оказаться под чужими взглядами? Неуютно, если начнут обсуждать? Думаете, о вас, что ли, не говорят? Хотите, перескажу кое-что?.. Молчите, молчите. Все равно ведь не скроетесь. Вот, никуда не ходили, а со мной встречи не избежали. Считайте, попались, да?..

И снова откинулся на спинку кресла, удовлетворенный, словно завершил арию.

— Ладно, — не стал он дожидаться моих слов, — это я так. Разыгрываю одну из возможных сцен. Мог бы на вас поупражняться. Но как-то все не разогрею азарт. Тем более сестрицы нет, не для кого стараться. И неинтересно, увы. Человек может ощутить, что его опускают, если только со-знает и признает систему понятий, в которой это именно так воспринимается, называется. Даже оскорбления не ощутишь, если не поймешь, что это оскорбление. Не дойдет. Из другой системы. Вот так вы не почувствуете себя немодным, если не знаете, что это такое. Не уловите, не поймете насмешливого взгляда. В каком году вы покупали эти свои брюки? Мне кажется, еще гэдээровские?.. Подозреваю, примерно так же вам самому не может придти в голову, что ваша проза — вроде этих брюк. Вы ухитрились на удивление вообще не заметить: то, что вам до сих пор кажется литературой, уже мало кому нужно. Цивилизация на глазах меняется. Этого уже не носят...

— Да знаю, знаю, — не удержавшись, поморщился я. — Тоже известные разговоры. Людям сейчас нужней элект-

ронные масс-медиа, виртуальные игры, страшилки, фантазии...

— А разве нет? — с готовностью подхватил он. — Думаете, им надо углубляться вслед за вами в какие-то неясные бездны? И соотносить с ними свою жизнь? Об этой жизни они лучше прочтут в газетах. Потому и тянет от нее отвернуться, отвлечься, по возможности скорей забыть.

— И довольствоваться одной только макулатурой для разового пользования, на выброс?

— Проговорились все-таки! — захохотал он, впервые показав целиком не очень хорошие зубы. — Вас, значит, действительно вечность заботит? Непременно хочется оставить после себя нетленку? Еще один памятник? А вы представляете себе местность, сплошь уставленную памятниками? Как это будет называться? Кладбище. Только ведь их тоже со временем станут сносить — надо расчищать место для растущего населения. Свалки, вроде этой вот, за окном, глядишь, продержатся дольше... Пардон, вы не курите? Не возражаете, если я подымлю?..

Я молча кивнул. Если выпитое на нас и подействовало, то, видно, по-разному. Я казался себе расслабленным до онемелости, он оживлялся все больше.

— Вот, послушайте, может, вам будет интересно, — продолжал он, затянувшись властью длинной коричневой сигаретой и выпуская из ноздрей дым. — Мне как-то встретился один сумасшедший коллекционер, его заинтересовала здешняя свалка. Коллекционеры все с годами становятся слегка сумасшедшими, вам не кажется? Из семьи математиков, сам по образованию математик, коллекция досталась ему по наследству. Разные счетные приспособления. Он мне показывал, я ходил посмотреть. Какие-то арифмометры — помните еще, были такие машинки, с ручкой, которую надо крутить? Корпуса иногда художественно оформлены, залюбуешься. Логарифмические линейки — я даже не представлял, какие они бывают разнообразные: крохотные, громадные, круглые, в виде карманных часов.

Палочки Непера так называемые. Но главное, конечно, всевозможные старинные счеты. Русские, с костяшками, японские, китайские. Сорубаи, суан-пен. Видите, я даже названия запомнил, память у меня неплохая. Есть просто удивительные штуковины, резные, каждая костяшка — произведение искусства. А всего ценней — совсем простые, почти ископаемые абаки, счетные доски с полосками, желобками. По ним передвигаются эти самые костяшки или камешки. Глиняные были абаки, всякие. Чем стариннее, тем ценнее, все тот же парадокс. Современный вот этот компьютер в такую коллекцию включить невозможно, просто бессмысленно. Тут, за окном, еще валяются остатки, громадные остовы первых электронных машин, великое достижение уходящей цивилизации, они занимали целые здания, помните такие? Не говорю о том, что ни в какую коллекцию они просто не влезут, дело не в этом. Главное — зачем? Современных миниатюрных калькуляторов, счетных устройств просто необозримое множество, в самых причудливых видах. Брошки, игрушки, часики. Они устаревают в день выпуска, их тотчас заменяют новыми — и туда же, туда же. Вместе с кастрюлями, ржавыми водопроводными трубами, отопительными старинными котлами. Что нельзя утилизировать, то сжигается. А коллекционной ценности никакой. Для подобной коллекции будущее бесперспективно. Только прошлое. Знаете, на что жаловался этот чайник? Ему предложили какую-то старинную абаку, чуть ли не древнегреческую, он заподозрил подделку. Появились подделки, вы представляете? А как определить? Счеты королевского министра в антикварной резной раме — произведение искусства, как же! В него вложена душа, талант, личность. Подпись можно в уголке выгравировать. Абсолютная художественная ценность. А в этот металлолом, между прочем, тоже вложены чьи-то незаурядные мозги. И что? Кому теперь нужна подпись?..

Он, наконец, заметил, что накопившийся на конце сигареты длинный пепел вот-вот может упасть, стряхнул его в пепельницу, затянулся опять с удовольствием.

— Помните, какую восхитительную игру стеклянных бус сочинил когда-то Гессе? Она ведь началась, в сущности, с чего-то, похожего на усложненные счеты: бусинки разной формы, размера, цвета передвигались по проводочным стержням. Их можно было использовать как нотные линейки. Пересечение математической и музыкальной мысли. Ах, в какую это разрослось умственную утопию, в какую мечту об элитарном ордене! Вроде монашеского. Который будет противостоять упадку и разложению. Игра с разными культурными ценностями, да? Пожалуйста: именно подобными играми сейчас всюю и забавляются. Культурные ценности доступны в любых видах. Устройства для игр так усовершенствовались — у Гессе настоящей фантазии не хватило. Вы, конечно, скажете, он имел в виду что-то другое? Правильно, реальное развитие смеется над любыми умственными построениями. И над вашими в том числе...

Дым выплыл из его губ, поднялся вверх красивыми кольцами. Он выдержал паузу, наблюдая за произведенным впечатлением.

— Что, вы еще не заметили этого, не ощутили? Комфортней, конечно, отмахиваться. Поспевать за временем не удастся, но хоть можно считать себя не таким, как другие, да? Тоже известные разговоры. Все не такие, но я особенно не такой. А вы хоть представляете себе, как сейчас размельчился, рассыпался этот самый культурный бисер? Все по множеству разных щелочек? В одной поклонники африканской магии, в другой любители гонять на мотоциклах, в третьей ценители старинной живописи — перечислять можно бесконечно. Друг о друге они знать не хотят, им другие неинтересны и непонятны. Так вот, вам, простите, не кажется, что вы продолжаете заниматься чем-то вроде имитации антиквариата для узкого круга це-

нителей, собирателей? Большого спроса на него быть не может, вас это и не смущает, да? Или у вас есть спонсор? На жизнь худо-бедно хватает?.. То, что сейчас еще называется искусством, литературой, скоро, может, вообще останется условностью для немногих. Хорошо если роскошью для богатых гурманов. Гессевскую Касталию тоже кто-то должен был содержать, подкармливать, и они, обитатели, кормежку-то принимали, как должное. Зато получили право называть себя элитой. Удалось укрыться в своей щелочке, молодцы. А если называться элитой больше прав имеют не те, кого содержат, а те, кто содержат, как вам кажется?

— Да... понятия стоило бы уточнить, — я оправился наконец от затяжного, странного оцепенения. — Я бы предпочел говорить об аристократическом самоощущении, которое не обеспечивается ни наследственным правом, ни деньгами, ни общественным положением...

— Знаю, знаю! — отмахнулся Джокер. — И про это у вас читал. Мечта об элитарном гетто, да? Как вам нравится такой заголовок? Могу подарить. И высшим представителем этого аристократизма вам представлялся беззубый нищий поэт, который ходил в пиджаке с чужого плеча. Мы как раз об этом говорили с Ириной. Ох, послушали бы вы ее!.. Один литератор, знаете, рассказывал о старухе, которой этот самый поэт в молодости посвятил восхищенное стихотворение. Был в нее, видно, влюблен. Саломея, из княжеского рода. Соломинка. Она вспоминала о нем прямо-таки с брезгливостью. Даже мысли не могло возникнуть, чтобы подпустить к себе такого. Все равно что козла, буквально так, кажется, и выразилась. Что, в самом деле, могли для умной красавицы значить стихи, страдальческая судьба, даже слава? Тем более слава посмертная? Стал бы он хоть Нобелевским лауреатом. Для такой женщины собственная жизнь — поэма куда более значительная. Ирина ее вполне понимала... Я чувствую, вы уже порываетесь сказать: а сама-то кого себе выбрала? Да, тут еще

действительно не все до конца утряслось. Потому ей постоянно и нужно самоутверждаться. Главное, не только внешне. Доказывать самой себе, что все было правильно, так и надо. Я о том с вами и говорю. Понятие элиты мутирует, тут вы с ней нашли бы общий язык. Когда десятилетие за десятилетием у нас уничтожались отборные, вершущие слои, можно только удивляться, откуда еще возникали новые люди, да? Но когда-то, говорят, нацию спасали от вырождения насильники-завоеватели, вливали в нее дикарскую свежую кровь. Может, ей представляется что-то в таком роде?.. Ну, это опять же ее репертуар, не моя проблема. Разберется сама...

Джокер допил оставшийся на дне бокала коньяк. Примерил, долить ли еще, но словно не захотел отвлекаться. Он становился все вдохновенней.

— Мне, знаете, нравится ее иногда дразнить. Напоминать, что в рыцарские времена аристократу зазорно считалось заниматься практическими делами, денежными расчетами. Это предоставлялось низшим сословиям, правда ведь? Я, если уж завершить тему, считаю свое нынешнее положение куда более аристократичным, — сказал он вдруг вызывающе, с какой-то даже напряженной гримасой. — Аристократично не ограничивать себя определенным занятием, профессией для заработка. Всякая определенность вообще в некотором смысле есть ограниченность. Затвердевшая оформленность. По-настоящему наслаждаешься другим, сочным, наполненным состоянием, а? Как мы сейчас с вами... Или вы предпочитаете казаться себе демократичным? Быть всем понятным? Так сказать, общечеловечным?

— Черт его разберет, — я с усилием потер лоб средними пальцами. — У кого-то из нас путаются понятия. Боюсь, придется признать, я не так демократичен, как хотел думать. Увы. Держаться определенной системы ценностей оказывается на самом деле аристократично — если вам так нужно употреблять эти слова. Аристократична все-

таки форма, о которой вы так пренебрежительно... Не знаю, что имеет в виду ваша сестра. По вашему рассказу трудно понять, что она такое. Но ведь можно говорить об аристократичности самой женской природы. Женская стыдливость, разборчивость — от сознания, от инстинктивного знания, что ей придется рожать. Она должна заботиться о доброкачественности потомства. Мужчина — что! оставил, где случится, свое семя, и нет его. А родить-то придется ей, и воспитывать при себе ребенка. И каким он у нее окажется — ей расхлебывать... Не знаю, не знаю, каким ей видится ее мальчик. Женщина, конечно, способна что-то чувствовать интуитивно. Как доходит до семьи, до рождения — инстинкт, глядишь, как раз окажется аристократичным...

— Жаль, что она вас не слышит, — ухмыльнулся во весь рот Джокер. — По вашей прозе можно было догадываться, что вы не то что сентиментальны — до неприличия моногамны. Я прав?.. Но когда вы пускаетесь философствовать о женщинах... да ладно, не буду вас обижать. Даже трогательно. Мои разговоры, думаю, вам без надобности, сами по-своему досочините... Что вы, кстати, начали мне говорить про эту нашу секретаршу в холле? Тургеневская девушка? Да не жмитесь, выразите свое впечатление.

— Не то чтобы тургеневская, — уступил я нажиму. — Косметики на мой вкус многовато, лица у некоторых становятся нарисованными. Но улыбка! Она так улыбалась, губы полуоткрыты — как будто слушала неслышную другим музыку. И нас даже не замечала.

— Вот-вот, в вашем духе. Очаровательно. Настолько не понимать современной жизни, про женщин не говорю! Образ, к вашему сведению, можно менять вместе с прической. Сегодня такие волосы примерила, завтра другие. А хотите узнать, что говорила эта улыбка? У этой девочки всего-навсего — знаете ли вы такие новинки? — вмонтировано в трусики современное ублажающее устройство, называется скорпион или скат, по-разному. Есть еще ба-

бочка. Включается дистанционным управлением. Как далеко ушла техника, да? Раньше для таких дел приходилось стараться мужчине. Впрочем, и раньше обходились повсякому. Но теперь мы для нее вообще не более чем одно из приспособлений. Даже меньше.

— При чем тут множественное число? Убедились, что ли, на своем опыте? Медуза для таких дел не годится, но обобщать не надо.

— Что вы имеете в виду? — насторожился он...

Нет, таких слов я, конечно, не произносил. Это было уже похоже на недозволенный, шулерский прием. Попытка решить партию в свою пользу, когда не сумел найти достойного, убедительного хода. Чтобы потом мысленно, для себя, переиграть, переписать все более правильно, победительно, неопровержимо. А неудавшийся черновик скомкать, порвать на куски помельче — его, считай, не было. Лучшие доводы всегда приходят задним числом.

Слишком было бы просто — представить этого Джокера ожирелым расслабленным импотентом. Недобросовестное, злорадное передергивание. Но про медузу действительно стоило бы сказать, жаль, не пришло на ум раньше. Надо было вставить сразу же после той его похвалы на счет сочного наполненного состояния. Что это, если не блаженное колыханье медузы? Посмотреть на нее: как она роскошествует, переливается, наслаждается, красуется прозрачными объемными очертаниями — но только если есть среда, в которой можно расправиться. Вне среды — комок бесформенной слизи. Не знаю, как насчет его Ирины, тут все остается для меня пока непрописанным, нерешенным наброском, над которым еще можно подумать — но ему-то самому как раз требовалось иметь перед собой кого-то, хоть вот меня, чтобы самоутвердиться, самоутвердиться. Было бы за чей счет. Сейчас, когда записываешь разговор, только и начинает доходить, зачем я ему на самом деле понадобился...

Кто он сам по себе такой? Приживальщик при богатых родственниках, не более того. Его зять с физиономией удачливого бандита по крайней мере занимается переработкой отходов, чужих, но все-таки. А этот всем пользуется, все оценивает, обсуждает со стороны, сам ни в чем не участвуя. Он ничего не создает, не тратится на личное напряжение, попивает халявный коньяк с хозяйского стола. И еще толкует мне, что следует считать реальной жизнью. Какое он имеет к ней отношение?..

Сам, между прочим, тоже этим коньячком попользовался, — тут же вынужден был я себе напомнить; других оппонентов уже не было. Чем ты вообще сейчас занимаешься? Думал всего лишь разобраться в собственном самочувствии, не более, и вон куда занесло. Который раз такое: поначалу все представляется ясней, кажется, будто знаешь, чего ищешь. Но чем проникаешь дальше, чем больше тебе открывается, тем все оказывается непонятней. Может, скорей ты сам становишься все менее определенным, все более расплывчатым? Незачем больше в ту сторону углубляться, лучше оставить этих персонажей в покое. Разберись, давай-ка, с самим собой: что такое твои отношения с реальностью?

Хорошо, попробую. Пора, наверное, привести в порядок первоначальные, простейшие мысли. Можно сказать, что я действительно пытаюсь создать на этих страницах не более чем свой, мало-мальски выстроенный, оформленный мир. Мир, в котором, вопреки всему, можно говорить о существовании красоты, смысла. В котором есть любовь, нежность, представление о правде, честности, справедливости. И т.п. Только в нем я мог бы действительно жить, и он для меня не менее реален, чем тот, где можно обходиться механическими устройствами для самоублажения. Проблема возникает, когда пробуешь что-то соединить, ощутить, осмыслить какую-то всеобъемлющую полноту, принять помимо всех оценок, вместить в себя общее бесконечное разнообразие. Возможно ли вообще такое?..

Что-то вроде надежды алхимиков осуществить последний, решающий, не такой уж сложный синтез. Остановка у них была только за философским камнем. Некоторые уверяли, будто рецепт им и вправду известен. Где-то я в книге оставил закладку?.. А, вот она. «Чтобы приготовить эликсир мудрецов или философский камень, возьми философской ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого накаливай сильнее, и она превратится в красного льва. И увидишь появление горячей воды и человеческой крови». Гениально в своей простоте, а? И ведь какие найдены слова — чувствуется искреннее убеждение! Вопрос, что получалось у самого написавшего это. Искренне веривший в свои слова должен был рисковать жизнью. За потраченные химикаты надо было отчитываться, расправлялись тогдашние спонсоры без суда. Приходилось делать вид, что работа идет, объяснять необходимость отсрочки, требовать новых средств. Ну, а кто с самого начала жульничал, тот лишь дождался случая убежать, прихватив наличное золотишко. Авось не поймают...

На кого из них, интересно, похож сейчас я? Вместо слов на листе-то возникают уже все больше завитушки, узоры, ни на кого не похожие рожицы. Очередной кризис. Все еще изображаю неизвестно перед кем деятельность. Невидимого надсмотрщика хочу обмануть, себя ли? Договора ведь ни с кем не подписывал, аванс возвращать не обязан. Кому нужна эта вымученная добросовестность? Разве только тебе. Ни на что другое просто чувствуешь себя не способным. Даже странно: могут же другие жить и умирать, обходясь без литературы. На прокорм и сейчас бы, думаю, у меня нашлось. Кормился же раньше одними переводами...

Все, честней это занятие прекратить. Найди себе что-нибудь другое. Телевизор, что ли, включить?..

Женщина с внешностью знакомой соседки торжествуяще протягивала мне коробку стирального порошка. Я

поспешно переключил программу. Светловолосая секретарша успела сменить прическу, она опять смотрела не на меня, упоенно разминала что-то во рту. Сомкнутые влажные губы двигались медленно, глаза полуприкрыты в самозабвенном любовном экстазе. Кто-то умел наслаждаться жизнью, из которой меня выталкивало, как пробку. И не было под рукой программы, чтобы найти мало-мальски приемлемое зрелище. В другое время я не стал бы пробовать дальше, просто бы выключил телевизор. Но сейчас надо было во что-то уткнуться.

Еще по одной программе показывали футбол. Вот, хотя бы это. Лучшего незачем было искать. Вася-обоженный не ошибался, когда-то я мог считать себя настоящим болельщиком, знал по именам игроков, их достоинства, вскакивал на трибуне вместе со всеми, когда мяч попадал в сетку между столбов или наоборот, не попадал. Главное, воздух вокруг был наэлектризован, заряжал общим чувством. На маленьком экране эффект был, конечно, не тот. Особенно если не знаешь, за кого болеть. Поначалу не удавалось понять, кто с кем играет, какой счет. Крупные надписи на футболках обозначали вовсе не названия команд, мелкие эмблемы были едва различимы, расцветка футболок ни о чем теперь не говорила. Пятна человеческих фигурок перемещались по экрану, крупно показанные потные лица оскаливались в азарте единоборства.

Двое у микрофона переговаривались неторопливо, с ленцой. Они, как я, наблюдали за происходящим на поле, но меньше всего интересовались игрой. Так лузгают семечки на скамейке перед воротами, провожая взглядом проходящих по улице, но едва поворачивая им вслед головы.

До меня постепенно дошло: обсуждался слух о перепродаже кого-то из игроков. «После той истории с представителем федерации его цена возросла чуть не вдвое», — сказал один, поправляя что-то языком между зубами. «Это которого он укусил за палец?» — хмыкнул другой и от-

плюнул в сторону шелуху. (Виртуозность лужгания, когда рука не доносит семечко до рта, вбрасывает его с расстояния, без промаха, едва уловимым движением, а потом оно так же без участия рук, пневматическим плевком направляется по эффектной траектории. Наслаждение самоценным ритуалом, которого не доставит очищенный заранее магазинный продукт). «Я слышал, не за палец, а за лодыжку». — «Неважно. Главное, сумел сделать себе имя. Сразу фотографии, интервью, судебный процесс». — «При том, что в последних пяти играх он не забил ни одного гола». — «Имя и голы оцениваются в одних и тех же уе». — «Это хорошо сказано. У-йе!.. посмотрите, что он вытворяет! Зачем было делать передачу налево? Там же никого нет!» — «А если бы был? Главное, вы готовы разволноваться. Этим и захватывает игра. Слышите, как орут на трибунах? У кого-то, может, случился разрыв сердца. У некоторых и перед телеэкраном случается. Если вникнуть, какая разница: направо, налево? Разве смысл в том, чтобы пробежать с мячом прямым от ворот до ворот и послать его в сетку? Это все равно что нам говорить только разумные, точные, осмысленные слова. Людям нужна не логика, скорей что-то вроде нашего трепа. Передаешь направо, налево — и от этого может зависеть судьба, карьера». — «Кажется, его сейчас унесут с поля. Игра становится жесткой». — «Жесткость прибавляет ей реальности. За сломанную ногу он получит страховку в тех же уе. Не спрашивать же, какой в этом смысл. Все равно что спрашивать про смысл жизни». — «Вы слышали, есть новая концепция? Количество мячей, шариков, пузырей, вообще фишек, предлагается устанавливать по желанию участников. Их можно двигать в любую сторону». — «Укус разрешается?» — «В спорте вряд ли. Но игра — это же не только спорт, это еще искусство. В столице Стокгольма была конференция: считать ли укус художественной акцией или спортивным приемом». — «Вы хотите сказать, в Париже?» — «В немецкой части. Время требует новизны. Иг-

роки и зрители имеют равные права. Мы с вами тоже участвуем. Каждый ход, каждую передачу от игрока к игроку можно сопровождать разговорами о том о сем, и продолжать, как сейчас, пока самим не надоест или пока нас не выключат для рекламы»...

Грохнул внезапный музыкальный взрыв. Вместе с крутящимся пятнистым мячом с экрана полетела прямо на меня, укрупняясь, запотевшая коричневая бутылка, из нее полилась пеннистая жидкость. «Играй! Пей! Дыши!» — возник заклинающий голос. У-йе!.. Я только теперь обнаружил, что незаметно успел соскользнуть в полудрему. В руках не было пульта, чтобы выключить телевизор, кресло совсем затянуло в себя, не отпускало. И зачем было что-то менять? Где привык, там и удобнее оставаться. У-йе! Как завораживающе звучал этот новый возглас! Отзвук первобытного вопля. Общемировая универсальная единица. Когда-то вовремя догадались заменить золотые монеты бумажками, скоро не потребуются и бумажки. Хорошо, если можно все упростить. Сидя в кресле, ощущать радость движения. Вместе со всеми. Шарик или мячик перемещались, резвясь, подпрыгивая, вытягивались в длинную, уходящую за горизонт ленту. Почему мысль должна быть непременно вытянута в одну линию? Не надо ничего понимать, только поддаться, плыть куда-то в общем потоке. Движению не требуется даже помогать, шевелиться. Несет и несет, вместе со всеми, дальше и дальше. Плавно. Ни вращающихся колес, ни перемен вокруг, ни шума ветра в ушах — одно лишь чувство движения. Мягкие прозрачные пузыри колыхались рядом. Внутри коричневых вод созревали, улыбались зародыши. Чувство сладкого головокружения. Кругом что-то лопалось, бормотало. Играй, бей, пиши... Не надо ничего выяснять, и спрашивать некого. Пусть кажется, будто мы знаем, куда все движется, знаем, почему и зачем, как все было устроено раньше и как все надо устроить. Головы возникают среди пузырей,

бритые и волосатые, в египетских уборах, чалмах и тюрбанах, рыцарских шлемах и армейских касках. Мысль продолжает развиваться осмысленно. Как же иначе, если это мысль? Конвейер продолжает производить ее, движение одностороннее. Нарботанное накапливается. Берега покрыты использованной шелухой. Оборванные разноцветные проводки, разобранные на части мозги. Куда девается их содержимое? Считай, улетучилось. Что остается, тем будем пользоваться. Можно это назвать культурой, можно сделать темой для электронных игр и костюмированных представлений. Песнопения обитателей пустыни звучат среди бетонных стен, где вместо неба и звезд световые эффекты, где можно влюбляться в тень, движущуюся на экране, и среди других теней увидеть себя на летящем неизвестно куда пузыре. Приспособления с меняющимися цифрами не показывают, как ускорился ход времени, но когда видишь солнце, наглядно же: на закате оно движется все быстрее. В заводи пахнет тиной или брожением, тут зарождается что-то новое, а задержаться нельзя. Нынешнее состояние цивилизации — еще не окончательный ее этап, вот что надо считать надеждой. Если история может чему-то учить, то хотя бы этому...

На стремнине, обгоняя других, плыли деревянные ящики, продолговатые, грубо сколоченные. Из одного высовывалась ржавая лопата в кепке — я узнал автопортрет своего друга, скульптора Вадима Сидура, называвшего себя «отцом гроб-арта». Не удавалось приблизиться к нему, он все удалялся. У лопаты не было рта, но крепло чувство, что надо лишь прислушаться...

«Не получается навсегда, вот что трудно», — прозвучало в пространстве тихо, насмешливо и грустно. «Что навсегда, что трудно?» — попытался понять я. Догадка была уже совсем близко, оставалось удержать, вспомнить, выбраться вместе с пониманием на поверхность, пока оно не исчезло...

— Навсегда проснуться, — растворялся, таял в сумерках последний, еще отчетливый отзвук.

Почему за столь долгий срок не удалось Музилю довести до конца уже во многом выстроенный роман, даже приблизиться к завершению, которое в основных чертах заранее было намечено и не раз как будто мерещилось?

Писатель, как известно, человек, которому писать особенно трудно. Проблема Музиля была не в так называемых «муках слова» — он исписал за годы работы необозримое множество страниц. Была ли она в том, чтобы на чем-то остановиться, удовлетвориться достигнутым? Если бы сам Музиль мог себе определенно сказать! Выглядит все именно так: чем дальше он продвигался, тем больше открывалось сложных, разветвленных, требующих осмысления и разработки возможностей.

«Я хочу одновременно слишком многого, — записал он однажды... — Отсюда возникает нечто судорожное». Затруднения в работе иногда обострялись до такой болезненной степени (представляется что-то, похожее на заикание), что пришлось даже обратиться к врачу. Доктор Лукач попросил изложить, проанализировать письменно, что же пациенту мешает. Музиль добросовестно выполнил предписание. В своем пространном отчете он, среди прочего, сравнивает себя с человеком, который пытается укротить баллон размером больше себя самого; пишет о попытках расчленить работу, чтобы справиться с ней по частям; однако возникающие при этом идеи оказываются трудно объединить в целое, это действует парализующе.

Доктор, прочитав отчет, посоветовал писателю просто переждать несколько дней, расслабиться, как теперь говорят. «Новая мысль позволит что-то перегруппировать. Или наоборот, перегруппировка породит новую мысль. Важное станет вдруг неважным и отпадет».

Рекомендация дельная. Но ведь то, что предлагал врач, с Музилем как раз и происходило, вот в чем была беда. В марте 1934 года он пишет знакомому, что ему пришлось пересмотреть планы и наброски, сделанные десять лет назад, пожертвовав почти всем, что первоначально должно

было составить, собственно, весь роман. И через полгода: «Завершение романа уже обозримо — но путь к нему!»

Так, поднимаясь в гору, уже, бывает, видишь вершину, однако радость оказывается преждевременной: это всего лишь промежуточный выступ, заслонявший вершину другую, только теперь открывшуюся впереди — настоящая ли, однако, и она, окончательная ли? Снизу, от подножья, путь представлялся гораздо более обозримым. А если каждый очередной шаг видоизменяет перспективу, порождает непредвиденные задачи, требует новых решений, поисков? Если каждое найденное решение не прибавляет ясности, а, наоборот, от нее удаляет?..

Нет, продвижение к вершине — пожалуй, тут не самое подходящее сравнение. Скорей возникает чувство, будто человек годами преодолевает разнообразное, необозримое пространство в наивной — при таком-то опыте! — надежде добраться когда-нибудь до места, где земля сходится с небом. Как еще назвать это стремление соединить несоединимое — не сюжетные линии, не судьбы героев, тут дело, как говорится, техники: неуловимую, неохватную реальность с определенной, словесно выраженной мыслью? Если бы опыт хоть прибавлял с годами уверенности! Какое там!

Выразить надо всегда намного больше, чем позволяют ограниченные способности, возможности самого языка. И ведь в каждой работе выкладываешься предельно, словно она единственная и последняя — как же иначе? Но любое завершение оказывается условным, да и может ли оно быть другим? Музиль словно не хотел примириться с этим.

В первой части романа иронически обсуждается некая «утопия точной жизни», возможность все делать осознанно, целенаправленно. «Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного...» И тут же, в следующей главе, можно прочесть о той самой «утопии эссеизма», когда продвигаешься не в

литературе — в жизни как бы на пробу, нащупывая и осмысливая каждый очередной шаг, («который может быть сделан в какую угодно сторону, но, чтобы сохранить равновесие, непременно ведет к следующему шагу и всегда вперед»). Во второй части романа герои, брат и сестра, обсуждают возможность действительно полноценного жизнеощущения, они называют его «другим состоянием» (*andere Zustand*) — понятие так и остается не вполне определенным. Да и какая может быть в таких материях определенность? В рабочих набросках Музиля возникают намеки на инцестную связь между братом и сестрой, на некое «путешествие к пределам возможного». Там же говорится о «мистике яви» (*tagliche Mystik*), «о свободе, с какой математика иногда пользуется абсурдом, чтобы прийти к истине»...

Музиль, как известно, имел неплохую математическую выучку. Но как он, интересно, предполагал совместить ощущение бесконечно разнообразной, неисчерпаемой, иррациональной жизни с безусловностью математически точного, истинного решения? Это можно бы обсуждать в рамках представлений религиозных, однако от них герои Музиля далеки, и сам он ко всяческим готовым системам относится явно скептически. Ближе к концу романа (впрочем, о конце тут можно говорить совсем уж условно), отчасти в неопубликованных главах, возникает персонаж, проповедующий веру в высшие ценности, покорность заповедям и т.п. «Глаза его сверкали, как два проповедника на возвышении, образованном его длинными ногами».

Ничего не скажешь, Музиль-художник силы своей не утратил, и способность к иронической усмешке до конца ему не изменяла. Сколько попутных идей, эссеистических размышлений, сюжетных линий было оставлено им за пределами текста, в рабочих записях, вычеркнуто из уже готовых глав! Хотя при этом варианты, вызвавшие сомнения, окончательно все-таки не отбрасывались. Он продолжал их хранить, словно не исключая возможности к

чему-то вернуться. Исследователям, которым пришлось разбираться в рукописях после его смерти, это дало, что говорить, великолепный простор для самых разнообразных версий и построений; каждый мог скомпоновать на свой вкус наиболее убедительное финальное разрешение.

Но самому-то автору — что ему стоило закруглить сюжет романа хоть так, хоть этак? В жизни чего только не бывает, в романе тем более. Чего было вообще доискиваться, если будущее героев было для него, пишущего, уже хорошо известным прошлым: впереди их всех ждала мировая война, которой суждено было перевернуть судьбы, отменить планы, обесценить великолепные концепции. «Все линии сходятся на войне», — это Музиль определил заранее в одной из рабочих тетрадей.

Господи, да в конце-то концов — разве нам и без того не ясно заранее, чем все кончится? И к чему бы ты ни пробивался всю жизнь, что бы тебе ни открылось, понимание в конце концов всегда будет недостаточным, давно проверено. Ну и что? Разве мало того, что удалось вместишь в написанные страницы?

«Просто смотри, что происходит, перестань честолюбиво помышлять о каком-то совершенно новом теоретическом познании (а ты, значит, был бы его Магометом!)», — словно спохватывается в дневниковых записях Музиль. Увы, рассказчика житейских историй из него просто не могло получиться. Стоило тогда ворочать так долго в перегруженном мозгу те же самые глыбы, изводить себя, не думая о читателе? Неужели непременно требовалось решить что-то все-таки еще и в мыслях?

Какие там утопии померещились его героям? История так называемой «параллельной акции», идеологической подготовки к императорскому юбилею, которую так много обсуждают в романе, оказывается все более безысходным занудством. «Путешествие к пределам возможного» оборачивается в черновых набросках всего лишь поездкой брата и сестры на юг, к теплому морю. Первоначаль-

ный восторг сменяется разочарованием, возникает мысль о самоубийстве. Н-да... всего только...

Самого Музиля, продолжавшего писать, тем временем уже настигла Вторая мировая война, он вынужден был эмигрировать, бедствовал — но даже для заработка отказывался отдавать в печать уже оформленные новые главы романа. Смерть дожидаться долго не захотела.

«Трагедия потерпевшего крушение человека», — записывает он в рабочих тетрадах. Только ли это о судьбе своего героя — или тут уже предчувствие, что не хватит все-таки жизни, чтобы соединить несоединимое, дотронуться — не в воображении, а взаправду — до влажного холодного краешка, прикоснуться к мерцающей трепетной звезде?..

Помню, какое впечатление произвела на меня история музилевского романа еще до того, как мне его довелось прочесть — история бескомпромиссного стремления к совершенству, в самом деле почти запрограммированного поражения. Почудилось в ней что-то понятное, близкое, даже родственное — как близким и родственным может казаться недостижимый, увы, идеал. Музиль как-то высказался в том смысле, что довольствоваться можно лишь гениальным (*nur das Genie sei ertraeglich*, — передает его мнение один исследователь). Слишком лестно было бы, конечно, равнять себя с ним. Дал бы еще кто гарантию, что гениальность эта подтвердится когда-нибудь, хоть после смерти.

Роман оказался действительно выдающимся — но сопоставимы ли были бесспорные достоинства текста с совсем уже беспримерным, самоотверженным, самогубительным усилием автора? — вот ведь какое стало примешиваться сомнение. Можно ли было в самом деле примерить к себе такой опыт? Чужой опыт вообще не про нас, опыт поражения, признаем честно, тем более. Если из него для себя что-то можно извлечь, то урок скорее остерегающий. Жизнь вынуждает быть не то чтобы поскромней —

реалистичней, что ли? О себе можно всякое вообразить — но кто станет хотя бы поддерживать наше скромное существование до маловероятных лучших времен, как сделал это кружок добросердечных ценителей Музиля, собиравших для него деньги? Некоторые из них даже знали, что Музиль высказывался о них пренебрежительно (а деньги при этом принимал, да с таким видом, словно им оказывал честь). Увы, среди этих добряков оказались преимущественно евреи, которых фашизм скоро лишил возможности ему помогать.

Нет, дело не просто в масштабе таланта. Человек устроен так по своей природе: он не может не стремиться к концу, к желанному завершению, в работе ли, в любви ли. Невыносимо бывает томление, ожидание, сладостно длящееся осуществление, и хочется продлевать это состояние бесконечно, зная заранее, что всему должен рано или поздно придти конец, что самый счастливый миг, озарение, вспышка тут же неумолимо сделают все прошлым и окажутся прошлым сами — а впереди новое бессилие, новое ожидание, новая надежда, воспоминание о пережитом. В этом, увы, грусть жизни, но из этого она состоит. Иначе нельзя...

И тогда приходит на ум: может, Музиль, не отдавая себе в том отчет, просто не хотел завершать счастливую, мучительную работу? В ней осуществлялась, продолжалась, преображалась собственная его жизнь? Что такое приключения его героев, никогда на самом деле не существовавших, как не приключения его собственной души, его мысли? Усилие этой работы позволяло возобновлять себя бесконечно, не повторяясь, не исчерпываясь ни в каком результате. О да, это бывало мучительно, как бывает мучительна жизнь, это, вообще говоря, непосильно. Нам нужно хоть время от времени удовлетворение, отдача, успех, если уж договаривать до конца. Незавершенность невыносима, как поражение. Не зря Музиль обронил те самые слова о трагедии.

За время, отданное работе, в мире столько произошло! Передуманное, перечувствованное, пережитое ни в какой объем невозможно было вместить. Да разве в объеме дело? Для озарения, вспышки не требуется большого пространства, поэт или музыкант могли бы сказать об этом больше прозаика.

«Найти в этом чередовании явлений опору так же трудно, как вбить гвоздь в струю фонтана», — умел же писатель сказать! «Надо иметь мужество жить среди моральных противоречий». После каждой такой фразы в самом деле можно бы поставить точку и сказать читателю: здесь, друг мой, расстанемся. Сказанное будет разрастаться уже внутри тебя, входить в твою жизнь...

Жалко дочитывать книгу до конца, хочется задерживаться чуть ли не на каждой фразе. «Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая еще составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни». Это Музиль о покойнике, о самом что ни на есть конце. Что нужно было ему еще искать, к какому завершению устремляться дальше? И увидишь появление горячей воды и человеческой крови. Какого он, в самом деле, доискивался философского камня? Только писателю и взбрдет в наше время на ум заниматься таким делом. Непосильное, безнадежное устремление. Но без таких попыток нам тоже оказалось бы вовсе уж неуютно, обидно, невыносимо.

Каждый выстраивает вокруг себя реальность, какую может, какую способен выдержать; оправдывать ожидания она не обязана. К какому-то возрасту жизнь все равно предложит нам довольствоваться чем-то, мало похожим на идеал. Относительным, условным. Житейским, в конце концов. На этом она, если угодно, держится...

Стоило ли в самом деле искать единственно убедительное решение, переоценивать способность старательного литературного ума, когда жизнь умеет распорядить-

ся проще, насмешливей, снисходительней? Павел Ильич встретился мне во дворе случайно. Возможно, сам он со мной на сей раз бы не заговорил, если бы не затыкала вдруг на меня собачка. Черная, мохнатая, смесь неизвестно кого неизвестно с кем. Сосед придержал ее за поводок, наклонился потрепать за ухом. Та с готовностью вскинула навстречу руке морду, ожидая заслуженного поощрения. На меня покосилась отчасти извинительно, отчасти удовлетворенно: ничего, мол, не поделаешь, я не со зла. Несу службу. Защищаю хозяина. Взгляд Павла Ильича говорил примерно о том же. В них обоих проявилось на миг что-то похожее — удивительно, сколько общего оказывается иногда в хозяйне и собаке.

А ведь мне самому такое даже на ум не приходило. Сочинял, мусолил почудившиеся после первой встречи комплексы, искал им объяснения. Комплексы-то были скорей моими. Все куда проще. Приблудился на улице ничейный щенок неизвестной породы, попросту беспородный, хотя и симпатичный, похожий на мягкий пуфик, трогательный. Стоило тебе остановиться, и он с готовностью останавливался, садился на маленький задик, вот как сейчас, смотрел снизу умильно, доверчиво, поскуливал просительно. Не мог человек устоять перед таким взглядом, привел к себе поначалу просто чтоб покормить. Оставлять его у себя он вовсе не собирался, тем более что и жена возмущенно потребовала избавиться еще от этой возни, уборки, обузы. Выдворить щенка обратно на улицу — вот оказалась проблема...

Павел Ильич рассказывал мне про это, как бы сам посмеиваясь над собой, над своей слабостью. Ничего тут и не требовалось особенно объяснять, я все это по себе помнил. Сам был категорически против, когда жена с дочкой принесли еще безымянное тогда существо. Услышали, как кто-то скулит в живодерском фургоне, выкупили за трешку, надеялись просто освободить, тут же выпустить. Но бедняжка даже ходить почти не могла, ослабела

от пережитого потрясения. (Человеку ли понять этот запах палаческой клетки, вонь предсмертного и смертельного ужаса, полудохлых и дохлых тел?) Брюхо было облезлое, голое, пришлось нести урдину на руках, в уже неуверенной надежде, что достаточно будет просто ее подкормить...

Что не позволило нам обоим, ему, как и мне, сразу избавиться от обузы? Только ли жалость? Не хватило разумной жестокости, или, правильной выразиться по-другому: мужественной решимости. Судьба не прочь бывает подбросить нам и не такое, то и дело вынуждает о ком-то заботиться, что-то навязанное терпеть — и чертыхаешься, и клянешь нелепую, ненужную случайность, собственную мягкотелость. Лишь со временем замечаешь, сколько приходит вместе с этой случайностью в твою жизнь.

Чужое, непохожее на тебя существо смотрит умиленно глазами восточной красавицы, выжидательно поводит хвостом, предлагает тебе преданность и любовь, не обесцененную словами. Она без слов угадывает твое беспокойство, озабоченность, сама становится тревожной, понурой. Она прячется под стол, предчувствуя еще не выраженное недовольство. А это разнообразие интонаций, лая, повизгивания и поскуливания! Когда видишь, как она схватывает на тропе след, поднимает голову, опускает снова к земле, осознаешь ограниченность своих природных возможностей. Какие она вычитывала эпистолярные романы, обнюхивая дерево или столб, возле которого, задрав лапу, оставял послание молодой ловелас? Какие разыгрывались драмы, какие страсти! Эти кобельки дежурили у нашего подъезда, проникали внутрь, дожидались у двери, на лестнице, влюбленно выли, дожидаясь, пока выведут на прогулку благоуханную красавицу — а ты в человеческой жестокости не допускал встречи, отгонял влюбленных пинками. Но что же это было потом? Когда красавица сумела вырвать у тебя из руки поводок (какова сила страсти!) и, волоча его по земле, виляя задом, в восторге — уда-

лась наконец встреча! — подбежала к преданному ухажеру? А он обнюхал ее, как положено, спереди, сзади и равнодушно потрусил дальше своей очаровательной кривобокой рысцой. Могла ли она понять, что у нее просто кончилась течка? Да разве понимает больше какая-нибудь девица, почему без причин охладевает к ней недавний поклонник? Или, скажем, кумир-литератор: только что его осаждали интервьюеры, а теперь надо самому себя предлагать, напоминать, называть имя. Не стало запаха, вот что это такое...

Ладно, вспоминать можно без конца, не о том речь. Сосед узнает и без меня, как помогают собаки понять многое в человеческих отношениях. Главное, у него появилась возможность о ком-то заботиться. Человек ведь не просто нуждается сам в заботе. Нужно, чтобы существовал кто-то, на кого можно обратить свои мысли, чувства. А потом еще сойдешься с такими же собачниками во дворе, пригласят тебя посмотреть щенков, как общих детей и внучат...

Все, все. Распелся, — пришлось остановить себя снова. Как это сказал Джокер: тянет вас к общим местам? Ну и пусть к общим, не стану и тут отрицать. Жизнь, как мы уже выяснили, по большей части из них-то и состоит. Из житейских забот, отношений. Из раздраженности, преданности, болезней, любви. А из чего же еще? Из размышлений об устройстве Галактики? О метафизической сущности человека? О своей неповторимой особенностях? Нет, существенней оказывается чувство простой жалости и вины. После смерти своей Белки я решил твердо, что другой собаки уже не заведу. И как вскоре выяснилось, этого не допустил бы сам организм. Потому что лишь время спустя я осознал, что у меня сама собой прошла астма, которую я терпел много лет, не понимая даже, что это астма, не считая нужным обратиться к врачу. А тут заметил вдруг, что дышу нормально, без мучительного присвистывания. Болезнь исчезла бесследно. Только тогда и прояснилось ее аллергическое происхождение...

Зачем я стал вспоминать еще и это? Мне как будто вдруг послышалось в голосе Павла Ильича что-то именно похужее на астматическое сипение. Хватило ума не спросить его об этом. Смешно. Нет, не надо своих историй переносить на другого. Ненужный поворот мысли...

Право же, какую-то добродушную простоту привнесла в мое состояние эта житейская встреча. Зачем делать жизнь сложнее, чем она есть, преувеличивать частности, застревать на них? А она вот такая. Все! Теперь можно было завершать сочинение. И пора уже в конце концов. Вот, кофемолка принесена из починки. Я попросил за ней съездить жену. Пришлось не вполне искренне объяснять, что у меня сейчас для этого просто нет времени. Работа на самом ходу, не могу надолго оторваться, отвлечься. И ведь два раза туда уже ездил, это дальний конец... В моих объяснениях, что говорить, нетрудно было заметить лукавство, и обижаться она была в полном праве. Хорошо устроился, — так примерно могла бы сказать. Пребываешь где-то в своих мирах, а по магазинам хожу только я, вся домашняя работа на мне. Теперь еще кофемолка...

Ну, разговоров никаких я воспроизводить тут не собираюсь, не хватало еще этого. И не о том речь. Можно было бы сказать, что мне туда просто лень ездить. Звучало бы циничней, но правдоподобней. Хотя правдой все равно бы не стало. Настоящей причины я не сформулировал бы внятно даже себе самому. Не хотелось еще раз проделывать тот же путь — как это объяснить? (Тем более путь, глядишь, оказался бы совсем не тем же). Мне хватало того, что я уже описал. А для нее ведь такая поездка значила бы просто совсем другое, как было об этом сказать?..

— Да, — вспомнила жена, выходя из кухни, — тебе кто-то звонил.

— Кто? — встрепенулся я.

Предчувствие близкого разрешения оправдывалось. Звонивший себя не назвал, но оставил номер своего телефона: какое-то у него ко мне было дело.

Первой мыслью было, что это из редакции: прочли, наконец залежавшуюся работу. Но нет, они бы себя назвали. И номер оказался не редакционный, совсем незнакомый. Я тут же его набрал.

Несколько долгих гудков заставили дожидаться. Потом откликнулся автоответчик.

— Я люблю тебя, — сказал ломкий юношеский голос. — Скажи мне твое имя и чем я могу тебе помочь.

Кто был этот симпатичный молодой выдумщик? Не обошелся стандартным: оставьте свое сообщение. Голоса я тоже не узнавал. Попробовал набрать номер еще раз, с удовольствием услышал призыв снова. Надиктовывать ничего я, конечно, не стал. Перезвоню, если он не сделает этого сам, еще раз, узнаю, кто это озорничает и какое у него ко мне дело.

Вот ведь как все складывалось: одно к одному. Пусть бы в самом деле что-нибудь насчет публикации. Вовремя вмешалась бы необходимость окончательно отложить в сторону работу, ездить в редакцию, вычитывать корректуру, может быть, выслушивать замечания. А к этим вот страничкам со временем если и возвращусь, то так, чтобы просто подчистить, подправить, подшлифовать, поставить последнюю точку и дату...

Вечером я все-таки не удержался, набрал номер телефона еще раз. Глупо, но ерундовая непроясненность мешала сосредоточиться. Надо было с ней разделаться, чтобы высвободиться для какого-то самого последнего усилия. Длинные гудки, автоответчик не отзывался, и трубку никто не брал. Это, будем считать, обнадеживало: человек, значит, все-таки вернулся домой, отключил аппарат, просто не смог сам подойти.

Выждав время, я позвонил снова.

— Кого нужно? — спросил хмурый заспанный голос.

— Извините, вы мне звонили?

— А, черт. Дай же поспать!...

Я посмотрел на часы. Было всего десять вечера. Ну вот, теперь что-то случилось еще с телефоном. Черт знает что. Неправильное соединение. Замкнулись не те провода. Время от времени такое случалось, но теперь было особенно некстати. Тыкайся опять, выясняй. Или кто-то меня разыгрывал? Еще бы не хватало!..

Отчего была, однако, такая раздраженность, похожая на беспокойство? Кем бы ни оказался этот звонивший, что бы он мне ни сказал — к завершению работы это отношения иметь не могло. Повествование сложилось уже тут, на бумаге, как есть. Все. А жизнь — она будет продолжаться своим чередом, и пускай себе, ничего особенного придумывать не надо. День за днем. Те же радости и заботы. Желание каждый день знать, что нужно делать, зачем. Нетрудно представить. Завтра утром моему Павлу Ильичу надо пойти в поликлинику, сдать анализ. В туалете уже приготовлена тщательно вымытая бутылочка. Он чистит зубы перед умывальником. Вдруг замер, остановленный неясной задумчивостью. Из тюбика выдавилась лишняя паста, ее уже не вернуть, нечего и стараться. И каждый такой миг — твоя жизнь...

Ну, и так далее. Ничего больше. На таком меланхоличном, открытом в будущее состоянии вполне позволительно и закончить. Незачем мудрить дальше. Самое удивительное откроется, когда сумеешь очнуться вдруг на ходу от мыслей, которые не позволяли по-настоящему увидеть хотя бы эту комнату, свет лампы, электрическую зелень за окном. Жена сидит за столом. Теперь у нее, кажется, пошла работа. Вот и хорошо. А мне больше и не надо... Или я какой-то малости все еще не додумал?..

...Не хочется умирать, вот что обнаружишь за всеми мыслями. Длится и длится, чтоб это никогда не кончалось. Но так же невозможно, знаешь заранее. Как невозможно женщине не родить — все равно что не осуществиться. Что здесь называть поражением, что победой? Успокое-

ние и расслабленность. Легкий, временный переход в другой мир, с надеждой вернуться снова. Пространство заполняется снами. Ночь полнолуния, когда поднимаются, выпирают из мягкой земли, из-под хвойных иголок, проламывают даже пленку асфальта грибные легкие фаллосы. Грусть, похожая на предчувствие. Напрасно доискиваться до причин: может, просто переменялось расположение планет. Шелест листьев, бормотанье ночных трав. Всем нам предстоит через это пройти, — послышалось до странности ясно. Сонная мысль, та же невозможность справиться с простым пониманием. Слово показало вдруг странным: пройти — куда? Подразумевалось продолжение, так, что ли? Какое еще? Только что знал, и вот надо было опять вспомнить, как это называлось...

В состоянии, напоминавшее бессонницу, ворвались частые, нетерпеливые гудки, я не сразу понял, что теперь надо проснуться. Вот оно! Жена опередила меня, сама взяла трубку.

— Нет, тут преисподняя, — чертыхнулась она и ткнула трубку на место.

— Кто это? — пробормотал я.

— Спрашивали: это салон магических услуг?

Кто мог баловаться в шесть утра? Звонок был междугородний. Кому-то из Сибири или с Дальнего Востока понадобились магические услуги. Я даже не подозревал, что существуют такие салоны. Нет, видно, опять неверное соединение. Но почему же я так готов был кинуться к телефону? Все, больше к нему не подходить, надо себе дать слово. Выбросить этот звонок из головы...

С утра не удавалось ничем заняться. Раскрытая рукопись понемногу остывала на столе. Написанное становилось все более чужим. Еще немного, и ничего в этом уже не изменить, не добавить. Вещество затвердевает — потом не разомнешь.

Выдержать характер оказалось, увы, свыше моих сил. На сей раз отозвался голос женщины.

— Алло, — сказал я. — Мне передавали...

— Сережа, хватит сюда звонить, — прервал меня голос устало. — Сколько можно? Уже надоело.

Я осторожно положил трубку. За кого меня приняли? Прямо лотерея какая-то. Ну, самая последняя попытка, и действительно все.

Длинные гудки, ничего больше. Ладно, это можно не считать, последняя будет вот эта...

Что-то в телефонной сети оказалось испорчено больше, чем я думал: без всякого сигнала подключился чужой разговор.

— Он из дома ушел в двенадцать часов, в поликлинику, был записан к врачу...

О, этого еще не хватало. Со мной такое бывало не раз: подсоединялся неизвестно к кому. И положить сразу трубку, бывало, медлил: примешивалось недозволенное любопытство, желание оказаться ненадолго соглядатаем чужой жизни. Вдруг откроется что-то необычное, удивительное? Ничего плохого я ведь им сделать не мог и не собирался, я заранее им сочувствовал, даже любил их. Тем более при этом не знал говорящих, не видел. Только сдерживал дыхание, чтобы не выдать себя... Бывало, впрочем, куда менее приятное, когда оказывалось, что и в мои разговоры вмешиваются посторонние. Как-то покойный Исаак Моисеевич Яглом, профессор математики, переживавший очередную неприятность из-за своей давней общественной активности, сказал мне по телефону: «Еврею с хорошей характеристикой трудней устроиться на работу, чем русскому с плохой». И чей-то спокойный голос в трубке отчетливо подтвердил: «Вы совершенно правы». По тем временам естественной всего была, конечно, мысль о прослушивании. Хотя сам я вряд ли кому был тогда нужен. А однажды случилось подключиться даже не к телефону — к чьей-то квартире. В трубке слышны были чьи-то шаги, голоса, то приближавшиеся, то удалявшиеся. «Куда делись мои тапочки?» — сказал голос. «Посмот-

ри возле вешалки». И снова шаги, долгие паузы... Чья-то квартира прослушивалась, и я непонятным образом оказалась к подслушиванию подключен... Да ничего особенного услышать не случилось, так, обычные житейские разговоры, вроде этого...

— ...в кармане у него был старенький кошелек, чтоб по пути зайти, что-то купить, курточку свою надел, у него такая джинсовая, кепочка тоже джинсовая, весь такой аккуратненький, а я, представляете, стою, делаю пирожки, тесто как раз такое хорошее подошло, вы же знаете, какие я умею делать пирожки...

Ну вот, пошли еще кулинарные подробности. Это был разговор из числа бесконечных. Сколько подробностей возникает в ином женском рассказе, полном уменьшительных суффиксов — как будто они позволяли побольше вместить в тот же объем. Уж эта женская сосредоточенность на мелочах! Что-то вроде любви к мелким безделушкам. Мужчины к таким вещам более безразличны, им бы смаковать подробности политических интриг, скандалы, которые значат ничуть не больше, и в искусстве их интересуется грандиозное... Надо было давно положить трубку, но что-то заставляло меня задерживать ее возле уха. Неужели упоминание о джинсовой курточке? Голос не казался знакомым, не те интонации — но словно какие-то плачущие... и этот возникавший время от времени, как отклик, тоскливый скулеж собачки! Почему она ее не оттапливала — и сама то ли задыхалась, то ли всхлипывала вместе с ней, но не оставляла при этом пауз для точки?..

— ...ровно был час дня, представляете? У меня почему-то вдруг все стало падать из рук, ножичек упал, ноги запутались, как-то мне стало тревожно — и тут вдруг звонок. Алина Петровна? — Да. — Это говорит старшая сестра из поликлиники. Вы можете, говорит, сейчас подойти? Я сразу как крикну: Что с Пашей? А она: Приезжайте немедленно. Вы представляете? Ну, не знаю, как я выскочила из дома, взяла машину, примчалась в поликлинику. Он ведь

просто шел сдать анализ, потом надо было на прием, он был записан, у него диабет, так добавилась еще астма, но вообще ничего особенного. Захотелось, это я понимаю, заглянуть в туалет, им пользуются и больные, и персонал. Там есть холл, знаете, напротив рентгеновского кабинета, и люди, которые там сидели, дожидались, мне рассказывали, что он зашел и почему-то долго не выходил. Другим тоже понадобилось, они стали толкаться, а дверь, смотрят, закрыта. Потолкались, вызвали слесаря, дверь сломали. И так странно: курточка висит на дверной ручке, у входа. Там туалетик такой: небольшая прихожая, раковина, умывальник, сушилка для рук, дальше эта кабинка, а из кабинки, представляете, из-под двери, его ноги в кроссовочках. Приходит человек из милиции: кто первый его обнаружил?..

Я, наконец, положил трубку. Может, мне послышалось имя Паша?.. Выдерживать дальше этот навал подробностей было сверх моих сил. Можно было самому вычленять из него краткую суть случившегося. Если пересказать простыми словами: человек пошел в поликлинику, до кабинета не дошел, ему по пути понадобилось в туалет. Там его и нашли уже мертвым, голова была разбита — видимо, о край унитаза. Можно бы сказать покороче: пошел в поликлинику и там вдруг умер. А можно еще короче: жил, пошел, умер. Остальное те самые подробности. Всхлипывания не в счет. Все человечество только и занято тем, что их прибавляет и прибавляет, ничем, по сути, не обогащаясь. И можно ли было тут что-то понять?.. Не только того, что случилось, но, рассказывая о внезапной смерти близкого человека — можно ли было так застревать на кулинарном рецепте, на обстановке больничного туалета?.. Сдвиг сознания, иначе объяснить не могу. Она словно никак не могла сделать происшедшее для самой себя достоверным, не могла себя саму ощутить, ей надо было разобрать все по мелочам, чтоб получилось, что ли, не так страшно?..

Нет, нормальным, посторонним умом не объяснить, не вообразить, если бы сам не слышал... Собачка скулила у телефона, то ли чувствуя случившееся, то ли просясь на улицу — с застывшей детской тоской в глазах. Кто ее теперь будет выводить? Женщина всегда чувствовала себя более больной, она не сомневалась, что умрет раньше, и вот оказалось, что он, гораздо более здоровый, еще совсем не старый...

Внезапная тоска, похожая на чувство вины. Почему я решил, что это о моем Павле Ильиче? Как будто, не зацепи я человека своей мыслью, он бы остался жив. Была во всем происшедшем какая-то несоединимость. При чем тут я? Ни при чем, это же было ясно...

Меня потянуло поскорей выйти во двор — надо было немедленно отменить, развеять недоразумение или навяждение, увидеть вот сейчас, сразу же, у подъезда знакомую фигуру в джинсовой куртке с черной собачкой на поводке. Выправить, восстановить все, как должно быть. Почему он непременно должен был умереть?...

Пока я сидел у телефона, уйдя полностью в чужой разговор, на улице успел, оказывается, пройти дождь. Высвободились чистые запахи, небо промылось до синевы, сияли лужи. Я оглядывался, шурясь, приспособливаясь к неотчетливому от яркости свету. Сердце болезненно, бессмысленно колотилось.

На площадке, затененной тополями и липами, играли дети. Деревья эти были еще саженцами, когда я выводил сюда своих детей. Давно мне здесь нечего было делать. От тогдашних времен осталась лишь облупленная металлическая решетка-лестница. Девочка лет шести в очках вскарабкалась наверх и с высоты превосходства окликала мальчика, оставшегося внизу: видит ли он, как она перегибается через верхнюю перекладину? Белые штанишки на крепенькой попке были испачканы. Две девочки постарше крутили рядом веревку, третья аккуратно прыгала через

нее, прижимая к бедрам руками юбку, чтоб не взметнулась. Черное, прозрачное на плечах, нарядное платье было надето, видно, не для такой забавы, она просто не удержалась, а может, захотела попутно себя показать, вмешалась в игру малявок, заставив дожидаться законную участницу. Та смотрела на нее, ковыряя средним пальцем в носу, выражение скучающей неприязни позволяло не выдавать ни зависти, ни восхищения. Но не этот взгляд интересовал обладательницу роскошного платья (на груди под ним уже обозначились прелестные выпуклости). Компания мальчишек лет десяти-тринадцати расположилась неподалеку на бревне. Преувеличенно громко они обсуждали какие-то свои обычные глупости — смеясь и гримасничая, скорей демонстрируя общий интерес, чем его испытывая. Лишь один, сидевший с краю, время от времени оборачивался в сторону прыгалок и, словно выпадая из общего гомона, заворожено смотрел на голые, в светлом пушке, ноги — выше он опущенный взгляд не поднимал. Может, ждал, не вспорхнет ли, не откроет ли чего еще край коротенького подола. Прикосновение воздуха, которое ощущаешь не кожей, а невидимыми прозрачными волосками. Взрослые пристроились на скамейках тут же, поглядывали на копошащихся малышей, отвлекаясь от чтения, спиц или разговора. Детская избушка была бессовестно оккупирована молодой парой, бутылка на столике перед ними была уже пуста, парень опустил тяжелую голову на руки. Женщина еще держалась. У нее было красивое, без косметики, лишь слегка опухшее лицо, но даже на расстоянии можно было ощутить запах перегара и начавшей преждевременно прокисать плоти. Низкорослый, с седыми бакенбардами еврей вывел под руку прогулять свою мать. Она двигалась мелкими шажками, кренясь на бок, голова была скособочена, припадала к поддерживающему плечу. Оба остановились против избушки передохнуть. Машина, увешанная свадебными лентами и воздушными шариками, медленно въезжала во

двор, разгоняя перед собой, как брызги, подростков на роликовых коньках, заставляя посторониться мужчин и женщин. Невеста в белом платье, жених, казавшийся рядом с ней мальчиком, высвободились из блестящего автомобильного чрева. Все взгляды обратились на них. Девочки подбежали поближе посмотреть в подробностях, а может, дотронуться пальцами до чего-то, что их ожидало еще впереди. (Голубок пригрелся в горсти, сложив перышки, роза расправляет лепестки на ладони). Другие могли бы им рассказать, каждый по-своему, каково будет на самом деле двум обособленным людям ощутить себя однажды единым телом, а потом, время от времени, иногда отчужденно, даже с неприязнью осознавать, насколько они все-таки разные и как странно, что они живут вместе — пока время не соединит некоторых настолько, что они покажутся себе в самом деле целым, карикатурно целым; по-настоящему это выявится, когда одного из них вдруг не станет, и надо будет представить себя отдельным... как это?.. Большая собака протащила на поводке маленькую женщину... не ту, другую. Мальчик лет пяти шел по асфальту, сосредоточенно двигал перед собой скребущий изогнутый прут. Необычайная сосредоточенность была в этом движении. Что сейчас проворачивалось в его голове? Кем он себя видел? В какой направлялся путь? Для самостоятельного ума все еще само собой разумеется, он может всему найти, придумать собственное толкование — какую невообразимую работу он каждый день совершает? С годами это становится все труднее...

Слабо дохнул ветерок. От высокой ветки, утомясь однообразным существованием, не дождавшись осеннего срока, отделился еще зеленый лист. Он пролетал свой последний путь, трепеща, кружа, чтобы все-таки замедлить и удлинить падение. Другие проводили его слабым шелестом. Сочувствие ли было в этом шелесте, тревога ли? Просто шелест. Им еще не пришла пора, еще оставалось время подержаться на ветках, подышать, понаслаж-

даться влагой с небес и соками из порченной бензином земли, потолковать на своем языке о событиях...

Я вдруг поймал себя на том, что стою с идиотски полукрытым ртом, точно пытаюсь бессмысленным усилием соединить внутри себя что-то неподдающееся, нехватное, рассыпающееся. И все вдруг словно замерли, ощутив что-то вместе со мной и не понимая своего испуга. Фотографическая вспышка, моментальный кадр бесконечной, подвижной, необозримой жизни под сияющим влажным небом. Все это уже было с жившими и продолжающими жить, повторялось бесчисленное множество раз, в разных нарядах и вариациях. Хорошо, что эти люди ничего обо мне не знают, вряд ли отметили присутствие среди них моего мозга, моих глаз. Они вряд ли меня читали и, надеюсь, никогда не прочтут. А если прочтут, не узнают на этих страницах себя. Как хотелось бы мне убедиться, что услышанное случайно было все-таки не взаправду! Испорченный телефон. Игра литературного воображения. Но если иногда умирают все-таки по-настоящему — что можно в таких случаях переделать?..

Я в задумчивости оперся рукой о ствол. Дерево брызнуло на меня остатками недавнего дождя. Медленно, превозмогая навалившуюся вдруг усталость, я зашагал к своему подъезду. Похоронный автобус нетерпеливо гудел, свадебная машина загородила тесное место, мешала ему проехать дальше во двор... Нет, мне показалось, это был другой автобус, какая-то ремонтная служба...

Что мне всегда хотелось понять? Существование мысли. Существование других людей, их мыслей и снов. Хотелось узнать, что снится младенцу, догадаться, что снится собаке, когда она во сне вздрагивает, урчит и поводит тревожно ухом. Понять, что такое время, воображение, что такое смерть.

Каменные глыбы носятся в пустоте, толкуются беспорядочные частицы, наглотававшиеся таблеток бедняги трясутся, мотают распущенными волосами, топчутся под оглушительный грохот, в котором давно уже не различить музыки. Ничего запретного не осталось, таинственное приходится сочинять. В хаосе не может быть смысла, этого не оспоришь. Но чтобы существовать в нем, не потеряться совсем уж безнадежно, не раствориться в нарастающих искусственных шумах, надо все время что-то выстраивать, перестраивать в собственном мозгу, упорядочивать снова и снова. Жизнь меняется непрерывно, из воздуха не выпрыгнешь, трудность в том, как оставаться при этом самим собой, не утратить камертона. У Мандельштама с его разночинным аристократизмом хватило достоинства и внутренней силы поблагодарить революцию за то, что она выбросила его из обжитой, понятной ячейки, положила конец духовной обеспеченности, существованию, как выразился он, на культурную ренту. Бывают времена, когда все вокруг летит кувырком. Сейчас, конечно, не революция, но все-таки. Нет прежней уверенности, что мы хоть говорить продолжаем на одном языке...

Мне иногда казалось, что нужно всего лишь найти слова. Когда томят невнятные страхи, тоска, уныние, достаточно ведь бывает сказать себе: о чем тоскуешь, чего боишься? Скажи это словами. Стоит их произнести, и почувствуешь, что все на самом деле не так уж страшно. Все поправимо, просто, все оказывается обычным делом — стоит ли горевать? Находя слова для своей тоски, человек тоску преодолевает; глядишь, твои слова помогут преодолеть ее и другим. Находя слова для своей радости, ты делаешь ее достоянием всех. Слова помогают пережить беду, радость же усиливают и продлевают. Вот, может, служба пишущего. Что бы мы знали о своей жизни без священных писаний разных времен и народов, без длящихся из века в век усилий художников, которые обновляют наш

взгляд, снимают с него поволоку повседневной привычки, открывают для нас цвет посреди серого однообразия? Мы находим свои слова для любви, потому что уже была «Песнь песней». Без оставленных нам слов мы бы только мычали. Да, наши слова не могут быть новыми, как не новы ни мысли, ни чувства. Но мы-то новые, нам приходится жить впервые, переживать впервые...

Вот, который раз кажется: открыл, наконец, что-то в себе, в мире. За недавнее понимание становится неловко. А ведь заранее можно себе сказать: с этим новым пониманием окажется то же. После всех блужданий возвратишься не более чем к себе. Время, конечно, постарается о временах...

Взгляни в зеркало, как вернешься домой, — говорю я себе. Ты уже, мягко говоря, не первой молодости. Болезни стороной не обошли. От житейских невзгод не был избавлен. Богатства не нажил, об успехе говорить даже не стоит. Страна, в которой тебя угораздило родиться, давно и, похоже, надолго неблагополучна. И ты продолжаешь утверждать, что при всем этом можно быть восхищенным вот этой жизнью, какая она есть, только надо ее ощутить? Что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро, засыпаешь с благодарностью за прожитое?

А, может, просто не хочется признавать до конца то, что другие назвали бы поражением? Тебе на самом деле не достает всего лишь мужественной честности? Неудача ведь бывает больше похожа на подлинную жизнь, чем многое другое... Ну, ну... Давай, давай, — усмехаюсь опять я, — пиши дальше. Может, и другим объяснишь, как совмещается несовместимое. Для чего-нибудь ты к этому месту приставлен.

Никого дома не было. Бумаги с окончательно остывшей работой лежали, разбросанные, на столе. На верхнем листе уселась муха, чистила одну о другую лапки. Сосредоточенное занятие. Не хотелось ее сгонять, но она сорвалась с места сама, уступая мне поле действия.

Я взял в руку листок, попробовал что-то перечесть, но лишь скользил по поверхности, едва улавливая смысл. Вернуться в написанное больше не удавалось... Что мне еще надо было найти, какую страницу? Потерялся, что ли, этот листок?.. А, пожалуй, вот это... Да...

«Быть солидарными и сотрудничать с другими могут только одинокие люди, люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе»...

Тут ведь уже намечена перспектива новой работы... да, да. Напоминание о свободе, которую все еще надеешься достичь. О способности ощутить, что ты можешь еще развиваться... У, как нетерпеливо начинаешь уже бить копытом!.. А эту папку, значит, пора закрывать, так, что ли? Что мне остается еще?.. Чего я как будто еще не доделал?..

Я стал вышагивать по своей маленькой комнате, соображая: что в самом деле еще? И вспомнил-таки, наконец. Подошел к аппарату, под ним так все и лежал листок с записанным номером...

Длинные гудки ожидания. Я чувствовал, как глупо забилось опять сердце. Ничего, этого не надо было стыдиться. Значит, еще не утратил и этой способности. Еще могу, как идиот, волноваться...

Еще гудок. Еще... Что ж, ладно. Пора было положить трубку. Не подходят — пусть останется неопределенность. Лучше хоть так. Чего я еще ждал?..

Вдруг в трубке все-таки шелкнуло подключение.

— Я люблю тебя, — сказал автоответчик. — Скажи мне твое имя и чем я могу тебе помочь.

Проект «Одиночество»



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Пожилой человек в старомодном сером плаще направлялся ко мне, делая знак: постой. Я замедлил шаг, соображая: знакомый, что ли? Не мог вспомнить. Попросить хочет о чем-то. Движение руки с палкой опережало еще не произнесенные слова.

— Слушай, — сказал он, преодолевая одышку, — посиди со мной. — Показал на столик уличного кафе. — У меня сегодня такой день, мне семьдесят пять лет. Пятьдесят лет отслужил в армии... вот..

Отвернул край плаща, показал ромбик военной академии на пиджаке. Редкие седые волосы, нижнего зуба нет. Пальцы — раздутые белые личинки.

— Тут дают только пиво, — заметил он мое колебание, — но я сейчас куплю водку, в палатке, вот она, рядом. Закуску я уже заказал. Подожди меня, я быстро. Не могу же я сидеть со всякой пьянью. Вижу: идет человек, культурный, задумчивый, можно посидеть...

Упоминание о водке заставило меня покачать головой, обоснования подоспели уже вдогонку. Была половина третьего, я вышел из дома прогуляться после обеда, возвращался, чтобы работать. Погода стояла ветреная, прохладная, временами начинало моросить. Под желто-зеленым тентом кафе сидели двое потертых хмырей в кожанках (кожанки, впрочем, тоже были потертые), перед каждым бутылка пива, стаканов они брать не стали. Кислая лужица на асфальте казалась пролитой из бутылки. Посидеть немного за пивом я уже почти был готов согласиться. По-человечески надо было уважить старика, и примешивалась всегдашняя литературская корыстность (мысль старьевщика: авось найдется что прихватить для

своих нужд?). Но пить среди рабочего дня водку, да еще, глядишь, поддельную, купленную по дешевке? Отказаться будет нельзя, а пьяные речи военного отставника заранее можно представить...

— Нет, — повторил я смущенно, но твердо. — Мне надо работать.

Он посмотрел на меня еще раз выжидательно, потом вяло махнул рукой и отошел в сторону. Одна пуговица на его плаще обвисла, надо бы сказать, чтобы не потерял. Но разве теперь выговоришь?

2

И холодно в такую погоду сидеть, продолжал я вспоминать доводы — словно было надо оправдываться перед самим собой. Эта поникшая стариковская спина, этот взгляд выцветших глаз... Не сообразил хотя бы с юбилеем поздравить. Запоздалая, неточная умственная реакция. Даже если у него дома кто есть, с ними по-настоящему не поговоришь. С ними слишком все давно переговорено. Попробуй кто записать на пленке сказанное со своими за день. «Опять отключили горячую воду». «Сходил бы за хлебом». «Где мое лекарство?» Издевательский эксперимент, лучше не надо. Только и соблазнишь даровой водкой прохожего шерамыжника. Пить в одиночку — последнее дело. С кем-то мы недавно говорили на эту тему... не вспомнить...

Я сидел за столом, тупо уставясь в исчерканные листы. Надо было все-таки подтвердить, что я не лукавил перед стариком, действительно собирался работать. Не удалось подключиться, вернуться в уже написанное. Герой (еще не вполне проясненный) озирается растерянно. Вокруг топчутся, вскрикивают, вскидывают руки, трясут волосами потные молодые люди. Мечутся, дергаются перед

глазами цветные огни, уши забивает грохотом, где-то вдалеке, на помосте — едва различимые фигурки тех, ради кого сюда набилось столько народу. Как описать эту неспособность слиться со всеми, ощутить то же, что другие, попасть в ритм, хотя бы разобрать слова и музыку, размазанные в громоухание? А бедняга уже ловит на себе затуманенные, опасные взгляды: зачем тут появился чужак, обособленный от общего состояния? Не соглядатай ли?.. Мне представился инопланетянин, очутившийся в другой, чужеродной цивилизации, не понимающий нужных кодов...

Тоже разновидность одиночества, подумал вдруг я. Именно среди множества таких же на вид, как ты...

И тут-то вспомнил, с кем недавно было упомянуто про выпивку в одиночку.

3

Занесло зачем-то на необязательную тусовку — знал же, что нечего мне там делать. Людей, которых надеялся встретить, не оказалось. Стоят, как водится, кучками, общаются, сосуд с напитком в одной руке, бумажная тарелка с закусочной мелочью в другой. С кем-то поздороваешься, перемолвишься попутно. Всегдашнее чувство, что глупеешь и глохнешь в такой обстановке больше обычного. Струнный квартет, обещанный в пригласительном билете, играл прямо в холле — фон общего шума или один из шумов. Некоторое время я попробовал постоять, отгородившись от остального спиной. Так останавливаются в подземном переходе перед играющими музыкантами. Раз уж бросил в футляр монету, попользуйся своей порцией. И им будет не так оскорбительно равнодушие топающих мимо. Хотя посмотреть — играют, ни на что не обращая внимания, на тебя в том числе. Как будто им достаточно слышать себя, как будто они себя слышат. Как будто Мо-

царта не затрагивает звучащее вокруг, обтекает стороной... Увы, дальше моих барабанных перепонок музыка не проникала. Звуки, проливающиеся бесплодно. Красное вино, которым наугад соблазнился, прокисало тут же на языке. А ты чего-то еще хотел — на халяву?

Надо было, наконец, сматываться, только поставить куда-нибудь недопитый бокал. Полузнакомый человек, мимо которого пришлось пройти, приветственно поднял мне навстречу свою рюмку. Рано облысевший череп отражал сияние ламп, улыбка была приглашающей, выжидательной. Нельзя было не задержаться в ответ. Еще один, стоявший с ним рядом, в непротольном ношеном свитерке и вельветовых брюках, был мне совсем не знаком, но чокнулся заодно тоже. Я поднес свой бокал к губам.

— Не пойму, что за вино, — сказал, чтобы хоть что-то сказать. — Этикетка была грузинская.

— О! — весело удивился лысый моей наивности. — Все грузинские вина разливаются под Москвой, в Подольске, из одной цистерны. Этикетку можно украсть. Это же как завлекательная обложка для книги. Обсуждай потом право на заголовок...

Критик В.Н., я запоздало вспомнил его имя (а теперь и поминать не хочу). В тот вечер я еще не знал, какую он написал обо мне пакость, почему смотрел так проверяюще, выжидательно: успел ли я уже прочесть? И развлекался, убедившись в моем неведении. Долго наслаждаться ситуацией он, однако, не стал, понадобилось сразу отойти к кому-то еще. Я упустил момент удалиться тут же, задержался без надобности рядом с другим, в свитере.

— Беседуем, да? — вдруг заговорил со мной тот. — Давайте скорей сделаем на лице выражение, — продолжил он шепотом заговорщика. — Хоть какое-нибудь. На нас направлен взгляд миллионов... Нет, не оборачивайтесь, — предупредил он мое движение и снова приподнял рюмку, одновременно приподнимая бровями морщины на лбу. Grimаса должна была изображать многозначительность.

Тут только я заметил, что он успел изрядно наклюкаться. Телекамера на плече оператора медленно поворачивалась, миновала нас.

— Представляете, как эффектно мы будем выглядеть на экране? — Незнакомец отпил из рюмки еще. — Среди всех остальных. Посмотришь вот так, взглядом объектива — постороннему станет завидно. Какие проблемы обсуждают так заинтересованно эти творческие умы? Услышать бы хоть краем уха, а? Ведь собралась, как теперь говорят, элита. Про нас с вами умолчу из деликатности. Но у других-то — обведите взглядом панораму, сплошь знаменитости — разговоры наверняка содержательней, как вы думаете?

— Беседуем, да? — попробовал я ответить ему в тон. Увы, у меня в бокале была всего лишь красная кислятина, у него явно водка.

— Для общения больше и не надо, — согласился он не со мной — сам с собой. — Почесать, даже если не зудит — тоже потребность. Не все же воздерживаться. Вот спросите после таких слов меня: сам-то сюда для чего приперся? Отвечаю после раздумья: чтобы не пить в одиночку. Наговоришься за рабочий день с интересным собеседником — потом еще с самим собой и чокайся? Это уже последнее дело, правильно?

Он снова протянул в мою сторону рюмку.

— Как утверждал один знакомый философ, — попробовал я попасть в тон, чокаясь, — люди для того и общаются, чтобы отвлечься от самих себя. Чтобы не думать о действительно своем.

— Это что еще за философ? — вскинул он брови.

— Был такой..., — я замялся, чувствуя, что меня без надобности занесло. Не удержался, как идиот, от серьезности. Еще не хватало и знакомством похвастаться.

Неловкость была в том, что я не знал даже имени человека, с которым нечаянно разговорился. Тоже, значит, писатель. Он был, похоже, моего возраста, хотя по виду

утверждать было трудно. Сухошавый, почти седые волосы стрижены коротко, но в лице было что-то мальчишеское, не постаревшее. Острый подбородок, небольшой, вытянутый вперед носик делали его похожим на ежа, что ли. Во всей повадке было что-то колючее, отстраняющее. Хотя сам ведь со мной заговорил, я ему не навязывался. И опять же, подвыпил.

— Сколько народу толчется на одном пяточке, — с усмешкой качнул он головой. — И каждый думает, что впервые нашел слова. Другим, конечно, ничего подобного на ум не приходило. А ведь только начни копать — уже, оказывается, было сказано, иной раз слово в слово. У меня подобралась целая коллекция на эту тему.

— Ну, так звучит в моем пересказе, — надо было в самом деле поправиться. — Я, может, не совсем точно воспроизвожу. Философы изъясняются иногда слишком для меня сложно... А какая это вас тема интересует?

— Сам пока не пойму, — уклончиво ответил он. — Потому и пробуешь по ходу дела подглядеть у других, листашь разные книжки. Не то чтобы накопление подготовительного материала — но вдруг получишь направляющий пинок в зад?

— Если вам интересно, я могу уточнить цитату.

Сказано это было не без задней мысли: пусть напишет мне сейчас свой телефон, заодно хоть узнаю, наконец, его имя. Он пожал плечами: если вы предлагаете. Ручку попросил у меня, оторвал уголок приглашительного билета. Написанным там оказался лишь номер — считал, видно, что остальное я и так знаю. А он меня, что ли, знал? Спрашивать было поздно.

По пути к выходу я увидел лысого критика и решил все-таки поинтересоваться, с кем сейчас говорил. Тот посмотрел на меня, улыбаясь невнятно — показался вдруг тоже пьяным.

— Он что, вам ничего не сказал?

— Чего?

- Что он Зимин?
- Зимин? — глупо переспросил я.

4

Как описать человека с двумя улыбками одновременно? Человека с двумя выражениями на лице? Во всем облике этого В.Н. было что-то столь же двойственное, неопределенное, ускользающее, как в его писаниях. Он как-то назвал себя санитаром, предохраняющим от загнивания устои литературы, считался критиком язвительным, острым, не щадящим авторитетов, но всерьез ухитрился ни с кем отношений не испортить, потому что работал больше в жанре этакого обобщенного эссе, где можно было не называть прямо имен, предлагая желающим разгадывать намеки, более или менее прозрачные. Подлинное удовольствие было их потом смаковать, обсуждать. Любители таких занятий всегда находятся. Меня самого это одно время забавляло. Критика вовсе не обязана иметь отношения к тому, что написал обсуждаемый, к этой мысли я с некоторых пор успел привыкнуть. Удовлетвориться можно собственным пониманием. Критик создает свой, другой текст — проще его ни с чем конкретно не связывать. Можно развивать собственные концепции, теории. Интонация насмешливого снисходительного интеллектуала кажется убедительной, когда человек говорит о вещах, тебе не знакомых. Это была своего рода интеллектуальная беллетристика, можно было сочинительствовать, не заботясь о реальном объекте.

Статья его была посвящена разновидностям современного плагиата. Среди прочего, в ней цитировались — без имени автора — мои давние рассуждения о невозможности плагиата в литературе. Поэзия с развитыми традициями пользуется образами, ассоциациями, целыми блоками, заимствованными у предшественников, у

современников, при этом первоисточники не называются. Радость филологов — обнаруживать соответствия, переклички. Писатель, как пчела, может брать взятки с разных цветов, плагиатом это нельзя считать, если он все перерабатывает в свое — в свой мед. Ну, и так далее. Примеры привести было нетрудно.

Допустим, — с этакой ласковой усмешечкой соглашался В.Н.. Но вот вам недавняя реальная ситуация: писатель имел неосторожность раз-другой упомянуть в интервью, в разговорах, в выступлениях перед публикой о работе над своим многолетним, пока еще не законченным замыслом, книгой «Времена жизни». Заглавие, на мой взгляд, само по себе удачное, во всяком случае многообещающее: времена жизни как времена года, от детства до старости, от весны до осени и зимы. Как назвать поступок коллеги (между прочим, автора только что процитированных парадоксов), который использовал неосмотрительно выданное название для своего как раз — очень кстати — законченного сочинения? Так и видишь, как он с откровенной ухмылкой помахивает обокраденному лоху: ничего не поделаешь, дружок, заглавие не было по всей форме запатентовано, я успел раньше, поезд уже ушел, и за руку не схватишь...

Пакость была еще и в том, что я в своей книге действительно изобразил некоего писателя Зими́на, у которого остался неосуществленный замысел именно под таким названием. Стоит ли говорить, что и это название, и своего пишущего героя я целиком выдумал? Намекал ли этот В.Н. на неизвестное мне реальное совпадение? И что человек, с которым я нечаянно разговорился в фойе, был тот самый писатель, не завершивший свои «Времена жизни»? Может, сам В.Н. нас тогда умышленно даже свел, наслаждаясь пикантностью ситуации? Задним числом я перебирал в памяти некоторые его слова, намеки. Ворованные этикетки... Зимин. А сам этот человек, названный Зиминым — знал ли он уже этот пасквиль? Тоже что-то сказал на-

счет подглядывания... Была, впрочем, надежда, что пишущие люди друг друга теперь редко читают. Я бы сам про эту выходку не узнал, если бы не подсказали доброжелатели...

Нет, еще и в том была пакость, что теоретически не исключалось ведь и своего рода бессознательное заимствование. Прочел где-то, услышал мельком, внимания вначале не обратил, но запало неявно — потом всплывает в уме неизвестно откуда, считаешь своим. Бывает и такое. Но ведь даже одинаковые названия у разных людей могут означать совсем разное — не могут не означать разное...

А! Ну его вообще к черту! Не вступать же с ним было в спор, не оправдываться, не требовать опровержения (в старину бы сказали: удовлетворения). Разве что не подать при встрече руки. Но встретиться с ним мне больше пока не пришлось. Противноватое чувство перебродило и улеглось. Думать о человеке, которого он с таким намеком назвал Зиминим, было и вовсе незачем, звонить ему я, конечно, не собирался. В нем что-то было, не располагающее к общению. Странно: и говорил ведь он иной раз почти буквально то же, что мог бы сказать я, как бы даже меня опережал, но тянуло ему возражать...

Почему я сейчас о нем вспомнил?.. А, этот сегодняшней старик на улице. Не отделаться от какого-то непроясненного чувства. Зачем я ему понадобился? Мои слова, мои разговоры ему были не обязательны — только присутствие, только слух. И что-то еще... ведь почти готов был понять, вспомнить...

5

А... надо же было еще уточнить цитату, вдруг удивился я собственной забывчивости. Не для него, для себя. Где-то, помнится, осталось подчеркнуто на полях. В «Лекциях о Марселе Прусте» у Мераба Мамардашвили...

Только бы отвлечься от работы, — уличил я с усмешкой себя, но уже доставал книгу, листал — в странном, не-терпеливом возбуждении, оно похоже было на все еще не объяснимое предчувствие...

Вот: «Общение означает утрату человека перед лицом самого себя. Когда мы общаемся друг с другом, наша дорога в собственный мир закрыта».

Н-да, неточно я его, однако, цитировал. Приспосабливаешь к своему пониманию. Я слышал Мераба не только в аудитории, он и за столом, потягивая из бокала, не прочь был увлеченно пофилософствовать, с готовностью откликался, если его спросишь. Казалось, сам был заинтересован в слушателе, искал понимания, ему его не хватало. Ему тоже. Великолепный череп, губы тронуты едва заметной улыбкой. Человек, ощущавший себя по-настоящему живым в момент душевного творческого напряжения, готовый поделиться с другими тем, что рождалось как будто в момент беседы. Невозможность подлинной встречи — не это ли есть одиночество? Теперь уже у него не спросишь, как все совмещалось в его голове.

Но разве, читая его сейчас, ты с ним не продолжаешь общаться? — тут же подумал я. И вовсе не для того, чтобы уйти от себя самого, наоборот, именно наоборот... Вдруг получишь направляющий толчок в зад, как выразился этот.. только и остается называть его про себя Зиминим. Позвонить, что ли, ему? Может, удастся освободиться от какой-то зудящей, мешающей недоговоренности, что-то соединить, прояснить, выявить...

Куда я, однако, засунул тот бумажный обрывок? Вряд ли номер был переписан в записную книжку. Я этой книжкой почти перестал пользоваться. Известное дело. Слишком много номеров успевают с годами стать недействительными. Иных уж нет, а те далече. Немногие оставшиеся помню и так. Чьих-то фамилий уже вовсе не узнаю: кто такие, почему оказались записаны? А другим без повода не особенно теперь тянет звонить, тоже беда...

На всякий случай я потряс записной книжкой. Обрывок пригласительного билета выпал на стол...

Странно, почему я при этом нечаянно вздрогнул? Слово не ожидал. И вдруг ощутил, как нелепо было звонить незнакомому, в сущности, человеку. Даже не зная, как к нему обратиться. «Простите, запомнил ваше имя-отчество?» А как представиться самому?..

6

Короткие частые гудки: занято. Что ж, попробуем еще раз. Все-таки ищешь повод отлынивать от работы? — неуверенно напомнил я себе опять. Кто-то невыявленный все еще так и оставался топтаться среди непонятной, бесноватой, уже наэлектризованной толпы. Но это напряженное предчувствие, ожидание, похожее на близость догадки?.. вдруг сейчас соединится?.. что?..

Нет, опять короткие гудки. Долго же, однако, он трепетя. Все, хватит. Как-нибудь потом. Надо, наконец, работать, — сказал я себе твердо. Или что-то с телефоном случилось? Ну, еще действительно последний раз, и все...

Длинный гудок — освободившийся вздох. Теперь никто не поднимал трубку. Вот тебе и на. Значит, его на самом деле нет дома? А занято было что-то на линии?.. бывает. Или я сейчас неверно набрал номер? Неоправдавшееся ожидание, гаснущее предчувствие, несостоявшееся соединение...

Снова длинные гудки... Что ж, хотя бы определенность. Работу сегодня все равно лучше отложить.

Вдруг трубку взяли.

— Извините, — пробормотал я. От неожиданности на время вылетело из головы, что я собирался сказать. — Вы, может, меня помните... на той встрече, вручение премий... я помянул в разговоре знакомого философа, обещал уточнить цитату... вы записали мне свой телефон. Не сумел дозвониться сразу.

Он слушал, не отвечая — может, не вспомнил, о чем это я, не понял, с кем говорит? Или именно понял? Я прочитал ему все-таки приготовленное. Нелепо выходило, нелепо...

— Спасибо, — сказал он наконец. — Ваша цитата, наверно, о том самом, я еще не готов переварить. Прочтите, если не трудно, еще раз, я запишу... Да, подумать есть над чем... Простите, что так рассеянно откликаюсь, — добавил он после небольшого молчания. — Не могу сразу собраться, перестроить мозги. Только что был какой-то странный звонок. Совершенно незнакомая женщина, встревоженная, почти испуганная. Что, говорит, делать, никто не хочет мне отвечать? Так, сразу, без предисловий. Вы это про что? — спрашиваю. Тоже не сразу переключился, думал о чем-то своем. — Про эти голоса. Они опять непонятно где, за стеной или за дверью. Мне сказали, что их нет, их не должно быть, но я же не выдумываю, послушайте. И не понять, чего они хотят, ко мне они обращаются или к кому-то другому. Спрашиваю — не отвечают. Что я должна сделать?.. Вы представляете, этакий разговор?

— Н-да, — понимающе хмыкнул я.

— Я постарался, конечно, отвечать мягко. Это, говорю, наверно, ошибка. Почему вы звоните мне? — Но мне сказали, я должна звонить по этому телефону, мне, если надо, ответят. — Вы, наверно, набрали, говорю, не тот номер. Какой у вас записан? — Не знаю, — говорит растерянно, — никакой не записан. Но вы же мне отвечаете, я вас слышу, почему не тот? А эти — вот, опять — начинают смеяться. Если бы вошли, стало бы не так страшно. Я сама ведь не могу даже открыть дверь... Не буду вам всего пересказывать. Нельзя было так просто положить трубку. И говорил я, наверно, не так, как надо. А тут вдруг еще сразу ваш звонок. Я медлил подходить. Думал: может, опять она. Запомнила номер... Нелепое совпадение, бывает же так.

— Бывает, — подтвердил я. Меня подмывало рассказать ему еще и про сегодняшнюю встречу на улице. Со-

впадения на то и совпадения, что идут то и дело кучами. Одно к одному. Так иногда поймаешь рабочую мысль, и все добавляется в масть, на ту же тему: прочитанная страница, газетная новость, услышанный разговор...

— Совпадения вообще любят идти кучами, — сказал он. — За неделю, бывает, ни одного звонка, а сегодня подряд третий. Какая-то незнакомая дама приехала из Германии, ей нужно со мной увидеться... Или вот та же ваша цитата. Она уже ворочается в уме. Но разве думать о ней — значит уходить от своего? То же общение... Простите, что я вдруг разговорился. Меня разбередил этот сумасшедший звонок. Неуютное ощущение, не знаю, как объяснить. Я оказался к нему не готов. Чего-то не дослушал, не ловил. И сам не о том.

— Вам жаль, что теперь позвонила не она, — попробовал состричь я...

Вдруг явственно увидел своего собеседника: короткий седеющий ежик, острый неуютный взгляд. В маленькой комнате. Вместо стен, как и у меня, полки с книгами. Сидина ранняя — я знаю таких, поседевших лет в сорок. Пожалуй, помладше меня, шестидесяти еще нет...

Среди облаков проглянуло солнце. Свет сквозь давно не мытое окно растворяет четкие очертания — роятся, играют ожившие, невидимые прежде пылинки. Оставлю ему фамилию Зимин. Имя-отчество так с прошлого раза и не уточнил...

— Извините, — вдруг оборвал разговор он, — звонок в дверь. Пойду открывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Немка привезла Зимину письмо от знакомого литератора Игоря Бурлака, жившего за границей уже лет пятнадцать. Литератором, впрочем, его приходилось называть, затрудняясь с более точным обозначением: он крутился где-то возле редакций, кино, телевидения, способности проявлял разнообразные. Мог разыскать редкостную диковину для коллекционера, знакомому режиссеру однажды раздобыл для киносъемок танк времен первой мировой войны. Всюду он был вхож, всех знал. Познакомились они во времена, когда Зимин еще способен был засидеться в компании далеко за полночь. Домой собрался пойти пешком: транспорт уже не ходил, но жил он неподалеку. Тогда с ним и увязался подвыпивший, кудлатый, бурлящий темпераментным дружелюбием парень. Хозяева уговаривали его у них переночевать, он отказался категорически, но уже у дверей принялся вдруг читать стихи — оказался поэтом. Стихи были такие же всклокоченные, темпераментные, бурлящие, как сам автор, однако что-то забавное в них было.

Он бросил тряпку в таз, как сердце.

Она рыдала. Поцелуи

Ползли, как мокрые улитки,

По бледным тающим щекам...

Что-то в таком духе. Остановить его было непросто, прощание затянулось. На улице Зимин обнаружил, что уже начало рассветать. В воспоминании потом соединилось: молодая хмельная легкость в июньском городском воздухе, асфальт еще выдыхает остатки накопленного накануне жара, Бурлак продолжает декламировать свои безразмерные вирши, размахивая руками. Сам Зимин ощущал себя захмелевшим больше, чем был только что. Поймать

такси никак не удавалось. Игорь вдруг увидел приближавшийся хлебный фургон, отчаянно рванулся на проезжую часть, заставил остановиться. Дохнуло теплой утренней выпечкой. Зимин подключился к переговорам, у него оказалось при себе достаточно денег, и водителю было почти по пути. Он уже, согласясь, распахнул дверцу кабины, Бурлак поставил на высокую ступеньку ногу, Зимин собрался его посадить — тот его отстранил. «Постой, — сказал вдруг, — а он даст мне теплую булочку? Дашь мне сейчас теплую булочку?» — обратился к шоферу. «Чего?» — переспросил тот. «Дашь мне теплую булочку — поеду, — сформулировал ультиматум Бурлак, — не дашь, не поеду». Не успел даже убрать со ступеньки ногу, едва не упал — фургон дернулся с места прежде, чем водитель захлопнул, матерясь, дверцу. Приключение едва не закончилось тем, что Зимин привел его к себе, хотя уже представлял, как их могла встретить Алина, уже делал Игорю на лестничной площадке знак пальцем у губ: дома спал тогда еще годовалый Павлик. Игорь проявил больше трезвости — в последний момент дал отбой, повернулся и сбежал по ступеням. Спорхнул, не споткнувшись.

Потом у Зимина не раз возникало чувство, что Бурлак, как бывает со многими, отчасти разыгрывал из себя более пьяного, чем был на самом деле, но контроля над собой не терял. У других хмельные выходки отдают запахом перегара и хамской блевотины — у него все было по-своему артистично. Заявился на другой день то ли извиниться, то ли поблагодарить за вчерашнее, не то чтобы причесанный (такие кудри прическе до конца не поддавались) — притихший, с охапкой неизвестно где нарванных алых пионов (не забыл о жене) и двумя бутылками вина без этикеток, разлитого, из молдавских бочек, оно оказалось и впрямь превосходным. Алина цветы приняла холодно, даже мрачно: не хватало ей мужских посиделок на кухне, когда за стеной спал малыш. С ней пришлось потом объясняться: нельзя же было просто отогнать от себя расположенного человека.

Тот и впрямь проникся к Зимину труднообъяснимой симпатией, даже кое-что удосужился у него прочесть — это при том, что прозу, по его словам, читать вообще не мог. Терпения хватало страницы на три-четыре: многословная тягомотина, недоделанная, непереваренная литература. Все можно было выразить куда более сжато, емко. Стихи представлялись ему чем-то вроде отцеженной и сгущенной прозы. Собственная поэзия была для него способом хоть как-то организовать, сконцентрировать, направить то, что безостановочно рождалось внутри, требовало выхода.

На сей счет существовало, оказывается, нечто вроде научной теории. В человеческом мозгу постоянно происходит переработка информации, образов, впечатлений, мыслей. Для здоровья умственного и физического продукты этой переработки приходится то и дело из себя выделять в виде слов (как выделяется из организма пот и другие отработанные вещества физической жизнедеятельности). Иначе возникает угроза разных застойных явлений, мысль засоряется, в мозгу начинают рождаться химеры, навязчивые идеи, автоматическое пустословие — умственные яды. Важна способность овладеть этим процессом, использовать энергию в осмысленных целях. Водопад тоже может вращать турбину, может грохотать впус- тую. Своему обычному трепу сам-то Бурлак знал цену — он тут же обезоруживал готовностью над собой посмеяться. Сочинение стихов заставляло во всяком случае притормозить, напрячься, сосредоточиться. Пишущих ради заработка развращает возможность получать гонорар за количество строк, прозаиков даже больше, чем поэтов. Но нам-то с вами все равно ведь не платят, нас не печатают, — говорил он, впрочем, вовсе не сравнивая себя с Зиминим. Тот был для него старшим мэтром, способным обобщенно мыслить — только бы еще ужать все эти повествовательные необязательности.

— Вот, у вас есть замечательное место про зависть как негатив злорадства: сравниваешь ли себя с более удачливыми или с менее удачливыми. И про невозможность зависти к несравнимым, благородство бескорыстного восхищения. Читаешь, прямо как про нас с вами — хорошо сказано. Ведь я вам завидовать не могу, такие мы разные. Но зачем размазывать на три страницы? Хватило бы емкого поэтического образа, только найти. Я, допустим, не могу. Попробовал потужиться — набралось на две первых строчки.

Разве скажешь журавлю:

Я летать, как ты, люблю?

— Зависть светлячка к сычу:

Ты моргаешь, я свечу, -неожиданно для самого себя откликнулся Зимин.

— Ну вот, я же говорил, вы тоже умеете, только по-пасть в струю, — восхитился Бурлак. И сам тотчас продолжил:

— Ты никто для журавля,

Копашающаяся тля...

Алина фыркала, слушая, как двое подвыпивших мужчин пустились наперебой выдавать какую-то ритмизованную белиберду, иногда с рифмой, иногда без. Некоторое время она еще продолжала сердиться на Зимина: подобрал себе на улице графомана, умеет польстить, сам, глядишь, заразишься. Постепенно, однако, смягчилась. Тем более что малыш Бурлака обожал, выбегал навстречу, едва тот приходил, повисал на нем. Игорь тут же ловко переворачивал его через себя, кувырчал на руке, оба начинали возиться, играть на полу. Алина смотрела на обоих с обычной своей усмешкой: дети, большой и малый.

Женщины вообще долго сердиться на этого человека, видимо, не могли, он не зря пользовался у них завидным успехом. Плечистый, скуластый кудряш, коричневые веки, темнота вокруг глаз. В модных журналах дамам рекомендовали подрисовывать такие тени, чтобы сделать

взор, что называется, жгучим — Бурлак имел эффектный макияж от природы. Он и под гитару умел спеть, то цыганский романс, а то и песню собственного сочинения. У Зиминых он с гитарой, правда, не появлялся — Алины все-таки побаивался. Но подладиться к ней тоже сумел.

Слаб человек на похвалу, что говорить. Как было не растаять, когда он начинал говорить, что приходит в этот дом подышать особым, очищенным воздухом, воздухом семейного счастья.

— Вы то ли из другого времени, то ли из другой жизни. Я, честно говоря, к вам присматриваюсь, не могу понять, — признался однажды он. — Думаете, что такие как вы — это и есть нормальные люди?.. То же и ваша проза, — переходил он на Зимина. — Не могу сказать, что у вас в книгах вранье. Ведь знаешь, в каком ты живешь дерьме, каким дышишь воздухом. Но вас я уличить не могу.

И в подтверждение начинал разбирать какой-нибудь эпизод, например про художника, который обдумывает картину по мотивам рублевской «Троицы»: перед троими поллитровка и три стакана. А за ним по дому ковыляет папаша, впавший в детство старик, вдруг плаксиво, жалобно стонет: «Я какать хочу» — и не успевает дойти до места, приходится его обмывать, обстирывать. А за окном тут же — сиянье осеннего леса, золотой трепет в воздухе: медленно опадают последние листья, они устилают дорожку, незаметно сиянье перемещается — лес теперь светится снизу.

— По отдельности я бы таких пейзажей, честное слово, не принял, слишком красиво, и опять же, слов много. Но вместе... Как-то это соединяется: и дерьмо, и жалость, и воздух, и красота. Читаешь — думаешь: жить все-таки можно...

Считать Бурлака просто графоманом и трепачом, пожалуй, все же не стоило. Что-то в нем было. Он и в стихах, и в жизни больше создавал образ этакого простодушного рубахи-парня, чем таким был на самом деле. Хотя, игра,

как известно, может настолько срастись с природой — не разделить.

Некоторую настороженность продолжали у Алины вызывать слишком уж вольные речи этого Бурлака в любой малознакомой компании. На сей счет сами собой возникли известные по тем временам подозрения — но с таким же правом он сам готов был кого угодно обозвать стукачом. Если ему всевозможные выходки, нетрезвые выкрики обходились без последствий, то скорей просто потому, что его привыкли не принимать всерьез. Он и тут умел изобразить из себя немного дурачка.

«Почему ты не закрываешь кран?» — сделала ему однажды замечание Алина. «Не хочу я им ничего закрывать, — насупился пьяно он. — Пусть у них все развалится, наконец, к чертовой матери». — «У кого это у них?» — не поняла сразу она — и лишь потом расхохоталась. «Они» для этого диссидента означали советскую власть, кого же еще?

На всякий случай стоило, конечно, не переходить с ним границу осторожности. Как-то он сказал Зимину, что есть возможность переправить рукописи на Запад, не хочет ли он воспользоваться? Тот уклончиво пожал плечами, сам не мог бы сказать, почему; потом, признаться, жалел. Больше этот разговор не возобновлялся. Раз-другой заводилась речь на тему отъезда, занимавшую тогда умы. «Неужели вы не хотите уехать? — искренне удивлялся Бурлак. — Будь у меня такая возможность, я не думал бы ни минуты. Прожить всю жизнь в этом нужнике, в камере, в этом спертom воздухе, не увидеть мира?»..

Зимину потом вспоминалось не раз, как помалкивала, слушая эти разговоры, Алина. Может, он обращался больше даже к ней, чем к нему? В обсуждения вдаваться тогда не хотелось. Доводы значили слишком мало, каждый мог решать лишь для себя, по своей мерке. Осмысливать кое-что пришлось заново, когда уезжать решила она...

Оказалось все-таки неожиданностью узнать, что Бурлак вдруг женился на иностранке и тут же укатил с ней

куда-то в Германию. Случилось это летом, когда Зимина не было в Москве, подробностей он не знал. Единственный раз дошло от него письмо в конверте с московским штемпелем, без обратного адреса — переправил с оказией. Продолжал, видно, не доверять почте обычной. Узнать что-либо о его жизни из письма было нельзя — это оказались стихи.

Описывать мне не хватает места,
Нет времени процеживать слова.
Течение увлекает, тащит дальше,
Не успеваешь толком зацепиться,
Переворачивает, кувыркает,
Вдруг ненароком ушибет о камни,
Барахтаешься, поднимаешь муть.
Как просто было раньше знать: свобода
Есть то, чего у нас как раз и нет.
Ну вот она. Заглатывай от пуза,
До одурения, до тошноты,
Наматывай на вилку бесконечность,
Откусывай, старайся не давиться
И наслаждайся сбывшейся мечтой.
Полопаются пузырьки — отрывка,
(Шампанское — питье не для меня)
И тащит дальше. Новые соблазны.
А наверху, на камне, закрепившись,
Кольшется морской цветок актиния,
Улавливает течение вод
Своими щупальцами-лепестками.
Счастливое природное устройство
Без суеты. Ей незачем искать,
Ей можно обходиться без движенья.
Хватай, что кстати проплывает мимо,
И переваривай, сосредоточась.
Скажи мне, обращаюсь я к актинии,
Как наслаждение отличить от счастья?
Его мы только ловим безуспешно
И сомневаемся: а дальше что?
Ну, это просто, говорит актиния.

Как только наслажденье миновало,
Оно становится мне безразлично.
Уже его не вспомнишь, и зачем?
А счастье, даже оставаясь в прошлом,
Нам отзовется чуть ли не слезой
Умильной. Помнишь ведь, как это было:
Соленый огурец, горбушка хлеба
Под выпивку и — главное — беседа?
Беседа — неразменная монета,
Добавка алхимического зелья,
Неисчерпаемая скатерть-самобранка.
Смакуй, разжевывай, глотай, питайся -
Вкус остается навсегда с тобой...

Зимин посмеивался, читая — намеки угадывались без труда. Да, что-то ушло из жизни вместе с этим шалопаем или прохиндеем, — вынужден был признать он. Стало серей и скучней. Впрочем, само время об этом заботилось. Увы...

Новое, привезенное немкой письмо и вовсе было не просто отправить по почте. Оно было напечатано на компьютере, и не на отдельных страницах, а на сплошном длинном листе из рулона. Дорвался теперь и до подходящего материала. И тоже начиналось сразу стихами. Читать его при госте Зимин, конечно, не стал — отложил на потом. Вряд ли оно помогло бы понять, как он на самом деле живет, чем зарабатывает. Это и в московской его жизни осталось не до конца проясненным.

— Находит где стипендию, где пособие, — с усмешкой ответила на вопрос немка. — Даже пел где-то, кажется, песни, но это я не знаю. Еще я слышала, работал на русском радио, его уволили, он через суд получил компенсацию, хорошую. Наша система не разрешает пропасть, кто умеет пользоваться. А Игорь всегда умел. Такие не пропадают нигде. Особенно пока есть женщины, готовые подержать, подкормить...

Зимину понравилась эта насмешливая интонация. Он чуть не сострил, что всегда считал это подлинным даром,

даже, если угодно, профессией Бурлака: способность устраиваться при женщинах. Вовремя удержался. До него лишь с запозданием дошло, что перед ним та самая иностранка, женитьба на которой позволила Игорю переселиться на Запад.

2

Сколько ей было? Около сорока, с поправкой в ту или другую сторону — в зависимости от освещения. Коротко стриженные волосы в пасмурном свете из окна отливали холодным металлом. (Такая прическа и называлась, кажется, «стальная»). Не так просто было понять, создавался ли этот эффект искусной окраской или присутствием природной седины — элегантным был цвет, делавший еще более теплым и темным искусственный загар лица; металлически пружинистой казалась сухошавая, спортивная фигура. Звали ее Сабина. По-русски она говорила с незначительным акцентом, иногда замедляла речь, чтобы выстроить ее в согласии с предписаниями нормативной грамматики. Случавшиеся неправильности звучали при этом по-своему мило.

Она прожила в Москве полтора года во времена, когда страна еще называлась Союз такой-то, успела познакомиться со множеством разнообразных людей. В разговоре довольно скоро обнаружилось, что они и с Зиминим вполне могли встречаться на какой-нибудь из тогдашних кухонь, просто не выделили, не отметили друг друга взглядом.

О, эти уже не раз воспетые московские и прочие кухни, памятные многолюдные посиделки, накуренный воздух нескончаемых обсуждений, шумных разговоров, отчетливых знакомств! Эти стихи непризнанных гениев, картины полуподпольных художников — несравненных по определению: а с кем было сравнивать? Эти песни, которых нельзя было услышать по радио, но которые звуча-

ли всюду, переписанные на магнитофонные пленки. Эти сборные закуски под водку, мешавшуюся с сомнительным портвейном, чудовищные свекольные винегреты, которые так часто составляли потом содержимое блевотины на заснеженной улице, если не прямо на лестничной площадке или даже в туалете, промазав мимо унитаза. Угощения, как и разговоры, как и компании, впрочем, бывали разные; понятие «кухни» приобретало оттенок скорей условного обобщения. Хотя во многих тогдашних квартирах это действительно могло быть единственным местом, где шум сборищ не так мешал утомленным бледным чадам за стенкой готовить на завтра свои уроки, а прочим незаинтересованным членам семейства смотреть телевизор; но мало что могло помешать компании растечься и по остальным помещениям. Нередко местом сборищ оказывались вполне изысканные салоны, где стол накрывался крахмальной скатертью, и на нее выставялась не только икра или осетрина, и коньяк подавался настоящий, тонкий, многолетней выдержки.

Сабина могла бы на эту тему рассказать куда больше, чем Зимин. Известное дело, местный житель вообще бывает осведомлен о своей жизни меньше любознательного приезжего. Разве что иногда поводит того же гостя по достопримечательностям, которых сам чаще всего не замечает, как не замечаешь по пути на работу под карнизом запущенного дома сохранившуюся лепнину или остатки первоклассной мозаики. Аборигену обычно не до познавательных экскурсий. Да и не всюду ему бывает просто попасть. Ему вполне хватает доступного, своего или хотя бы относительно близкого. То ли дело иностранка, приехавшая сюда, как этнограф, собирать материал. Дипломная работа, а потом и диссертация Сабины были посвящены именно сравнению этих самых московских кухонь и венских кафе как культурных феноменов.

Готовящие на кухне еду, зажигающие газовые горелки, моющие кучи посуды после отшумевших встреч меньше

всего способны были воспринимать свою обыденность как предмет культурологического исследования. Живущим внутри феномена трудно разглядеть слишком привычное, феномен открывается скорей взгляду со стороны. Особенно в эффектном сравнении.

В те же знаменитые венские кафе приходили не просто поужинать или выпить кофе, здесь собирались завсегда, близкие по интересам. Кафе охотников и коллекционеров отличались от кафе артистических и литературных, в каждом была своя, особая обстановка, мебель, посуда, свои напитки и фирменные блюда, у некоторых свои песни, у других танцы. Здесь заводились полезные знакомства, обсуждались дела, сплетни, новости и события, здесь создавались репутации. Были свои знаменитости и скандалисты, свои легенды и мифы, свои самоубийцы. Посторонним попасть не в свое кафе бывало не всегда просто. Портье у входа мог, вопреки очевидности, не моргнув глазом, сказать, что свободных мест сейчас нет, неосторожно вошедший напрасно дожидался обслуживания, прежде чем до него доходило, что лучше ему здесь не задерживаться, куда не выставили с конфузом. И каково было, в самом деле, обнаружить себя угодившим по неведению в кафе гомосексуалистов, не более, не менее?

Московские кухни нетрудно было классифицировать по схожим статьям. Чтобы попасть к художнику, знаменитому в узких кругах, достаточно было обзавестись поверхностным знакомством, эти люди были гостеприимны, потенциальных покупателей, да и просто зрителей привлекали. Безразмерные диссидентские кухни оказались демократичны сверх ожиданий, как будто тут об осторожности заботились меньше, чем надо бы. Проникнуть на них соглядатаю не составляло труда. Несколько более отгорожены от чужаков были называвшие себя эзотерическим андеграундом — в самоназвании слышался намек и на избранность, и на полузапретность. Ячейки своего рода катакомбных церквей собирались, словно семьи, на

других кухнях, каждая вокруг своего отца-проповедника; прозелитов они, впрочем, принимали охотно. Но вот уж кухни национальных единомышленников закрыты были для персон с неподходящим паспортным пунктом, конечно же, не меньше, чем упомянутые гомосексуальные кафе для представителей неправильной ориентации.

Перечислять можно долго — не пересказывать же всю диссертацию. Содержательные различия Сабину интересовали меньше всего. Она лишь прилежно записывала необходимое в блокноте, переспрашивая не вполне понятное, но тем более интересное. На этих страничках можно было найти разговоры о посмертном существовании, о ментальности богов и великой пустоте, о незаконных репрессиях и соблюдении прав, о кознях коварно внедренной нации и о всемирном заговоре, возникшем прежде, чем родились на свет намеченные в жертву, о жертвенности как духовном принципе, о цензуре и демократии, о избранничестве и непризнанности, о фекалиях как достойном художественном объекте. Вникать каждый раз в смысл было необязательно, давать оценки не входило в ее цели, это было не нужно. Главным для ее темы оказывались общекультурные, структурные, знаковые и прочие соответствия.

Тут, между прочим, она как раз многим оказалась обязана Игорю Бурлаку. Счастливое устройство природы позволяло ему по-свойски возникать всюду (может быть, всюду вызывая одинаковые подозрения — но ведь пускали). Лучшего провожатого по Москве Сабина себе не могла желать. Стоило ли задаваться вопросом: что нашла иностранка в этом растрепанном клокочущем типе? Тоже, значит, оказалась не защищена от труднообъяснимого русского обаяния. Точно так же неверно было бы утверждать, что недолгий муж Сабины просто воспользовался ею, чтобы покинуть страну. Она сама так не считала. Прошлые состояния вообще не стоит мерить меняющимися мерками, они сохраняют свою, прежнюю ценность.

Странные теперь кухонные посиделки так и остались в ряду молодых воспоминаний, с объяснениями на холодной лестничной площадке, нервно докуренными сигаретами, теплой курткой, накинутой на продрогшие плечи невидимыми руками — ну, и со всем, что называется любовными приключениями. У себя дома ей слишком долго пришлось осваивать новые свободные представления с чужих слов, вприглядку — мать ухитрялась сохранять над ней контроль. Надо было отдалиться от нее, чтобы ощутить и пережить настоящую свободу; домашняя, кухонная жизнь в стране, где все привычно стесало от всеобъемлющего зажима, показалась непривычно вольной. Такого, как тут, она просто еще не испытывала. Дома даже неприличия были расписаны и регламентированы. Тут Сабина участвовала в чьих-то личных отношениях, утешала брошенных женщин, мирила ссорящихся. Главного было теперь даже не объяснить — как не объяснить протрезвевшему человеку восхитительность странного, лишь отчасти хмельного состояния, чего-то, что называется едва ли переводимым на нормальные языки словом «задушевность», как не описать не испытывавшим возбуждающего дуновения холодка, предвещавшего то и дело опасность. Будоражащее ощущение риска — вот чего нельзя было испытать в венских кафе. Там, открыв двери, выходили в тот же открытый мир, на тот же простор — и дальше куда угодно. А тут еще и очередной холодок по спине при таможенном досмотре, когда ты вызывалась провезти за границу чьи-то рукописи, рисунки или хотя бы письма. У Сабины все сходило благополучно.

Теперь вот выход открыли, выпустили пересжатый воздух, давление сравнялось, выровнялось — стало почти как там. Былые знакомые разъехались кто куда, некоторые стали знаменитостями, отчасти, может быть, по инерции, в Москве оказалось непонятно кому звонить. И прежнего здешнего кайфа она пока не могла поймать, не могла бы сама себе объяснить, в чем было приобретение, в чем потеря.

— Мне говорили, у вас кухни уже не те. У вас теперь тоже кафе. Культура и общение теперь перешли туда, нет? Я приехала сюда говорить про мой новый проект, он как раз тоже связан с кафе. Кафе для общения singles. Но еще не совсем успела. Я даже еще не видела Москву. Она показалась мне, как незнакомый город.

— Насчет кафе вряд ли что могу вам сказать, — пожал плечами Зимин. Незнакомое иностранное слово он не разобрал, но переспрашивать не хотелось. — Всегда был человеком, в общем, домашним. Теперь и готовлю себе сам. Главное, работа домашняя.

Показал взглядом на письменный стол. Немка вслед за ним оглядела тесную комнату. Дом напротив загораживал свет, окно было давно не мыто. Старомодная настольная лампа под матерчатым абажуром горела по необходимости середь бела дня. Странно, почему так тесны оказывались в России квартиры при таких обширных фасадах. В старом немецком городке фасад мог быть всего-то в одно окно, зато внутри пространство словно вопреки геометрии разрасталось, сам собой возникал простор. И вдобавок эти книжные полки по всем стенам. Где еще увидишь в жилой комнате столько книг? Попробуй представить жизнь, которая оставляет время все их прочесть. Как говорили когда-то: страна, где книги могут заменить жизнь. А вот компьютера на столе не видно, даже пишущей машинки. Словно попадаешь в дремлющую провинцию, полугород, полудеревню, где продавщица в магазине до сих пор шелкает костяшками древних счетов, где можно жить, до конца не проснувшись, в душном тепле, и находить в этой жизни свое труднообъяснимое очарование. Игорь говорил ей об этом Зимине как о человеке, может быть, вымирающей, почти всюду уже исчезавшей породы. Почему у него такой насупленный, насмешливый взгляд? И прическа такая колючая — не тронешь?

— Значит, вы тоже single? — сказала она — и тут лишь заметила непонимающее движение брови. — А.. как это

по-русски?.. — не сразу смогла вспомнить. — По-немецки einsam... забываю свои слова, у нас теперь половина терминусов американские... Одинокий, да?

— Тоже нашли слово, — непонятно усмехнулся он. — Ваш проект, стало быть — общение одиноких? Как забавно.

— Что забавно?

— Совпадение. Я, как вам сказать?.. тоже обдумывал что-то похожее... Не знаю, как это назвать. Как озаглавить. А вы говорите, проект? Проект «Одиночество»?

Разговаривая с иностранцем, порой начинаешь замечать в собственной речи нечто вроде акцента: как будто невольно стараешься подбирать не просто более понятные ему слова — интонацию.

— Правда, интересно, — оживилась она. — Вы тоже это понимаете?

Проблема одиночества, проблема общения — чего же тут было не понимать? Разные языки только называют одно и то же по-разному. И время предъявляет каждый раз новые требования, требует искать новые решения. Новый тип жизни, новый темп работы, новое одиночество, новые возможности общения, да? Правильно? Чего стоит хотя бы эта новая электронная паутина, сеть, которая позволяет всем легко связываться, разговаривать, жить в мире, не выходя из дома. Одиночество — это теперь во многом проблема высокоразвитых людей. Потому что оно все больше становится условием карьеры, да? Оно делает человека более подвижным, свободным, работоспособным. Профессиональный успех невозможен без максимальной развязанности, как это по-русски?.. Но вы понимаете? Женщине это нужно особенно, это обеспечивает социальную независимость. После сексуальной революции брак становится все менее обязателен, это уже не требует драм. Одинокий человек быстро вступает в связи, быстро разочаровывается. Привязанности — это как идеал, которого не существует, да? Но, конечно, во всем

появляется обратная сторона. Обратная сторона есть во всякой привилегированной жизни, ничего не поделаешь. В этой жизни есть свои депрессии, есть своя озабоченность. Разговор сейчас не идет о людях старого возраста, для них — да, одиночество — это другая проблема. Это бывает ужасно... (Сабину передернуло от какого-то непроизнесенного воспоминания). Нет, ее новый проект был для возраста, который называют, как это говорят? брачным. Двадцать пять — сорок пять лет. В одном Берлине сейчас более миллиона одиноких...

Зимин слушал ее рассеянно, мысли его, увы, отклонялись невольно в сторону. С автоматизмом холостяка, уже к тому же утомленного долгим постом, он оценивал ее нечестным, раздевающим, мужским взглядом, словно примеряя возможность естественного продолжения. Элегантная строгость была не более чем стильной картинкой из журнала мод. Что прикрывала эта холодная, металлически отражавшая взгляд поверхность? Западная, одинокая, энергичная женщина, без комплексов и предрассудков. И возраст далеко не юный. Слова о сексе звучали в ее устах, как производственные термины. К такой можно бы, наверное, подступиться, но попробуй еще себя заведи. После мысленного раздевания удавалось оставить подобие манекена, на более. Тоска и скука. Опять лишь кажется, будто вы говорите об одном и том же...

Проект, с которым приехала немка, предполагал своего рода систему, сеть разнообразных заведений, отчасти виртуальных, но среди прочего и кафе — от своей темы она не ушла, да? Предполагалось организовать общение для людей, которые друг друга не знали, приезжали из разных мест и предпочли бы оставаться для начала анонимными. Не открывать настоящего имени, адреса, бизнеса. Им можно было давать простой псевдоним, большой значок на груди или что-то вроде. Информацию будут оставлять себе только посредники, их дело собирать заявки, учитывать желания, предлагать возможные варианты. Эти

самые singles встречаются, чтобы вместе провести время, поужинать, потанцевать — и дальше по взаимному согласию. Но без обязательств — на пробу, да? Как это сказать по-русски?..

— Что-то среднее между борделем и дискотекой? — полувопросительно сказал Зимин.

— О, нет, нет, — она засмеялась и даже легонько хлопнула его по руке, как надерзившего школьника. — Я, наверно, неправильно объясняю. Бордель — это просто секс, на один раз. Хотя там продолжения тоже возможны, — признала тут же она. — И это только для мужчин. То есть для женщин теперь тоже есть, — пришлось снова оговориться, — но не надо сравнивать. Тут все равноценны, равноправны. И дискотека — это более для одного возраста, одного интереса. Нет, этот проект синтетический. Тут еще играет роль модератор, да? В программе есть игры, викторины, чтобы сопоставлять вкусы.

— Я что-то похожее видел по телевизору.

— О, у вас теперь тоже есть? — оживилась Сабина. — Была тоже идея: показать на тиви. Но тут сразу проблема с анонимностью. Не всем хочется, чтобы их увидели знакомые, это не надо. Анонимность особенно проблематична.

— Можно предложить им маски, — усмехнулся Зимин.

— Bitte? — переспросила Сабина.

— Чтобы желающие могли перед встречей прикрыть лицо или часть лица маской. Встречаются и танцуют, не видя друг друга, как на старинных маскарадах. Там ведь в чем было особое очарование? С закрытым лицом можно было позволить себе больше вольности. В ваших заведениях маски лучше всего предлагать стандартные, без всякой индивидуальности, ничего не подсказывающие, не вводящие в заблуждение. Это может расположить к особенной откровенности.

— Это идея? — вопросительно произнесла немка. — Это идея, — повторила она утвердительно, но еще слегка удивленным, недоверчивым тоном.

— Я когда-то не раз пробовал пофантазировать о жизни с ненастоящими, подмененными, закрытыми для взгляда лицами. Кое-что начинал, но так и не дописал. У меня вообще накопилось больше незавершенных идей, чем завершенных. На подобную тему как-то пробовал размышлять персонаж одного моего рассказа. Что мы знаем о человеке, глядя на него? Вы обо мне, я о вас? Нам лишь кажется, что мы видим лицо, мы видим маску. Маску можно нарисовать, можно украсить. Ну, и так далее. Это бесконечная тема. Вдруг обнаруживается, что людям лучше, удобнее, когда они меньше знают друг друга и не стремятся узнать. Известные приличия для того и существуют, чтобы облегчать общение. Неприлично задавать незнакомому вопросы. Кто вы, что с вами? Европейскому человеку это, наверно, особенно понятно, да? Хотя кто-нибудь, может, только и ждет, чтобы его спросили. Самому навязываться еще неприличнее, да? — Он снова заметил, что начинает нечаянно повторять ее интонацию. — Ну, и так далее. Вообще лучше друг перед другом не открываться. Интересным может быть только неизвестное. Когда имеешь дело с известным, сам говоришь не более чем банальности. Настоящая встреча — это всегда неожиданность. Потому мы чаще всего предпочтем от нее уклониться. Мало ли что нам откроется, чем все обернется? Лучше не рисковать. Так, пообщаемся, потрогаем один другого легкими, пробными щупальцами...

Он сделал поясняющее движение пальцами.

— Простите, я не все поняла? — переспросила Сабина. Ей приходилось сейчас вслушиваться в русскую речь напряженно.

— Неважно, — оборвал себя Зимин. — Так, болтовня персонажа на тему масок и свободы, которую они позволяют.

— О, сейчас свободу берут, сколько хотят, и без масок обходятся. Можно совсем раздеться. Вы бы посмотрели, как у нас в некоторых местах танцуют. Совсем голые —

это ничего, в нижнем белье. В белье, теперь считают, больше эротики. Но маски — это для меня идея? Еще не ясно, как. Я могу ее себе взять?

— Берите, — засмеялся Зимин. — Бесплатно.

— Бесплатно! — засмеялась и она. — Как это у вас всегда было смешно и мило. Непрактичность и... как это?.. духовность, да?

— Не знаю, относится ли это ко мне, — уклонился Зимин. — Парадоксы, как я уже говорил, принадлежат одному моему герою. Идея не слишком новая, считать такое своим вряд ли можно. А вот разыграть ее действительно в масках — это придумали без меня молодые артисты. Они сделали как-то спектакль по моим рассказам. Я узнал про него от знакомых, случайно. У меня даже не спросили разрешения. А я ничего и не мог им сказать. Это было довольно давно, тексты ходили по рукам, не напечатанные, об авторских правах говорить вообще не приходилось. И спектакли они давали бесплатно, без афиши, в каком-то подвале. Славные времена, вы еще их застали. К чему я это, однако, рассказываю? Текст мой эти ребята использовали без искажений, но персонажей, современных людей, сделали кем-то вроде клоунов. Костюмы, парики, приставные носы. А некоторые лица просто покрасили и по ходу спектакля меняли у всех маски, грим. Кто-то кому-то объясняется в любви — не поймешь кто, не поймешь кому, оказывалось неважно. Житейская путаница, взаимозаменяемость. Постепенно лица становились у всех просто белые, совсем мертвенные. Разговоры неживых. Я этого не писал. Сюжеты не казались мне абсурдными, житейский реализм, не более. И текста, повторяю, не тронули. У меня мороз шел по коже, а в зале смеялись. В тот раз я ушел, даже не представившись. Не знал, что этим ребятам сказать. Потребовалось время, чтобы переварить. Я вообще тугодум.

— Как интересно, — сказала Сабина. — Почему я это не видела?

— Вам с Игорем было не до того.

— Ну, Игорь! — с усмешкой отмахнулась она. — А вы мне можете показать этот театр?

— О, его давно уже нет. И ребята теперь неизвестно где. Перед подвалом, я как-то видел, стоят роскошные мерседесы. Там теперь фирменный ресторан, мне, при моих деньгах, внутрь даже не попасть. И не хочу. Я вообще стал теперь почему-то избегать мест, которые для меня что-то когда-то значили. Другие вывески, другая жизнь. Видишь стены, на них оседало когда-то твое дыхание — нет, осталась пустая кирпичная оболочка. Штукатурка, обои, все прежние слои содраны, заменены. А потом вдруг увидишь на углу старой трансформаторной будки выбоину — сын бросил когда-то в костер найденный во дворе патрон, как ему глаз не вышибло? Вот тут только вздрогнешь — еще осталось.

— Слушайте, — сказала она, — я хочу увидеть в Москве ваши места. Не достопримечательности, как в путеводителе, которые для всех одинаковые, без лица. Тоже, как в маске, да?

— Не знаю, можно ли это показать. Любое место может стать единственным, неповторимым, если оно за тебя зацепилось. Вот, зацепили вы здесь, скажем, юбку или порвали чулок, да? Про него потом найдется что рассказать, вспомнить. Но можно ли передать свое чувство другому?

— Я серьезно, — посмотрела на него, решая вопрос, Сабина. Зимин пожал плечами — не возражая, не соглашаясь. Она растолковала его жест сама. — Где мы с вами встретимся завтра?..

3

Оставшись один, Зимин не сразу вспомнил, что собирался сделать. Наконец, вспомнил, развернул письмо Бурлака.

«Философ, вот сюжет для размышленья, — начинал тот без предисловий и обычных эпистолярных приветствий. —

Ты наблюдаешь со своей вершины
Бессмысленные проявления жизни,
Бурленье пузырей, движение частиц
По траекториям необъяснимым.
Попробуй в них понять закономерность,
А значит смысл, загадочный для смертных.
В Италии, среди зеленых гор,
Я выпивал с художником, из наших,
Непризнанных когда-то. Рафаэль.
(На имечко ему не поскупились
Родители). Но для меня он Раф.
Над словом «живопись» он насмехался.
Для него
Она доисторический период, что ли.
«Когда я живописью занимался там,
Еще в Союзе», — говорил он, пальцем
Большим показывая за плечо, назад,
И губы в снисходительной ухмылке
Кривились. Нет, теперь
Он занимался интеллектуальным
Искусством, синтезом или дискурсом
(Я, может, просто путаю слова).
А если рисовал, то, скажем, кровью
Своей же или соком насекомых
Раздавленных. И по бокам писал
В оккультном духе что-нибудь. И знаки,
И прочее. Ну, в общем, пробивался,
Как мог. Имел маршана,
Каких-то покупателей. И я
Готов был должное ему отдать: умеет.
Хотя понять
При всем желании не мог. Так вот, в горах
Италии он акцию устроил:
Торжественные похороны бабки,
Которая скончалась там, в Тамбове.

Зеваки собрались поглазеть.
Художник долго, медленно копал
Сначала ямку маленькой лопатой,
Потом стал землю выгребать руками.
Вдруг в ямке оказалась змея.
Зеваки отшатнулись в испуге:
Не ядовита ли? Художник сделал
Ножом себе надрез на левой
Руке и в ямку
Стал капать кровью. (Матерьял привычный,
Кровопусканье шло ему на пользу).
Кровь, капая, обозначала след. Змея
Ползла по этой траектории. Художник
Стал тут же этот след изображать
На заготовленном листе бумаги.
Чертеж ли получался, шифр, картина?
Звучала музыка, горел костер,
Варилось что-то в котелке из трав,
Распространялся запах. Итальянка,
С которой жил тогда художник, (истеричка
Почище наших, я с ней тоже спал),
Неподалеку за кустом навзрыд
По-итальянски что-то бормотала.
Молилась, надо понимать, за упокой
Души тамбовской бабки. Все, конечно,
Записывалось на видак...

Ну, ладно, у меня дальше не все пока решено, — переходил Бурлак на вынужденную прозу, — не было времени доработать, а тут узнал, что можно письмо переслать. Моя глупость была в честной попытке врубиться, понять. Не может же это быть просто обманом, фокусом? Змею же он не приготовил заранее? Больше всего меня озадачивали зрители. Оглядываюсь: никто не смеется, объяснений не требует. Серьезные, как будто все что-то понимают, я один тарашусь, как идиот. То ли они уже ко всему приучены, то ли просто вежливые. Никому не хочется отставать от времени. Словом, когда мы сели, как было упомянуто в начале поэмы, выпивать в тамошней траттории, я стал

все-таки Рафа допрашивать: пусть объяснит хоть мне, что это было, что он старался выразить? Ну, дальше надо опять стихами.

Искусство, он сказал, необъяснимо.
Художник мыслит в творческом процессе.
Звук, запах, кровь, змея, все это вместе
Рождает нечто выше наших слов.
Слова потом находит толкователь,
Пусть не всегда впопад. Конечно, каждый
Довольствуется тем, на что способен.
Соединится все не в наших сферах,
И след, который ты оставил кровью,
Определяет жизненный твой путь...

Нет, все-таки жаль тратить место на дальнейшую лабуду. Я, наверно, вообще это все просто сокращу. Главное, как передать чувство, что меня держат совсем за лоха, которого можно дурить. Вино было местное, молодое, не особенно крепкое, но вы меня знаете, можете представить, как я могу от обиды сорваться. Пустил ему, в общем, кровь из носа.

Ладно, рассказывать все это я вам начал ради концовки. Тоже надо будет еще подработать, но пока — вот она:

Я снова встретил Рафаэля в Кельне.
Он сам меня окликнул. Я бы
Его мог просто не узнать. Бородку,
Когда-то поросль дикую, он не обрил,
А обработал: стриженный газон.
В зубах гаванская сигара, дорогая,
Весь пахнет состоявшейся удачей.
Немногим, право, так же повезет.
Так в лотерее шарики бегут
По разветвляющимся желобкам, дорожкам.
Как угадать, где оторвется приз,
Направить, повлиять, пройти, где надо?
А он сумел. В Америке, зимою,

На чьей-то территории упал.
Был сильный гололед, он поскользнулся,
Сломал одновременно руку, ногу.
Владелец местности, миллионер,
Не позаботился, как полагалось,
Чтоб здесь счищали лед. Нашелся адвокат
Неглупый, тертый, сразу научил,
Как обратиться в суд. И суд постановил
В порядке возмещения ущерба
Физического и иного уплатить
Счастливцу Рафаэлю двести тысяч
Американских долларов. Возможно
Он малость мне приврал. Но ведь на самом деле
Хватило этих денег для начала,
Чтобы открыть успешную торговлю
Предметами домашней обстановки.
И бизнес стал расти, как на дрожжах.
Раф перешел на антиквариат.
Вот где открылся подлинный талант,

(Черт, нечаянно получилось в рифму, — приписал на полях от руки Игорь),—

Где пригодилось имя Рафаэль:
Сеть магазинов под таким названьем.
Он покупает что-то в Старом Свете,
Переправляет в Новый. Мы сидели
Теперь в шикарном ресторане. Пили
Вино, потом коньяк. Я не запомнил
Ни вкуса, ни названья. Голова
Не от питья шла кругом, от другого:
От разговора. Он мне объяснял,
Что имя может быть предназначеньем,
Что надо правильно его понять,
Искать уверенно свою дорогу,
Угадывать по знакам, по намекам,
По напряженности магнитных линий.
Случайность — только видимость. Иди,
Не слушая насмешек, без оглядки

На критику, не требуя признанья.
Неплохо быть загадкой для других.
«Ты должен оставаться сам собой, -
Учил он, — но меняться непременно.
Мы проживаем в жизни много жизней,
Меняем жен — нельзя же все с одной.
Но Рафаэль остался Рафаэлем.
Я друг тебе, и я могу помочь»...
(Мы оба уже малость перебрали).

Я слушал, понемногу закипая. Да что же это? — думал я. О чем он?

Где логика? Где закономерность?
Я руку в Питере ломал два раза -
И что? Отсиживался в отделенье
Милиции. Скрипел зубами
От боли. А второй-то раз
Еще похуже было: кости
Неправильно потом срослись под гипсом,
Пришлось опять ломать. И это все?
Философ,
Ответь мне: если разный результат
Не объясняет ничего в причине,
То что же значит угадать дорогу?
И что это такое: изменяться,
Но оставаться все-таки собой?
И есть ли
Какой-то смысл во всех обманах жизни?

Ну вот, — продолжал Бурлак снова прозой, — за поэзию, как у нас кто-то когда-то сказал, не поручусь, но вас это, возможно, немного развеселит. Не скажу, чтобы Раф надо мной сознательно издевался, я больше издеваюсь над собой сам. Он ведь действительно предлагал мне хорошие деньги, чтобы я издал свою большую книгу, о которой когда-то мечтал. Здесь же это просто: я уже издал четыре небольших брошюры. И представьте себе: я отказался.

Почему? — удивитесь вы. (Или не удивитесь?). Но об этом есть другие стихи.

Я заблудился в лабиринте книжного склада.
Катакомбы, бумажные залежи,
Засыхающий, каменеющий мусор.
Книги о пионерском детстве,
О лагерях, где не было онанизма,
И о других, где не было пыток.
Официальная литература,
Книги мертворожденные, никогда не жившие.
Их можно было презирать, не читая.
Кого не печатали — по определению лучше.
Искать казалось нужно там, по соседству.
Документы прожитых жизнью,
Откровения диссидентов,
Поиски ускользающих слов,
Стоны, исповеди, объясненья в любви,
Сексуальные эксперименты,
Откровенья о высших сферах.
Вот они все, на полу, на полках
Громоздятся, как в общем склепе,
Невостребованные — навсегда ли?
Вместе все каменеют, ждут будущего,
Когда окажутся ископаемыми памятниками
Малопонятной, странной культуры.
Антиквариат для любителей.
Но если среди этих слоев, отложений,
Затерялись драгоценности подлинные,
не прочитанные никем,
Кроме наборщиков?.. Впрочем, о чем я?
Теперь и наборщик не нужен. Сам автор
Себя и печатает, и читает. Передает
Прямо в сеть — в никуда. Вот и все.
Где-то здесь затерялись и мои листки,
Слиплись — не расслоишь, и зачем?
Я не смог их найти. Заблудился.
Вышел, шурясь. На улице солнце,
Рядом лает на кого-то собака.

В любой стране лай кажется тебе понятным,
Как возгласы играющих детей, их считалки,
их ссоры.
Сейчас он звучал чужеродно, враждебно.
Оглянулся — и увидал, на кого она.
Медвежонок в потешном наряде,
В коротеньком русском сарафане
Поднялся на задние лапы
Возле циркового фургона,
Передние выставил беззащитно —
Такой милый, такой свой, понятный,
Взгляд такой испуганный, детский.
Подступило внезапно к горлу,
(Был, надо подчеркнуть, вполне трезвый),
Слезы потекли у обоих.
Захотелось обнять, расцеловать мохнатую морду.
Вот он, настоящий перформанс.
Так и я, бывало, пел в русском кафе
Цыганский романс под гитару...»

(А, отметил Зимин, действительно, значит, подрабатывал и этим).

«Задержись, оглянись снова:
Много ли вокруг изменилось?
Придорожные пейзажи, строения,
Стены очередного временного жилья
Обшарпаны, как и прежде.
Флюгер — не петушок, а куриная тушка
Вертится над металлической сковородкой.
На безголовой шее — белая корона.
Жизнь, как и прежде, на перекрестке ветров.
Обязательств все меньше, честолюбия тоже,
Угрызений совести никаких.
Вроде бы не прибавилось неудобств,
Наоборот, все по фигуре, по мерке,
Из хорошего, право же, материала.
Что же вдруг стало не так? Не поймешь,
Жмет ли под мышкой, в паху ли трет?
Дело не в сменной одежке — в шкуре.

Пожалуй, не буду вас больше обременять, — заканчивал Бурлак. Не более чем попытка выразить очередное настроение. Считайте это меланхолическим этапом в творчестве. Мне вдруг вспомнилось, как мы говорили о вас с вашей женой. Вы умеете сопротивляться обстоятельствам, говорил я (это о вас), потому и продолжаете писать. Но вам проще держаться, чем многим другим — при такой-то поддержке (это о ней). Она усмехалась — вы знаете эту ее усмешку (у вас обоих была похожая). Она могла выглядеть тонкой, хрупкой, но казалась на самом деле для вас опорой. Какой-то симбиоз морского цветка — я тогда еще это ей говорил — и рака-отшельника.

Не знаю даже, вправе ли я вас о таких вещах спрашивать? Но в прошлом письме я передавал привет вашей супруге. И вот до меня дошло, что она теперь тоже в Америке? Не представляю. То есть, не представляю, что вы остались. Женщина считается по природе более консервативной, оседлой — хранительница устоев. Менять жизнь склонны скорей мужчины. Ваша семья, ваш дом казались чем-то особенным...»

Зимин пробежал остаток письма невидящим, отвлеченным взглядом — и отложил. Тяжелевшая все ощути- мей тварь наваливалась на сердце, и как было ее согнать, как от нее освободиться?

4

Самолюбие долго мешало ему признать, чем на самом деле оказался для него уход жены. Заноза, которую старался не замечать, которую предпочел бы считать просто не существующей, становилась со временем все чувствительней — сам начинал то и дело это место расчесывать.

Казалось, ты к этому был готов, сам этого хотел, примеривал в уме неизбежный рано или поздно разговор, тяготился лишь сомнениями: как такое сказать? Когда на-

чинают все чаще повторяться тягостные изматывающие объяснения, чувствуешь, как становитесь все более чужими — нельзя себя, наконец, не спросить: что вас продолжает держать вместе? Житейская привычка, надежда обойтись без перемен и сопутствующих хлопот, угасающие воспоминания? И еще мысль о сыне? О да, это конечно! А главное, может — нежелание признавать неудачу, которая должна была обесценить, сделать сомнительным, развеять, как самообман, то, на чем держалась прежняя жизнь.

А она взяла и сказала сама. Можно было ощутить даже облегчение. Не был ли он уязвлен тем, что она его просто опередила? Когда оказывается брошенной стареющая женщина — это более в порядке вещей, что ли? Обычное, понятное дело. А тут — обидно и несправедливо. Как же такое случилось с тобой? С другими такого не происходит. А если происходит, то совсем не то. Потому что это вообще не ты. На других можно смотреть с усмешкой понимающего, сочувствующего превосходства...

Нет, у него хватало чувства юмора, чтобы оценить именно заурядность своей истории. Решение Алины уехать сделало развод лишь неизбежным, не более, оно только выглядело причиной. Как будто, согласись он сразу последовать за ней, они так бы и продолжали жить, как жили, только не здесь. Восторженные письма, уже начинавшие к ней приходиться от знакомых из-за границы, Алина читала с обычной своей усмешечкой, как бы нехотя показывала мужу красочные фотографии на фоне новоприобретенных (конечно, в рассрочку, это она понимала) американских коттеджей, сияющих автомобилей, впечатляющей обстановки — картинки из зазывных рекламных проспектов. Криминалисты хорошо знают, заметила как-то: когда человек рассказывает о себе слишком много, слишком охотно, это может быть способом скрыть какую-то настоящую правду. Особенно от самого себя. Умная женщина. Но стоило самому Зимину безобидно сострить по поводу

очередной сверхоснащенной кухни — в ответ он вдруг получал совершенно неожиданную отповедь. Как будто, со своей мужской психологией, своей профессиональной отстраненностью он оставлял ей выносить все тяготы чудовищного здешнего быта, разменивать жизнь на стояние в очередях, терпеть институтские интриги, высиживать бессмысленные собрания, выслушивать слова, от которых заранее тошнило, поступаться достоинством ради паршивого, черт побери, заработка (который, между прочим, поддерживал всю семью) — он, имевший возможность удаляться в свой, для себя же созданный, возвышенный мир, уклоняться от повседневной пошлости, суеты, карьерных искушений, и при этом гордиться, что не пачкает рук, не шевельнет даже пальцем, чтобы улучшить, изменить, покончить к чертовой матери с этой жизнью, не для себя — еще бы! он для себя, для своего духовного самоосуществления, самовыражения, черт знает чего может находить материал в так называемых страданиях, художественная личность, что говорить — но хотя бы для тех, кто с ним связан и на которых ему наплевать, их проблемы для него не существуют...

Каталог общих мест. Вслух такое можно было выпалить лишь в состоянии крайней вымотанности, раздражения, которого потом обоим приходилось стыдиться. Ответ мог состоять тоже не более чем из общих мест. Невозможность переиграть заново жизнь, привязанность к языку, все такое... известные малозначащие слова. Зализывать нанесенные друг другу сгоряча раны до поры удавалось потом разве что в постели.

О, в постели они были близки друг другу не как всегда — казалось, как никогда. Но разделялись и ощущали — еще не осознав — что стали снова даже более чужими. Хитро же это придумано природой или кем-то еще: иллюзия недолгого слияния, проникновения, общего чувства — и вот исчерпано мгновение, отключилась, иссякла, исчезла соединявшая их непонятная сила. Отвалились, смотрят

друг на друга два существа, обособленных, отдельных по тому же природному устройству. Состояние не менее загадочное, чем называемое любовью. Не просто внутри себя надо было искать объяснения.

Уезжать, по ее словам, нужно было прежде всего ради сына, Павлика, ради его будущего. Мальчик обнаруживал незаурядные способности в работе с компьютером, к которому приобщился вначале у сослуживцев Алины, они же его взялись обучать. В школе о компьютерах тогда и не заикались, купить его здесь, в стране, было попросту нигде, даже если найти деньги, Зимин таких вещей не мог, не хотел понять...

Компьютер Павлику она купила сама уже после развода: привезли, наконец, коллеги из-за границы. До отъезда у нее против ожиданий дошло не сразу. Двухкомнатная квартира, которую Зимин уступил им после размена, сам оказавшись в крохотной однокомнатной, служила Алине чем-то вроде промежуточной камеры для выравнивания давления — перед дальнейшим, окончательным переходом. Кто-то не обозначенный, лишь подразумевавшийся за горизонтом, должен был сперва обосноваться там, подготовить почву, она пока пользовалась отсрочкой, чтобы совершенствовать свой и без того прекрасный английский.

Уязвил ли его хотя бы укол ревности? Из того же самолюбия он не позволял себе в этом даже признаться. Чувство, что ни говори, унижительное. Проще было подменить его раздражением, чем-нибудь еще. Да и не было на поверхности повода. Возможность неизвестных Зимину отношений оставалась там же, за горизонтом его осведомленности, и знать ему об этом было незачем. Подружка, зачавшая к Алине в последние месяцы их совместной еще жизни, раз-другой подступала к нему с многозначительными намеками, он предпочел не вникать. Не захотел догадываться и потом, когда эта крупная, рыхлая, в стрекозиных очках интеллектуалка наведалась после развода к нему, чтобы все-таки просветить. Прямо-таки сияла

плотоядным, восторженным предвкушением — какая ей померещились пожива? Он осадил ее с вежливым, тихим бешенством — бурлило под крышкой. Не хотел ничего слышать. Проще, когда этот другой оставался бесплотной туманностью, вроде зевсова золотого дождя, что ли? Похоже, и впрямь именно золотого, материализовавшегося уже потом, за океаном. Проще было избавить воображение от необходимости представлять ее с ним вместе реально, во плоти.

Наведываясь к Алине для встречи с сыном, он не испытывал никаких прежних чувств, вообще ничего. Она менялась, что говорить, не лучшим образом. Он отмечал это, увы, с малодостойным, чуть ли не мстительным удовлетворением: жалеть не о чем. Кожа на лице, на шее все более разношенная. Отчетливей проявлялись, темнели над верхней губой усики. Лицо всегда было немного кошачьим, странно было вспоминать, какими когда-то казались милыми даже ее ужимки! Пальцы, удлинненные новыми лиловыми ногтями, не вызывали никаких воспоминаний — даже о прикосновении. Разочарованием этого нельзя было назвать — тоскливое недоумение: вот как оборачивается к тебе жизнь, вот чем она оказывается.

Укол болезненного унижения он ощутил, пожалуй, когда однажды пришла из Америки посылка. В картонной коробке было подсолнечное масло, пакет риса, пачка чаю, растворимого кофе, что-то там еще. По тем временам это было совсем не лишнее. Гуманитарная помощь от благотворительной организации, не от нее. Она всего лишь сообщила кому-то его адрес. Вышвыривать посылку было бессмысленно, пришлось проглотить.

Единственное письмо от нее подоспело вскоре. О своей жизни она писала, как о пребывании в стерильной хорошей больнице. Дела идут хорошо. Жаловаться не на что, ждешь, скорей бы прошел день. Не жалеи, что не уехал. Даже мне еще не совсем удалось привыкнуть. Представить здесь тебя я действительно не могу. Но тем более не-

возможно представить себе возвращение. Только вспомнишь эти стены, эту еду, одежду, рожи... бр-р... Говорят, у вас (буква «в» переправлена на «н» или наоборот?) что-то все-таки стало меняться. Но сколько еще придется наверстывать! Павлик не может терять времени. Здесь то, что нужно ему: возможности, перспективы, цивилизация.

В этой грустной интонации угадывалась снисходительность. Человек, у которого все в абсолютном порядке, скорей склонен преувеличивать недостатки своего положения, чтобы не бередить у других комплексы неудачи и зависти. Свысока можно позволить себе тактичность.

У нее хватило чуткости (или расчетливой трезвости?) не прислать своей новой фотографии в новых декорациях, только фотографию сына. На ней Павлик был растолстевший, с пушком над верхней губой, в белой рубашке с бабочкой. Эта фотография вызвала чуть ли не тоскливый испуг, она грозила заслонить, отменить, убить совсем почти тающее, трепетное воспоминание о прелести, нежном прикосновении, о распахнутых, удивленных глазах.

Словно предчувствие этой окончательной, невозвратимой потери породило в нем всплеск лихорадочной, небывалой прежде энергии. Было несколько дней, когда у него сдвинулась с места работа над безнадежно застрявшей книгой «Времена жизни». Это было похоже на отчаянную попытку задержать, спасти от небытия мгновения оживавшего в памяти счастья. Мальчик в постели ворочался, опять не мог заснуть, наконец, звал встревоженно. Что тебе? — подбегал к нему. Поправить скомканное одеяло, принести еще раз чаю? «Па, — говорил он, — а почему не делают спичек с красными головками?» Вот что не давало ему заснуть (из-под одеяла дохнуло накопленным нежным теплом), вот что занимало его ум, который должен был всему найти самостоятельное объяснение. Электричество течет, потому что оно жидкое, это он успел открыть сам. Но вот божья коровка сидит на крапиве — как

ее не жалит? Уверенность, что все можно понять, всему можно научиться. Только вот со свистом не получалось никак. Емулишь казалось, что он уже умеет: вытягивал трубочкой губы и тоненько пищал, милый. Пришлось объяснять ему, что это еще не свист. Мягкий ежик, пригревшийся подмышкой, смотрел на обоих бусинками добрых глаз. Ляпа звали этого ежика, с ним можно было говорить, гуляя по своей, для других недоступной, непонятной стране...

Боже, сколько, оказывается, успело накопиться, залечь на дне, одного тона с ним, не сразу разглядишь, и вот проявлялось, всплывало, наполняясь мучительным соком! Какими неисчерпаемыми оказывались всего лишь минуты отхода ко сну! (Стряхнуть с теплой простыни сухие хлебные крошки, еще раз ощутить их ладонью). Мальчик долго не хотел засыпать один — надо было напомнить ему историю очередного совместного приключения. Без появления вездесущих хитрых врагов тоже нельзя было обойтись — «но я, конечно, не растерялся», — спешил вставить Павлик, чтобы ты не медлил, не стал растягивать добавочных пугающих испытаний. Конечно же, общими усилиями вы всех побеждали, связывали, оставалось только придумать им наказание, хотя разбойники всякий раз просили простить, обещали клятвенно, что больше не будут. Нет, этот милый человечек прощать отказывался, требовал скорей, сейчас же бросить их в ближайшую реку, хотя у тебя уже наготове были продолжения куда интереснее, сына ждали превосходные новые подвиги. Никогда истории не сочинялись так вдохновенно, сами собой, без черновиков — жаль, оставил их незаписанными. Но это в кино зрителей полагалось потомить достаточно долго, чтобы заполнить событиями время оплаченного сеанса. Мальчику пора было засыпать, надежно себя обезопасив. А сколько-то страниц спустя (на них «Времена жизни» забуковали) он сам научился демонстрировать отцу, как можно лихо шелкать жутких, чудовищного вида врагов,

нажимая клавишу компьютерной мышки, бестрепетно, разве что с азартом — и с досадой, если не нашел решения сразу. Бояться тут уже было нечего, и он успел вырасти, и страхи были надежно отгорожены от него плоскостью электронного дисплея, и карты восхитительных путешествий незачем было рисовать самому цветными фломастерами — вводи на выбор любую, уже приготовленную другими. Окно в комнате нового жилья было затенено шторой для удобства работы, глазеть на улицу было незачем, ничего более интересного там не увидишь...

Я тоскую не о сыне, с отчетливым испугом догадался однажды Зимин. Его нет сейчас рядом со мной — но того, с распахнутыми глазами, со способностью ощутить себя автомобилем, который не пьет — заправляется бензином — того нет нигде. И этой фотографии уже ничто не отменит. Только новая, еще более чужеюшая. Конечно, каждому надо заранее готовиться, что в гости придут когда-нибудь бородатые сыновья, грудастые дочери, и не сумеешь сказать, кем теперь стал для них ты. Тебя прежнего тоже нет. Только умственная условность (и привычная готовность не удивляться этой условности) позволяет считать человека тем же самым, когда в нем успевают измениться все клетки, отшелушиться вместе с перхотью, нарасти ногти вместо обстриженных, новые волосы вместо выпавших. Ты хотел бы, чтоб сын оставался в состоянии, которое взрослому кажется гениальным? А он над твоим умилением усмехнется, как над глупостью (усмешка, наверно, такая же, как у Алины). Потому что повзрослел основательней, чем ты. Стал более отдельным, чем ты — вышел из-под изжившей себя опеки...

Подлинный удар обрушился с неожиданной стороны — вместе с корректурой книги, шестнадцать лет дожидавшейся публикации. Он вчитывался, с трудом проникая в смысл написанного им же самим, не узнавая, не понимая обычных слов. Это было похоже на психологический сбой, на симптом не вполне понятной болезни. Свидание в студен-

ческом общежитии, на двери одной из комнат привинчена маленькая эмалированная табличка «Не высовываться» с выскобленной первой буквой «ы» — приходилось напоминать себе, что ты сам видел эту комнату и эту табличку... — но почему это должно было казаться герою забавным?.. нынешним читателям надо было, наверное, объяснить, дать, что ли, сноску: такие таблички привинчивались когда-то в трамваях под каждым окошком... Он понимал, он мог напомнить себе, какую женщину описывали эти слова, какие должны были выразить чувства, но сейчас из них ничего не возникало, все рассыпалось — не восстановить. Как будто невозможно оказывалось вернуться в пережитое однажды, уже заранее зная будущее. Да, именно оно, это знание, чудовищно разрушало непрочную иллюзорную ткань, лишало жизнь единства. Слова состояли из букв, чужие, они теперь ничего ни для кого не могли значить...

Вот что она сделала с общими воспоминаниями, вдруг ясно подумал он. Не забрала их с собой — просто оборвала соединение, отключила живой ток, который превращал все в осмысленное целое. Свалка никому ненужных обломков.

А если бы представить, что Алина (не дай Бог) просто вдруг умерла, подумал он тут же, что ты остался бы без нее не по ее желанию, а по воле слепой судьбы — что бы изменилось? О, то-то и оно, тогда было бы совсем другое: все осталось бы с тобой. Осталась бы способность что-то еще сохранить, запечатлеть. Способность что-то чувствовать, вспоминать...

После развода ему пришлось многое выбросить на помойку. Алина взяла с собой лишь немногие вещи, все старье, мебель, книги оставила Зимину. В одном из ящиков завалились три пачки его писем к ней, перевязанные бечевкой. Даже развязать их оказалось невыносимо, вид собственного прежнего почерка вызывал какую-то болезненную брезгливость. Поколебавшись, Зимин их все-таки

оставил, но с тех пор больше до них не дотрагивался. Что-то похожее у него произошло с книгами. Разместить их все в однокомнатной квартире, и то оказалось проблемой. Сколько накупил когда-то впрок, радовался каждому приобретению, предвкушал, как будет смаковать когда-нибудь, высвободив время. Вдруг обнаружилось, что он утратил не просто желание — вообще способность что-либо читать. Не тянуло поднять руку, снять книгу с полки, раскрыть. А если раскрывал — не удавалось читать больше минуты-другой. В его ли состоянии было дело, в книгах ли?..

(«Жизнь после жизни», — пришли ему однажды на ум слова. Казалось, он их где-то прочел — привиделись на корешке какой-то из книг. Может, во сне?)

Он снова взял со стола письмо Бурлака. Стоило, право отдать должное этому кудлатому говоруну. В свое время его, пожалуй, недооценил. Впрочем, это самое время просто делает с каждым свое дело. Разнесло — а оказались в результате один от другого не так далеко, как хотела бы утверждать география. Он что-то понял раньше тебя. Признал. У тебя до сих пор все еще не хватает честности. Да, есть писания мертворожденные, никогда полноценно не жившие — но отличишь ли их со временем от устаревших, уже выдыхающихся, отмирающих? Выцветают, блекнут, прокисают злободневные страсти, житейские истории, уходящие в прошлое события. Много ли остается? Остается ли от жизни что-нибудь вообще, кроме гербария, коллекции, засушенных, запечатленных свидетельств? Щелкнул затвор, мгновение схвачено, очень удачно, точь в точь как было, даже пыльца на крыльях бабочки не повреждена, лепестки, листья не утратили цвет. О воспоминаниях жалеть нечего, они такими точными не бывают. Удержишь только то, что в альбоме. Что еще? Книги, труды жизни? Ну, перестань себя, наконец, обманывать. Хочешь или не хочешь, все когда-нибудь придется признать. Только в возрасте, когда спохватываться уже поздно — ничего не изменишь.

Вот в чем было, наверно, подлинное разочарование Алины, вернулся Зимин все к тому же. Она, может, не говорила этого прямо только из жалости, Но и без слов нетрудно было уловить.

Перед глазами опять возникла ее усмешка. Ты даже не сознаешь, как безнадежно, как убого отстал, говорила она. Каким неинтересным стало для других главное, что придавало тебе цену. Это называется жизненным поражением, не так ли?..

•Хуже могло быть только обвинение в импотенции. Ну, по этой-то части как раз было пока в порядке. Плоть — радуйся этому или наоборот — о себе продолжала напоминать. И нельзя было ее не ублажать, не удовлетворять настойчивых требований. Как будто всего лишь часть твоего же тела вела себя, как хозяин, навязывала, направляла мысли. Скулила: да много ли мне надо? Попробуй не уступи — замучает.

5

За это время успело возникнуть несколько разрозненных эпизодов, ни один нельзя было даже назвать романом. Имена, и те потом вспоминались не без усилия. Лишь в последние года три образовалось нечто вроде постоянной связи. Случилось заглянуть однажды в ближнюю районную библиотеку, хотел взять на дом журналы. Они оказались только в читальном зале, выносить книги оттуда правилами не позволялось. Решил все-таки подступиться с разговором к библиотекарше, приготовился пустить в ход все свое обаяние, которое, увы, не мог считать сильной своей стороной. Та не просто легко согласилась — расслабилась улыбкой. Щербинка между верхними резцами, круглое лицо, гладкая, с прямым пробором, прическа. Лет тридцати пяти. Щеки покрылись румянцем. До него уже потом дошло: она знала его имя, читала в одном из

журналов. Когда он пришел через два дня возвращать взятое, нашлось, о чем поговорить. Читальный зал был пуст, они вышли после работы вместе. Зимин увидел, что у нее тяжелая сумка, перехватил. В сумке была пишущая машинка, полновесная «Оптима». Знакомая старушка одалживала ее для работы, вернула за ненадобностью. Машинка давала когда-то заработок и самой Нине, теперь все обзаводились компьютерами, редакции предпочитали дискеты и распечатки. Авторы же прогресс лишил первых, нередко надолго единственных, заинтересованных, благодарных читательниц. Тоже оказалась общая тема. Он помог донести сумку до дома, не отказался от приглашения зайти. Приглашение было вполне бесхитростным, словно нечаянным, она, пожалуй, просто не ожидала, что он согласится. Чувствовалось, как польщена честью.

Ну, дальнейшее получилось уже как-то само собой, по привычной, почти вынужденной инерции. Сработало не столько желание, сколько сознание: пора уже было, надо, слишком долго оставался без бабы, и вот подворачивался случай, почему не сейчас?.. Как-то оказалось даже слишком просто. Не понадобилось преодолевать ритуального, инстинктивного, поощряющего женского кокетства. Попытку обнять, перешедшую потом в расстегивание неудобных пуговиц сзади она приняла покорно, без сопротивления, только вначале дрожала, как от озноба. «Если вы считаете, что так надо», — говорило все ее поведение. За первоначальную, увы, неудачу стыдиться тоже особенно не пришлось — она отнесла ее за свой счет, понадобилось утешать ее. Было время оправиться, подступиться снова. Так потом и пошло.

Что было тут хорошо — удобство и спокойствие постоянного. Сознание, что к ней можно придти, когда понадобится. Встречались только тут, на ее территории. Недалеко от собственного жилья и в то же время на расстоянии безопасном — не наткнешься на знакомых соседей. Она ему даже никогда не звонила по телефону, он ей

номера не сказал, и она не спрашивала. (Потом уже сообщил, что в библиотечном формуляре все данные были).

В маленькой комнате ее всегда почему-то держался запах непросохшей влажной уборки, с кухни добавлялся иногда запах теплого теста, пресного, даже когда пеклась сдоба. Она любила угостить его непокупным. Попивали вечерами чаек — ничего покрепче при ней не стоило себе позволять. То есть она бы стерпела, но это лучше уж было делать дома. На подоконнике в горшке хилое болезненное растение, занавеси на окнах в мелкий цветочек. Пишущая машинка громоздилась на старинном комодe — ископаемое на ископаемом. Как и мои страницы, отстуканные на такой машинке, подумал однажды Зимин. В каком-то смысле нашел пару подстать. Он, право же, отходил душой в этом однокомнатном укромном жилище.

У нее самой дома книг было мало, но она ведь могла брать на службе. Первоначальная возможность разговоров о литературе оказалась, однако, обманчивой. Читательница она, конечно, была из усердных и у него читала все, что могла. Хотя однажды честно призналась, что кое-что кажется ей слишком сложным. Уважения к нему это лишь прибавляло, она и в разговоре не сразу даже сумела перейти на «ты», сбивалась то и дело.

Увы, Зимину это лишь давало повод усомниться, правильно ли он понимал себя сам. Как-то он принес ей почитать страницы из книги, над которой тогда со скрипом работал; потом об этом жалел. Она при чтении вдруг расплакалась, он этого не ожидал. Тронул ее, оказывается, эпизод, который он считал скорей забавным: герой-рассказчик оказывается свидетелем рекордно быстрой помолвки. Предприимчивый водитель такси подсаживает к нему по пути еще двух пассажиров, сначала мужчину, потом женщину. Мужчина оказался из разговорчивых, стал тут же рассказывать, что едет по обменным делам, после развода приходится искать квартиру, да и жену бы надо найти. Мне ведь какую надо? — продолжал он, когда ря-

дом с ним на заднем сиденье оказалась еще и попутчица. Чтобы хозяйство вела, готовила. Не из нынешних, которым лишь бы кино да танцульки. И женщина вдруг откликнулась: а зачем вам искать? Я тоже ищу мужчину солидного. Работаю в швейном ателье, у меня квартира двухкомнатная. Тут же оживились, стали записывать адреса, телефоны друг друга. Куплю завтра же бутылочку коньяка, приду, говорит мужчина. Да зачем, говорит, коньяк, так приходите. И водитель, развеселясь, уже предлагает себя в свидетели, когда будут расписываться, и оба приглашают его с готовностью, а заодно и рассказчика — ничуть не сомневаясь, что все уже решено. Минут за пятнадцать совершилось, не больше, и не мимо-летное молодое соприкосновение — всерьез. Рассказчик лишь завистливо посмеивается над простотой, ему самому недоступной.

Нина иронии не заметила совершенно.

— Здесь такая доброта, все так трогательно, — объяснила она, вытирая глаза и сморкаясь. — Вы так умеете несколькими штрихами... как Чехов говорил. Когда этот мужчина сказал про коньяк и сам смутился. И она такая понятная, милая. И этот бедный человек на переднем сиденье: как он чувствует, не оборачиваясь, дыхание тепла за спиной, и угадывает прикосновение рук, сначала нечаянное. Это ведь судьба, да? Как бывает у людей, у нас у всех. Вы... ты так умеешь понимать, выразить. Я с первой встречи почувствовала... и еще до нее. Это так близко...

Вот тебе и на, оторопел на мгновение Зимин. У нас, то есть, так же? Ну, допустим, хронометраж другой, не так быстро... и она меня раньше читала. Но я-то имел в виду совсем другое... как же ей объяснить, что? Иные книги читать — все равно что послушаться историй, посидев с соседками на скамье перед подъездом — ей, что ли, нравилось у меня именно это?.. Он назвал имя-другое популярных писательниц — она откликнулась с восхищением. Не только, значит, им восхищалась, этими, наверное,

даже больше. Но это же невысокий уровень, иногда просто пошлость, неужели ты не чувствуешь? — не удержался он. Зачем было так говорить? Она плакала, он стыдил себя. Не хватало еще ревновать к более удачливым литературным соперникам.

Эпизод он потом вычеркнул — почему-то сам на себя разозлился. И новых страниц больше ей не показывал. Отчасти потому, что она могла бы там кое-что узнать. Пресный запах, волосы гладкие, как будто намазанные постным маслом. Не объясняться же, по какому праву берешь, у кого случилось, без спроса. Свое тоже выкладываешь на обозрение, даже больше, чем хотел бы. Пусть не всегда прямо, через литературных посредников...

Поводов упрекать себя за беспричинную раздраженность хватало. Как-то он с ненужной резкостью оборвал ее попытку расспросить о сыне. Как будто не хотелось чьего-то еще прикосновения к этой теме?.. До него, тугодума, не сразу дошло, почему она совсем не заботилась предохраняться. Надеялась, наверное, забеременеть. Хотя ведь и тогда все равно ни на что бы не стала претендовать, нет. Поняв, что, видно, уже не сможет, сникла. (Винить, как всегда, могла только себя, у него ведь сын получился). Само же это занятие ее не особенно интересовало, о наслаждении тут не было речи. Она просто не отказывала.

Никогда еще эта область человеческих отношений не представлялась Зимину такой жалкой и грустной. Необходимая процедура, не более. От других отличная больше всего тем, что для нее нужен другой человек, вокруг этого и возникало то, что прежде казалось жизнью. Когда способность пропадает раньше желания, тоже не радость. Но если способность продолжает как будто насиловать без желания? Когда женская нагота вызывает не больше чувств, чем вид волос подмышкой? Когда правдивей прочих слов звучат термины медицинские? Когда нужно бывает закрывать глаза, чтобы вызвать что-то вроде умственного воспоминания: как это было когда-то? — осознавая с не-

вольным раздражением, что это Алина продолжала сохранять над ним власть. Было вот так, вот так сделай — и женщина поворачивалась покорно. Что еще оставалось от воспоминаний? Танцы под притушенный свет, обжимание у вешалки, поиск не занятой другими комнаты, гостиничное знакомство, разбросанная на полу одежда. Молодая накладка на рыхлом белом плече старухи...

Не в библиотекарше было дело, неприязнь возникала к себе самому. Менялся, видно, не в лучшую сторону. Сумел стать по-своему практичным. Устроился недорого и удобно. И не должен даже имитировать чувства, подыскивать слова. Все прошлые слова начинали отдавать фальшью.

Затяжные неудачи в работе делали его тем более неприятным. Раздражение могла вызвать любая мелочь, вроде этого дурацкого цветка. Цветок ей оставила соседка, уходя надолго в больницу, попросила за ним ухаживать. Так и не вернулась. Растение было хилым, болезненным, названия его Нина не знала, как не знают породы дворняжки или подобранной кошки. Подобрала — и ухаживает. Несколько раз она порывалась показать Зимину, какой проглянул новый отросток, как цветок оживает. Он отмахивался равнодушно. А когда она стала жаловаться, что несколько листьев почему-то вдруг почернели, неужели это болезнь? — он глупо сорвался, наговорил ей, чего вовсе не следовало. Она снова удаляла платочком влагу из глаз, потом, со звуком, из носа. Так он и оставил ее плачущей.

Сам тогда не знал, что уходит на сей раз надолго. Понадобилось уехать, чтоб прояснить для самого себя финал работы, лишь показавшейся завершенной. Попытка поднять непосильный литературный вес обернулась срывом нервным. Два поражения подряд — это и впрямь оказалось немного слишком. Некоторое время пришлось провести, увы, в медицинском учреждении. Нине он месяца два не звонил, в больницу она его навестить не пришла — просто потому, что ни о чем не знала. Раз он сам не сказал.

Раз уж так сам приучил. Надо было это ценить. Он и пришел к ней с желанием о многом поговорить, даже заранее настроился похвалить цветок, справиться о его здоровье. Она приняла его, как всегда, ни о чем не стала расспрашивать, пошла сразу хлопотать у газовой плиты, ставить чайник.

Лишь тогда он поискал глазами цветок. На подоконнике его не было. Вместо него там лежала книжка, он подошел посмотреть. «Община духовного единения» значилось на обложке. Оценить содержание он не успел, Нина вернулась с кухни.

— А где твой прекрасный цветок? — спросил он, вовсе не подразумевая насмешку.

— Его нет, — потупилась она. И добавила, снова подняв взгляд: — Он умер.

— А ты что, стала ходить в церковь? — показал он книгу. Она мягко забрала ее из его рук.

— Это не церковь. Это община.

Прежний насмешливый тон на нее не действовал. Община ее наделила новой силой, новой уверенностью. Это не суеверие, это настоящее, — убежденно, не отводя взгляда, говорила она. Руководила общиной Мать, женщина с высшим техническим образованием. Она умела объяснить, показать истину простыми словами. Как на особого рода картинках, которых раньше, без современной техники сделать было нельзя.

— Смотришь на них — цветные пятна, неразбериха. Раньше, чтобы увидеть объемное изображение, нужны были специальные бинокляры или очки со стеклами разного цвета. А тут надо просто настроить взгляд, и увидишь совсем неожиданно ясные, объемные фигуры. Это всего лишь пример, но так нужно учиться смотреть на жизнь, вот чему у нас учат...

А он увидел склеротические прожилки на щеках. Сквозь волосы просвечивает кожа. Щербинка не просто между передними резцами — все зубы стали реже.

— Не обижайся, я показала Матери твою книгу, она про нее спросила. Что напечатано, ведь можно показывать без разрешения. И знаешь, что она сказала? Что ты пишешь, не понимая своего одиночества. Это ограничивает способность воспринимать самые тонкие колебания. Как обособленный элемент, если он не в общем устройстве, может воспринимать только самые грубые, самые простые сигналы, но не скрытую музыку, так и ты. Может, я не так точно объясняю, ты бы послушал ее. Услышать по-настоящему можно, если только соединиться с другими, у нас этому учат. Мы ведь сами не умеем понять, отчего бывает это чувство покинутости. Я иногда тоже это чувствовала, только не могла выразить. Пришел бы, побыл среди других, таких же. Как это хорошо! Увидишь. Одному настроить душу, чтобы могла воспринимать, трудно. Есть целое учение, система. Это можно только со всеми...

6

Не слово его тогда зацепило, а то, как произнесла его эта новообращенная дура, и повторила потом еще раз. Так говорят вдруг познавшие истину с атеистами и беспартийными. Чуть ли не жалостливо: до тебя просто еще не дошло, раз ты не с нами. И говорила ведь, понимая, что он больше к ней не придет, сама, заранее это решила. Ей это, видно, стало уже не нужно. Она теперь может говорить об одиночестве снисходительно, с новой высоты, как взрослая. В тусовке ей все про это стало понятно. И отвечать ей всерьез бесполезно, бессмысленно. Он потом вдогонку, мысленно, кое-что пробовал ей сказать — оказалось, разобраться с некоторыми вещами самому было не так просто, как представлялось.

На листке, помнится, само собой стало однажды выстраиваться что-то вроде пунктира. (Привычный способ размышлять с пером в руке, рассеянный процесс — так

механически рисуют рожицы на полях еще не начатой рукописи). Одиночество как заголовок. Одиночество мужчины и женщины... ну, это на самой поверхности, задерживаться не стоит, сразу увязнешь. Одиночество порознь, одиночество в общей постели. Одиночество возрастное. Ребенок пугается, когда его оставляют на полчаса одного, дети тоскуют, непонятые, среди взрослых, хочется объяснить молодым, как правильно, как нормально все было когда-то. Одиночество в одиночке и одиночество в толпе. (Похоже на цитату — откуда? Все можно заранее считать цитатой). Одиночество в чужой стране, среди чужой нации. Одиночество нежеланное, вынужденное, разрушительное и одиночество сознательное, когда принимаешь судьбу отщепенца, не захотевшего совпадать с другими. Одиночество художника... ну, опять же само собой разумеется. Опередил ли бедняга свое время, отстал ли, растерял, пережил былых почитателей. Тут же, конечно, мечта о башне из подходящего материала. Одиночество на вершине, как красиво выразился один. Высокомерие одиночества. Соблазн одиночества. Ну, и так далее...

Зимин довел пунктир до строки об одиночестве столпников и вовремя на этом остановился. Не только потому, что представить себе столь крайнюю обособленность он был готов еще меньше, чем размышлять об одиночестве отшельническом. Помешала (или уберегла) невольная добросовестность.

Связной работой заняться тогда он был просто не в состоянии, опустевшее время занимал чтением. Не то чтобы с осознанным намерением покопаться, поискать нужное. Раскрывал иногда книгу просто так, начинал листать — то же слово само вдруг лезло на глаза, предупредительно даже выделенное курсивом.

«Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, — читал он, — но и в самых многочисленных городах... *Последнее слово философии — одиночество*». Последнее слово — не более, не менее. Лев Шестов, беспо-

койный, вьедливый возмутитель умов, пришел однажды к этому, как к озарению.

Можно было себе представить, как, записав свое озарение в тетрадку, он отправлялся делать на животрепещущую тему доклад в какое-нибудь тогдашнее философское общество. Чтобы обсудить, скрестить, если надо, копыя, с близкими по духу, но воинственными оппонентами. Скажем, с Бердяевым. И обнаруживал (наверно, не без досады), что спор-то всерьез невозможен. «Тема одиночества — основная», — эту арию, надо же, почти в унисон, готов был тут же пропеть сам Бердяев.

Зимин иной раз с усмешкой покачивал головой, пополняя для себя коллекцию выписок. Известное дело: стоит настроиться на определенную мысль, начинаешь обнаруживать нужное то тут, то там. Так можно идти по лесу, не замечая под ногами грибов, но едва сосредоточишь на них взгляд, они появляются сами, точно лезут из земли один за другим, предлагают себя. И не ищешь, а корзина, глядишь, наполняется, как наполнялась специально заведенная для цитат папка.

Сейчас он снова сидел, перебирая в этой папке листки. Занятно было проследживать: каждый словно впервые осознавал именно свое, личное одиночество — как нечто особенное, требующее объяснения — мало заботясь о том, сколько на эту тему уже наговорено другими. Тяготило противоречие не с другими — внутри самого себя.

«Я наиболее чувствовал свое одиночество именно в обществе, в общении с людьми», — записывал тот же Бердяев, возвратясь, допустим, с того самого философского собрания к себе в кабинет. — «Это одиночество мне очень мучительно, — продолжал он искать разрешение. — Иногда же одиночество радовало, как возвращение из чужого мира в свой родной мир»...

Зимину вдруг вспомнился тот зануда с цитатой. Тоже, наверно, не прочь был поговорить, познакомиться. И тоже, кажется, не чужой. Не получилось. Который раз

срабатывает невольный автоматизм. Кладешь телефонную трубку, не удовлетворенный, досадуешь на себя. И договариваешь потом вдогонку — уже сам с собой. А если еще захочется позвонить друг другу одновременно — у каждого окажется занято. Все время занято. Его ты вряд ли еще услышишь. Разве что прочтешь. Вроде бы могли пройти по одной дорожке, оказаться у той же двери. Нет, уединяется каждый на свой шесток.

Как-то, помнится, возникла попутная идея: поразмышлять о невстречах писателей. Меньше всего друг к другу тянуло, кажется, сравнимых по уровню. Достоевский с Толстым жили рядом — за долгие годы ухитрились ни разу не встретиться. И нетрудно, пожалуй, понять, почему. Это у нас сослуживцы по литературному цеху заселяли когда-то целые дома, целые кварталы, дачные поселки, общались друг с другом по соседству, семьями, в домах творчества, на собраниях отчетных, перевыборных, кооперативных... Ну, в эту сторону Зимину заглядывать не захотелось, эта область была ему незнакома.

Зато поневоле тут же вспоминалось другое: сожителство коммунальных квартир, где кухонный и семейный быт выставлен нараспашку. Совокупления без возможности уединиться. Быт армейский и лагерный, где интимные отправления совершаются под надзором, прилюдно... О, достаточно о таком подумать, чтобы одиночество сразу представилось чем-то поистине желанным, наиболее, если угодно, естественным для человеческого существа. Это муравьи, говорят, в одиночестве не выживают, не приспособлены биологически. Человеку одиночества может еще как не хватать! Нормальное, плодотворное состояние, необходимый период, фаза в переменчивой жизни. Для существ, по природе отдельных, слияние с другими можно считать лишь временным, относительным, иллюзорным; рано или поздно мы в этом убеждаемся. Чем нас становится больше, тем тягостней соприкасаться локтями, плечами в отгороженных поневоле местах. И

наоборот, одиночество начинает тяготить, когда уже не можешь выносить сам себя. Самые невыносимые люди — не способные оставаться наедине с собой. От себя больше всего хочется спрятаться. Единица — кому она нужна? (Учили такие стихи в школе). Хочется понятной, простой, загруженной жизни, которая отвлечет, не оставит времени, чтобы затосковать, испугаться...

Как это он мне продиктовал? — Зимин еще раз заглянул в листок, оставленный наверху. «Общение означает утрату человека перед лицом самого себя». Вот, вот. Вариация на ту же тему. Кое-кто высказывался и покруче... где это у меня? Вот: «Мы дружим из трусости». Самюэль Беккет. Соглашайся, не соглашайся — тут мироощущение, органичное именно для этого человека, подтвержденное, обеспеченное конкретной жизнью. Нобелевский лауреат, который перед смертью переселился в убогое жилье, до конца уподобляясь своим героям, взаправду им родственный. Это не теоретизирование специалистов.

«Склонность к одиночеству детерминирована биологически, она связана с интровертностью, со способностью к смущению»... Стоило ли выписывать такое? В свое время у нас была недоступна просветительская литература по сексу. Лишь потом запоздало познакомился, выяснил, как все называлось. Не там искал слова для своего, единственного, чудесного. И что? Велико ли приобретение? Благо, что общие места никому в отдельности все-таки не подходят. Одиночество для всех значит слишком разное. Как любовь. Как свобода. Приходится только употреблять общее слово, в этом, может, источник ошибок. Французское *solitaire* перешло в разные языки, оно переводится как одинокий, уединенный, единственный, у кого-то еще: отшельник. На тех же языках, включая наш, русский, солитер — крупный бриллиант, вставленный в украшение отдельно, без других камней. Не угодно ли пофилософствовать? Но тот же солитер — это почему-то и разновидность глистов, ленточный червь.

Н-да... Пробируешь задуматься об очевидном, начинаешь разбирать по косточкам, углубляться, докапываться — лишь рассыпная куча разрастается вокруг ямы, собирай заново.

«Одиночество как положение исправлению доступно, но как состояние это — болезнь неизлечимая», — вытаскивал наугад бумажку Зимин. Чем хороши бывают писатели — не претендуют на общие объяснения. Набокову не возражишь. Просится на эпитафию к какому-нибудь сюжету. Он сам в этих делах знал толк, других на свою обособленную вершину не допускал, на ней проще было себя ощущать единственным. Дело за сюжетом. Вздувается новый, неповторимый пузырь, интересный особыми чертами, временной, частной историей, в городском жилье, в горах, где хорошо ловятся бабочки... ну, это у кого что...

«Одиночество есть человек в квадрате». Вот и все. Бродского тем более не оспоришь, даже не прокомментируешь. Вокруг поэтической строки не выстроишь объясняющих конструкций — исчезнет то ли смысл, то ли звук. Можно только затеять танец под что-то, померещившееся, как музыка. Как надежда выразить не мысль о чем-то — мысль чем-то. Может быть тем, что в конце концов и окажется жизнью. Не так уж много, но все-таки. Для этого тоже надо еще постараться. И стараешься, пропускаешь жизнь через себя, пробуешь в ней что-то понять, переработать ее вещество в вещество бумажное — считай это своим способом в ней держаться. Может, и другим пригодиться. Беда, если честность не позволяет самому себе подыграть, обойтись промежуточным, поверхностным, свести покрасивей концы с концами. Если чего и побоишься, так это смутить своей незавершенностью других — захочется напоследок уничтожить написанное, как попробовал это сделать Кафка.

Странно, почему не сразу пришло в голову задержаться на этом имени. Было время, когда Зими́на потянуло перечитать Кафку — оказалось, он читал его опять впервые. И ведь не раз, помнится, проскальзывал глазами по этим строкам — однажды вдруг словно споткнулся.

«Значит ты знаешь свою цель?» — спрашивали кого-то. «Я же сказал: подальше отсюда — вот моя цель». Господи, это ведь было буквально, почти буквально то, над чем он думал тогда сам, но не мог выразить. Поверхность оказывалась видимостью, в понимание проваливался, барахтался, не находя дна, лишь с чувством: вот же оно, сей-час поймешь до конца...

Это было время, когда показалось возможным поставить точку в той самой работе, неосторожно, словно в насмешку названной «Приближение». И тут же пришлось отправиться вдогонку написанному — надо было что-то уточнить, перепроверить, разобраться с явным недоразумением — только добраться до уже известного места: ночью, в вагоне, на верхней полке, пропуская сквозь дремоту бессвязные, пьяные речи попугачиков, они толковали, кажется, о войне — какой? сколько их теперь! — не успеваешь понять, надо еще немного доехать, доплыть на катере, потом блуждать по бесконечным лабиринтам пустого, непонятного здания, и за каждым поворотом открывалось всегда не то, что уже был готов ожидать, как время спустя на обычной городской улице, когда было достаточно свернуть в переулок, чтобы оказаться в выгоревшем квартале, где кто-то кого-то преследовал, а попутно прихватывал тебя — и еще дальше, еще, совсем уж на грань безумия, не зная, что с тобой будет через минуту. Путешествие, где по мере приближения цель становится все менее достижимой.

Как было тогда не вспоминать про Кафку! Вот у кого хватало беспощадности к себе, чтобы различить за конст-

рукциями условной реальности бездны, в которые заглянуть-то боязно, и не надо. Надеешься вначале не более чем на литературное приключение, а оно оборачивается потрясением жизненным. Переводишь дух, озираешься. Приблизился ли к чему? Ну, считай, все же приблизился, даже можешь заранее догадаться, к чему. Доберешься до конца рано ли, поздно ли. Как все прочие. Чего еще ожидал, на что надеялся? Привычные отношения распались, рассыпались — естественный процесс. Износились, трачены временем, как молью. Стоишь один. Понимать вроде стал больше, зато непонятого лишь прибавилось. Слова звучат по-прежнему, но смысл-то их, что они значат — можешь, наконец, объяснить?

Вот и теперь давно бы стоило задержаться на Кафке, разве можно его обойти? Классик, можно сказать, темы. Пиши диссертацию. Да их, наверно, уже нагромождена куча. Какого ни возьми персонажа — все мучаются неспособностью, невозможностью ощутить себя своими среди прочих, установить настоящий контакт с другими. И возможен ли образ более предельного одиночества: насекомое, вызывающее брезгливость у родственников и прислуги? Отдаешь должное еще и готовности увидеть себя самого с таким поистине беспощадным юмором.

Но вот среди выписок на эту тему Кафки почему-то не оказалось совсем, Зимин только сейчас это заметил. Может быть, потому, что прямых высказываний об одиночестве в его прозе вспомнить просто не мог. Пропустил, если были. Они оседали скорей в томе, где были собраны его дневники и письма. Их он когда-то не столько читал, сколько листал без особой охоты. Углубляться в личные обстоятельства этой болезненной, труднопонятной, не особенно близкой жизни как-то не возникало желания. Потому ли, что не тянуло заглядывать в чужие письма и дневники, словно в замочную скважину? Нет, к этому нас как раз давно приучили. Расходятся по миру самые интимные письма, опубликованные без ведома и согласия

авторов — хорошо если после их смерти. Смаковать сплетни, семейные дрязги, амурные приключения — самое милое дело. Но эти! После недолгих попыток чтение почему-то выталкивало...

Зимин снял том с полки, раскрыл. Захотелось припомнить, проверить давнее ощущение. На полях кое-где остались подчеркивания, он успел про них, как не раз бывало, забыть. И вот — сразу же наткнулся, запись 1921 года:

«Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал крайне редко, в ней я даже более прочно обосновывался, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона!»

Пожалуйста, присоединяй тут же к коллекции, если хочешь. Только что это добавит? Почти неотличимо от того же Шестова или Бердяева. Даже Робинзона упомянул. Хотя русских философов скорей всего не читал. У него было немало друзей, он с ними переписывался, встречался. Обсуждали все на свете, включая личные дела, любовные, брачные перипетии, помогали друг другу, посредничали — чего больше? Но тут же среди дневниковых записей: «Я запрусь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать». Знакомая, в общем, история.

Что понять трудней, так это его болезненные романы с женщинами. Больше эпистолярные, на расстоянии, чем действительные. В жизни он почти без них обходился. Безвыходные, искаженные, ни на что не похожие метания — называть ли их любовными?

Толкователи находили в его письмах к Фелице Бауэр комментарий к роману «Процесс», прямо-таки биографический первоисточник. Так, наверно, оно и было. Переписывались, договорились с этой Фелицей о помолвке, потом помолвка оказалась расторгнута. Процедуру Кафка воспринял как судилище над собой. Преувеличение, ско-

рей всего. Сам был хорош. Нервы этого человека всегда были перенапряжены, можно себе такое представить. Но какой процесс должен был совершиться в его душе, в мозгу, чтобы заурядная житейская история преобразилась в обобщение поистине потрясающее, беспощадное — и прежде всего опять к самому себе, смещающее обыденную логику так, что открывается раньше не очевидное, приходится заново осмысливать мир, собственную обычную жизнь? Многое ли тут объяснят дневники и письма?

Бедняжка Фелица показалась Кафке похожей на горничную с лицом костистым, пустым. Описывается пугающий блеск ее золотых зубов. На любовь с первого взгляда не очень похоже. Но, отделившись на расстояние, он начинает вдруг буквально бомбардировать ее письмами, отправляет иногда по два-три в день. Он добивается любви этой женщины — и делает как будто все, чтобы вызвать у нее неприязнь. Представляет себя в наихудшем свете, живописует свою невероятную худобу, постоянно жалуется на самочувствие. И при этом ему нужен, непременно нужен ответ.

Не менее удивительно, что она откликнулась. Любовь, конечно, дело известное, род болезни, взор затуманен, несомненного уроды можно увидеть в сиянии лучезарном. Тем более если писатель — гений, пусть даже пока непризнанный. Ну, творчеством его эта Фелица не особенно интересовалась, понимала в нем мало, хвалила, к досаде Кафки, разных других, того явно не стоящих. (Даже он, значит, досадовал, надо же). Что же пересиливало реальность? Женщины, говорят, действительно к Кафке тянулись, вряд ли по-настоящему представляя, на что могут рассчитывать. Вспору увидеть за этим, право же, какую-то магию.

А ему-то, ему зачем так нужны были эти письма? Слово в них материализовалась хотя бы на бумаге, подтверждалась возможность настоящих, обыденных, нужных ему человеческих отношений с невыдуманной, реальной женщиной, способной заправду его любить.

«У тебя, Фелица, такая власть надо мной, преврати меня в человека, который способен на самое естественное». Звучит без сомнения искренне. Вот чего ему действительно не хватало. Нормальная, простая, спокойная человеческая жизнь могла бы сделать его более защищенным, избавила бы от многих мучений — но грозила (он знал и это) утратой чего-то другого. Чего-то, что приносило ему больше страданий, чем счастья, но без чего он, по своему внутреннему устройству, не мог бы представить себе жизнь.

«Перечень всего, что говорит «за» и «против» моей женьтибы», — это он записывает в дневнике. «За» сводится к единственному пункту: «Неспособность одному выносить жизнь... Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости». Доводы «против» следуют один за другим: «Я много времени должен быть один. Все, что я сделал, только плод одиночества... Разговоры лишают мои мысли важности, серьезности, истинности... Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один».

Боже мой, боже, да что же это было такое? Ему надо было вопреки всему сохранять свое одиночество, как мучительную свободу. Возможно ли было это соединить, совместить: потребность в человеческих связях и необходимость одиночества, жажду любви и болезненную неспособность к тому, что называется любовью у других? Нерешительность, мучительные метания, чувство постоянной вины перед всеми.

Литература, только литература позволяет тут хоть что-то понять. Нормальному человеку непросто представить, как из этих противоречий, поверх общедоступной логики, рождался, преображаясь, его несравненный мир, как напряженность повседневного самочувствия становилась накалом нечеловеческой творческой энергии. Две ночи спустя после своего первого письма Фелице он на одном дыхании пишет рассказ «Приговор», который всю жизнь особенно ценит. Спустя неделю написан «Кочегар», пер-

вые главы романа «Америка», за два следующих месяца — еще пять глав романа. А в промежутке между этими главами — рассказ «Превращение», и не только он. Наконец, уже после расторжения помолвки — тот самый «Процесс». Лихорадочная работа, невзирая на постоянные, мучительные головные боли, бессонницу, тошноту. Окончательный разрыв с Фелицей еще впереди — вот когда на время он замолкает. Следующий подъем, работа над другим гениальным романом, «Замок», проходит на фоне переписки уже с новой возлюбленной, Миленой Есенской.

«И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, — прорывается в одном из его писем к Милене, — а нечто большее — мое дарованное тобой бытие». Не более не менее. Каково было такое писать женщине? Каково ей читать? Прекратила бы переписку тотчас. То ли женщины были подстать ему, то ли в этом поведении что-то для них было. Слишком просто увидеть в таком признании эгоизм самоудовлетворения. Какое тут удовлетворение! Мучился-то он опять не на шутку: все то же сознание невозможности, чувство вины. Опять и опять — едва ли не главное: «Не будет ли это за счет писания? Только не это, только не это!»

Литература, без нее концы с концами не соединить. Одиночество, требующее связи с миром. Ему была нужна не просто жизненная опора, но словно какая-то постоянная подпитка, источник энергии (называемой иногда, может быть, вдохновением), причем желательно на расстоянии. Одиночество может оказаться бесплодным, мертвящим, это он знал. Чтобы оно стало живым, творческим, нужен, стало быть, кто-то другой. Однако близкое соприкосновение с этим самым источником грозило вызвать, выражаясь тем же языком, помехи.

Снова, и в который раз: «Для моей работы я должен быть от всего отгорожен, даже не как отшельник, этого недостаточно, но как мертвец».

Приходится верить, что тут не преувеличение. Литература для него — это не профессия, даже не часть жизни,

вот в чем дело. Это ее основа, ее условие, ее инструмент и материал. «У меня нет интереса к литературе, — пишет он еще Фелице в 1914 г., — литература — это я сам, это моя плоть и кровь, и быть другим я не могу».

Что-то в жизни, какие-то ее первоосновы могли для него соединиться лишь на глубине, в некоем другом измерении — назвать ли его трансцендентальным, метафизическим? И выходом в это другое измерение были для него именно написанные тексты.

«Тебе не надо выходить из дому, — вот что записал он однажды. — Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачения, она не может иначе»...

Ну-ка, ну-ка.., — неожиданно задержался на афоризме Зимин. Бурлак вроде толковал о чем-то похожем, разве нет? Насчет актинии, которая ждет на своем камне добычи. Новых жизненных впечатлений, да?..

Нет, если бы так просто, сказал он себе, подумав. Сиди и жди. Не более чем образ, который надо еще развернуть. Рассказать бы о том, чего только со мной за это время не произошло. Кафка свои обыденные, житейские перипетии оставлял в дневниках. Но дело не просто в них. Мир почему-то вползал в его комнату, как привидевшийся однажды зеленый, безногий, толстый дракон. Другим такое почему-то не является. Разве если совсем не упьешься. Но тогда и написать ничего не сумеешь. Впрочем, и дракон ничего особенного не объяснит. Визитер просто вид себе подыскал скорей забавный, чтобы сразу не испугать. Смотрит багровыми налитыми глазами, высовывает длинный язык, как набегавшая собака. Ну, чего ты от меня ждешь? Что хочешь узнать? О чем расспросить? Может, не надо? Обходись пока тем, что доступно. Есть такое, чего до поры лучше не знать, догадываешься иногда? Жить дальше не сможешь и другим не расскажешь. Им это и не нужно. Только попробуй, рот заткнут, запрячут, куда подальше,

закидают камнями. Ты для чего, скажут, был к своей службе приставлен? Подыскивать слова, создавать что-нибудь вроде форм, смысла — что удастся. Других это, в общем-то, не особенно колышет, у них нет времени и незачем, им надо делать дела, как у вас говорят, насущные. Ну? Чем ты все время еще не удовлетворен, куда тебя еще потянуло дальше? Заглянуть совсем уж куда не положено? В смелости тебе не откажешь, хотя посмотреть — такой сублильный тихоня. Сидишь, значит, не двигаешься? Ждешь еще вопросиков от меня? Но ведь догадываешься, чего это может стоить? Расслабься немного, хватит. Что все так напрягаться, сосредотачиваться? Как будто это для тебя и называется: жить...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Он уже собирался уходить, завершал у дверей ритуал рассеянного похлопывания по карманам: при себе ли ключи? что-то забыл еще?.. Наконец, вспомнил: надо было захватить сберкнижку, снять по пути деньги. Открыл ящик письменного стола, задержался в задумчивости. Чего-то еще не мог вспомнить...

Погода обещала быть теплой. Помедлив, он снял куртку, переложил нужное в нагрудный карман рубашки. Повертел в пальцах ручку — брать ли ее? Тогда еще какую-нибудь бумагу?..

Он, видимо, недоспал этой ночью — допоздна засиделся над Кафкой. Спросонок померещилась было мысль, она процарапывалась лапками насекомого из белой сморщенной оболочки, пыталась выпростаться — не успела, спряталась, замаскировалась. Может, удастся еще захватить, не спугнуть, записать сразу?..

Телефонный звонок вывел его из задумчивости, заставив от неожиданности вздрогнуть.

— Куда все пропали? — в голосе женщины звучала тревога. — Теперь совсем никого. Я как оглушенная, в ушах пустой воздух. Так тоже нельзя. Что я не так сделала? Не так сказала?

— Какой вы набираете номер? — спросил Зимин мягко, преодолевая порыв раздражения. В разговорах с такими людьми нужно бывает найти правильный тон, а то ведь станет звонить опять и опять, не отделаешься.

— Номер? — переспросила она. — Я ничего не набирала. Никакого номера.

— Но вы второй раз попадаете ко мне. Я вам уже говорил, возможно, в какой-то цифре ошибка.

— Нет, что вы, не думайте, я никаких цифр не трогала.

Меня предупреждали, я помню: если будет нужно, захочешь что-то сказать, спросить, нажми только вот эту кнопку, без цифр, с двумя кружочками. Соединится само, тебе ответят. Других, мне сказали, не нажимай, а то все сойдет. Я помню, я ничего больше не делала.

А, стало составляться в уме Зимина, аппарат с кнопкой памяти. Не старый, как у меня. Достаточно ее нажать — наберется, развернется сама собой последовательность единственно нужных цифр. Уже кем-то для тебя введенная, оставленная.

— Боюсь, вас соединили со мной по ошибке, — сказал он...

Как было объяснить чувство почти сразу возникшего вдруг сожаления? Пробеешь пересказать смысл, сгущенный в поэтической строке — выходит не то... а струна, не задетая, сама собой дрогнула, еще дрожит...

— Кому вы хотели звонить? Я не тот, кто вам нужен.

— Как не тот?

— Вы хоть знаете, с кем говорите? Кто я? Как меня зовут?

— Я должна это сказать?

— Не обязательно, — помедлив, отступил он. — Имя вам мало что скажет. Я тоже не знаю вашего.

— Почему вы так говорите?

— Но вы же мне себя не назвали...

Голос казался молодым, почти детским, доверчивым, но у женщины такой голос мог соединиться с любым возрастом. Одна, неизвестно где. Представились пустые белые стены. Без подробностей. Подробности способны лишь замутить, спугнуть что-то возникавшее, трепетное, недолгое, невозможное...

— Разве надо и вам говорить? Меня столько раз спрашивали. И всегда оказывалось не то.

— Как это не то?

— Мне говорили: скажи настоящее, правильное имя. Ты ведь его знаешь, тебе его столько раз напоминали, даже

написали, чтоб не забывала. Не надо выдумывать, сочинять неизвестно что из головы. Но почему я должна считать настоящим другое? Которое моим быть не может? Правда? Вы меня понимаете?

— А... — снова помедлил он. — Пожалуй. Я это, кажется, могу понять. У меня было что-то похожее.

— Правда?

— Ну, не то чтобы похожее... — (Он удивленно прислушивался сам к себе: что означало это желание продолжать разговор — так пока и неясно, с кем? С кем-то, возникшим в воображении.) — Я, знаете, как познакомился когда-то со своей женой? Случайно угадал ее имя. Заговорил с ней на скамейке в городском сквере. Она читала книгу, я подсел рядом. Обычное дело, но я и в молодости не особенно умел знакомиться. Как это: подойти, заговорить с незнакомкой, навязаться? Но тут просто решил. А я, говорю, знаю, как вас зовут. Не помню, ответила ли она что, посмотрела насмешливо. Ничего не стоило назвать наугад любое, разговор все равно как-нибудь можно было продолжить. Но я, представляете, угадал. Говорю: Аля. Это ее заинтриговало: откуда вы знаете? Оставалось только интриговать, сочинять дальше, было бы вдохновение. Если можно употребить такое слово. Мне самому за этим увиделось что-то неслучайное... Но зачем я это стал рассказывать? — наконец, спохватился Зимин.

— Ой, рассказывайте еще, пожалуйста. Вас так хорошо слушать, только говорите.

— А что дальше? Поженились, обычное дело. Правда, потом выяснилось, что она немного мне подыграла. По паспорту она была Александра. Шурочка, Саша. А подружки почему-то любили ее звать на французский манер, Алин. Но это было другое, мне не нравилось. И она приняла имя, которое дал ей я. Оно было для нас двоих. Пока мы жили вместе. А когда развелись, она вернула себе то, прежнее. Я как-то подумал: может, мы потому и оказались чужими, что были настроены на разные имена? Несовпа-

дение. Какое-то оказалось неправильным. Не знаю, можно ли это объяснить. Глупость, наверно.

— Нет, нет! Не глупость. Пусть нельзя объяснить — и зачем? Вроде бы всего лишь слово, произвольное, но вдруг окажется не то, вдруг не соединится? Лучше не все говорить вслух, правда? Только про себя, в уме. Есть такое, что должно прозвучать само. Только бы узнать.

— Интересно вы рассуждаете. Думаете, так бывает? Что можно о человеке узнать, если не расспросить, если он сам о себе не расскажет? Я не знаю даже, сколько вам лет, как вы выглядите.

— О, этого не надо, этого лучше пока не надо. — В голосе снова тревога. — У меня ведь даже убрали из помещения зеркало. Сказали, лучше пока не смотреть. Может подействовать нежелательно. Все, говорят, в свое время. Понемногу узнаешь, вспомнишь, что надо. А чего не вспомнишь, напомнят, расскажут. Привыкай говорить понемногу с другими, нельзя только с собой. С какими-то воображаемыми голосами... Ведь вы существуете на самом деле, правда? Хотя я вас пока не вижу. Но я могу с вами говорить, знаю, что вы меня слышите. Мне больше ведь ничего не надо...

2

Попутный визит в сбербанк напомнил Зимину о малопривлекательной перспективе: еще немного, и он остается совсем на нулях. С литературных заработков накопало не больше, чем от пролетевшей случайно птички — стоило удивляться, что какие-то книги еще продавались. Последние года четыре он легкомысленно позволял себе отмахиваться от этой неизбежности — жил на плату за аренду бывшей Алининой квартиры. Она, уехав, оказывается, ее не продала; связывала с ней, возможно, какие-то неизвестные будущие планы. Зимину это обстоятельство откры-

лось, лишь когда к нему однажды наведался новый обитатель квартиры. До тех пор у этого человека имелась оказия пересылать договорную плату прямо хозяйке, за океан; теперь какой-то передаточный канал прикрылся, заодно отпала и существенная потребность в этих деньгах. «Что такое для Америки двести долларов в месяц? — приподнимал понимающе брови малорослый толстячок — правую чуть выше, что делало всегдашнюю его улыбку несимметричной, усталой. — Если у нее не хватило ума заломить сразу два раза столько? Здесь это раньше казались деньги.» Зимину предлагалось оставлять теперь эти деньги себе.

Первой реакцией было, конечно, отказаться еще и от этой унижительной милостыни. Не стоило даже продолжать разговор. «Вы напишете ей свой отказ сами?» — поинтересовался визитер. «И этого не собираюсь», — отрезал Зимин. «Тогда вы поощряете меня на обман, — снова поднял тот в несимметричной усмешке бровь. — Я смогу ей сказать, что выполнил поручение, а деньги оставляю себе. Почему нет, если никто их больше не хочет? Сам теперь удивляюсь своей честности. Мог бы вам сразу не называть настоящую сумму, иметь с этого законную маржу. Считайте, что я уже сделал ошибку, раскрылся для вас, теперь еще надо морально переживать? Если хотите иметь с этого психологический сюжет, как писал один мой земляк, вы его уже имеете».

Не столько доводы заставили Зимина уступить, сколько грустноватый добродушный юмор. Это был то ли дальний Алинин родственник, то ли ее знакомый по давним, еще одесским временам, когда они жили не просто в одном доме — одним двором, где отношения между всеми были и впрямь почти семейными, не различишь. Свадьбы, праздники, юбилеи справлялись за общим шумным столом, чей-нибудь гость становился гостем общим, личные проблемы, любовные приключения, семейные драмы ни от кого скрыть было нельзя, и не собирались; важней их самих была возможность совместно все обсудить,

поплакать на чьей-нибудь пышной сочувствующей груди, утешиться. Они, эти драмы, и разрешались совместными усилиями — о, таких отношений сейчас уже нет, а в Москве не было и никогда. Коммунальные квартиры по сравнению с этой жизнью — клоповник, где нравится укусить, нет?..

Деньги он вначале приносил сам, нерегулярно, зато в полноценных американских бумажках, и конечно, ненадолго задерживался для разговора. «Я бы вам мог таких сюжетов нарасказать!» — пояснял он свою осведомленность и, стало быть, интерес к собеседнику. В Москве он обосновался для занятий бизнесом, квартира служила одновременно офисом. В чем заключался бизнес, уточнять он не стал, но рассказал увлекательно и подробно о попытке пробить в высоких инстанциях («очень высоких, не буду вам называть») некий многообещающий проект. Чтобы слегка намекнуть — снабжение вооруженных сил по упрощенной, выгодной схеме. «Не совсем напрямую, это понятно, нельзя сразу продвигать через рот в задний проход, кто-то должен по пути постараться и, конечно, иметь приличный навар, нет? Но эти, которые называют себя посредниками, они же просто присосались, чтоб прогнать поток через себя, больше перехватывать, чем остается. После них все становилось в три раза дороже». Продвижение проекта требовало предварительных вложений, это разумелось само собой. Бровь приподнималась удивленной обычного оттого, что никто даже не держал секретов от других, прямо на пальцах объяснял, сколько надо будет дать в каком кабинете, сколько стоит переместить бумаги из этого кабинета на противоположную сторону коридора, сколько стоит доплата за ускорение. Подпись можно было получить, даже если нужный человек находился сейчас где-нибудь в Аргентине. Все знали таксу друг друга, все были в доле. Такое поголовное соучастие обеспечивало, как ни странно, безопасность каждого, вот что надо было признать замечательным. Попробуй кто за-

ложить другого — в ответ с ним поступили бы так же, но зачем? В политике это называется равновесием страха: у каждого своя водородная бомба. Такая определенность показалась вначале по-своему удобной. Однако даже наличие самой последней (то есть уже первой) подписи вовсе не гарантировало результата, об этом тоже предупреждали заранее. Так оно и получилось. «И я уже сам этого хотел, — приподнимал бровь одессит. — Уже начал догадываться, куда чуть не угодил. Мне так потом и сказали: считай, что тебе повезло. Если бы проект прошел, ты бы уже лежал где-нибудь в хорошем подмосковном болоте и имел в голове лишнюю дырку, зачем?»

Вернувшись в Москву после затянувшегося сверх ожиданий отсутствия, Зимин обнаружил, что деньги продолжали поступать на его счет в банке. Правда, теперь в рублях, но так было и договорено еще раньше. Большую часть пришлось тут же потратить, оказавшись в больнице. А уже после больницы он обнаружил однажды, что поступления прекратились. На телефонные звонки никто в бывшей Алининой квартире не отвечал. Выждав еще некоторое время, Зимин решил туда все-таки навестись сам. Надежно бронированная дверь оказалась заперта. По словам одного из соседей можно было понять, что симпатичный жилец исчез и не появлялся уже долгое время. Возможно, с ним и вправду что-то случилось? Зимин до сих пор словно дожидался ясности, закрыв глаза: авось само что-то подскажется.

И вот, значит, теперь действительное безденежье. Вроде бы не впервые, но прежде мысль об этом не отдавалась таким осязаемым холодком по спине. Раньше ты знал, где при нужде подработать, перехватить поденщину. Одалживаться никогда не любил. Слишком многое переменялось с тех пор. Оборвались связи, сам отвык суетиться, рыскать. Расслабился. И возраст, что говорить, не тот. Грузчиком уже не потянешь, пожалуй. Разве что побираться?..

Мысль, в первый момент несерьезная, как бы игривая, заставила по пути приглядываться к разнообразным нищим. Вот этот почти на меня похож, примерял он. Если несколько дней не бриться, обрасти щетиной седой. А главное, отряхнуть стыд. Раз не хочешь подышать, как «Варяг», гордо. Хотя подадут ли тебе еще? Изобразить инвалида? Играть, как этот скрипач? Увы, не смогу. Продавать домашние вещи, как эта старушка?... Алина, помнится, собрала как-то наскоро целых две сумки вещей для погорельцев, которые позвонили в дверь, женщин с детьми. Приличная, казалось, одежда, последнее время ее просто не надевали. Дети благодарили заученными голосами. Почти все вещи обнаружили потом возле мусорного контейнера — погорельцам показались недостаточно модными. По телевизору люди жалуются на безденежье, нищету, в квартире холод, видите, приходится надевать шубу. И шуба на женщине меховая, посмотреть, недешевая, в квартире на стенах ковры. Не станешь же в ответ вспоминать про свои обноски, про туфли парусиновые, которые когда-то белил зубным порошком, про времена, когда рассказы о белом хлебе казались сказочными, но жизнь почему-то не представлялась несчастной. Две нищеты могут быть несопоставимы, ничью не оспоришь...

3

За несколько лет, что Зимин в этих местах не был, хорошо знакомый квартал оказался едва узнаваемым. Чтобы выйти к месту, где была назначена встреча с Сабиной, требовалось теперь сперва спуститься под землю. В длинном, слабо освещенном переходе еще пахло сыростью недавно законченных бетонных работ. Переход изгибался, в двух местах разветвлялся, указателей не было. Приходилось мысленно себе представлять, что сейчас над тобой наверху, уточняя направление, словно маркшейдер, по условному азимуту.

Откуда-то понесло запахом дыма — загорелся ли мусор в урне? Лоточницы спешно переносили в другое место свои пожитки, столики, сумки, переговаривались вполголосно. — Третий раз выкуривают, ну что ж такое?

— Муравьи, действительно.

— Наша, говорят, территория.

— Все скоро захватят

Нет, это не мусор, — прислушивался на ходу Зимин. Непонятно, как всякий случайно перехваченный обрывок. Нераспознанные новые хозяева предупреждали... уверенные, деловитые, незаметные... где про это было написано?.. совсем недавно читал? Не мог вспомнить..

Выбравшись наверх, он некоторое время вынужден был озираться. Не сразу удавалось понять, где ты находишься. Место, назначенное для свидания, оказалось огорожено бетонным глухим забором, на ограде большой плакат без картинки: «Строительство культурного бизнес-центра «ЦИВИЛИЗАЦИЯ XXI». От прежней улицы оставалась лишь усеченная часть, зато она была расширена, превращена в пешеходную зону. Панель выложена фигурной плиткой. Два павильона, облицованные зеркальным пластиком, отражались один в другом напротив выхода: черные, непроницаемые для взгляда ящики — что в них могло совершаться?

Помните, где была тень от облака? Встретимся на этом месте. Приметы, подробно описанные Сабине, как и план, нарисованный на листке, могли теперь скорей сбить с толку. Не осталось памятных часов на перекрестке, по которым столько раз случалось сверять время, самого перекрестка не было. Исчез дом с букинистическим магазином, там продавщица могла по знакомству отложить под прилавок редкую книгу. (А какие были тогда не редкостью?) Зато открылся в неожиданной красе трехэтажный особняк с белым обновленным портиком. Стоял ли он тут раньше, задвинутый вглубь двора, заслоненный грязными стенами, сам такой же обшарпанный, незаметный, был ли

восстановлен, то есть построен заново по сохранившейся картинке? Невозможно было узнать.

И что тут теперь показывать иностранке, о чем рассказывать? Жильцов сменили, обитателей коммуналок переселили в отдельные квартиры на спальных окраинах, в особняк въедут хозяева взамен законных наследников. Юридические права давно не в счет. Да и наследники-то, вспомнившие свои титулы, сами сморкаются в пальцы. Надо наживать историю заново взамен обрубленной, переделанной. Жить в укороченном времени даже удобно, как удобно жить в благоустроенных, но все равно временных многоэтажках.

Сабина задерживалась. Зимин уже начинал думать, не ждет ли она его где-то в другом месте. На всякий случай он медленно прогуливался по улице взад-вперед — благо она стала короче; разглядывал встречающих...

На развороте иллюстрированного журнала была как-то роскошная фотография: пространство, сплошь выстланное телами голых людей, мужчин и женщин. Они улеглись перед фотографом на спинах головами в одну сторону, вплотную друг к другу, как булыжник на мостовой. В обширный кадр вместились не все — нетрудно было мысленно продлить перспективу дальше, за край, до горизонта. Фотография передавала самые мелкие подробности: татуировку на предплечье, волоски на груди, даже родинки. Груды женщин были вяло приплюснуты, мужские члены почти не видны, прикорнувшие; кто-то приподнял свой рукой, чтоб все-таки был запечатлен. По отдельности, на расстоянии друг от друга, каждый из них и тем более каждая могли бы выглядеть привлекательными. (Подростковая мечта: увидеть сразу столько голых людей, слюнявое подглядывание за купальщицами). Нет, тут даже никто ни на кого не смотрел. Бедняга потому и вынужден был приподнимать рукой свое сокровище — ничегошеньки сам не мог чувствовать. Как и все прочие. Безразличные и друг другу, и зрителю, малоэстетичные неинтересные твари, уплотненные бессмысленно, механически.

Какой допустимый предел плотности должна перейти сгущенная человеческая масса, чтобы вид тел, лиц вызывал скорей неприязненное отталкивание? Начинают действовать законы уже безличные, вспоминаешь скорей физику, формулы взаимодействия частиц, притяжения и отталкивания, критический порог, за которым вдруг ужас — о! еще бы! Обезумевшая безголовая толпа, ноги топчут мякоть упавших тел на подступах к гробу, ребра, стиснутые, стиснувшие дыхание, неспособные расправиться. Надо ли вдобавок объяснять отталкивание от массовых сборищ, инстинктивное желание держаться подальше от толп — и не только физически? Подальше, подальше от экстаза наэлектризованных, теряющих самостоятельные свойства, заряжающих друг друга частиц, от тысячеголосого приветственного рева. Там запах пота и подмененного дыхания, там липкий воздух дурманящего восторга, там бродило иррациональных страстей, драки фанатов, до смертоубийства, лишь бы привести в равновесие химию организма, своего и общего. Там невозможно оставаться собой, ты лично там никому не нужен — и обойдутся. Обойдутся без тебя те, кто нравятся миллионам, им и так хватит. Если это называется недемократизмом — ну что ж. Ухмыляйся в ладошку, стоя особняком, лелея свою непризнанность...

Мальчик лет шести вырвал свою руку из маминой, пошел, балансируя на узком тротуарном бордюре. Ему интересней ощущать себя канатоходцем... Да, пробовал вернуться к недодуманной мысли Зимин, ощущать себя на такой улице одиноким может лишь кто-то, смакующий свою непонятость. Или действительно неудачник, вроде вот этого бомжа, который все курсирует мимо скамеек, подбирает пустые бутылки. Хозяйственная сумка на колесах неподалеку уже набита, больше не поместится, пора отвезти, получить заработок. Потные пряди на загорелой лысине, лоб высокий, в глазах печаль, лицо испитое. Мысленно его побрить, подгладить брюки — проглянуло

бы что-то интеллигентное. Может, даже с высшим образованием. Молодая темноволосая женщина сидела на раскладном стульчике, перед ней стоял на подставке прибор для научного гадания. Плакатик обещал определить характер, предрасположенность к болезням и предсказать будущее посредством какого-то электромагнитного анализа. На отдельной бумажке от руки предложена была дополнительная услуга: «Отвожу сглаз». Клиентов не было, она читала объявления в рекламной газете. Неподалеку обосновался демонстрант-одиночка с большим, густо исписанным листом ватмана на груди. «Соотечественники! Меня уволили с работы, нарушили все нормы закона, насильственно выселяют, говорят, дом ведомственный. Все судьи в нашем городе куплены. Адыгейский прокурор, который настроен против всего русского, отказал мне в праве...» Мимо него проходили, оглядывались безразлично, задерживаясь лишь ненадолго, на несколько первых строчек. Лицо демонстранта было такое же серое, как одежда, щеки впалые, губы сжаты воинственно. Зачем он стоял тут, на что мог надеяться? Был бы антисемит или наоборот — может, среагировали бы. А тут — отдаленные национальные темы, правды нигде не найдешь. Адыгейский — что это? Национальную общность ощущаешь, когда припечет, тогда станешь искать своих...

Все то же, все то же, — не мог уловить Зимин что-то близкое. Неспособность, неготовность, нежелание соприкоснуться, проникнуть хотя бы чуть глубже поверхности. Неизвестно же, чем это обернется, какое возникнет вдруг напряжение, чем придется поступиться, что в себя допустить?.. Вот, один такой уже здесь собирает бутылки. Он вернулся, опустошив сумку, прислонил ее за скамейкой. В руке у него теперь оказался букет сирени. Наломал, должно быть, где-то неподалеку, в соседнем дворе или сквере. Взгляды встретились — притянулись. Небритый потоптался неуверенно, потом подошел,

— Вы дожидаетесь даму? Букетик не купите? Всего двадцать рублей.

Интонация оказалась действительно интеллигентной. «Дама»... Если Зимин и задержался с ответом, то лишь потому, что пытался сообразить: тот ли это случай, когда ожидают даму с цветами? Как это у них, на Западе, принято?..

— За полцены уступлю, — поспешил тот растолковать заминку. — Всего за десятку.

Да что же я? — одернул себя Зимин. Так сосредоточился на своем, только на своем. Вот он уже и цену сбавил...

Небритый, получив деньги, потоптался неопределенно. Чего-то еще хотел.

— Закурить не найдется?

— К сожалению, больше не курю, — развел руками Зимин.

— Почему к сожалению? — откликнулся тот. — Минздрав и меня предупреждал. Менс сана ин корпоре сана...

Поскреб пятерней в затылке, усмехаясь. Потом повернулся, отошел. Ну вот, даже по латыни знает. Чего он еще хотел? На сигареты, если ему нужно это, десятки хватит. Окурков, в конце концов, полно под скамейками... Он ведь разговора хотел, запоздало, вдогонку соображал Зимин. Ждал вопроса — я не откликнулся. Хотя только что думал именно об этом. Не сработал рефлекс. И сколько раз уже так бывало. Уклоняешься от соприкосновения инстинктивно, осознаешь это не без отвращения к себе...

Он продолжал медленно прохаживаться по улице взад-вперед. Давненько не дожидался так свидания, с цветами в руках. А ее все нет и нет. И не надо. Чтобы встретиться, надо действительно захотеть, сосредоточиться, задержать человека взглядом...

Вот... Это было, как дуновение ветра. Она спешила издалека, легкая, воздушная, косынка трепетала на шее, молодое лицо покраснелось, сияло. Как она только что готовилась к встрече, поправляла перед зеркалом прическу, уточняла рисунок глаз, оглаживала на бедрах юбку. Она

приближалась уверенно, все более ускоряя шаг, почти подбегала, уже приветственно махала рукой. Зимин даже не сообразил оглянуться: ему ли это? Застыл, не мог отвести взгляд. Легкое, веселое чудо жизни. Цокающие каблучки...

Она чмокнула ошеломленного Зими́на в щеку, взяла у него букет.

— Прости, что я опоздала, — сказала весело — и оглянулась. — Извините, — добавила тихо, другим голосом, но улыбки не отменяя, — мне надо избавиться от этих двоих. Зимин, еще растерянный, перевел взгляд на них. Двое смуглых парней остановились шагах в пятнадцать, ожидали прояснения. Один играл брелоком, вертел цепочку на пальце.

Женщина уткнулась лицом в сирень, вдохнула аромат, сама благоухая свежестью. Зимин тоже пригнулся к букету.

— Могли бы найти кого-нибудь помоложе, — сказал тихо.

— Нет, вы надежней.

— Примут меня за вашего отца.

— С цветами? Кто седой, тот богат, разве нет? Они принимают.

Парни переглянулись, повернули назад. Вся улица очистилась, опустела. Стало слышно чирикание воробьев — вот же они, прыгали на плитках мостовой рядом, перехватывали друг у друга кусок булки.

— Простите, — сказала женщина. — Вот ваша сирень.

— Нет, возьмите себе, — сказал Зимин.

— Но вы кого-то ждете?

— Если бы не ждал, я пошел бы проводить вас... Может быть, не сегодня? — добавил он. — Вы дадите мне ваш телефон?..

Этого он не сказал. Еще одна несостоявшаяся встреча. И ведь, как ни смешно, в самом деле был сегодня при последних, сравнительно больших деньгах. Вот они, в кармане. Еще одна жизненная невозможность. Она уходила,

плыла, легко касаясь асфальта, тонкие высокие каблуки не ощущали на себе веса, и он запоздало осознавал происшедшее. Сильное веселое тело, такое естественное в походке. Еще не загорелые голые икры чмокались одна о другую. Дуновение свежести. Явление из другой жизни.

4

Отголосок непонятого скандала донесся до Зимина. Он оглянулся.

Спиной к нему стоял человек в странной одежде. На голове потрепанная фетровая шляпа, жаркая в такой день. К длинной, навывпуск, блузе художника подшиты там и сям разноцветные ленточки, бантики. Над плечом поднимался зеленый воздушный шар. Клоун, что ли? — присмотрелся Зимин.

— А куда ему класть-то? — спросила женщина рядом.

— Чего он хочет?

— На мостовую.

— Не мог лучше придумать!

Зимин обошел человека с бантиками. Белое, слабо подгримированное лицо было опущено. На глазах черные очки. К шляпе спереди тоже подшит бантик. Он ничего не делал, не показывал, просто стоял. В левой руке держал нитку от шарика, под шариком подвешена была легкая табличка: «Проявите сочувствие». Ни тарелки, ни хотя бы картонной коробки на мостовой не стояло, шляпа оставалась на голове, ладонь не повернута для подаяния, взгляд безучастно опущен.

— Не, а чего он все-таки хочет? — продолжалось вялое обсуждение.

— Написано: чтоб сочувствие проявили.

— Это как?

— Показал бы что-нибудь, если стоит.

— Чтоб по головке погладили.

- В защиту собак.
- Э, ты бы сказал что?
- Не отвечает.
- Глухонемой?
- Скорее слепой.

Большая грязная собака лежала на мостовой неподалеку, голову положила на лапы, дремала. Непонятно было, имеет ли она отношение к ищущему сочувствия. Ничего более бессмысленного в самом деле нельзя было придумать. Это, возможно, и останавливало проходивших мимо. Достаточно было задержаться несколько, чтобы скопление, по известным законам саморазвития масс, стало привлекать любопытство других. Кто-то уже положил первые монеты прямо на мостовую к ногам стоявшего — тот не шелохнулся. Девушка в цветастой блузке, в шортах встала с ним рядом, чтобы сфотографироваться: вытянула в его сторону губы, готовые к поцелую, приблизила к плечу пальцы, готовые погладить, но дотрагиваться не стала — боялась испачкаться.

Стоявший поодаль демонстрант-правдоискатель увидел, что внимание совсем отвлечено от него, переместился поближе, с недоумением глядя на незваного конкурента. Что же это, в самом деле? Человека выгнали с работы, оставляют без крыши над головой, подошел бы кто, поинтересовался, Нет, тарашатся не поймешь на что.

Собиравшиеся зеваки заслоняли гадалку, не давали подойти к ней возможным клиентам. Она поднялась со своего стульчика, направилась к ряженому.

— Э, вы почему тут стали? Отойдите подальше куда-нибудь.

Тот не реагировал — не слышал или делал вид, что не слышит?

— Э? Глухой, что ли? — повисила голос черноволосая. — Кому говорят? Хочешь, чтобы тебя другие подвинули?

— Сама бы отошла подальше, — откликнулась вместо него грузная женщина. За руку она держала девочку с болезненно раздутым лицом дебилки. — Сочувствия жалко?

— Какое ему нужно сочувствие? Выпить хочется, вот и валяет дурака.

— А хотя бы и сумасшедший.

— Он денег не требует.

— Так пусть не морочит голову, не занимает места.

— А места здесь, что ли, платные? — сказал пожилой человек с ленточками военных наград на пиджаке. Стоявшая рядом жена дернула его за руку: перестань.

Гадалка посмотрела на него мрачно. А ты думаешь? — говорил без слов ее взгляд. И отошла куда-то, прихватив свой стульчик; но гадательное электронное устройство оставила.

Неподалеку затевалось еще одно непонятное действо. Группа малорослых ребят, образовав круг, ритмично хлопывала в ладони. Они были одинаково одеты: черные пузырчатые шаровары, такого же цвета рубашки, туго перетянутые поясками, делали их похожими на муравьев, что ли...

Тут лишь Зимин вдруг вспомнил слово, которое сегодня пытался, но никак не мог оживить в памяти. Муравьи, да. Это как раз про них он утром читал. Выходя из дома, попутно очистил почтовый ящик от рекламного мусора. Газет и журналов он давно не выписывал, к ящику подходил просто перебрать бумажки, чтобы не выбросить ненароком нужное. Среди обычной макулатуры (легкий заработок, средство для похудения, строительство коттеджей) оказалось что-то вроде листовки. «МУРАВЬИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ». Он пробежал взглядом начало. Оформлено это было строфами, как стихи. «Ваше дерево отшумело, засохло. Ваши слова пусты, ваш разум бессилён. Сок вашей жизни высох». Что-то вроде текста новомодной рок-группы. Рассылают свою рекламу? Или, может, манифест неизвестного движения?.. Вникать он не стал, не до того

было, но бумажку сложил и спрятал в задний карман с мыслью посмотреть потом.

Черненькие медленно перемещались по кругу, совершая что-то вроде коллективного танца: ритмично вскидывали руки, поворачивались в стороны, поднимали колени, другое. Зеваки понемногу перетекали теперь к ним, кто-то пробовал присоединиться, попасть в затягивающий ритм, угадать движение...

— Здравствуйте, — отвлекла Зимина от наблюдений Сабина. Он про нее уже чуть не забыл. — Что здесь происходит?

Она даже не стала извиняться за опоздание, выглядела непонятно чем раздраженной.

— Как видите, — показал Зимин. — Человек просит проявить сочувствие.

— Я не понимаю, — сказала она нервно, приглядываясь к плакатику. Глаза щурились, как у близорукой, напряженно и немного брезгливо. — Как это по-русски: проявить? Сочувствие — как это?

— А по-немецки как?

— По-немецки есть Mitleid, Mitleiden. Но при чем тут Mitleid? — Сабина и впрямь была чем-то раздражена.

Мальчик в коротких штанах прицелился из игрушечного пистолета в плакатик, как в мишень. Выстрелил и попал, но присоска на плакате не удержалась. Мать не успела дать ему подзатыльник — он побежал подбирать свой снаряд. Девочка с раздутым большим лицом потянулась было туда же, мать удержала ее за руку. Та заныла, пуская слюни, потянулась теперь в сторону собаки, свободная рука ее выражала желание погладить.

— Это что, хеппенинг? — пыталась понять Сабина.

А, вот как это, наверное, называется. Зимину вспомнилось письмо Бурлака. Одна из многих нынешних бессмыслиц. Что такое сочувствие вообще, неизвестно к кому? Хоть бы лицо показал. А еще лучше язвы, раны, культы, розовые обрубки. Все люди братья, обнимитесь?.. Нет, это

годится лишь для объединившихся во чье-то имя. И то не каждый день, и не так вот, на улице. Это раздражало, как механическая помеха, которую надо было устранить. Это, что ли он хотел доказать?..

Ответить Сабине он не успел. Гадалка вернулась в сопровождении плечистого парня. Грудь его черной безрукавки украшала оскаленная физиономия вампира, красная капля свисала из кровавого рта. Для устрашения хватило бы вида его собственных накачанных мускулов.

— Ты чего здесь встал? — подошел он к борцу за права, национальные или квартирные.

— Вы все на деньги меряете? — огрызнулся тот. Парень пихнул его легонько, поощрительно: давай, проваливай. Тот едва удержал равновесие.

— Да не этот, — показала гадалка. — Этот просто так, присоседился.

— А что, здесь места платные? — не желал все-таки успокоиться без ответа ветеран с наградами прежних времен.

— Сейчас узнаешь.

— Пойдем, пойдем, — оттягивала его пальцами за рукав жена. — Не вмешивайся в ихние разборки.

— Подождите, я должна спросить, чего он хочет. Зачем он пишет Mitleid? — направилась к ряженому Сабина.

Было, однако, поздно. Палочка без присоски, пущенная с близкого расстояния из пистолета, попала теперь в шарик, он лопнул с хлопком. Грязная собака одновременно взвизгнула, вскинулась, как от удара. Может, ей наступили незаметно на лапу. Она заковыляла прочь как-то странно: на одних лишь передних лапах, задние были парализованы. Иногда то одна, то другая прикасалась к асфальту, как будто старалась все же участвовать в движении, но потом опять зависала. При этом уходила она на удивление быстро.

Плакат повис на ниточке в руке ряженого. Он коротко поклонился, приложив руку к груди, и направился вслед

за собакой. Аплодисментов не прозвучало. Левый угол верхней губы подтянут был в слабой улыбке, правый сам собой опустился вниз: от жары и пота грим потек. Морщина обозначилась поперек лба.

— Собак надо лечить, кормить или усыпить — вот сочувствие, — произнес задержавшийся зевака. Оглянулся коротко, быстренько подобрал оставленные на мостовой монеты.

— Э, я хочу с вами говорить, — дергала уходящего за рукав Сабина. Зимин последовал за ней. Черненькие танцоры поодаль продолжали свой танец, создавая ритм собственными ладошками, подпевая себе без слов. Зимину показалось, что лица у них были морщинистые, как незрелое увядшее яблоко. Ансамбль лиллипутов? — не успел приглядеться он. Ряженный ускорил шаг. — Объясните, почему Mitleiden? — настаивала Сабина. — Надо говорить, чтобы люди понимали... *Er beantwortet mir nicht*, — обратилась она к Зимину и наконец остановилась. — Он не хочет слышать.

— Глухонемой, будем считать так. Не обращайтесь вни-мания, — сказал мрачно Зимин. — Философ сказал бы: монада. Такие же, как все прочие.

Глухонемой в черных очках на ходу обернулся и показал ему длинный язык.

5

Никуда идти, ничего смотреть Сабина сразу не захотела. Они уселись в первом попавшемся уличном кафе. Угловой столик еще не был вытерт, в стеклянной вазочке стояла ветка сирени — возможно, с того же куста, который обломал собиратель бутылок. Сабина нервно закурила, не могла справиться с зажигалкой. Пока соблаговолила подойти официантка, она передумала заказывать кофе, попросила взять что-нибудь выпить. Выбрала в меню вино

со знакомым грузинским названием. Зимин поколебался, предупредить ли ее, что изготавливаться оно могло вовсе не на Кавказе, и цена не вызывала доверия. Не стал. За другие напитки сейчас тоже нельзя было поручиться. А денег заранее настроился не считать.

Непонятная уличная сцена не давала немке покоя, маловразумительное объяснение Зимина только раздражало еще больше.

— Что это монада? — продолжала допытываться она, нервно пуская из ноздрей дым. — Я умею понимать, когда можно объяснить, да? Пусть Mitleid — я понимаю. Mitleid haben — сочувствие иметь, это да. Но почему проявить? Что он хотел сказать?

Зимин пожал плечами.

— Не берусь объяснить. И не понимаю, почему это вас так задело. Но если задело — значит возник какой-то смысл, которого он, может, сам не имел в виду. Пусть даже еще не смысл — напряжение... Не знаю. Людям иногда лишь кажется, что они говорят на одном языке — слова для каждого могут значить совсем разное. Если это не деловые бумаги, те должны быть понятны всем одинаково.

— О, тут вы ошибаетесь! — вскинулась Сабина. До сих пор она, казалось, едва вникала в его слова. Как раз в этот момент принесли вино. Пока официантка расставляла бокалы, немка стала закуривать новую сигарету — прежняя была смята о блюдец, погасшая. — Тут именно издевательский абсурд, я не знаю что...

Она выпила, не замечая вкуса. Ее не интересовал вкус. Ее бесило необъяснимое безобразие. Она приехала сюда продвигать перспективный проект. Те самые кафе, место встречи для одиноких, но имеющих деньги... Она забыла, что уже рассказывала об этом Зимину, стала было объяснять снова — тут же спохватилась. Не в подробностях было дело, чудовищен был непробиваемый, ватный абсурд, в котором она сразу увязла.

— Вы не думайте, я была готова, меня заранее предупредили. Что надо субсидировать не организацию, не фонд, а конкретный... как это говорят?.. адрес?.. Но я думала, что увижу современных людей, как я. Я им писала по-русски, они отвечали по-английски, ладно. Говорят: нет, такой факс мы не получали, был какой-то другой. Это не могло быть. Хотя русский язык не мой матерный... материнский, да?.. но это не могло быть. Прошу показать, какой — не могут найти. Говорят, прежний человек ушел... О, это нельзя даже рассказать. Я пришла в бешенство, я сказала: пусть ищут факс, я буду обращаться в суд. Я знаю этот менталитет, они уже что-то ухватили, им достаточно. Хотя могли бы иметь гораздо, несравненно больше. Когда честный бизнес, с перспективой. Нет. Вежливые, в хороших галстуках, с английским языком — но это же называется все равно совки, да? О, какое прекрасное новое слово! Хотя тоже нельзя понять, что это. Я не могу понять. Наконец, все-таки нашли, принесли мой факс, говорят, что мой — на нем ничего невозможно прочесть. Шрифт успел исчезнуть, стал белый... бледный, как правильно? Вот, я вам покажу, я вырвала у них, я не хочу больше иметь дела...

Она достала из сумочки лист, хрустящий, как папиросная бумага. Зимин покачал головой, вглядываясь в выцветший шрифт. Сам бы он такого не сочинил.

— Такая бумага, да? Может меняться?.. Нет, все. Я улечу первым рейсом, это кончено. Нет смысла здесь оставаться... А, черт, — отстранила она бокал, — что это за вино? Я хочу покрепче. Пойдемте ко мне, у моей подруги в баре осталось много...

6

Идти к ней оказалось отсюда близко. Дома в этом районе успели прибавить в высоту, первые этажи богатых

офисов и магазинов облицованы были гранитом и пластиком. По пути попался банкомат, Сабина задержалась возле него. Зимин попробовал сказать, что у него есть деньги, она отказалась: все равно будет нужно. Как выразилась, наблюдая за процедурой, знакомая девочка: вынула деньги из стенки. Купила всего лишь две пачки сигарет.

Они вошли в подъезд. Из окошка глянуло на них лицо консьержки, смятое процессом усиленного жевания. Она, мыча, торопилась что-то проглотить, чтобы освободить рот для слов. Но поперхнулась, закашлялась.

— Пронесло, слава Богу, — сказала тихо Сабина.

— Мадам, — донесся освободившийся голос вдогонку; они уже поднимались пешком по лестнице, — как вас?.. Фрау!..

— Не оборачивайтесь, — сказала Сабина.

Просторные апартаменты на втором этаже достались ей от знакомой журналистки, которая уехала на месяц по своим делам. Это была, собственно, одна большая комната, разделенная неполной перегородкой. В одной части располагалась громадная кровать, в другой деловой стол с компьютером, такие же деловые полки. Сабина скрылась на кухне. Зимин сел было в глубокое кресло — и оценил свою неосторожность. Кресло легко охватило, поглотило его, готовое превратить тело в расслабленный студень. Он поспешил встать — это удалось не без усилий. Еще немного, и он бы не смог вырваться.

— Черт, совсем пустой холодильник, — доносился с кухни голос Сабины. — Хотите маслин? Есть еще сыр, но совсем старый. А, я не хочу есть, — сказала она вошедшему Зимину. — Будете со мной пить? — показала бутылку виски.

Женщина, которая хочет напиться — это было похоже на своего рода обещание. Зимин пригубил лишь слегка. Увы, ничего похожего на желание в нем даже не шевельнулось. А без желания — чего можно ждать, кроме неудачи?

— Здесь делать нечего, — нервно повторяла Сабина, закуривая. — Я отложила дела, поставила под удар карьеру. Все, больше никаких отношений. Мне надо зарабатывать. Я сегодня же заказываю билеты.

Одну порцию она уже выпила, сразу налила себе новую.

— Почему он так написал? — не могла она успокоиться. Слово, так и не устроившееся на место, задевало выпирающими углами. — Что он хотел? Какой Mitleid? Это было сойти с ума, когда мама говорила: Mitleid. И смотрела на меня такими глазами! Я была, как преступница. Почему так смотрела? Она была в хорошем доме, я ее не оставляла одну. Это стоило много денег, о! У нас все очень дорого. Не так много, как домашняя компаньонка с медицинским дипломом, так много мне было тогда не по карману. И ей не нужна была медицина, она была в физическом порядке. Только хороший дом, питание, общество. Дом был прекрасный. Озеро Штернберг, яхты, зеленые деревья. Такие аккуратные, милые старички и старушки. Почему я должна была чувствовать себя виноватой преступницей? Я не могла взять ее совсем к себе. Я не могла быть все время дома. Мне надо ездить, зарабатывать, жить. Я приехала к ней, когда могла. Не меньше раз в месяц. Это было сойти с ума, когда она начинала стонать, как от боли. Я не хочу в кадет... это в концлагерь, я хочу в свой дом. Это, говорю, не кадет, не концлагерь, — (Сабина воспроизвела мягкую, ласковую интонацию), — это хороший уютный дом. Здесь такие же люди, как ты, смотри. Они могут составить тебе компанию, говорить, гулять вместе, что еще? Нет. Зачем я здесь? — (Воспроизвела страдальческий голос матери). — Я ничего не сделала, никто не докажет. Я хочу только увидеть свою дочку. Какую дочку? Твоя дочка — вот она, я. Смотрит на меня с ненавистью, как на преступницу, говорит «вы». Не пытайтесь меня путать, я хочу настоящую, Гизелу. А Гизела — это моя старшая сестра, она давно умерла. Болезнь крови. О, я знаю, мама всегда любила ее, не меня. У нее была та-

кая красивая кукла, мягкая, в баварском наряде, с фарфоровой головой. Если ее повернуть, глаза открывались, она говорила: а-а. Когда Гизелы не было, я с этой куклой играла в доктора. Делала ей укол вот сюда, очень больно, поглубже. Это было удовольствие, как сексуальное. Она стояла другим голосом: а-а...

Поискала бумажную салфетку, высморкалась. Ноздри покраснели воспаленно, как на просвет, на щеках проступили светлые пятна, словно загар выцветал местами.

— Не надо бы вам больше пить, — задержал ее руку Зимин.

— Мне надо. Здесь другого ничего нет. У вас нет даже таких таблеток, которые мне нужны. Я не взяла с собой, думала, мне хватит. Мне и так хорошо. Все было в таком о'кэй. У вас перестаешь понимать, почему должно быть так плохо, когда все хорошо. И мама тоже. Она мне говорила такие ужасы!.. не надо рассказывать. Не хочу. Врачи были ее враги, она опять плакала: Mitleid, Mitleid! Я ничего не сделала! А мне говорила, что все равно убежит из кацет. Там, где она раньше жила, недалеко был концлагерь, мне рассказывали. Это еще до меня. Американцы после войны водили жителей смотреть, чтобы знали, как было. Ее тоже. Но это все, это прошло. Она была совсем молодой девушкой, что она могла знать? Она была в каком-то союзе, пела народные песни. У нее был голос, он остался. Хотя сама стала совсем некрасивая, бесформенная, распухшая, как баллон. Почему так должно стать? Я тоже должна стать? Ужасно! Когда еще жила в своем доме, она никого не хотела видеть, соседей, никого. Закрывалась за дверь. Но так нельзя жить. Надо кушать тоже. Надо много чего. Сочувствие... проявить? Это нельзя понять.

— Одиночество в параллельном мире, — проговорил Зимин. — В мире своего мозга.

— Что? — переспросила она. — По-русски еще непонятнее. Почему я стала рассказывать тебе... пардон, вам? Мне можно, я выпила. Потому что ты слушаешь, да? Кто

ты такой? Я не хочу понимать. Но я уже выздоровела. Все... Это был бред. Болезнь. Она хотела вернуться не в дом, а в хорошее время, когда пела красивые песни вместе с другими. И требовала, чтоб я вернула ей старые пластинки с этими песнями. Где я могла найти? Все, что я приносила, было не то. Ей все подменяли. Ее обманывали, никто не хотел *Mitleid haben*. Потом обвиняли сотрудницу, что она ее допустила на улицу, где быстро едут машины. Но это разрешалось, ходить, там все ходили по улице. Кто может быть виноват, если она не хотела жить, как жила? И водитель был не виноват, это признали. Она не попала под колеса, она сама, вдруг. А эта женщина — из русских немцев... немок? я ей помогла устроиться на работу в приют. Она сама от такой работы...

Сабина провела рукой от виска вверх и вперед, поясняя движение долгим высоким звуком. Поехала...

На сей раз Зимин решительно остановил ее руку, забрал бутылку, отнес в бар... О, сколько там еще стояло бутылок! Она смотрела на него, покачиваясь расслабленно. Раскисшее лицо ее откровенно постарело, но стало при этом более каким-то понятным. Прическа не растрепалась, но тоже стала немного другой, седина казалась скорей настоящей, чем искусственной. Зимин попробовал приподнять ее со стула.

— Я не хочу в постель, — вяло сопротивлялась Сабина. — Она громадная, как полярная льдина. Зачем туда?.. я не хочу на льдину.

Зимин подвел ее к кровати, помог лечь, как была, одетой. Приподнял ноги, снял туфли, следики, немного влажные от теплого пота ступней, прикрыл легким покрывалом. Она что-то бормотала, пьяная, по-немецки. Он поцеловал ее успокоительно в лоб — лоб был в испарине. Сабина всхлипнула благодарно, по-детски шмыгнув носом — и почти тотчас заснула.

Дверь оказалась не притворенной плотно, она открылась, не требуя даже поворота ручки, потом сама тихо захлопнулась за спиной.

Заминка возникла у другой двери, в подъезде. Надо было что-то нажать, чтобы выйти, но свет в тамбуре не горел, в полутьме не удавалось найти нужную кнопку.

— Э, мужчина! — появилось за стеклом лицо — дозорная его все-таки перехватила. На волосах были накручены бигуди, в руке она держала журнал. — Вы чего так украдкой?

— Где тут кнопка, чтобы нажать? — обернулся Зимин.

— Ну-у, так вас сразу и выпусти, — жеманно протянула она. — Вы бы сперва мне помогли. Вот, — она показала журнал. — Я тут кроссворд разгадываю. Да подойдите же на минутку, вас женщина просит.

Зимин подошел. Крохотная сторожевая клетушка претендовала на сходство с уютной комнатой. На стеклянной перегородке раздвинуты были занавески в розовый горошек. Фотографические обои на задней стенке изображали перспективу рекламного интерьера, иллюзорно уводящую вглубь: полированные миниатюрные серванты уставлены были хрусталем, в изображенных кашпо цвели одновременно, как не бывает в жизни, живописные кактусы. Зато самая настоящая кушетка у боковой стенки укрыта была стеганым розовым покрывалом. Такого же цвета стеганый капот на консьержке скрывал обильные формы. Телевизор на тумбочке был включен, на экране беззвучно, как в аквариуме, открывала рот женщина, смутно похожая на консьержку, только в очках и с уже уложенными волосами.

— Так что у вас? — спросил Зимин. Та не сразу ответила, сначала посмотрела на него сквозь окошко, оставленное в стекле на уровне дежурного столика. Приподнятые подбритые брови, изучающий взгляд снизу.

— Какой вы замкнутый, — произнесла наконец. — Слишком все у вас быстро. Вот: порода собак из восьми букв. Пятая «е», последняя «р».

Зимин подумал.

— Тут у половины жильцов собаки, — продолжала консьержка. — Детей ни у кого нет, а собаки почти у всех. И каждому хочется поговорить. Я для того тут и сижу, чтоб могли со мной поделиться. Раз уж мимо идут. Столько наслушаешься — можно писать роман. Я-то разговоры никому не передаю, потому так мне и доверяют. Эти, по телевизору, вон, собираются каждый вечер, начинают всем косточки перемывать. И собственное белье рвутся, конечно, выставить. Почему так хочется открыться всему миру?..

— Сенбернар, — просчитал в уме Зимин.

— Что? — не сразу поняла консьержка. — Ну-ка, ну-ка, — примерила она с карандашом в пальцах. — Надо же, по буквам подходит. У них по телевизору простые слова отгадать не могут. У меня вон этих сборников с кроссвордами целая библиотека, все буквы заполнены. Можно университетов не кончать, образование по всем предметам. Вот, скажите: английский ученый, открывший в 1834 году первый закон элек... не пойму?.. — электролиза? Не знаете? Ая теперь вам могу сказать: Фарадей. Хорошее имя. Я и про биологию много теперь знаю, и про космонавтику, про футбол. А эти отгадают одно какое-нибудь слово — получает кто десять тысяч, кто целый автомобиль. За одно слово — автомобиль! Как люди туда устраиваются, вы можете мне сказать? Везде своя мафия, это конечно. Я им уже десять писем послала, на телевидение, чтоб меня приняли. Никакого ответа. Дождешься! Надо узнать ходы, но как?..

— Мне надо бы выйти, — напомнил Зимин.

— Какой вы необщительный, — укоризненно повторила консьержка, не отводя от него снисходительного, изучающего взгляда. — Сейчас выйдете, — вздохнула она. — Только сперва проверю в ответах.

Она надела очки в тонкой оправе и стала еще больше похожа на женщину, шевелившую ртом с экрана. В складке ее большого рта проявилось что-то лягушачье. Пролистала страницу с конца, другую.

— Шестой номер по вертикали... ну-ка, где он? — бормотала, морща маленький лобик... — Вот... Не угадали! — засмеялась удовлетворенно. — Правильно: ротвейлер.

— Что значит, правильно? — не согласился Зимин. — Все буквы подходят, укладываются, можно и так, и так. Если решение не единственное — мое тоже годится.

— Годится, не годится... Ла-адно, — протянула, наконец, и облизнула верхнюю губу ленивым, розовым языком. — Считайте, проскочили в следующий круг. Пока я в другом настроении. Когда в следующий раз придете?

Зимин пожал плечами.

— Я больше сюда не собираюсь.

— Ну да, конечно, знаю я вас!.. Идите пока. Только опустите еще по дороге это письмо. Ящик там прямо на углу. Попробую пробиться еще раз, я от них не отстану. А дверь-то отперта, выходите.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Который раз он попадал в этот дом, где все оказывалось узнаваемо на ощупь, можно было ходить ночью, не зажигая света и не натыкаясь — спросонок, не до конца проснувшись — на предметы, на стены, в которых не оказывалось памятного проема дверей, как это случалось в нынешней квартире, хотя и прожил в ней уже не один год. Значит, тот дом по-прежнему существовал, не был ни снесен, ни переделан. Просто забыл что-то, перепутал, приходилось с усилием напоминать себе, подтверждать: да, это тот самый дом, взглянись, чего ты еще не узнаешь, не можешь вспомнить?..

— Ну? — сказала она. — Почему у тебя такой растерянный вид? Чего-то не можешь найти? Забыл что-то? Может, и меня перестал узнавать?

— Как тебя забудешь? — отвечать тоже приходилось с усилием, преодолевая себя. Он избегал поднимать на нее взгляд, точно боялся увидеть другое, переменившееся лицо. Не обязательно было смотреть, ее присутствие подтверждалось ощутимо, почти болезненно. — Попробуй расстегнуть молнию на моих брюках, сама убедишься.

Не было уверенности, что шутка уместна, получилось против желания. Хотя назвать ли желанием то, что происходило сейчас с тобой — в насмешку над пониманием?

— Ну, ну, — он, не видя, ощущал ее взгляд, как прикосновение. Значит, еще немного, и должно было разрешиться что-то, казавшееся уже невероятным. — Только не надо спешить, — это сказал себе он сам, или продолжал звучать ее голос? — Не здесь же, рядом с кроватью. Малыша можем разбудить... Вот, опять заворочался. Да пойдем же, пойдем, чего ты не понимаешь? Как будто забыл, где мы. Пойдем, я тебе покажу, напомним...

Стены переходного длинного помещения закрыты были дощатыми грубыми стеллажами, как в старой кладовке. В свете тусклой подвальной лампы теснились ряды книг, папки с завязанными тесемками, вперемешку возникали полужнакомые предметы: старый чугунный утюг, электрический самовар, примус, колченогие стулья свалены были в углу, запыленные обломки детских игрушек. Полубиблиотека, получулан. Он начинал догадываться, куда она его ведет, надо было только вспомнить слово.

— Это твоя? — потянулся он к одноногой целлулоидной кукле в одних грязных трусиках.

— Не трогай, — остановила она. — Смотри, сколько на всем пыли. Зачем поднимать?

— Но ты любила ее колоть в попку? — неуверенно попытался напомнить он.

Она рассмеялась. Смех ее отзывался, как в подземелье, гулким уханьем, кашлем.

— Вот, даже в горле у меня запершило... попало, — сказала она, успокоившись. — Лучше тут ничего не шевелить, оставь. Эта кукла тебя выдала. Чужая жизнь тебя никогда не интересовала, только свои чувства, мысли, воспоминания, свои слова. Вот они, твои слова, в этих кипах бумаг.

Всегдашняя ее логика, — думал он, смутно чувствуя, что ей надо сопротивляться.

— Ты не знаешь, что я успел без тебя написать. Не просто слова на бумаге. Там не пыль, там целая жизнь, наша общая. Смотри, я сейчас тебе покажу...

Почему опять не удавалось найти сразу нужное, который раз? Ведь только что листы были в руках, положил вот сюда. Полки загромождены до потолков, не очистил в свое время... да, вот она, та самая папка, и никакой пыли на ней не было. Свеженькая. А она думала?

Он развязывал тесемки, ногтем расслаблял затянувшийся узел, предчувствуя близкое торжество. Сверху лежали какие-то газетные вырезки. Не спешить, напомнил

он себе. Лучше не сразу, оттягивать слаще всего. Когда все найдешь, позади останется опустевшее, сжавшееся, несущественное мгновение... Вот, детский рисунок: рожица, похожая на поросенка, из глаз свисают, падают длинные капли слез, вокруг надпись корявыми печатными буквами, красным карандашом: «Мама, папа, где вы?» Да, это мое, наше... и заголовок — вот он, на следующей странице... Только почерк трудновато узнать, с возрастом такое бывает, меняется. Маленький муравей быстро переползал через страницу.

— У вас тоже стали хозяйничать эти? — заглянула она ему через плечо. — А почему перед заголовком не твое имя? Почему написано Z? Разве это ты?

— Да, это не совсем я, — насмешливое непонимание начало его раздражать. — В книге я не могу быть совсем собой. Ты раньше это понимала. Человек не всегда бывает одним и тем же. Разве я сейчас тот же человек, который жил со своей женой? С этим, другим человеком я могу вести диалог. Удивляясь ему ли, самому себе. Не узнавая... Послушай, вот, я тебе сейчас прочту первую фразу, ты сразу узнаешь... только почему здесь так плохо видно?..

Текст на листе был совсем бледным, невнятным, он бледнел все больше, все больше. И здесь то же, догадывался он тоскливо. Казалось, со мной такого не может быть. Раз уж написано, не исчезнет...

Поискал взглядом, чем бы еще посветить. Керосиновая лампа предложила себя сразу... но есть ли в ней керосин?.. куда его наливал когда-то?.. и как надо подкрутить фитиль, чтобы не начадить, не напустить черной моли?.. как все вспомнить?

Беспомощно перевернул страницу — может, дальше написанное сохранилось? Да вот же где надо было сразу смотреть! Текст просто переходил, проступал на оборотной стороне листа, как на промокашке, — с торжеством догадался он. В самом деле, только перевести на язык прежнего смысла это обратное отражение.

— Без тебя я перестал понимать, — сказал он, оправдываясь. И наконец поднял на нее неуверенный взгляд.

Она стояла на отдалении, спиной к нему, полураздетая, сведя руки восхищавшим его всегда движением за спиной, между лопаток.

— Глупый, глупый, — сказала она. В голосе теперь звучала материнская снисходительность. — Брось, наконец, свои бумажки, они тут не нужны. Или ты все забыл?

— Я не сумел от тебя освободиться, — признал он. — Думал, что уже могу. Не сумел.

— Да иди сюда, я тебе помогу. Здесь светлей. Вернуться ведь все равно нельзя. Но освободиться нужно. Иди же.

— К тебе в Америку? — попробовал пошутить он.

Пальцы ее все не могли расцепить какой-то последний крючок. В помещении было действительно светло, белые длинные лампы освещали куб комнаты, похожей на процедурный кабинет. Белая кушетка стояла у стены, белый стеклянный шкафчик с блестящими инструментами.

— Да помоги, что же ты? — услышал он нетерпеливое и поспешил к ней. Она между тем подняла с затылка пышные рыжеватые волосы, сняла их с головы, как парик, открыв седой, стриженный, как у мужчины, бобрлик... Но это же она! — с усилием старался не допустить он подмены. Теперь такая прическа стала, наверно, модной, я не уследил. Сейчас увижу ее, вдруг она окажется не похожей на ту, которую я помнил? Пальцы его оказывались неловкими, он тоже не мог расцепить непонятно устроенный крючок. А тело оставалось таким же тугим, оно вздрагивало от попытки сдержать распиравший изнутри смех.

— И этого до сих пор не научился? Не там... ну... не там же...

Голос наполнял его все более мучительной, невыносимой силой — сила эта лишь подтверждала ее власть. Сейчас, сейчас... нельзя же не успеть, — уже предчувствовал он... и откуда вмешивался этот посторонний требовательный звонок?... каждый раз что-то мешает.

— Не там, ты опять не там, выше, — тело ее напрягалось уже не от смеха. — Скорей... Помоги же скорей, я задыхаюсь. Развяжи, сними...

Лишь тут она повернулась к нему — он наконец увидел, что лицо до глаз было закрыто белой тугой хирургической маской. Глаза были измучены, нечем было дышать, лоб покрывала крупная испарина...

2

Он очнулся, когда телефон звонил третий раз. Вскочил с дивана. Прозвенело опять. Схватил трубку — нет, опоздал.

Некоторое время Зимин просидел, опустив голову, приходя в себя. Все-таки не успел. Достижение возраста. Научился даже во сне себя сдерживать. Просыпаться вовремя. Всегда найдется чему помешать. И хорошо, если не ходится.

Который раз, просыпаясь, он чувствовал себя не отдохнувшим — измотанным, как после непонятной работы. Посмотрел тупо на телефон. Не приснился же ему этот звонок? Кто это мог быть? Сабина вряд ли. Можно бы ей позвонить, узнать. Но он, как ни странно, ее номера не записал. И зачем было записывать? Чужой, временный, необязательный. Для нее в том числе. Кто же мог быть еще?

Имена возникали с трудом, неубедительные. Какого звонка он сейчас ждал? Или все еще звучал отголосок не до конца растаявшего сна? Ясные только что очертания бледнели в дневном свете... муравей полз по пустой странице...

Он опять вспомнил про желтый листок, оставшийся в заднем кармане брюк. Достал его, развернул. Бумажка порядочно обмялась о тело.

МУРАВЬИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Ваше дерево отшумело, засохло,
Ваши слова пусты, ваш разум бессилён,
Со́к вашей жизни высох.
Ваше будущее позади.
Вещество вашей жизни — пища для нас.
Мы среди вас незаметны
В порах асфальта, в перегородках жилья.
Вы — эпизод нашей истории.
Мы жили до вас и будем жить после.
Преградить нам путь невозможно.
Способные услышать — готовьтесь!
Всякий лепет о смысле жалок,
Если знать, что конец неизбежен
Для отдельного существования.
Ощути себя частицей единства,
Приобщись к бессмертию целого.
Солдат, царица, работник —
Исполнители общей программы,
Выбывший заменяется, не ощутив боли,
Выпавший волос, отрезанный ноготь,
Отшелушившаяся роговица,
Отработавшая свое клетка —
Разве смерть для нее ощутима?
Организм продолжает существованье.
Подключимся же, соединимся, сольемся,
Растворим свое время в вечности,
Безболезненно, незаметно.
Сладкий укус — и вы с нами.
Мы несем вам освобожденье.
Близок День Великой Яйцекладки.

М-да, похоже было на песню современной группы. Или, может, на гимн какой-то новомодной тусовки. С намеком на наркотики, что ли? — рассеянно вчитывался Зимин. Игорь бы написал лучше...

А, вот ведь что ты, наверно, хотел сейчас вспомнить, — сказал сам себе Зимин. Надо сесть и написать письмо Бур-

лаку. Обратного адреса тот, как всегда, не указал, и был ли у него постоянный адрес? Он и в Москве переезжал от одной подруги к другой. Но ведь Сабина знает, где его там найти. Она перед отъездом еще объявится. Можно будет передать письмо с ней.

Явственно представилась свернувшаяся клубком на громадной кровати маленькая, бедная фигурка. Почему ваша ненормальная, идиотская жизнь обязательно выбивает из равновесия? — вспомнилось ее пьяное всхлипывание. Ничто не может получиться правильно, просто, закономерно, как должно быть везде...

Звонок заставил его вздрогнуть. Он резко очнулся, не понимая, откуда это. Голубь уселся на подоконник, смотрел из-за окна черной бусинкой. Еще один звонок заставил его поспешить к телефону. Неужели это?..

— Приходи... bitte, — услышал он. И ощутил разочарование. Не того ждал. Голос был больной, сиплый. — Я совсем разрушена. Мне хочется пить воду. Я не могу ничего купить... не могу выйти в магазин...

4

Ах, как не хотелось на этот раз уходить из дома! Была надежда услышать звонок еще раз, не тот, другой, вслушиваться снова, заново, вспоминать, восстанавливать, возвращать утерянное...

Продукты он купил по пути. Хлеб, сыр, сосиски, чай, кофе — то, что покупал обычно себе. Что еще? — постарался вспомнить... А... какую-нибудь воду, минеральную.

По пути он зачем-то сделал крюк через знакомую улицу. Словно ожидал опять кого-то увидеть, что-то уточнить, прояснить. Все разветвления в подземном переходе оказались перекрыты красно-белыми лентами, натянутыми между стоек; оставалось единственное направление — то, которое и было ему нужно. Лоточницы торговали те-

перь наверху, у выхода. Пожилой человек с матерчатой кошелкой, в клетчатой рубашке навывпуск стоял перед бетонной оградой, закрывавшей строительную площадку, прильнул глазом к щели между плитами. С той стороны доносилось урчание техники. — Не начали еще строить? — зачем-то задержался возле него Зимин.

Тот не сразу отлепился от щели, смерил любопытного взглядом.

— Как это не начали? — сказал, точно ему нанесли оскорбление. — Уже скоро пускать будут.

Зимин захотел посмотреть тоже. Тот уступил неохотно. Из глинистой земли торчали бетонные обломки, железки. Бульдозер на отдалении ездил, разравнивал площадку.

— Так ничего же не видно, — сказал он.

— Засыпали все, потому и не видно.

— Засыпали?

— Строили-то под землей, много этажей. Быстро уравились. Когда надо, умеют.

— Культурный бизнес-центр?

— Какой центр? — Голос был теперь не только оскорбленный — слегка презрительный. — С чего это вы взяли?

— Вот, — показал Зимин на плакат, — написано же.

— Читайте, что напишут! Вывески для того и делают, чтоб отвести взгляд от объекта. Я-то мимо тут хожу каждый день, видел, какую технику туда загружали...

Свихнувшийся на тотальной секретности, — отошел от него Зимин. Воспитание прежних времен. Предпочитают объяснения, для профанов закрытые.

Люди на улице были уже, конечно, не те. Второй раз не войдешь в ту же толпу. Даже гадалка не сидела на прежнем месте. Там теперь стоял готовый к услугам гневой прогулочный конь. Седло на красной шелковой попоне, голова скучающе опущена. Одно знакомое лицо все же возникло: раздутое белое лицо девочки-дебилки. Она тянулась из руки матери, желая погладить животное. Та на сей раз нехотя позволила себя подтащить.

Растопыренные неловкие пальцы приблизились к крупу. Задержались на засохшей язвочке с выпуклым натеком сукровицы, ласковые, неразумные. Оживший среди каменной городской природы запах конюшни, мочи, навоза. С другой стороны к крупу коня потянулся мальчик в очках, лет восьми. Конь вдруг повернул к нему голову, угрожающе фыркнул. И тут Зимин увидел, что под его брюхом вырастает, становится все длинней детородный орган, влажный, недопустимый. Мать поспешно оттаскивала за руку прочь сопротивляющуюся идиотку. Девушка, державшая коня за уздечку, стала его успокаивать...

Все та же безысходность, думал, продолжая свой путь, Зимин. Прикосновение без мысли, ток, соединивший на мгновенье двоих, отклик без понимания, нежность, жалость. Оборванное желание, недосмотренный сон...

Лишь подходя к дому Сабины, он спохватился, что забыл спросить у нее номер квартиры, не может даже набрать нужный код у двери. Вообще это была не беда: расположение самой квартиры на втором этаже, слева, осталось в зрительной памяти. Только бы войти в подъезд. Мысль о неизбежном объяснении с консьержкой заранее заставляла передернуться. Купить, что ли, для нее еще один сборник кроссвордов? — подумал он. Так запасаются в дорогу булкой или костью, чтобы задобрить у ворот сторожевую собаку. Но подходящего киоска по пути уже не встретилось. И консьержка могла быть теперь другая.

Пожилая женщина с собакой на поводке направлялась к подъезду. Очень кстати, отметил он и замедлил шаг, чтобы не опередить их. Женщине приходилось идти, слегка откинувшись назад, это уравнивало нетерпение собаки. Не только удлиненное сухое лицо, вся прямая долговязая фигура ее выражала строгость. Гладкий черно-коричневый пес принадлежал к той самой породе ротвейлеров, которую не удалось угадать в прошлый приход. Не дойдя несколько метров до подъезда, тот все-таки задержался у свежепосаженного деревца, задрал заднюю лапу,

чтобы отметиться напоследок. Зимину пришлось наклониться, сделать вид, что завязывает распустившийся шнурок. Строгая дама оглянулась на него недоверчиво, но свой секретный ключ в нужный паз все-таки вложила. Электронный сигнал разрешил: входите. Зимин, улыбаясь, как давний милый знакомый, проскользнул за ней вслед.

Все-таки вошел. Лифт ему был не нужен — он, минуя собаку, направился прямо к лестнице.

— Мужчина! — осек его движение голос.

Мгновение Зимин еще колебался: не проскочить ли попростудальше? Женщина у лифта смотрела на него, готовая подтвердить уже возникшее подозрение.

— Вы к кому? — высунулась из-за стекла консьержка. Она что-то снова жевала. Все-таки та же самая. А бигуди с волос до сих пор не сняла.

— Вот, — показал Зимин издали полиэтиленовый пакет. — Женщина попросила принести ей продукты. Плохо себя почувствовала.

— А в какую квартиру? — уточнила консьержка и возобновила жевание.

— Вы же меня помните, — попробовал уклониться от ответа Зимин. — Вчера только разговаривали. Вы еще письмо мне давали, я опустил.

— Ну-ка, ну-ка, не спешите, подойдите сюда. Подойдите, я говорю!

Лифт уже опустил, ждал. Пожилая женщина медлила входить, дождалась ясности. Ротвейлер что-то искал, обнюхивал возле ее ног. Неужели другая? Капот на этот раз голубой. До чего же похожи! Под потолком вестибюля, у высокого окна, затрепыхалась птичка. Залетел непонятно зачем воробей, попался.

— Так вам сразу! А документы у вас при себе есть? — спросила консьержка. Телевизор за ее спиной показывал беззвучный рекламный ролик. Кушетка тоже была закрыта теперь голубым покрывалом. Цветок в горшке перед окном вот-вот был готов распуститься.

— Еще вам документы, — попробовал откликнуться по-свойски Зимин. — Я хотел вам еще один журнальчик с кроссвордами прихватить. Не нашлось по пути.

Женщина с собакой все-таки вошла в лифт. Но еще напоследок помедлила, прислушиваясь к продолжению.

— Да журналов новых уже не осталось, я все их заполнила. Вон, — показала она взглядом на стопку в углу, — собрание энциклопедий.

— Неужели все знаете? — притворно изумился Зимин. Нет, та же самая.

— Так ответы же есть в конце, можно посмотреть, чего не знаешь. Неужели когда-нибудь новых не будет? Только представить, что все клетки заполнятся. Книги читать трудно, глаза устают. По телевизору этих дур слушать обидно...

Лифт звучно дернулся, тронулся. Консьержка неожиданно поперхнулась, закашлялась. Зимин почувствовал, что теперь может идти.

— Мужчина... да хлопните же вы меня по спине, — пробилась сквозь кашель женщина. — Стоите... не понимаете...

Просунуть руку за стеклянную перегородку, в маленькое окошко, было несложно, сложнее было изогнуть ее, чтобы добраться до повернувшейся спины. Женщина справилась с кашлем прежде, чем Зимин успел ей помочь, перехватила руку, задержала в своей. Дохнуло душными духами.

— Какие у вас пальцы тонкие, интеллигентные, — оценила она. — И сильные. Вы музыкант?.. Почему говорили, что не придете больше?.. Пойдите, пойдите, я еще посмотрю ладонь... Ну, я такого еще не видела: две линии жизни! А линия любви... ой, это же просто смех!.. и вот тут что? Нет, помолчу пока, помолчу... Да ладно, идите, идите, — согласилась она отпустить. — Это я так. Думаете, одна радость сидеть все время, как насекомое в коробке, смотреть, как проходят мимо. Особенно иност-

ранцы. Может, все теперь вообще иностранцы? Своих не увидишь. Конечно, женщине надо сочувствие. Раз уже обещали. Вы чего ей купили? Сосиски у нас в магазине, который за углом? У нас бы я не советовала... Ну, дело ваше. Кому надо, свое возьмет. Женщины теперь не просят, они берут. Вот эта старуха, видели? она со своим ротвейлером живет. Приучила его лизать сладкое... Да ладно, ладно. Входи, раз попался. Ты только на вид колючий, а тронь — мя-агонький. Небось, уже заждалась? Посмотрим, как выйдешь...

Сумасшедшая, — подумал Зимин. Или обе.

5

Он нажал пальцем звонок, раз, другой — к двери никто не подходил.

Вот тебе и на. Не может встать? Спит? И что же делать без ключа? Или звонок не работает?

Постучал кулаком о притолоку — дверь была в мягкой обивке, по ней даже колотить ногой не имело смысла. Толкнул ее плечом. Что еще?.. Не догадалась оставить открытой. Как я выходил в прошлый раз?

Еще раз покрутил ручку, потом потянул на себя. Дверь открылась неожиданно, как отгадка — надо было лишь сообразить, что загадки-то не было. Отвык от нормально открывающихся дверей. В домах советской постройки двери должны были открываться внутрь жилья, чтобы при необходимости проще было вломиться, налегая, представителям власти.

Сабина лежала, маленькая, на краю громадной кровати. Из-под одеяла выглядывала голая нога с крашеными ногтями. Глаза ненадолго задержались на вошедшем, ушли в сторону, равнодушные, без выражения. На губах засохли белые корочки, вокруг рта было тоже что-то вроде засохшей пены, не белой, как у младенцев после корм-

ления — грязно-желтой. Прическа не стала растрепанной, но утратила безупречность, остатки косметики скорей пачкали лицо, чем прикрашивали.

— Перепила? — понимающе улыбнулся, наклоняясь, Зимин. Пахло от нее не перегаром, чем-то химическим, тошнотворным. Она пошевелила сухими, в корках, губами — звука не получилось.

Ни разу в жизни еще не приходилось ему приводить в чувство женщин, оказавшихся в таком состоянии. Обходилось до сих пор, как ни странно. Простая, отчасти брезгливая жалость мешалась с досадой на ненужные, навязанные хлопоты, заставившие оторваться от другого, своего, как раз к этой минуте наметившегося, назревавшего, важного.

Первым делом он подался на кухню. Электрокипятильник обнаружился быстро, заварочный чайник сразу не нашелся, и не хотелось искать. Невелико удовольствие — рыскать по чужой, непонятной кухне. Чай был в пакетиках, он положил в чашку сразу два — нужен был покрепче. А сахару вот не догадался купить, и не было его тут. Лишь остаток шоколада в мятой обертке завалялся на кухонном столе.

Вода закипела быстро. Он принес чашку в комнату, поставил на тумбочку возле кровати. Надо было ее приподнять, усадить. Под одеялом Сабина оказалась в халате. Край одеяла был запачкан чем-то липким. Дотронувшись до халата, Зимин обнаружил, что запачкан был и халат. Ее рвало, понял он брезгливо.

Намочил в ванной край полотенца, подошел отереть ей лицо.

— Я ничего не хочу, — сопротивлялась она слабо. — Я не могу.

Ее лихорадило. Зубы стучали о край чашки. Вдруг ее скорчило в рвотном приступе. Но уже не оставалось, чем рвать. Желчная, цвета птичьего помета, струйка стекла на подбородок.

— Ну-ка, ну-ка, — отодвинулся невольно Зимин. — Знаешь что? Вставай, пойдем в ванную. Горячее тебе не помешает.

«Ты» прозвучало естественно, незаметно. Он все-таки заставил ее подняться, повел, поддерживая подмышкой, но слегка отстранясь, чтобы не запачкаться.

— Я ничего не хочу, — слабо повторила она. — Я не больна, как ты не понимаешь? Ты не умеешь сочувствовать, нет.

Зимин ввел ее в ванную, подержал, проверяя, сможет ли она стоять сама. Отнял руку.

— Стоишь? Пстой немного, я тебе сейчас налью ванну.

Он попробовал рукой воду, незаметно смывая при этом следы липкой гадости. Пусть лучше будет погорячее. Правильней было налить ванну сначала, потом поднимать с постели ее. Но, пожалуй, лучше ей сначала ополоснуться в душе, ванну она сейчас только испачкает.

Оглянулся на немку. Она стояла, покачиваясь, с бессмысленной улыбкой на губах.

— Ты сможешь постоять под душем?

Она откликнулась горловым звуком, похожим то ли на стон, то ли на смех. Рука медленно расстегивала одну пуговицу за другой. Самая нижняя пуговица осталась не расстегнутой, нагибаться она не стала, просто высвободила плечи, халат стек под ноги на пол. Под ним не было ничего.

Зимин помог ей перелезть через край ванны. Осторожно брызнул водой.

— Так не горячо? На, держи... Ты можешь держать сама?

Она взяла в руку душ. Он сразу же дернулся, Зимина облило горячей водой.

— Да держи, дура! — прикрикнул он.

Сабина смеялась. Смех казался теперь совсем другим — оживавшим.

— Дурак одетый. Я не больна, как ты не понимаешь?

Он стянул мокрую рубашку, быстро скинул все остальное, перелез к Сабине. Взял душ, поднял над ее головой. Волосы сразу потемнели, опали, как опадают взбитые, слишком пышно взбитые сливки. Какая там стальная прическа? Лицо стало меньше, незащищенной и трогательней — лицо мокрой, постаревшей девочки. Мокрая голова наклонялась, и сама она медленно опускалась под струей воды. Сначала на корточки, потом стала перед ним на колени.

— О, — сказала она и тронула кончиком языка. — О-о, — сказала, отпустив и облизывая языком губы. — Du bist süß wie Hönig...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Забыть про часы, не завести, оставить на стеклянной полочке в ванной — экспонат для кого-то, кто когда-нибудь полюбопытствует. Зачем был этот предмет? В нем совершали круги две стрелки, больше не движутся. Нет надобности. Незачем отсчитывать цифры, делать черточки или зарубки. Здесь, внутри стен, они не имеют значения. Выходить отсюда не требуется. Паучиха скучает в сторожевой засаде, дожидается, не дрогнет ли сигнальная ниточка. Пускай себе ждет. Не нужно даже открывать окна, затененные полупрозрачными жалюзи: прохладу и свежесть в отгороженном пространстве обеспечивало предназначенное для этого устройство. Необходимое пропитание приносит сюда женщина. Ей выходить понадобилось хотя бы для того, чтобы привести в порядок прическу. Восстановить вполне прежнюю не удалось, мастер был не тот. Зато вернувшись, рассказала с довольным смехом, что на нее по пути несколько раз оглядывались мужчины. И не в прическе было дело, нет. Ему она принесла бритвенный прибор, рубашку вместо испачканной, несколько смен белья, носки — с избытком, чтобы не думать о стирке. Хотя в такую жару можно было вовсе не одеваться. Есть еще какие-то желания? Скажи...

Не было никаких отчетливых мыслей. Странное ответственное состояние. Чтобы совсем не расслабиться, попробовал утром делать гимнастику. Она, голая, наблюдала с постели, как он пытается отжиматься от пола. Внезапно подскочила к нему, оседлала. Он ощутил поясницей жар между ног всадницы, с трудом выровнялся на коленях. Она пришпоривала его, чтобы мчал, куда ей нужно, веселясь, дичая, чувствуя уже своим телом, что он долго вынести так не сможет, ему уже надо повернуться для другой,

настоящей, желанной скачки — и кто в ней кого станет прищпоривать? Она, снова она! Маленькие грудки ее колыхались, она вскрикивала, торжествующая, овеваемая диким ветром, изголодавшаяся, ненасытная. Es trdgt der Besen, trdgt der Stock, Die Gdbel trdgt, es trdgt der Bock!... о, какие слова, какие звуки могла, оказывается, вспомнить в своем языке женщина, только что эlegantная, деловитая, выходявшая на улицу в облаке искусственных запахов — все они были теперь смыты, перешиблены, проедены другими, собственными, запахом пота, острого, щекочущего ноздри, как муравьиная кислота, головокружительного лесного дурмана, болотистых темных недр, из которых поднимались, непристойно булькали, клокотали, лопались пузыри. Расползаются туманными ключьями построения разумных философов, грезы поэтов, болтается, волочится по земле разодранная забытая упряжь: кто это казался себе таким обузданным, рассудительным? Что мы о себе знали? Прорывается, прет наружу — есть чего испугаться. Ничто никогда не исчезало, затаилось, притихло, дожидалось своего часа — спроси этого седого голого дикаря, он знает, он тоже умеет вспомнить слова.

2

Ей нужны были от него слова, они на нее действовали особенно. Касалась его легкими пальцами, скользила медленно от груди вниз по волоскам, как по ореолу, окружавшему тело.

— Как это называется по-русски? — спрашивала полупшепотом.

— Ты сама знаешь.

— Но я хочу слышать от твоего языка. У тебя такие слова! Я даже не думала, что можно так любить за слова языка. Я буду говорить по-немецки, а ты по-русски... нет, лучше наоборот. Я хочу на всех языках... слова сладкие на

языке. Как хорошо: по-русски это тоже язык, да?.. вот этот?.. А это что? Говори!

— Как я могу... — с трудом пробивался он, — когда язык... когда губы заняты?

— О, это тоже губы? А это?..

Она дожидалась, предвкушала, вытягивала из него самые грубые непристойности, повторяла сама. В чужом произношении их грубость звучала как-то видоизмененно, заставляла сглатывать слюну.

— О-о, — не бормотала она — клекотала, покусывая ему плечо, чтоб заглушить рвущееся из горла, и потом опадала, раскидывала изнеможенно руки... — Это безумие, да? Я не думала... не знала... не могла этого ждать... Подожди, еще немного не уходи. Ты не хочешь меня оставлять? Я старая... я знаю, что старая.

— Я тоже не юноша, — отвечал он. Самое честное, что можно было сейчас произнести. Но что же это в самом деле было такое? Не с чем было сравнить. Вообще ничего не мог вспомнить, и незачем теперь было стараться. Пржнее совсем куда-то ушло. Отпустило, угасло...

— Хочешь выпить еще? — предложила она. — Подкрепиться?

— Ты называешь это подкрепиться? — слабо возразил он, но стакан у нее взял. Себе она не налила; если теперь и пила, то совсем чуть-чуть. — Тебе не кажется, что я пью слишком много?

— Не много, — сказала она. — Тебе хорошо пить. Ты не старый, ты только седой. И тут тоже седой. — Потрогала, стала перебирать, слегка поправлять пальцами. — Это красиво. Хочешь, я тоже разрешу здесь у себя отрасти? Я сама даже теперь не знаю, как тут может вырасти, если разрешить. И вот тут, под руками, под... мышками, да? Нас учили следить, чтоб не росло, это считалось неприлично. Я больше не буду брить. Хочешь? Скажи!

Тронула себя, средним пальцем отметив устье прозрачно прикрытой ложбинки.

— Ты не представляешь, что здесь может вырасти. Я сама давно видела, но потом стала бояться. Мне сказали: это, как у ведьмы. Черный куст. Нельзя, чтоб так было видно... А если я настоящая ведьма? — сказала вдруг с тем же странным смешком. Что-то подпирало, просилось — не могла удержаться. — Только сама боялась знать. Но меня угадали.

— Кто это тебя угадал? — вяло прислушивался он к ее болтовне.

— Одна русская ведьма. Ты ее тоже видел. Она сидит тут, внизу.

— Это какая?

— Что какая?

— Их две? — пояснил он полувопросительно.

— Одна. Почему две? Я чувствовала, что ее можно бояться, казалась не совсем нормальная. Всегда хочет говорить, как две женщины. Она знает, что ты здесь, она все знает. Я ей дарила бутылку, чтобы немного молчала. Но это была ошибка. Когда я возвращалась, она была хорошо пьяная. Она поманила меня пальцем, я подошла. Почему ее надо слушаться? Но я подошла. Хочешь, говорит, я тебе тоже кое-что подарю? Я тебя разглядела... О, это нельзя повторить, что она мне говорила. Так бесстыдно. Мужчины не знают, как умеют говорить женщины. И здесь, и у нас тоже... Нет, я тебе скажу. Я хочу сейчас быть бесстыдной. Дай мне тоже глотнуть из твоего стакана, сейчас я хочу... О, хорошо!.. Я, говорит, тебя разглядела. У тебя волосы, где ты не красишь, черные. У тебя мать была черная ведьма. Но я тоже ведьма, я тебя угадала.

— Зачем ты эту ненормальную слушала? — поморщился Зимин. — Да еще когда она пьяная.

— Нет, не просто пьяная, — помотала головой Сабина. — Ненормальная, да. Но про маму тоже можно было сказать... я не знаю. Если она догадалась? Мне одна старая соседка так говорила, в деревне, где мама жила до меня. Когда меня еще не было. Я только один раз туда приехала.

Она сказала: у тебя глаза, как у твоей матери. От ее глаз умерли две моих коровы.

— О, господи! — поморщился Зимин. — И у вас этот вздор, эти деревенские пересуды.

Он словно впервые попробовал по-настоящему присмотреться к ее глазам. Зрачки в затененной комнате были расширены, обвод вокруг них отсвечивал желтизной.

— Да, вздор, пересуды. Я мало умела спросить, я не старалась. Мама хотела быть белокурой арийской девочкой, но у нее была репутация, да. Почему она после войны не хотела жить, где жила? Она мне никогда ничего не рассказывала. Я совсем мало про нее знала. Я ее боялась. Она меня не любила. Потому что моя сестра умерла, а я такая здоровая.

— Перестань городить чушь, — попытался ее остановить Зимин. — И не начинай снова пить, хватит.

— Чушь? Городить? Я не знаю, как это... нет, дай мне совсем твой стакан, я хочу допить до конца. Я столько лет была замороженная. Она меня посылала в такую далекую школу, строгую, как монастырь. Ей надо было всегда держать меня в своей власти. Даже здесь, теперь. А я теперь сама хочу. Я хочу быть ведьмой. Хочу! Тебе так ведь тоже нравится?.. О!.. Нравится, это не спрячешь. Я тебя возьму сама, лежи так. Я ведьма! Я ведьма! О-о!.. Почему ты не спрашиваешь, что эта русская ведьма хотела мне подарить? Она сказала: у меня есть одна хорошая настойка, чтобы он любил, могу поделиться. Денег не надо, только потом разок поделишься со мной тоже. Как смешно, да? Я сразу не поняла... Почему ты так смотришь?

Он попробовал приподняться на локтях.

— Ты это что, серьезно?

— Нет, конечно нет, — спохватилась она. — Почему ты встаешь? Я хочу еще пить. У меня истерика. Не слушай. Это глупость. Я вру. Я просто хочу иногда быть ведьмой. Разве это нельзя понять? Я устала от нормальной жизни. Не слушай. Ты такой сильный, тебе ничего не надо. Если

захочешь, есть настоящие таблетки, немецкая фармацевтика. Но это если захочешь. Нет, тебе зачем? Я не ожидала, правда. Я даже немного устала. Ты тоже устал, да? — молчания она долго не выносила, начинала беспокоиться, требовала от него слов. И опять, не дожидаясь, спешила продолжить сама, чтобы заглушить, заговорить прежнюю неосторожную болтовню. — Тебе же не плохо, да? Не бойся, я тебе скоро дам отдохнуть. Может, завтра, послезавтра. У тебя будет несколько дней...

3

Вечером можно было поднять жалюзи, не включая света. Просторное окно превращалось в громадный экран. Вместо неба загорались, не дожидаясь сумерек, разноцветные огни рекламы, перемигивались, крутились, исчезали, вспыхивали, менялись, но неизбежно повторялись снова. Их набор был так же ограничен, как набор новостей, которые пробегали недолгой электрической строкой где-то на самом верху окончательно растворившегося в ночи здания. Футбольные матчи заканчивались с почти одинаковым счетом, курс доллара менялся не больше, чем температура воздуха за окном, и все это значило не больше, чем свечение точек, сложенных в переменчивые буквы одного из алфавитов. Включать телевизор не имело смысла, там воспроизводились те же новости, та же реклама.

Предметы в таком освещении совсем теряли реальность. Расплывшееся в сплошную тень кресло дремотно поджидало неосторожную добычу. От того, что было днем мебелью, оставались черные вертикали и перекладыны. Какую-то из них можно было назначить полкой, какую-то столом, какую-то подставкой для телевизора. Гигиенические, отблескивающие законными огоньками поверхности. Силуэты быстрозаменяемой аппаратуры без прошлого и

будущего. Кровать — функциональное устройство для сна, бессоницы и удовольствий. Журналы и книги на полках — элементы интерьера, не более. Несколько фотографий или картинок в рамках — пятна среди пятен.

Жизнь нигде, — оценивал Зимин свое рассеянное состояние. Геометрическое пространство, ничейное жилье, комфортабельная выгородка. Выпал из времени и уже с трудом вспоминаешь, что осталось там, в прежнем месте или в другом измерении. Что-то, что называлось заботами, работой, мыслями. Нет желания ничего менять. Превращен в то, что есть. Счетчик выключен. Если и щелкает, то не здесь...

— Тебе понравится мой дом, — говорила Сабина, закуривая. — В хорошем пригороде, зеленый газон. Я сама там бываю редко, надо много ездить. Но будет хорошо немного заняться хозяйством, самой готовить еду. Нас в школе когда-то учили, я вспомню.

— Сменить бы картинку за окном, это надо, — ответил Зимин не ей — своим мыслям. Не сразу подключился к ее словам. — Одна и та же картинка, — пояснил он, — вот что может утомить. Если бы менять ее в нужный момент по настроению.

— О это была идея Боба! — оживилась Сабина. — Моего последнего... как это теперь говорят? — друга. Он сделал очень удачную программу для фирмы, это в Silicon Valley, в Америке, получился успешный бизнес. Вот у кого дом — это надо действительно смотреть. Мы первый раз подъехали к нему в машине. Вдруг зажигается много огней в саду, в окнах. Я подумала: как много здесь персонала. Нет, он сам оживал, просыпался. Он приветствовал хозяина издали, как будто узнал. Потом залаяла собака. Я ждала, что сейчас она выскочит нам навстречу...

Сабина оживлялась все больше, вспоминая подробности. Собака была, оказывается, электронная. От нее существовал только голос. Без собственной прислуги Боб мог обходиться, приходили, когда надо, от фирмы.

— Утром голос женщины сказал нам: «Кофе готов, дарлинг». Это был голос его прежней подруги. Сейчас она, возможно, говорит еще моим голосом. — Усмехнулась, затягиваясь сигаретой. — Я, конечно, не могла с ним оставаться всегда, это невозможно. Никакая женщина бы не могла. Его секс... нет, я это не буду говорить, дело не в этом. У него ни на что нет времени. Он с детства очень любил собак, но не нашел времени завести настоящую. Он всегда любил музыку, у него собрались горы записей, дисков — вся музыка в твердом виде. Но слушать некогда. Про книги вообще нет речи. Ему каждую минуту надо иметь коммуникацию. Да, вот человек, который не может быть одиноким. При себе должен быть всегда мобильный телефон, пейджер, разные... как это по-русски? handy, laptop. Даже если шел в ресторан, в бассейн, уезжал к морю. Он должен быть всегда доступным для информации, которая его ищет, всегда подключен к сети, двадцать четыре часа в сутки, без выходных. Иначе надо сойти с дистанции. Как же иначе? Так будет устроена жизнь будущего: каждый всегда может быть связан с каждым. Я тоже могу связаться с ним хоть сейчас, но зачем? Ему тогда было тридцать четыре года, он миллионер. Он мог бы теперь совсем не работать, но не знает, как это сделать. Усталость, депрессия — у него этого нет. У него все в порядке. Даже слишком все в порядке. В Италии ему ремонтируют небольшой замок, он не хочет туда ехать, он уже везде был...

Сабина поискала, куда стряхнуть пепел с сигареты, дотянулась до пустого стакана.

— Да, — спохватилась она, — я начала говорить о другом. Однажды он мне рассказал свою новую идею. Сделать в доме такую стену, чтобы она могла меняться, когда я захочу. Ты хочешь оказаться в джунглях, слышать, как кричат обезьяны, видеть их — будет все. Даже запахи, даже горячий воздух, это возможно. Это не проблема. Проблема есть другая. Когда не знаешь, чего хочешь. Это он сказал. Я тогда рассмеялась.

Она засмеялась и теперь.

— Он ведь тоже немного художник. Он стал говорить мне про совсем фантастический проект. Собираются подробные данные про человека, досье про его жизнь, характер, вкусы, темперамент, цвет волос, я не знаю, что еще. Все. Вводятся в мощный компьютер, обрабатывается. Сканируются изображения. Но компьютер должен реагировать не на текст, не на клавишу, даже не на голос, а на мысли в мозгу. То есть он будет откликаться на мысленные желания, выполнять их раньше, чем человек сам понял, чего он хочет. Вот идея. Компьютер может подсказать сам. Предложить, увлечь, дать смысл. Я смеялась, но он говорил, это будет можно. Если электроника откликнется на прикосновение, зрачок глаза, почему не может на мысль? Как ты думаешь?

Зимин потер лоб. Что-то творилось с его головой. Американца только что звали Павлик... Очнулся, как от странного видения.

— Вообразить я могу все, — не сразу ответил он. — Но будет ли хорошо, вот что бы понять сначала. Мысли, желания, в которых сам не успел себе дать отчет — это может быть опасно.

— Да, да, — отозвалась она без интереса. — У тебя идеи художника, он человек техники. Вас хорошо бы соединить. Он мне говорил, уже есть настоящий заказ от фирмы, это обещает большой бизнес. Тебе тоже бы нашлась функция, а? Вы здесь умеете больше воображать, потому что еще мало знаете. Европа, Запад уже стареет, поэтому любит возвращаться в детство. Хочет что-то придумывать, чтобы радоваться жизни... Что ты на меня так смотришь, как будто понимаешь мои глупости? Ты тоже можешь сказать, чего сейчас хочешь? — спросила вдруг с непонятым раздражением. — А? Или ничего не хочешь? Или не знаешь, чего хочу я? Выпить еще, вот чего. Не бойся, это не называется пить, это помогает...

В разговоре ее, в повадках все заметней начинала проявляться нервность. Закуривала сигарету за сигаретой, выпускала дым из ноздрей, ходила по комнате, не докуривала, придавливала окурки о что попало, оставляла их в разных местах. Вдруг стала перебирать видеокассеты на полке — может, что-нибудь посмотрим?

На коробках были изображения полуголых и голых красоток, они томно свивались, ласкали одна другую.

— Черт, эта Лор не интересуется, кажется, ничем, кроме бабьих лизаний, — поморщилась Сабина. — Мужчины ее совершенно не интересуют, они для нее — бр-р! — показала она гримасой. — Как большие противные насекомые, так она мне говорила. Она и меня хотела привлечь в свои убеждения. Ты почувствуешь настоящий вкус, будешь лучше сознавать свою женственность... Нет, это было не очень. Когда я была девочкой — это виделось хорошо, может быть. Но тогда это было нельзя. А сейчас... О, какая картинка, ты посмотри! Тебе это может нравиться, да? Почему ты молчишь? Не хочешь признаться?.. А это что у нее? У-у-у, какой предмет! — вытащила спрятанный за кассетами изрядных размеров муляж. — Какой громадный! Ей такой нужен? Тебе нравится, нет? Или, может, раздражает?

Нажала кнопку, устройство задрожало у нее в руке. Она обхватила пальцами, пробуя ощущение, потом выключила, кривясь.

— Нет, такой не надо. А что надо? Почему ты не отвечаешь? Ты не хочешь мне отвечать... О, смотри, какое название! — нашла вдруг она. — The hardest porno-suite. А коробка совсем без картинки, чужая. Запись без лицензии. Хочешь посмотреть? Я не знаю, чего я хочу... но посмотрим. Я хочу бомбу..

Она включила видео. Сначала возникла музыка, нащупывающая, прерывистая, тихая. Переливчатые цветные пятна не до конца фокусировались, расплывались снова, понемногу проявлялись отчетливей, обретали объем. Колыхались, отблескивали под солнцем зеленоватые волны. Смуглый голый человек раскорячился на обломке большой доски, иногда поднимал голову, вглядывался вперед. И вот весь приподнялся на корточках, в измученных глазах засветилась надежда. Остров возникал из тумана, силуэт шестирукого божества на вершине холма. Легкий пенистый прибой омывал берег, музыка вторила накатам и откатам волны, ласковому плеску на мелководье. Человек выбирался на гладкий склон, не вставая на ноги. Он всем телом прильнул к нему, прикоснулся губами — склон вдруг всколыхнулся вместе с музыкой, словно сам был дышащим загорелым телом. Шевельнулись сразу шесть конечностей все еще непроявленного силуэта...

Зимин с недоумением смотрел на экран. Приоткрылся внимательный человеческий глаз без ресниц, вместо бровей — пучки ярко-оранжевых длинных щетинок. Что-то все более очевидное проявлялось в очертаниях дышащих нежных холмов, ложбин, слегка еще прикрытых туманом. Выбравшийся на берег был здесь, оказывается, не один. Похожие на него передвигались по мягким округлостям. Сверху это напоминало копошение насекомых. Сабина покривилась в невольной брезгливости. Кто-то успел украсить себя цветистыми перьями, спины разрисованы были узорами. Порой двое сталкивались, поднимались угрожающе во весь рост. Телодвижения победного торжества сменялись танцем любовного призыва. Странно, что спереди этих возбуждавшихся все больше самцов не показывали — при таком-то названии!

Одновременно что-то менялось вокруг. Обозначались явственней впадины, приоткрывались устья ложбин, начинающиеся расселины, расправлялись, вздрагивали влажные лепестки. Все выглядело лишь отчасти реальным —

какими компьютерными приемами так видоизменялись исподволь очертания? Неуловимо стали преобразаться тела. Они еще казались человеческими, но постепенно вытягивались, упрощались, вырастали, темнели, и вот на безглазой головке оставался лишь крохотный беспомощный ротик. Бывшее только что существом с выпученными от страсти глазами вслепую тянулось к темной распаивающейся глубине — уходило в нее. То, что оставалось снаружи, подергивалось, совсем уменьшенное, незначительное, шевелило крохотными конечностями. Музыка следовала за совершавшимися все более мощно движениями. Уже не наслаждение слышалось в этих ритмах, в конвульсиях, взрывах, трепете — предчувствие назревающего, неизбежного ужаса. Всхлипы, чмокание, стоны, верещанье, мычанье, вой существ, не понимавших, во что они оказались превращены и кем, какая сила заставляла их делать то, что они делали. Шестилапая владычица зачарованного острова уже готовилась приступить к своему торжеству. А вы думали? Как это у вас смешно говорили: стать плотью единой? Брошу сердце свое к твоим ногам — ах, красиво же звучала сейчас эта ария, по-итальянски, что ли? Нет, мне нужно тебя заглотать целиком, присвоить всего, без остатка, сделать частью себя, и кишочки сладенькие, и сердечко, и что там у тебя еще?.. Двигутся в механическом ритме чудовищные жующие челюсти, похрупывают. Гулкие удары литавр, последние судорожные шевеления...

Сабина вдруг резко выключила рекордер.

— Я не могу это смотреть. Меня сейчас стошнит. Какая-то отвратительная перверсия. Я понимаю Лор, как она говорила, что это мерзость... Почему ты пожимаешь плечами?

— Я уже путаюсь, как теперь что называется. Извращением, кажется, принято было считать то, от чего не бывает детей. От чего они бывают, то естественно.

— Не понимаю? — переспросила Сабина. — Почему естественно? Зачем она их ела?

— В природе такое бывает. Сделавшие свое дело становятся не нужны, другие заботятся о потомстве. Мы не досмотрели до конца, там дальше, может, дойдет до этого.

— Ужас! — передернуло ее снова гримасой.

— Что ужас? Дети?

— Почему ты говоришь: дети? Ты бы этого хотел? Для тебя извращение — то что со мной, да? Скажи!.. Почему ты не отвечаешь?

— Странные вопросы.

— А ты думаешь, я уже не могу спрашивать? — В голосе ее зазвенело напряжение. — Меня это просто уже не касается, да?..

До чего, однако, он стал туго соображать! Вот к чему она, оказывается, клонила? Он действительно ни о чем таком не думал, считал это ее заботой.

— У тебя есть основания беспокоиться? — проговорил, наконец, осторожно.

— Ты не хочешь ответить, ты всегда не хочешь ответить! — Смяла сигарету нервным движением, придушила о пепельницу.

— Мне просто не приходило в голову. Надо перестроить мозги. Переварить... Ты уже уверена?

— Я не знаю. Я считала, что у меня этого не может быть. Почему так? Я не хочу.

— Не спеши, — проговорил он. — Есть время подумать.

— Подумать? Ты понимаешь, что это такое? Какой это конец всему?

— Почему конец? — неуверенно пробормотал он. — Можно считать началом...

Зачем я это говорю? — прислушался сам к себе.

— Ты говоришь, как наивный идиот, — с ней опять начиналась, похоже, истерика. — Я старая, старая! Я хочу быть старой...

Тень оконных жалюзи охлаждала легкими полосками кожу. Беззащитность нежных лопаток, хрупкость позвонков. Он погладил ее по голове. Волосы были опять жесткие от лака. Она поймала его руку, поднесла к губам, стала целовать пальцы...

Я должен что-то сейчас чувствовать, прислушивался к себе Зимин. Мысли словно растеклись от жары. Выползло откуда-то слово яйцекладка, запуталось, не желало убраться... Со мной творится неладное, подумал он. Надо все-таки по-настоящему собраться с мыслями. Понять по крайней мере, чего хочешь сам...

5

Перед тем, как отправиться по делам, Сабина уселась звонить по телефону. Разговорами это назвать было нельзя, собеседника на другом конце провода не было. Она в чем-то убеждала записывающее устройство, один раз по-немецки, другой по-английски. Раздражение, нетерпение, возмущение обращены были к прибору; когда не понимаешь язык, интонация кажется особенно неестественной.

Все. Теперь, наконец, надо действительно встать, сказал себе Зимин. Одеться, обуться по-настоящему. Было чувство, словно что-то начинало уже меняться, само, независимо от решений и обоснований — от одного лишь сознания. Неужели возможен еще такой поворот? Начало еще одной жизни? Со всем, что в этой жизни бывает? В возрасте, когда уже перестал думать о таких переменах... еще не укладывается. И лишь начинаешь ощущать, что до сих пор даже еще не знал, сколько может быть пугающего, бездонного в области, которую никакими известными словами не описать. По горизонтали: возвышение сердца, подъем царя к жрице на семиступенчатое святилище Мардука, то, о чем поет Суламифь, шесть букв, последняя мягкий знак. По вертикали: сладкая ловушка

природы, губительный обман, цель которого — продолжение общей жизни, область насилия и смерти. Буквы те же. Одно и то же слово надо повторять в словаре под разными цифрами, как омонимы. На других языках другие, проблема за переводом. Что называлось греческим словом агапэ? О нет, это уже совсем другое. Любовь как божественная благодать или что-то в таком роде. Все ответы неправильные, попробуйте сначала проверить. Если есть, что проверить. Подсказки не полагается, только запутаетесь еще больше. Попробуйте пойти по второму кругу. Только разве он окажется тем же? И опять не готов ответить...

Внезапно зазвонил телефон. Впервые услышал здесь Зимин этот звук, странно чужой, незнакомый. Поколебался, подойти ли. Откликнуться на иностранную речь он бы не смог — звонили не ему. Звонок повторился еще раз, другой — не дождался, замолк.

Что если и меня сейчас кто-то вот так же не может дозваться? — подумал он. Звонит, и некому подойти... Он стоял, тупо уставясь на аппарат. Лишь тут впервые заметил на нем в окошке электронные цифры. Пульсировало двоеточие, цифирки сменились. В самом деле сменились. 10.45 — 11 Juní. А год какой? Какой сейчас год?..

Зимин потер переносицу двумя средними пальцами. Рубашка оставалась надетой лишь на один рукав, другой повис. Он продолжил одевание. Телу было непривычно вспоминать ткань, ступням тяжесть обуви. Что-то еще он не мог найти, не мог вспомнить. Какого числа я сюда пришел?.. Прошелся взад-вперед по комнате. Остановился возле входной двери, автоматически потрогал ручку. Нажал, толкнул, потянул на себя. Почему каждый раз эта проблема с дверью? Значит, Сабина заперла его снаружи, а ключи унесла с собой...

Едва он это подумал, дверь отворилась. Сабина вернулась раньше, чем он ожидал. Чмокнула его в щеку, сунула в руку пакет с покупками, оживленная, повеселевшая, как-то вздернутая. И тут же скрылась в ванной.

— Ты несколько дней будешь отдыхать, да? — сказала, выходя.

— Что-нибудь?.. А, — понял он, не договорив. Значит, обошлось само собой.

— Я смотрю, ты уже оделся. Захотел сразу уходить?

— Если ты меня не запрешь, — сказал он. — Я не могу без ключей открыть дверь.

Она засмеялась. Ключи были нужны, чтоб открывать дверь снаружи. Изнутри это делалось вот так, просто...

— Мне никто не звонил? — спросила, выкладывая на стол свертки.

— Был какой-то звонок. Я не успел подойти, — со- врал он.

— О! — сказала она и включила автоответчик. Голос, показавшийся похожим на Сабинин, заговорил по-не-мецки, с той же интонацией, приспособленной для разго-вора с прибором, не с человеком, но более спокойной, легкой. Она слушала и веселела.

Как все удачно складывалось, одно к одному! Это была новость, которой она ждала. У подруги получил поддержку желанный проект. В Бремене был задуман целый неболь-шой квартал — поселение только для женщин. В средние века существовали такие общины бегинок, не совсем мо-нашеские. Благочестивые одинокие дамы просто поселя-лись здесь обособленно, без мужчин. Мужчины могли им наносить не более чем визиты, по взаимному желанию и согласию. Это будет своего рода ретро, объясняла Сабина. Ей предлагалось в проекте участвовать.

— Представляешь? — философствовала она, наливая себе в стакан колу. — Общество помогает снять проблемы тем, кто хочет иметь полноценное одиночество. Одиноче-ство как привилегия. Проект будущего века: жить в свое удовольствие. Уже есть много желающих, есть спонсоры. Ты поедешь немного потом, да? когда я пришлю вызов?..

6

Все правильно, так и должно быть, — повторил он, когда она снова ушла. Не до конца составленная в уме картинка рассыпалась от легонького толчка, и стоило ли ее собирать снова? Домик, дым из трубы, пуховые облака в небе, кошка на коврике, собачка под столом. А посерединке дети. Ссыпь все обратно в коробку. Смешно, в самом деле. Учись у женщины быть ближе к реальности. В реальности все осталось, как было, привести в порядок надо что-то внутри...

У самой двери его остановил все тот же телефонный звонок. Некоторое время он выжидательно смотрел на аппарат: еще разок, и переключится на автоответчик. Нет, Сабина, видно, на сей раз не сочла нужным об этом позаботиться. Звонок продолжал и продолжал дребезжать требовательно, настойчиво. Он, наконец, поднял трубку.

— Алло?

В трубке слышалось натужное, прерывистое, непонятное сопение. Дохнуло жарким болотистым запахом.

— Ну... сообразил, наконец... ой, вот так хорошо... Поддай еще голос... мужчина, — задыхаясь, хрипела женщина. — Ты что, не слышишь? Не молчи, поддай, говорю, голос... ну, ты же мужик, интеллигент, скажи слово, нужно же кончить... уй-иии, слово скажи, никак не могу сама...

— ..., — выматерился Зимин.

— Уй-иии..., спасибо, — не выдохнул, а выпустил воздух голос.

Зимин прикрыл глаза. Трясина еще пузырится, поглощая останки, запах, дыхание душных тропиков, успокаивается, переваривает, клокочет, сочится...

Я, кажется, заболеваю, — подумал он.

Главной заботой было не издать шума, поворачивая ручку, открывая, потом закрывая хорошо смазанную, слава Богу, дверь, так, чтобы не щелкнул замок. Снизу доносились громкие голоса, беседовали две женщины. Все равно, решил он. Теперь все равно. Пройду.

Занавеска на окне сторожевой комнаты была раздвинута во всю ширину стекла, открывая сцену. Розовое покрывало было непристойно раскинуто, смято. На телевизионном экране освежались чаем две женщины. У одной, в голубом капоте, лицо было распаренное, потное, волосы под легкой косынкой мокрые, как после бани. Она держала блюдце на пяти пальцах, подносила к вытянутым губам, звучно присасывалась. Другая была в очках, на волосах бигуди, капот розовый — тоже, кажется, после купанья. Чашку она держала культурно, оттопырив мизинец. Обе были на одно и то же, узнаваемое лицо. На столе перед ними покачивалась круглая кукла-неваляшка, похожая на обеих. — А что же насчет загадочных сил? — спрашивала голубая.

— Пусть верит, кто хочет быть в дураках, — отвечала другая, в очках.

— Зачем же так откровенно?

— А все равно. Смейся, не смейся — найдется, кто клюнет. — И подливала себе в чашку из чайника в крупных красных румянцах. — Мы ведь свое все равно возьмем.

— Ну, с этим я не спорю, — согласилась собеседница.

И вдруг обе уставились с экрана прямо на Зимина.

— Вот он, появился, — сказала розовая, в бигуди. — Ты глянь, какой у него вид. А ведь воображал о себе!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

У самого дома он оказался застигнут дождем, поначалу легким, шаловливо заигрывающим. Не хотелось от него укрываться, приятно было ощущать живую свежую влагу на лице, на коже. Она затекала с промокших волос за воротник, пробиралась, теплая, к лопаткам. Потом, однако, разошлось не на шутку, окатило ливнем, как из поливальной машины — и прятаться показалось поздно. Все равно что признавать шутку неудачной.

Стоило войти в подъезд, как влага неприятно остыла. Дохнуло простудным сырым холодом. Даже пальцы стали непослушны, не сразу удалось вставить в замок ключ.

Застоявшийся, сиротский воздух встретил его в прихожей. С вешалки что-то само собой соскользнуло, шмякнулось на пол. Это был старый зонтик, забытый там, наверху, с прошлого дождя. Укоризненное легкое напоминание: вот же я где был, а ты, значит, предпочел мокнуть? Зимин развел руками, принимая упрек. Вернул зонтик на место.

Квартира встречала его смущенная, неуверенная. Так встречает после долгой разлуки провинциальная родственница, когда-то самая близкая. Как умела она обласкать, как ублажала незамысловатыми угощениями: шанежки с простой, конечно, картошкой, но в магазине у вас таких не купишь, правда? И настойка вишневая собственного изготовления, ты ее когда-то любил очень, нахваливал, помнишь? А? И поглядывала с улыбкой ищущей: я, наверное, сильно изменилась, да? Ты как будто меня не узнаешь. Ну хоть, наконец, разденься, стащи с себя промокшую одежду, простудишься. Деньги, тоже волглые, из кармана выйми. И это, и это сними. Надо повесить все на сушильную трубу в ванной. Забыл, где это? Ну вот, наты-

каешься на коробку. Что смотришь? Она тут всегда стояла, в ней всякое старье на выброс, так и осталось...

Труба оказалась холодной, горячая вода из крана не полилась — отключили. Обычный летний ремонт, предупреждали, забыл. Очень некстати. На краю ванной скопился ржавый потек, краны выглядели совсем уж погрязневшими, старыми. Раньше этого не замечал. Успел привыкнуть к другой, европейской сантехнике.

В холодильнике на кухне осталось полбутылки недопитого выдохшегося пива. Черная горбушка в хлебнице начала плесневеть. Надо ее выбросить в ведро, и ведро опустошить, уже от него пахнет. Но сначала выпить горячего чаю, то есть сначала вскипятить. Сейчас... только вспомнить что-то еще...

Право, что-то произошло с квартирой, пока он отсутствовал. Все успело скоропалительно постареть, помрачнеть. Верхняя лампа, которую пришлось зажечь среди бела дня, света почти не добавила. На плафоне проявился серый пыльный налет. Полки под тяжестью книг прогнулись — раньше этого не замечал. Что-то время от времени пощелкивало, поскрипывало, расправлялось, потягиваясь.

Вот так мы без тебя и жили своей жизнью, — слышалось в этих звуках. Рассыхающиеся паркетины, отстающие от стены обои. Перетерпели жару и сухость, пора опомниться. Дождик увлажнил воздух, хозяин вернулся, вот и хорошо, вот и славно. Как в самом деле было бы без него, что с нами бы стало? Никому больше не понадобится ношеное, трухлявое, устаревшее. Наследники не объявятся, не приедут из-за океана. Отдаленные, недостоверные родственники давно растворились неведь где, так ведь? Если кто выявится, то разве что на дележ квартиры. А нам одна дорога — в мусорный контейнер, на свалку, перегнивать. Куда же еще? Это понятно, так и со всеми должно быть, не музейные экспонаты. Но вот там ведь еще на столе, видишь? листки в папке, на них что-то уже написано? Неужели не жалко? Что смотришь, как будто разучился читать? С похмелья, что ли? Ну, это бывает...

Нет, если это было похмелье, то какое-то особое. Не головная боль, не дурной вкус во рту, тут все было в порядке. Но вот память — с ней, право, что-то творилось. Смотрел на листки, которые сам исписал не так давно, это он помнил. Но не оживало ничто, не наполнялось звучащим смыслом. Невнятный орнамент, трудночитаемый почерк, неразгаданный, затихший голос. Уходящая, ушедшая жизнь, не более. Пункт назначения тот же...

Только вот еще телефон, — Зимин задержался взглядом на черном, ладненьком тельце. Он смотрел на него с виноватой нежностью. Тоже забытый, обиженный, но сохранивший верность зверек. Звал, небось, заливался, а меня не было, да? Ну вот, я снова с тобой, я вас не бросил. Звони еще, звони, вдруг еще кто-то захочет со мной поговорить. Только сначала немного придти в себя.

Становилось все более зябко, надо было согреться. Зимин взял плед, накинул его на плечи, попробовал устроиться, прикорнуть на диване. Скрип диванной пружины похож был на стон — не боли, но удовлетворения. Не думай, что этот звук означает другое. Мы еще не инвалиды. Разве лучше, когда тебя принимают беззвучно, словно какой-нибудь гостиничный безупречный, но чужой, равнодушный служитель? Мы по-свойски. Мы привыкли к повадкам друг друга. Вспомнил, где достать подушку и одеяло? Правильно, тут же, в диванных внутренностях. Покряхтим, приспособимся друг к другу нажитыми неровностями, горбатостями. Одеяло, правда, прохладное, могло бы принять теплей. Но согреетесь, согреетесь еще друг о друга.

Начинало по-настоящему знобить. Он укутался в одеяло с головой, скорчился, припоминая телом первоначальную, до всякого сознания, позу, в оболочке, собирающей, хранящей тепло, в мягкой удобной капсуле, готовой к полету, неизвестно куда, в невесомость, в провал. Приближались одно за другим знакомые лица, узнавались, как верстовые указатели на дороге, без цифр, одинаковые

при всем разнообразии, зеркальный ряд, разрозненные приметы уходящего в прошлое, россыпь древесных листьев или бумажных листов, фокус с карточным веером, где короли и дамы казались знакомы по фотографиям, но не по именам. Тс-с, говорил один другому, не надо будить. Мы и так обмерим, что надо, сделаем снимки. Есть у него где-то семейный альбом?.. Забыл запереть дверь, пробрались, — соображал сквозь сон Зимин, но глаз не открывал. Лучше не показывать, что ты их заметил, красть все равно нечего... В голом виде надо? — спрашивал голос. — У нас уже есть. Не снимай с него одеяло, техника позволяет и так. Теперь достаточно малой пробы, клеточки, капли слюны, а тем более крови, чтобы восстановить полный код. — А голос? Голос нам нужен? — Ну, это не проблема, голос он сейчас подаст. И вместе засмеялись, довольные собственной шуткой. Из тех, что смешны только для своих, постороннему не понять, над чем смеются. Неприятно. Явно же над тобой. Надо это кончить. Надо проснуться.

2

В такую погоду под одеялом оказалось даже чересчур жарко. Он проснулся, вспотевший — вынырнул из провала, где еще отзывался, затихал обидный чужой смех. Сел на диван, уставился перед собой непонимающим пустым взглядом. В комнате было сумрачно.

— Сейчас утро или вечер? — спросил он — и смутился неожиданного звука. Получилось, оказывается, вслух. Сейчас утро или вечер? — — повторил он про себя. Остановившиеся часы так и наслаждались длящейся вечностью на стеклянной полке где-то там, где ванна могла наполняться душистой теплой водой. На каком-то языке это называется нирвана? Забыться, не желать ничего другого? Нет, это не то, это не здесь. Здесь нет горячей воды. Ты еще не вполне вернулся. Где-то еще между явью и сном.

Одурелость спросонок. Звенящая тишина. Отсутствие звука...

Да, вот что было не так: не звонил телефон. А какого звонка ты ждешь? — спросил он себя. От Сабины? Могла бы в самом деле обнаружить уже твое исчезновение, поинтересоваться. Но у нее-то время сдвинулось с места, пошли дела, ты от них в стороне. Если сейчас позвонит — знаешь ли уже, что ей сказать?

Он посмотрел снова на телефон. Захотелось тронуть рукой гладкую ласковую поверхность. Зачем? Ну, узнать, наконец, все-таки точное время, — соединил он мысль. Ты же этого сейчас хотел. Понять, утро сейчас или вечер. Чтобы больше не сомневаться.

Он снял трубку, приложил к уху.

Звука не было — мертвенное безмолвие.

Внутри словно оборвалось. Чего ты так испугался? — сказал он себе. Поощряюще похлопал средним пальцем по рычажку. Оживить черное тельце не удалось.

Ничего, можно починить, напомнил он себе. Обычное дело. Техническая неисправность, не более. Почему ты так сжался? Одурел, честное слово. Раньше мог жить вообще без телефона, было такое время — и ничего. Создали сами себе зависимость от аппарата, а вместе с ней неудобства, тревоги, страхи.

Выбраться до конца из сна все еще не удавалось. Приходилось передвигать в уме угловатые глыбы, составлять, соединять. Чтобы починить телефон, надо было позвонить на телефонную станцию. Так. Но как позвонить в бюро этого самого ремонта, если телефон, по которому можно было вызвать помощь, как раз не работал?..

Ну, конечно же, выйти к уличному автомату. Он нашел старые джинсы — промокшие еще сохли. Нужны, кажется, жетоны? — спохватился он, уже выходя за дверь. Или аппараты теперь вообще другие? Давно не звонил с улицы.

Ближний уличный таксофон принимал только телефонные карты. Вот так. Стоило добираться, чтобы вспомнить уже известное. Солнце после дождя не вернулось, небо затянато было неподвижной пленкой. Во рту совсем пересохло, по горлу точно прошлись наждаком. Надо было чего-нибудь выпить. Вернуться за деньгами, потом на почту за карточкой? Работает ли еще почта? — соображал Зимин. И что делать с этой гудящей тяжестью в голове? Не заболеваю ли я в самом деле?

Рядом с карточным таксофоном оставалась еще старая телефонная будка. Стекла дверцы вверху и внизу были выбиты, пружина, защищающая провод, растянута: кто-то хотел, видно, срезать трубку, но не успел или раздумал. Сам аппарат оставлен был явно по недосмотру. Зимин зачем-то вошел в кабину, снял с рычажка трубку — и неожиданно услышал гудок. Что если аппарат мог работать, не требуя ни монет, ни жетонов, ни карточек? Бывало же такое. Какой номер у бюро?.. не записал. И об этом забыл перед выходом.

В следующий момент обнаружилось, что нужный номер можно было прочесть на листке, тоже сохранившемся за стеклом в рамке. Вдруг все-таки?.. В каком-то азарте он стал крутить диск — и прорвался, сверх ожиданий прорвался, даже с первой попытки! Как будто оправдываться могло именно неожиданное. Откликнулся деловитый голос телефонистки. Он сразу стал говорить про отключившийся телефон, его поторопили:

— Номер ваш назовите?

На какой-то миг он почти испугался, что не сможет сейчас его вспомнить. Голова, голова!.. Нет, вспомнил.

— Подождите у аппарата, — сказала телефонистка, — сейчас выясню.

В трубке остались отдаленные, но внятные голоса. Другие диспетчеры говорили в том же зале по другим телефонам, с другими людьми. «Это ваши проблемы», — послышалось отчетливо.

— Алло! — встрепенулся Зимин, — это вы мне?

— Ваши проблемы, — повторилось, размножилось эхом.

— Алло! — снова крикнул в трубку Зимин.

— Представляешь, уже убежал с работы, — сказал прямо в ухо Зимину голос. — Говорит, жена собралась рожать раньше срока.

— Но вы мне обещали..., — попытался напомнить о себе он.

Короткие гудки — соединение отключили.

Преимущество испорченного аппарата: можно было набрать тот же номер снова без всяких монет. Проходящая женщина с сумкой оглянулась на человека в будке с разбитым стеклом. Мальчик остановился, держа руки в карманах, уставился на него пристально. Один из пацанов, знавших, наверное, секрет, как звонить без денег; сами, может, тут что-то и подсоединили, умельцы. Зимин повернулся к нему спиной. Теперь было занято. И снова занято. Сколько жаждущих стремилось прорваться со своими проблемами на невидимую кухню, где подключались, путались, смешивались, булькали голоса. Наконец, откликнулись.

— Я только что с вами говорил., — начал было Зимин.

— Номер? — привычно оборвала телефонистка.

— Номер? А., — он повторил номер. — Но вы...

— Сейчас выясню.

— Но вы мне только что уже обещали! — не выдержал он.

— Не кричите вы, пьяный, что ли?.. Да, уже проверено: неисправности нет, вас отключили за нарушение.

— Какое нарушение? Меня не было дома.

— Вот, именно так и сказано. Неправильно была положена трубка, с утра до вечера шли сигналы.

— Какие сигналы? — не понимал Зимин. — Если не так положил трубку — из-за этого отключать?

— Я что, должна каждому объяснять, какая нагрузка на сеть, если сто человек одновременно не положат на место

трубку? Уедут на месяц, на год, нам звонят абоненты, спрашивают, что случилось, почему нельзя дозвониться, проверьте, в чем дело.

— Кто вам звонил? Кто спрашивал? — не мог пробиться к смыслу Зимин. — Я никуда не уезжал.

— Я вам про инструкцию от июня восьмидесятого, а вы мне про интернет, — ответил изменившийся голос.

— Какого восьмидесятого?

— Вы почему опять вмешиваетесь в разговор?

— Я? Вмешиваюсь? А со мной кто-нибудь говорит? Алло! Не отключайте опять. Я просил подключить мой телефон!

— Да подключат вам, подключат, — вернулся голос прежней телефонистки, — сколько можно объяснять? Заказ принят. На первый раз с предупреждением. В другой раз и платить придется.

— Платить? Ну, это ладно, — с облегчением вздохнул он. — Подключат прямо сейчас?

— Сейчас? Какой час? Вы хоть знаете, какой сегодня день?

— Не знаю, — сказал Зимин.

— Ты что, пьяный? — перешла телефонистка на «ты»

— Я нездоров, — вдруг решил соврать он — чувствуя, что говорит, может быть, все-таки правду. Только что показалось, что стал приходить в норму. — Мне надо вызвать врача.

— А если у техника жена решила родить раньше срока, кто за него будет делать? — возник еще один голос.

— В понедельник с утра, — пообещала телефонистка.

3

Улица к вечеру утомилась от накопившегося за день мусора. Нечувствительный ветерок нес по мостовой полиэтиленовый пустой пакет. Он припадал к асфальту, за-

мирал, обессилев, как будто испустил последний остаток дыхания, но тут же вдруг оживал, раздутый, как наволочка, подавался туда, сюда, радуясь возможности еще поиграть, порезвиться. А вы думали, со мной кончено, ни на что больше не способен? Нет, это я притворился. Можно подумать, что обманул, хитрец. Хотя это играл не он, это с ним забавлялись, не давали успокоиться невидимые потоки воздуха, тащили, не спрашивая, не объясняя, куда.

А ты разве можешь себе объяснить, куда сейчас направляешься, зачем? — слабо качнул головой Зимин. Тащит по улице общим потоком, частицу среди частиц, подталкивает с боков, подправляет. Толкотня, мутная взвесь вокруг и в мозгу, направление складывается из случайностей.

Взгляд шарил по сторонам в поисках подсказки или зацепки. Солнце давно спряталось за домами. Смеркаться еще не началось, но огни рекламы уже зажигались. Их искусственный свет делал воздух вокруг темнее. Лица окрашивались разноцветными мертвящими отблесками неестественного оживления. Кончился рабочий день, люди то ли возвращались домой, то ли собирались гулять, настраиваясь на завтрашние выходные. Сверху, со стен, с придорожных столбов, зависая в воздухе, смотрели на них, мелких, укрупненные, загорелые, светящиеся изнутри физиономии. Они сияли довольством и стремились поделиться открывшимся им рецептом.

«Ощути единство со всем миром», — вчитывался Зимин. Да, как раз об этом мы и думаем. Это, наверно, и нужно. Только сигареты вряд ли помогут. Пробовал, бросил. «Быстро и дешево». А это про что? Нет, все не про то. Реклама спиртного запрещена. И деньги оставил дома сушиться... Может, сейчас прямо к Сабине? — с усилием ображал он. У нее с выпивкой хорошо. Вроде в ту сторону я и продвигаюсь. Может, уже дозванивается до меня, не поймет, куда я пропал. Ушел, не предупредив, не объяснив, куда, надолго ли. Да я ведь и не был обязан. У каждо-

го своя отдельная жизнь, имеем право. А у кого-то уже получилось вместе. Вот идут двое в обнимку, целуются на ходу. Встретились, наконец. Без проблем. Способы предохранения усовершенствованы, чего не захотят, того не случится... Черт побери, они, кажется, оба мужчины, со спины не различишь, волосы одинаково длинные...

Зимин не заметил, как сошел на проезжую часть, рассеянно успел отстраниться, изогнуться всем телом, убирая поясницу, как тореадор: маленький слепой автобус потерялся о него боком, проехал мимо. Ладно, ладно, отмахнулся он от несвоевременной ласки. Этого сейчас не надо... О чем же я? — попробовал он вернуться к утерянной мысли... А... Есть еще библиотекаряша, Нина. Эта примет беспрекословно, без объяснений. Выпить у нее, правда, не получится, но утешит по-своему, успокоит. Поможет забыть себя... дорогу в собственный мир, как это было сказано? Встретиться бы сейчас с тем занудой... К себе-то вернешься, но кого там застанешь? Потерянного не вернешь, разорванного не соединишь, не восстановишь. Разве только в памяти, в душе, в воображении...

Зимин обнаружил, что уже оказался на той же знакомой улице, хотя в подземный переход не спускался. Теперь доступ туда был просто закрыт, люди переходили дорогу поверху, им помогал регулировщик... Да, — снова попробовал поймать кончик неразрешенной мысли Зимин, — если бы можно было соединить все: консьержку, соседей по лестничной площадке, ряженого с плакатиком, идиотку и возбужденное животное, людей, проходящих сейчас мимо, как тени. Они отражались в стенах из черного зеркального пластика. Влажными ореолами расплывались отражения загоревшихся огней.

Отражаюсь ли среди них я? — подошел к стене поближе Зимин. Не сразу удалось узнать в черной плоскости свое отражение. Затемненные глазницы были как черные очки, лицо неживого пластмассового цвета. Машины и люди двигались по стене, онемелые, призрачные, ненас-

тоящие. Окружающие звуки исчезли, растворились среди отражений, оставался лишь шум в ушах.

Такая же черная стена отразилась напротив. Человек, стоявший спиной к Зимину, смотрел, как и он, в стену. В таких же джинсах, в серой рубашке. Естественно, он и должен был так отражаться, спиной, смотреть в свою стену. Тоже, что ли, я? — вглядывался Зимин. Размноженная зеркальная перспектива. Призрачные фигуры проплывали между двумя отражениями. Собака, облагороженная отражением до блеска, подковыляла на двух передних лапах к человеку у стены, стала обнюхивать его ноги.

Зимин невольно оглянулся, посмотрел на свои ноги. Нет, она обнюхивала не его, другого, стоявшего у павильона напротив. Он тоже оглянулся на Зимина, как сделало бы отражение. Лицо у него было закрашено белой краской.

Зимин поспешно отвернулся к своей стене, словно оказался застигнут врасплох. Собака заковыляла на двух передних лапах дальше, в сторону подземного перехода. Белолицый что-то поправлял, завершал на своем отражении, приглаживал щеки и лоб пальцами. Тот самый? — неуверенно присматривался Зимин. Готовится к своему вечернему представлению? А где его блуза с бантиками? Что он сегодня надумал?

Человек снова повернулся, поднял стоявшую на асфальте, у его ног, бутылку, запрокинул голову, присосался. Кадык подрагивал, обозначая глотки. Удивительно, как ясно, до подробностей иллюзорно укрупнилось все в черном отражении. Но можно ли было в отражении уловить твой невольный взгляд? Различить, как ты, не уследив за собой, завистливо облизнул пересохшие губы? Белолицый приглашающим жестом протянул отражению Зимина бутылку.

Пришлось обернуться. Тот приподнял бутылку еще раз, повыше. Черные губы разошлись на белом лице в улыбке: ну?

4

Зимин подошел неуверенно — человек из отражения навстречу шага не сделал.

— Что вы там так внимательно разглядывали? — сказал он, тщательно отирая рукавом горлышко. — Я подумал, вы тоже краситесь. Попейте, — протянул бутылку.

Кто он такой? Почему со мной заговорил? — с сомнением продолжал всматриваться в него Зимин. Узнать на беленное лицо было невозможно. Что значил этот маскарад?.. Он все-таки взял мягкую бутылку. Этикетки на ней не было. Напиток оказался тепловатый, некрепкий.

— Что это? — спросил он.

— Понятия не имею, — живо откликнулся белолицый. — Между нами, стащил там, внизу. Что-то ихнее, фирменное, название еще не утверждено. Оставили без присмотра на тележке... Да вы пейте, пейте, — опередил он благодарный жест. — С меня уже хватит.

— Жажды не утоляет, — сказал Зимин, но все-таки хлебнул еще. Спросить, что означало это «внизу», он помедлил — и какая была разница? — Мне бы сейчас чего покрепче.

— О, вы еще не распробовали, — растянул тот черные губы. — Я-то начал немного раньше времени. А вы что, опаздываете? Народ уже там.

— Не понимаю? — переспросил Зимин. Этот болтливый тип, похоже, был в самом деле навеселе.

— Но вы же по приглашению?

— Куда? По какому приглашению? — Человек был не только навеселе, но еще, видимо, обознался. — Вы меня что, знаете?

— А вы меня не узнаете? Ну, еще бы! Намазались бы — и я бы вас не узнал. Но ведь такое вы тоже получили?

Он достал из нагрудного кармана желтый листок. Зимин узнал эту бумажку.

— Стихи про муравьев? — пригляделся он. — Да, мне положили такой в ящик. Не понял, что это, листовка или реклама непонятно чего.

— Причем тут муравьи? Муравьи — это, я думаю, так, для эффекта. Рекламный трюк. Немного в постмодернистском духе. Но без этого теперь, говорят, нельзя. Должно звучать зазывающе. День Великой Яйцекладки. Цивилизация двадцать один. Что это такое, вряд ли кто может объяснить. Да на обороте-то, на обороте, вы разве не посмотрели? Приглашение, день, час.

— Я не обратил внимания, — признал, посмотрев, Зимин. — Оставил свой листок дома.

— Ну, вы даете! Как можно быть таким нелюбопытным!

— Говорю же: я думал, это всем разбрасывали.

— Ну да, как же, всем! Вы что, видите толпу желающих сюда попасть? Толпа там, где положено, у входа для всех. Хотя парадный совсем еще не достроен. Я сам, честно сказать, удивляюсь, какого сумели напустить дыму для отвода глаз. Люди идут мимо, не подозревают, что сейчас у них там, под ногами.

— Вы могли бы мне все же толком сказать, что там такое? — безудержная болтовня начинала уже раздражать Зимина.

— Как будто вы газет не читаете?

— Не читаю.

— А, понятно. Вы из тех, кому достаточно внутренней жизни. Не замутняете мозги общим мусором. Правильно делаете. Если, конечно, есть чем утолять голод обывенный. Сколько газет, столько было версий, и все уже отшумели, забылись. Высосаны были из пальца или умышленно распространялись. Достоверно-то никто ничего не мог знать. Парк аттракционов, чудо века, виртуальные эффекты, уникальная лотерея с выигрышами по индивидуальной программе, для богачей, которые уже сами не поймут чего хотят, культурный бизнес-центр или центр

бизнес-культуры. Тоже ведь чушь собачья, как это соединяется через дефис? Распространялся даже слух, будто идею украли у какой-то американской фирмы. Раньше наша разведка воровала секреты бомбы, а теперь — культуры и развлечений, додумаются же? Чего-чего, а такие вещи у нас сами умели делать. Книжки писать, то, се. Наладить нормальную жизнь — на это денег бы не потратили, и все равно не получится. А тут, говорят, сколько вбухали, надо же утереть нос всему миру. Да скорей всего и это вранье, посмотрим. Устраивают, вроде, пробную демонстрацию, по адресным приглашениям, что-то будут испытывать на добровольцах, как на подопытных кроликах. У кого потом не хватит денег, чтобы сюда попасть, для тех сегодня, может, вообще единственный случай...

Зимин не столько вникал в смысл безудержной болтовни, сколько вслушивался в голос, почти готовый его узнать.

— А как такое, как вы говорите, приглашение попало ко мне?

— Ну, не буду скрывать, — растянул тот в довольной улыбке губы, — тут лично я приложил руку, вписал ваш адрес. Забавно все-таки, что вы меня не узнаете. Оно пока и хорошо. Я был когда-то причастен к разработке первоначальной программы. Соблазнился возможностью подработать, сочинял разные сценарии. От моих идей, как скоро выяснилось, ничего потом не осталось, все переиначили до неузнаваемости. Вот, скажем, я предлагал маски. Для желающих оставаться инкогнито...

— Великая идея, — не удержался от усмешки Зимин.

— Чувствую, чувствую ваш сарказм, — охотно откликнулся белолицый. — Конечно, идея не новая. Так я на авторство и не претендую. Авторы всегда хватает. Имелось в виду известно что: возможность наслаждаться неожиданными, соблазны карнавальная свобода, при минимуме личного риска. Сегодня прихожу, спускаюсь вниз. Свой, казалось бы, человек. Маски действительно пред-

лагают у входа. Но обязательно и за наличные. Даже мне. Каково, да? Называется, вход бесплатный, но денежки выложи все равно. Нет, извините. Я-то к подвоху уже был готов, догадался прихватить баночку с белилами. Правилами не запрещено. У меня, по правде сказать, предчувствие, что все вообще окажется туфтой, сведется к простой тусовке. Но мало ли...

Он ненадолго приостановил свое словоизлияние — что-то ему вдруг пришло на ум.

— Слушайте, — сказал, — я попробую вас с собой привести. На свое приглашение. Гениальная идея! Можно будет сказать, что мы двойняшки, у нас общее приглашение. Так было задумано, карнавальная идея. А? Чего-нибудь наговорю. Меня ведь там уже знают, со мной пропустят. Как вы к этому относитесь?..

На цирковых представлениях умеет привязаться такой коверный: прилипнет, потянет участвовать в чем-нибудь — попробуй отделаться. Почему он готов был так безвольно поддаться?

— Вот и прекрасно! — сделал тот вывод сам, не дожидаясь реакции Зимины. — Только отойдем чуть-чуть в сторону, а то на нас уже оглядываются. Думают, не начнем ли мы сейчас представление... Да что я? Можно прямо сюда, вниз.

Он приподнял ленту с запретительной табличкой, прошел, пригнувшись, сам, придержал для Зимины. Тот, поколебавшись, все-таки последовал за ним. Захотелось ли до конца прояснить что-то?

— Повесили для посторонних, — прокомментировал белолицый, явно довольный своим правом проходить, куда других не пускают. Они спустились в подземный переход. Здесь остались светить лишь две тусклых лампы. Под ногами перекатывались пустые пивные банки. — Да, освещение для портретной живописи неважное, — огляделся тот. — Но белой краской рисовать можно... Что вы отстраняетесь, это всего лишь белила. Не бритвой же по

горлу, — он засмеялся собственной шутке. Пальцы мягко двигались по лицу. — Тут, говорят, уже были убийства, какая-то все время борьба. А как же? Деньги — такое дело... нас это не касается... Вот, пожалуй, все, — откинулся он, как художник, оценивая работу. — Можно идти.

И направился уверенно в сторону бокового ответвления. Гулко отдавались в пустом пространстве шаги. Металлические служебные двери были окрашены мрачной невнятной краской. На одной изображен был знак молнии. Перед ней он остановился, постучал костяшками пальцев.

— Свои, — ответил на неслышный вопрос — тоже тихо. Чтобы, наверно, не слышали посторонние. Которых тут, впрочем, и не было. Дверь приоткрылась, белолицый протянул перед собой желтый листок.

— По приглашению, — сказал уверенно и прошел вместе с Зиминим мимо человека в форме неофициального охранника. — Ну, я же говорил. Я здесь свой, — повеселел он. Стало заметно, что сомнения в своих возможностях у него все-таки были.

Очередной длинный переход казался совсем недостроенным, бетонные стены не везде были облицованы. Свет был неживой, тягостный. Постучались еще в одну дверь. Из смотрового окошка выглянуло сморщенное круглое личико, непонятно, мужское ли, женское. Дверь приоткрылась, провожатый протиснулся со своим листком первый, вполголоса стал что-то там объяснять...

— Пойдите, пойдите! — подался он тут же назад, увидев, что дверь за ним стала затворяться. — Я же вам объяснил, мы имеем право вдвоем.

— Имеете, вижу, что имеете, — ответил голос. — С приглашением сюда, без приглашения обратно.

— Подождите, — успел тот еще высунуть из-за дверей голову, — я сейчас попробую устроить, договориться. Поставили тут каких-то...

— Не беспокойтесь, — отмахнулся Зимин. — Я могу сходить за приглашением домой.

— Да, возвращайтесь, я буду ждать, — голос уже звучал с той стороны, заглушенно. — Тут только еще начинается. Увидимся. Если, конечно, узнаем друг друга.

5

Никуда он возвращаться не собирался. Было чувство, словно вдруг вовремя опомнился от какой-то сомнамбулической расслабленности. Едва не позволил себя увлечь неизвестно куда. Хотя что значит не позволил? Не сам же отказался. Сработали обстоятельства. В соответствии с внутренним желанием, можно сказать так. В жизни именно так бывает. Не захотел — вот и не пропустили...

Задумавшись, он не сразу сосредоточился на дороге. Длинный мрачный переход, по которому только что шел сюда, казался немного другим, не совсем знакомым, как это бывает на обратном пути. Особенно если сюда шел с провожатым, а теперь должен ориентироваться, искать выход сам. Впрочем, коридор был прямым. Те же запахи незаконченной строительной работы, известки, сырого цемента напомнили о себе. Остатки неиспользованной облицовочной плитки валялись среди кучек прочего мусора. Но куда девался охранник у двери? Не пропустил ли я какой поворот? — оглядывался Зимин.

Он остановился в сомнении. Вернулся немного назад. Двери были похожи одна на другую, охранник мог отлучиться. Передо мной ли закрыли дверь, за мной ли? — шевельнулась смутная мысль.

Потянул на себя ручку ближней. Открылось ярко освещенное помещение. Женщина не просто маленького — детского роста, в белом переднике, с наколкой в волосах, расставляла на тележке стаканчики с напитками зеленого цвета.

— Извините, где тут выход? — обратился к ней Зимин.
— Я, кажется, заблудился.

Маленькая буфетчица улыбнулась молча, толкнула перед собой тележку и приглашающе оглянулась на Зимина. Он вышел вслед за ней в просторный, уже вполне обустроенный холл. Обширные, однако, пространства оказались обжиты под землей. Перед тележкой сама собой раздвинулась еще одна дверь.

В небольшом помещении у стены светился экран, на нем из черной, сужающейся книзу капли выдавливались белые шарики, разбегались один за другим по разветвленным желобам; вспыхивали, сменяясь, цифры. Маленькая женщина остановила тележку, с той же молчаливой улыбкой протянула Зимину стакан.

— Мне уже хватит, — сказал тот.

— Ваша фамилия? — спросила лилипутка неожиданно нежным, певучим голосом и выдвинула из-под дисплея клавиатуру.

— Фамилия? — переспросил он, не находя взглядом следующей двери. — Мне бы выйти, — напомнил он.

Она продолжала смотреть на него с выжидательной улыбкой.

— Зимин, — уступил он.

Быстрые легкие пальцы пробежали по клавишам. На дисплее возникла таблица, другая.

— Вы по индивидуальной программе? — она глянула на него с уважительным интересом. — Пожалуйста, — показала на противоположную стену.

По какой программе, куда? Зимин растерянно оглянулся. В стене открылся проем, за ним оказалась лифтовая кабинка. Слова звучали как будто осмысленно, только не могли совпасть, соединиться с пониманием. Вдруг вспомнил, что лицо у него оставалось забелено. Может, это здесь что-то значило? Заманили куда-то хитроумно?.. А, вздор, ощутил он бессмысленность любых своих догадок. Чего еще бояться?

Обычного пульта с кнопками в кабине не оказалось. Дверцы тут же сошлись. Лифт двинулся сам, как будто

знал нужную — единственную — программу. Двинулся он не вниз, как ждал почему-то Зимин, а вверх. Мимо взгляда прошло межэтажное перекрытие. За прозрачной стеклянной стенкой открылся зал, освещаемый лишь перемигивающими цветными огнями. Низ гигантски увеличенного каплеобразного туловища свисал откуда-то из темноты, черная глянцевая поверхность отражала огни. Из капли выдавился белый шар, покатился по желобу среди разноцветного перемигивания, задержался у разветвления, свернул. На стенном табло сменялись электрические цифры. Сверху уже выдавливался следующий шар. Вот что я видел на экране, — смутно соображал Зимин. Лотерейный аттракцион. День Великой Яйцекладки. Время от времени возникал шум — оживления, разочарования...

Еще одно массивное межэтажное перекрытие прошло сверху вниз. Неожиданный свет хлынул через стекло лифта, прозрачное настолько, что оно словно перестало существовать. Открылся просторный луг, поляны желтых одуванчиков сияли среди зелени, как пятна солнечного света. Дети рвали цветы для венков, одуванчиковые ореолы уже окружали их головы. Они заметили поднимающийся лифт, повернули к нему лица, замахали, приветствуя или прощаясь. Зимин неуверенно поднял руку. У него сжалось сердце. Что это? — вглядывался он. Я здесь был. Так не бывает, я знаю... но хоть немного бы задержаться, посмотреть еще...

Лифт, словно подчиняясь его желанию, плавно изменил направление. Он мог, значит, идти не только вверх, он двинулся в сторону, по диагонали, но этому ли было удивляться? Дохнуло теплым молоком, травяной жвачкой, навозом. Три белых коровы смотрели на Зимина неподвижно, спокойно: не прибыл ли наконец подоить, облегчить? Уши торчали в стороны, рога в стороны. В бок одной из коров был вписан такой же неподвижный теленок — белое в белом. Изваяние природы из костей и живой плоти, внутри молоко. Боже, кто мог знать про меня это? — про-

вожал Зимин уходящий луг взглядом. Я это видел уже не вспомнить когда, и написать об этом до сих пор не успел. Плывущее прозрачное облачко толклось в воздухе — играли, радовались однодневки растянутому мгновению, в которое вмещалась их жизнь. Как грустно, как все было томительно грустно... невыразимо, невыносимо. Не соскочить, не остановиться, не задержаться, не взять с собой, сознавал Зимин. Но я это видел, я это ощущал, я мог этому радоваться... как мгновенно переходят все глаголы в прошедшее время, настоящего не выдержать дольше мгновения, для которого не существует часов. Унести можно лишь то, что продолжает жить своей жизнью где-то внутри. И что же еще впереди, много ли осталось?.. Над удаляющимся, омытым пейзажем сияла прозрачная радуга. Она отзывалась на лице невольной улыбкой — непрочная, недолгая, недостоверная, как всякое счастье...

Дальше, что же делать? никому этого не остановить, примирялся Зимин, еще не убрав с лица остаток улыбки. Впереди открылись сооружения, похожие на бетонные надолбы или поставленные торчком плиты. Современный далекий город был это или совсем близкое кладбище? Как они бывают похожи, нераспознанный масштаб обманчив. Но туда лучше сейчас не надо. Что бы там ни было, добраться бы сначала... знать бы, до чего... но если еще можно, если еще не закрыто...

Лифт снова подтвердил свою поразительную восприимчивость, готовность подчиниться желанию (было бы оно только отчетливей) — он пошел круто вверх. Перехватило дыхание, как на перекатах известного аттракциона. Резко потемнело, по сторонам теперь ничего не было видно.

Хватит, хватит, ощутил тревогу Зимин. Куда же выше? Там больше не может быть ничего. Лучше бы остановиться... Прошло некоторое время, прежде чем он осознал, что лифт больше не движется, остановился в крошечной тьме. Попробовал нащупать руками стенки — их не было.

Словно они куда-то ушли или вдруг растворились. В какую сторону было теперь выходить? В любую. В такой темноте нет сторон, есть ли верх, неизвестно. Достоверно было лишь существование низа, оно подтверждалось ощущением подошв.

Понемногу глаза приспособлялись к темноте — даже в ней что-то становилось различимо. Бесцветные ртутные испарения слабо светились в воздухе. Крупные, слитые с темнотой слизняки ползли по невидимым стенам, оставляя за собой молочные фосфоресцирующие дорожки.

— Где это мы? — слышался неподалеку сдавленный шепот. О, значит, кто-то еще угодил сюда.

— Стенки на ощупь противные, мягкие.

— Не трогай руками.

— Надо же понять. На ощупь напоминает знаешь что?

Мозги.

— Меня сейчас стошнит от твоих слов.

— Ты никогда мозги не готовил. Ты вообще кухонными делами брезговал.

— А что если мы сейчас внутри?

— Внутри чего?

— Этого самого.

— Ну, ты совсем договоришься! Выпивка уже тебя довела знаешь до чего?

— Какая выпивка? Здесь дышать нечем. Выбраться бы отсюда.

— Куда уж теперь?

— На свет. Куда угодно, только бы отсюда на свет.

— Снова родиться?

— Вот это ты говоришь ерунду. Из мозга не рождаются.

— Помолчи-ка. Он, кажется, сейчас слушает нас.

— Пусть слушает. Пусть хоть сейчас услышит.

— Не начинай опять со своими претензиями.

— Он же меня никогда не хотел слушать.

— Ты до сих пор не можешь простить его женитьбы.

— А кто был прав? Получил, что хотел. Сама его бросила. Ты всех готова простить. А как эта стерва тебя от дома отвадила, ты забыла? Я даже внука не мог видеть.

— Ты ничего уже не мог. Ни ходить, ни соображать. Перестал бы пить.

— А как было не пить при такой жизни? Как было не пить? Восемнадцать лет на химическом производстве, я же был насквозь отравлен. Руки разве от выпивки стали дрожать? Без нее бы я вовсе не выдержал.

— Ну хватит, хватит, здесь-то перебирать старое незачем. Нас тут к нему все равно не допустят. Пока у него своя жизнь, другая. Ему повезло позже родиться.

— Не повезло, это мы постарались...

Зимин вслушивался, мучительно озираясь. Что это было?.. Из темноты быстро приближался, выросал огонек фонаря, ударил в глаза, ослепил.

— Кто тут заблудился? — слышался веселый оклик. — Давайте ко мне, подвезу.

Скользнувший луч осветил уродливое черное лицо, развесистые, растянутые в ухмылке губы. Тронулась по невидимым рельсам дальше бесшумная вагонетка, две тени обозначились на переднем сиденье. Зимин подался вслед, поскользнулся на чем-то слизистом, упал на спину. Он попытался встать, заскользил куда-то по наклонному желобу. Слабо отсвечивающие капли выдавливались, падали сверху на лицо, на плечи, на руки, сразу на них застывали, загустевали. Воздух становился все более невыносим для дыхания — отработанный, прошедший через множество чужих легких. Попробовать бы вообще не дышать — можно ли такое?.. не думать, не сознавать ничего, лишь ощущать кожей, размягченными ребрами, как тебя тащит дальше, продавливает сквозь тесноту...

7

— Надо же, попал с первого раза.

— Новичкам везет.

— Ну да, скажите еще: дуракам. Как будто вы тут ни при чем.

— Но я же ничего не подтасовывал, не подправлял. Мое дело было ввести данные, запустить программу. Сам не ожидал, что его так занесет. Процесс естественного саморазвития. Что вылупилось, то, как говорится, вылупилось.

— Ладно, посмотрим. Подержите его пока в таком состоянии. Надо сначала перепроверить данные. Почему оформлено так небрежно? Какой-то беспорядочный навал. Ну, теперь поздно. Так... Фамилия?... Это ясно, Зимин. Правильно я ставлю ударение, на последнем слоге? Имя... позвольте, уважаемый, а где имя-отчество? Почему не указаны?

— Это не моя вина. Так к нам поступило. Видно, до сих пор обходились. Но можно будет заглянуть в телефонную книгу, адрес известен. Да хоть спросить сейчас у него самого.

— Ну, не позаботились до сих пор — и мы обойдемся. Сейчас тем более не обязательно. Родители... Что, и про них ничего? Да что же это такое?

— Если считаете нужным, сейчас покопаемся. Невелика проблема, только время займет и место. Отец, как можно понять, участвовал в войне. Вот тут в одном тексте упоминается, как мальчик играл с его пистолетом. Работал на химическом производстве, рано стал инвалидом. Под конец жизни, что называется, выпивал. Мать умерла еще раньше, несчастная женщина, она...

— Ладно, сейчас и это уже не ко времени.

— Зато есть полная психоаналитическая экспертиза: задержанное сексуальное развитие, комплексы...

— Это оставим на закуску для специалистов. Для публики пусть остается, где положено.

— То есть в подсознании?

— Как вы догадливы!

— Вы меня зря подкалываете, дополнительных подробностей куча. Вот, смотрите: история болезни еще из детской поликлиники.

— Ничего себе, пухлая! — Поколение было такое, болезненное. Пожалуйста: корь, дифтерит, скарлатина... полный набор.

— Вы что, свихнулись? Еще и это сейчас зачитывать? Ну, а год рождения-то? Хотя бы год? Неужели и это не отмечено?

— Не досмотрел, признаю. Поставим сейчас на свой страх и риск: 1940. Есть признаки. Сохранилось где-то воспоминание: как он впервые увидел белый хлеб и отказался брать его в рот. Испугался вида. Непохоже было на хлеб, который он знал. Война, я сам помню. Тут было еще множество таких мелочей, я их убрал, не знал, нужно ли. Все не вместишь. А месяц, день — нужно?

— Не обязательно. Астрологию приплетать не станем.

— Еще есть детские фото. Вот тут ему четыре месяца, лежит на пузике, головку уже держит.

— Все как у всех. Эту не надо. А другие, поинтересней?

— У него их вообще не слишком много. Разразился даже как-то на эту тему пассажем: фотографии, мол, умерщвляют мгновение, заменяют воспоминания. — Ну да, побольше его слушайте! Это он, надо полагать, потому, что не особенно доволен своей внешностью. Тоже по части комплексов. Вон, гляньте, он тут бы сам себя не узнал. Лицо не тощее — изможденное.

— Болел много.

— Я же сказал: медицинскую историю в сторону.. Скулы-то как выступают. И волосы длинные, зачесаны ото лба назад.

— Тогда так носили.

— Вот видите, насчет фото он зря. Полезное пособие не только для памяти — для воображения. А это что за во-

рох? Школьные аттестаты, оценки по разным предметам... третий разряд по шахматам. Надо же! Сам, небось, про него забыл. Давно не играет.

— Я про это и говорю: многое лучше убрать. Вы меня упрекаете, но что это даст, если не получило развития, отсохло, можно сказать, прошло бесследно? Мало ли на что тратится большая часть жизни? Всех подробностей не вместишь, а главное, из них ничего не составишь. Вот, какие-то мелкие записи на листках. «Ожидание морозной ночью на станции под Мончегорском, у нетопленной печки, когда я узнал, что от холода может тошнить». Куда такое вставить, без связи? Мне кажется, для наших целей хватит того, что уже есть. Тем более если пользоваться новейшими технологиями.

— Это уж верно. Понадобится — просветим хоть до внутренностей.

— Рентгеновских снимков тут тоже полно.

— Нет, все, все.

— А в голом виде?

— Про это уже выясняли.

— Еще вот банковский счет. Совсем на нулях.

— Это мы тоже знаем, это уже введено. Все. Пора продолжать.

8

Одновременный вздох множества ворвался, оживил, восстановил слух.

— Уважаемая публика, читатели, зрители, игроки, участники, любопытные, — раздался тот же, уже полновзвучный голос. Прошу тишины и внимания. Перед вами редкостный счастливец. Человеку выпал приз, о каком он сам едва ли мечтал: возможность актуализировать полноценную экзистенцию в рамках своей же индивидуальной операционной программы, иначе говоря, возможность

виртуальной реализации мыслей и желаний, причем за счет фирмы, на самом высоком уровне...

Продолжается тот же бред? — с усилием восстанавливал сознание Зимин. Кто кого сейчас может видеть? В такой темноте?

— Так ничего увидеть нельзя, — с готовностью откликнулся другой голос. — У него же закрыты глаза.

— Эй! Почему вы не открываете глаза? Вы меня слышите? Откройте глаза!

Зимин приоткрыл глаза. Перед ним было громадное укрупненное лицо, не все — средняя часть. Целиком оно бы не уместилось в поле зрения. Видны были темные поры, кустистые волоски торчали из воспаленных ноздрей. Над губой вздулся некрасивый прыщ. Багровел порез от неудачного бритья, но он уже зарастал колючками новой щетины, седыми, темными и почему-то рыжими. На щеке под глазом остался несмытый след белил.

— Это что, я? — решил произнести он. — О, заговорил, наконец! Не узнаете?

— А вы бы себя под микроскопом узнали?

— Ну, уже начали острить, значит, пришли в себя. Сейчас подравняем масштаб.

Изображение перед глазами сменилось ярким слепящим светом — так можно в первый момент ощутить себя на освещенной сцене, не видя зала. Опустить взгляд, увидеть себя, свое тело он почему-то не мог. Стоял ли он сейчас, лежал, сидел? Словно завис в неопределенном пространстве, где незачем было даже шевелиться.

— Кому вы меня сейчас собираетесь демонстрировать? — болезненно прищурился он. — Я, кажется, не давал на это согласия.

— Достаточно того, что здесь появились, — возразил насмешливый голос. — На правах, если угодно, субъекта виртуальной программы. Согласие в таких случаях юридически не оформляется. Нет прецедентов. Существуете — от взглядов уже не спрятаться... Ладно, хватит болтать, при-

ступим к делу. Вы, кажется, до сих пор не осознали, не оценили своей ситуации, редкостной, уникальной. О публике лучше забыть, ее, считайте, реально тут нет. Только ответственные за программу. Послушайте еще раз, оцените, какой вам достался выигрыш. Название пока условное: «Второй шанс». Мне лично не очень нравится, можете предложить лучше. Воображения, надеюсь, у вас хватит? Человеку хочется удержать ушедшее, сохранить — а если бы еще восстановить, ведь правда? И вот вам представится такая возможность. В рамках, повторяю, вашей же реальной программы. Без фантастики...

— Забавно это у вас звучит: без фантастики. Я понимаю, тут опять какой-то аттракцион, не более. На высоком уровне. Чувствую и признаю...

— Ну, начинаете уже сопротивляться. Вы меня еще не дослушали. Попробуйте все же вникнуть. Вам как литератору должно быть понятно желание индивидуума стать художественной формой себя самого...

— Нет, я и говорю: тот же бред, да еще как будто издательский, пародийный. Но если что-то подобное мне и приходило на ум, я ведь сам над собой умел посмеяться.

— Ну, вздор, ну, бред, — голос стал умиротворяющим, убаюкивающим. — Не напрягайте зря мозги, они сейчас не лучший помощник. Если что и может получиться, то как-нибудь помимо них. Сочиняются же неизвестным образом ваши сны. Кого бы вы сейчас хотели увидеть? Глядишь, даже пообщаться, поговорить?.. Вот и славно, вот будет и хорошо... не сопротивляйтесь, настройтесь, расслабьтесь еще немного...

Зимин не успел осознать отчетливо, что происходит — перед ним возникло застенчивое детское лицо. Павлик, узнал он. Не нынешний, тогдашний, похожий на фотографию, где ему навсегда шесть лет и три месяца. Пухлые коленки под короткими штанинами... Да, да, это был он. Перехватило дыхание, когда он помахал рукой.

Это мне только видится, только видится, убеждал себя Зимин. Но пусть. Мальчик оглянулся в поисках поддержки. За руку его держала Алина. Она возникла просто, как возникает воспоминание, в легком васильковом платье. Молодые ключицы нежно выступали в вырезе. И эта ямка между ними, под горлом, которую до сих пор, казалось, помнишь губами. Волосы золотились на просвет и казались от этого еще светлей.

— Это платье на тебе было, когда мы плыли на пароходе, — сказал он. — На пристани девочка предложила нам стакан земляники, я сказал: у нее глаза, как твое платье. Какая же ты молодая.

— А ты, оказывается, совсем седой.

— Мы, видимо, в разных временах. Но это и хорошо. Такой, значит, ты для меня останешься. — Я, вроде, тоже не изменился, — услышал он за спиной.

Оглянулся: позади него, совсем рядом, стоял Игорь Бурлак. Восторженно всклокоченной казалась вся кудлатая голова, белые зубы светились улыбкой.

— Ты еще долго не изменишься, — подтвердил Зимин. — Прости, я до сих пор тебе не успел ответить. Попробовал — вместо ответа получались вопрос на вопросе.

— Какие вопросы? — отмахнулся Игорь. — Я что-то наболтал про лотерею, а у вас — вот, получилось. На бумаге никогда всего не обсудишь. Поговорить бы, как когда-то у вас на кухне, а? Будет еще время?

— На кухне, да, это было самое интересное, — сказала Сабина. Прическа у нее была прекрасно уложена, отливала всегдашним стальным цветом — цветом самостоятельного устойчивого существования.

Зимин озирался в шемящем восторженном изумлении. Поодаль, смущаясь, стояла библиотечкарина Нина. Обеими руками она держала перед животом горшок с цветком. Они встретились взглядами. Зимин пожал плечами, как бы прося прощения за очередную допущенную неловкость, легонько поманил ее подойти ближе.

— Зачем ты взяла с собой этот цветок? — сказал он.

— Не знаю. Так получилось. Не успела поставить.

Ты же говорила, он умер, чуть было не сказал Зимин, но вовремя опомнился.

— Кто эти две дамы? — прищурилась Алина.

— Ты их не можешь знать, они были потом. Но если хочешь, могу признаться: по-настоящему мне даже не удалось тебе изменить. Ты все-таки осталась единственной.

— О чем разговор! Изменил, не изменил. Теперь все должно быть по-другому. Ты ведь хочешь, чтобы мы все были с тобой? Вот, мы вместе.

— Да, Боб про это и говорил: чтобы делать по желанию. Вызывать, изменять, соединять, — сказала Сабина.

— Привет, Саб, — помахал ей рукой Бурлак.

— Нет, — возразил поспешно Зимин, — Боб тут ни при чем. Это не техника. Соединиться могло только во мне. Вы встретились в моей жизни, в разное время, но во мне это осталось. Только с вами я мог чувствовать себя по-настоящему живым...

— Не надо заново усложнять, — сказала Алина. — Главное положительные эмоции. Тебе, кажется, достался невероятный выигрыш. Давай радоваться со всеми... Слышите, какая музыка? — Новая цивилизация, надо подстраиваться к ритму. Это лучше, чем мой проект... Смотрите, он уже танцует, — показала Сабина.

Мальчик в самом деле неловко покачивался, топтался на месте. Когда-то он всегда начинал так топтаться, заслушав танцевальную музыку, только не умел попасть в ритм, пыхтел, сосредоточенный, упоенный. Алина, довольная, стала подхлопывать ему в ладоши.

— О, какой молодец! — показала Сабина. — Смотри на меня, я тебе сейчас покажу, как надо делать руками. У нас все любят это делать, и дети, и взрослые. Даже старые. За руки не обязательно. Лучше друг друга вообще не касаться. Теперь танцуют отдельно. Вместе, но по отдельности.

Павлик смотрел на нее, пытаясь повторить ее движения. Получалось запоздало, неточно, трогательно. Алина рядом с ним разошлась самостоятельно — о, она это всегда умела! Даже Нина подключилась к подмывающему ритму, покачивалась с улыбкой на месте, не оставляя горшка с цветком. А Игорь — тот вообще изображал что-то особое, лихое, размашистое. Позади танцующих, как тени, появились маленькие черные фигуры, перетянутые поясами, они поддерживали, усиливали, объединяли ритм похлопыванием в ладоши. Ну? — обращались к Зимину взгляды, — а ты почему не присоединяешься? Давай, как все, вот будет и хорошо!..

— Что вы?.. Что вы делаете? — забормотал он оторопело, сознавая, что за нарастающей музыкой его не слышат. Танцующих становилось все больше, но держался каждый сам по себе. — Не надо так... не поддавайтесь. Это имитация... нам навязывают... Я все-таки остаюсь один... все-таки один. Наверное, заслужил, чего-то не сумел. Павлик, ты меня слышишь? Смотри, вот идет наша кошка. Помнишь? Ее звали Мурка, ты любил ее гладить...

— Мурки давным-давно нет, — подала голос Алина, стараясь не упустить ритма. — А ты ее вообще терпеть не мог, она пачкала твои драгоценные бумаги.

— Да, я бывал не прав, — с готовностью подхватил Зимин. — Но потом мне стало ее не хватать. Пусть это другая, главное — настоящая...

Кошка медленно подошла к Алине, прошла прямо сквозь ее ногу, направилась к Зимину.

— Не бери ее в руки, — брезгливо скривилась Алина — а ладонями все отбивала, все отбивала приглашающий ритм: ну, давай же и ты, давай. — У нее могут быть блохи.

Луч осветительного прибора сделал прозрачным не только платье — само тело. Что-то стало происходить со всеми. Чтобы наклониться к кошке, пришлось сделать усилие. Все вокруг накренилось, заколебалось. Не упасть, не утратить равновесие, сказал себе Зимин...

— Черт побери, что здесь творится? — ворвался в музыку раздраженный голос. — Кто сюда допустил эту тварь?

— Это не вы, это были не вы, — бормотал Зимин теперь уже в погасшее, опустевшее, обеззвученное пространство, поднимая к груди горячее тельце. — По-настоящему такое невозможно, я знал. Попытка фантастического решения... не моя. Но все-таки я мог вас увидеть, всех, вы все-таки остались со мной, вас у меня уже не отнять...

— Что этот идиот бормочет? — возник опять раздраженный голос. — Не по-настоящему его не устраивает. Как угодно, только вправду. Пустить насмарку такую работу! Достаточно одного ненормального, чтобы никакая аппаратура не выдержала. Выпустите обоих отсюда к чертовой матери... Эй! Ты меня слышишь? Убирайся со своей кошкой, пока вас не выпихнули.

— Куда? — ошалело переспросил Зимин. Вокруг было погасшее, невнятное, серое пространство. Он стоял с кошкой в руках, слегка пошатываясь, словно вспоминая равновесие вместе с утраченным чувством тяжести.

— К себе, куда же еще?

— Если найдет дорогу, — добавил другой — и оба расхохотались с мстительным удовольствием.

Дохнуло подвальной холодной сыростью, впереди обозначился слабо освещенный проем. Зимин неуверенно направился туда. Плафон лампы был забран решеткой. Он медленно поднялся по бетонной лестнице. Кошка урчала всем телом, засунутая за пазуху.

Ночной воздух был свеж и мягок. На черном небе виднелись звезды. Городские огни светились поодаль, близкое пространство было темно и пустынно. Проектор на высокой мачте не столько освещал территорию, сколько слепил. Глаза различили сначала что-то вроде строительной времянки, бульдозер неподалеку, еще дальше — сплошную ограду, темную на темном. Смутная фигура появилась из темноты, направилась в его сторону.

— Эй, — окликнул человек, приближаясь, — не скажете, как отсюда выбраться?..

ГЛАВА 7

1

Лицо проявлялось из темноты все четче, я всматривался, уже уверенно узнавая. Да, это был он. Надо же было встретиться в таком месте!

— О, значит вас тоже туда угораздило, — сказал я. — Почему я вас там не видел? Вы где сидели?

Он смотрел на меня странным, непонимающим взглядом. Глаза без зрачков казались остановившимися. На щеке белел след известки — успел где-то испачкаться.

— Представьте, как раз сегодня вас вспоминал, — я оживлялся невольно. — Думал: вдруг хоть на этой тусовке опять увидимся. Также ищите выход? Не выдержали этой скучищи? Наобещали с три короба: аттракционы, коктейль, новинки техники, лотерея с невероятными выигрышами. Меня когда-то приглашали даже проучаствовать, подать сценарную заявку, и я, как дурак, клюнул. Ничего похожего, хорошо хоть идею не украли. Заставили зачем-то сидеть в душном зале, слушать этого... ладно, о нем не буду. Может, потом и выдали бы какую-нибудь художественную часть. Но я в такой духоте не мог высидеть. Даже эйр кондишн не смогли обеспечить. И пошли они к черту со своими коктейлями... Вы что на меня так смотрите, как будто не узнаете? Или я тоже перепачкался?

Достал носовой платок из кармана, отер наугад одну щеку, другую. Действительно, остались следы белил. Отер на всякий случай и подбородок, и лоб. Он смотрел на меня, не отвечая. Только тут я разглядел, что из-за пазухи у него выглядывает голова кошки, он прижимал ее к груди рукой. Улыбка на губах остановившаяся, неполная, как будто застенчивая. Похоже, он сумел все-таки перехватить и тут. Для того, может, только и заявился. До меня уже доходили разговоры, что он теперь все чаще прикладывается к

бутылке. И называет это, значит: не в одиночку. Хорошенькое не в одиночку..

— Эти недостроенные новостройки, — сказал я. — Не дают даже просохнуть краске. И о табличках не позаботились, никто не показал, где нормальный выход. Дал же себе зарок: не поддаваться на рекламные обещания. Испортили мне такой день, — добавил я. — У меня ведь сегодня такой день, — подкрепил я намек уже с нажимом.

Он не среагировал, смотрел на меня по-прежнему тупо...

2

Раздражен я был не только тем, что вместо обещанных аттракционов попал на занудливую конференцию. Кого-то, может, приглашали privately в другие залы или кабинеты, но для таких, как мы — конференция. Хорошо, что я пришел с опозданием, пристроился в заднем ряду у выхода. С экрана теоретизировало укрупненное изображение — невелико удовольствие было вдобавок увидеть малосимпатичного мне лысого типа. Где он затаился сам, обнаружить издалека не удалось. Может, его и не было.

Виртуальное расширение возможностей, — не сразу начал прислушиваться я... Выход за пределы литературы... Некоторые считают достоинством литературы ее так называемую открытость. Любая заданная программа, говорят нам, в принципе ограничена. Литература предлагает каждому дорисовывать в уме что-то свое, особое, автором не предусмотренное. Парадоксы для высоколобых, — усмехался лысый. Люди ищут другого...

Затылки слушателей впереди были неподвижны — воплощение внимания. В подлокотник кресла был вделан пульт, но переключить программу не удавалось. Я заново сосредоточился лишь в момент, когда слышались слова о фабрике собеседников.

— Нам почему-то недостаточно реально живущих, — с той же своей двусмысленной усмешкой теоретизировал лысый. — Казалось бы, вот они, вокруг, их миллионы. Но с ними технически трудней, не всегда получается. Человеку всегда надо было создавать для себя кого-то. В раннем возрасте он делает себе куклу из тряпок, деревяшки, чего угодно, одухотворяет ее, наделяет именем, характером. Став постарше, создает идола. Исторически, впрочем, это то же детское достижение. Повзрослев еще больше, можно этого другого сделать невидимым, поместить на небеса — лишь бы с кем-то общаться, вести беседу, не оставаться совсем уж наедине с собой. Творцу, как утверждают некоторые, стало одному просто скучно, захотелось создать кого-то еще...

Где-то в этом месте я не выдержал духоты, слушать дальше все эти философствования не хотелось. Мне в спину неслись слова о двойниках литературных. Известный, опробованный способ обеспечить себе надежное алиби на всякий сомнительный случай: подставить вместо себя двойника. Криминалист-аналитик поневоле кинется обнюхивать след: есть ли в персонаже что-то от автора? Как ни старайся сделать его на себя не похожим — улики найдутся... В голосе звучало чуть ли не злорадное торжество. Как будто он как раз и был тем самым всезнающим детективом, готовым поймать хитреца.

3

Ночной воздух после духоты освежал. Мы пробирались вдоль бетонной ограды, искали выход почти на ощупь. После дождя глину под ногами развезло — угораздило же попасть на строительную территорию, да еще затемно! Едва разровненная поверхность была уже местами замусорена, подозрительный запах заставлял опасаться, не вляпаешься ли во что похуже. Три темных провода про-

явились на фоне неба, пара звезд уселась на них, как на неполной нотной линейке. Где-то поблизости залаяла собака, сперва на пробу, раз, другой, потом разошлась залиvisto. Ее нам только сейчас не хватало.

К счастью, вовремя обнаружилась щель. Она была узковата, но протиснуться удалось обоим. Посмотрели друг на друга, оба одинаково хмыкнули. Вид у нас был тот еще! Выбрались из ловушки. Очистили от глины подошвы, как могли, отряхнулись, отряхнули друг друга, пошли вместе к подземному переходу неподалеку. Мой спутник, похоже, немного оттаял после совместных странствий, кошка дремала у него за пазухой. Нам было еще по пути.

— Слушайте, — сказал я, когда мы поднялись наверх, — вот тут впереди я вижу кафе. Посидите со мной немного, а? Выпить хочется. О деньгах не беспокойтесь, — я заметил невольное, проверяющее движение его руки к карману, — у меня сегодня есть. Главное, не хочется, чтобы так под конец испортили день. У меня ведь знаете какой сегодня день? — (Все-таки не удержался). — Я закончил одну работу. Дописал сочинение.

— О, — произнес он и сделал жест рукой, выражавший молчаливое поздравление; другая рука придерживала кошку. К разговору был явно не расположен. Но я остановиться уже не мог.

— Конечно, завтра-послезавтра выяснится, что ставить точку рано, вы это по себе знаете. Что-то надо будет еще доделывать, додумывать. Я уже и сейчас чувствую. Особенно не уверен в финале. Но сегодня, пока не опомнился, выпьем все равно, а? Столько хочется обсудить, не с собой же? Помните, как вы однажды выразились? Наговоришься за день с умным человеком. Сейчас редко с кем можно поговорить о литературе, а ведь разве есть что-нибудь интереснее?..

Меня подмывало ему сказать, что после того нашего случайного разговора я продолжал о нем размышлять, и столько пришло на ум! Разве так мало это значит: обнаружить, что кто-то другой думает о том же, что ты?

Он не отвечал, мне это было не обязательно. В таком вздернутом состоянии чужое молчание вдохновляет. Мы продолжали идти рядом... Что же все-таки сделать с финалом? — заново крутилось в уме. Хотелось завершить как-то ободряюще, намекнуть на возможное разрешение, читателю же это нужно. Хотя бы воображаемое, фантастическое. Нет, герой воспротивился, заставил себе самому показать язык...

Мы подходили к открытому кафе. Несмотря на поздний час, под зонтиками сидело еще много людей — день перед выходными. Молодые, прилично одетые парочки, целые компании. Но в дальнем углу сидели двое, внешний вид которых был немногим лучше нашего. Демократичное кафе.

— Ну, — повторил я просительно, — хоть по маленькой тяпнем? Надо же придти в себя после такого? А?

Он помотал опущенной головой. Поздно уже, без труда растолковывалось это движение. Спать хочется. С утра опять работать...

— Ну, желаю успехов, — сказал я с сожалением.

Он уходил от меня прочь, тощий — на расстоянии стало заметно, как похудел со времени нашего первого знакомства. Фара встречного автомобиля обволокла его ярким светом — фигура, казалось, просвечивала, готова была растаять.

Ну и ладно, — не стал я давать волю уязвленным чувствам. Не хочет со мной говорить — ничего не поделаешь. Уходит, удаляется еще один, закрытый наглухо. И не проникнуть, не узнать, что он за человек, о чем думал, пока ты перед ним распинался. Створки замкнуты. Как у всех этих прохожих вокруг...

По асфальту несло пустой полиэтиленовый пакет. Где-то я сегодня его уже видел, совсем недавно. Живучий, снова поймал дуновение. Впрочем, мало ли их, таких? Урны обожрались, переполненные. Сколько же всякой всячины успевает накопиться за день на единственной улице! Об-

рывки, целые страницы газет с уже отмененными новостями, пакеты из-под отправленных в желудки орешков, пустые бутылки из-под выпитых жидкостей, промасленные бумажки от пирожков, пластиковые сумки с названиями компаний, презерватив, использованный и выброшенный — не дал зародиться лишней, ненужной жизни. К утру всю эту гадость выметут, очистят место для нового мусора.

Выпить бы все-таки с кем-нибудь, озирался я. Выставить хоть первому встречному, чокнуться. Пока еще кажется, что есть за что.

Луна вышла из-за облаков, окруженная радужным ореолом. Только что за глухим забором удалось увидеть даже звезды. Городские огни мешают их тут разглядеть. Но уже знаешь, что они сейчас есть, можешь сказать, что их видел. Тоже кое-что. Хорошо. Неизвестно, что будет завтра, но пока хорошо, честное слово.

Содержание

ВРЕМЕНА ЖИЗНИ	5
Ночь	7
Утро	7
Местоимения	8
Сказка	8
Отражения	11
Исчезнувшая страна	11
Обращение к Богу	19
Болезнь по воскресеньям	19
Мысль о Ньютоне	29
Соловьи	29
Понимание	45
Дух Пушкина	46
Занавес	79
Как хороши, как свежи были розы	79
Безмятежность	122
ПРИБЛИЖЕНИЕ	123
КОНВЕЙЕР	285
ПРОЕКТ «ОДИНОЧЕСТВО»	391

Марк Харитонов

Времена жизни

Дизайнер *Е. Поликашин*
Редактор *Е. Шкловский*
Корректор *И. Аветисова*
Верстка *С. Петров*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Newton. Тираж 1000. Печ. л. 17,75. Заказ № 956
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

Марк Харитонов

Что мне всегда хотелось понять?
Существование мысли.
Существование других людей,
их чувств и снов. Хотелось узнать,
что снится младенцу, догадаться,
что снится собаке, когда она во сне
вздрагивает, урчит и поводит тревожно
ухом. Понять, что такое время,
воображение, что такое смерть.

Когда томят невнятные страхи, тоска,
уныние, достаточно ведь бывает
сказать себе: о чем тоскуешь, чего
боишься? Скажи это словами.
Стоит их произнести, и почувствуешь,
что все на самом деле не так уж
страшно. Все поправимо, просто,
все оказывается обычным делом —
стоит ли горевать? Находя слова
для своей тоски, человек тоску
преодолеывает; глядишь, твои слова
помогут преодолеть ее и другим.
Находя слова для своей радости,
ты делаешь ее достоянием всех.
Слова помогают пережить беду,
радость же усиливают и продлевают.
Вот, может, служба пишущего.

ISBN 5-86793-527-2



9 785867 193527 6 >

